Иностранная литература

11

1969

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

АЛЕКС ЛА ГУМА — Каменная страна . . . 8
ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — Буриданов осел . . 94

ПОВЕСТИ

ТАМАРА ХОВИ — Стремления маленькой мошки 152

РАССКАЗЫ

МЛАДЕН ОЛЯЧА — Моя мать 149

СТИХИ

ЙОРДАН МИЛЕВ — Шалаш (Фрагменты поэмы) 5
АНХЕЛЬ АУХЬЕР — В мавзолее 7
НИЯЗ ХАЙДАР — Ленин с нами 147
ГОЛАМ КУДДУС — Ленин 148
ПОЛЬ ЭЛЮАР — ...По ступеням необозримой лестницы надежды (Стихи разных лет) 187

КРИТИКА

Е. РЯУЗОВА — «Время Зеленого Мыса настало!» (О креольской литературе островов Зеленого Мыса) 192
ПЕТЕР ЮХАС — К ясности взгляда (Заметки о современной венгерской новелле) . . 199

11

НОЯБРЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ДЖОЗЕФ НОРТ — Вокруг тридцатых . . . 204

ПУБЛИЦИСТИКА

ГИЛЬЕРМО ГАРСИА ПОНСЕ—Побег из тюрьмы Сан-Карлос 212
КАРЛОС БЕЙКЕР — Жизнь Эрнеста Хемингуэя (Главы из книги. Продолжение) . . 234

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Е. РЯБОВА — «Лучше тоньше, да лучше» (Ответы югославского поэта Радована Зоговича на вопросы редакции) . . . 253

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

БЕЛА УИТЦ (Публикация В. Шалабаевой) . . 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Михаил Курганцев — Десять африканских поэтов. ◇ Владимир Огнев — «Мечты защищайте мечами!». ◇ Л. Зонина — Человек на войне 262

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Морис Вакмахер — «Начинается время надежды...». ◇ В. Крылова — Где река обрела свои семь звезд. ◇ А. Опульский — «...Мир так прекрасен». ◇ Ю. Архипов — На авансцене современной австрийской драматургии 267

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА . . . 287

На обложке: плакат венгерского художника БЕЛЫ УИТЦА «Красные солдаты, вперёд!»

ЙОРДАН МИЛЕВ

ШАЛАШ

ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ

■

Перевод с болгарского
ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

Владимир Ильич
снова стоит на берегах времени.
Протуберанцами
взрываются слова его —
орудие борьбы.
Зеленые мачты сосен
подымают паруса,
готовые отплыть
в водоворот событий,—
я вижу их, маленькие фрегаты,
не мирящиеся со штилем.

Я сажусь на первый из них.
(Сегодня сильная радиация.)
Внезапно
ракушка становится телефонной трубкой.
— Алло. Алло... Временное правительство?
Вызовите себе карету скорой помощи!

***

Стою один.
А над Разливом
мглу сеет север. Тихо плещет
под ветром озеро.
Идет
ко мне единственная лодка —
иль это только моя мысль,
виденье, вызванное взглядом
из прошлого, из дней июля...
Вот «финн»-косарь ступил на берег.
Смолк говор весел.
На земле
блестит коса — ведь сенокос.

И должен человек косить
зеленую траву,
увядшие цветы былого...

Не знаю,
как это — в небольшой шалаш
земля великая вместилась!

Но здесь она.
Смотрите — вот!
В его зеленом кабинете
шумит трава неторопливо,
и мысли о путях планеты,
как глыбы, громоздятся вновь.
Пылают зори на рассвете.
И знают все — настал черед
шуметь не одному Разливу —
должна вскипеть людская кровь.

***

Шалаш...
Окошко в звездах. Из веток стены.
Сено
апрелем пахнет — возвращеньем
из тех десятка лет, прошедших
вдали от Питера
и от России, но с Россией в сердце...
Дышит поезд.
Локомотив свистит.
Слышу... в простуженных лесах
балтийских
поют бессонные колеса,
шумит полночная вода.
Россия спит. Спят временные.
Спят пассажиры, и им снится
их кочегар...
Грохочет топка.
Как он работает! Не знали
такого раньше ни Финляндия,
ни машинист, ни вся земля!

В ночи — янтарь горячий! —
светит
распахнутая печь,
сгорают

сердца в огне,
умы пылают
от небывало дерзких мыслей,
так жарко — миг еще, и вспыхнет
весь мир — и Питер, и Сибирь.

...Торопятся матросы.
Площадь
заполнило людское море,
колышется. И ночь черна,
но не чернее нашей му́ки...

На виду у всех
по молчаливому перрону
идет Ильич...
Нет, нет нам больше
пути назад.
А по ступеням —
слова, им врубленные в камень.
багровые:
«Вся власть Советам!»

***

Владимир Ильич,
я ведь тоже спал в шалаше;
в августе ночью
я был на Балтике,
вот этой —
что от глаз и пуль тебя укрывала;
испытал
ветры Шушенского и одиночество;
однажды на паровозе
потел кочегаром;
хотел,
чтоб и меня в Петропавловку
заточили;
в тишине библиотек
вгрызался в книги;
и еще —
чего только ни делал, лишь бы,
лишь бы разгадать:
отчего
и как, и какое время
нужно земному нашему миру,
чтобы от человека родился —
так же, как все другие,—
чтобы могли
возникнуть такое чело,
такая простота, такое сердце,
полное огня,
ум — молний, глаза — солнца,
и называться
«Ленин»?

***

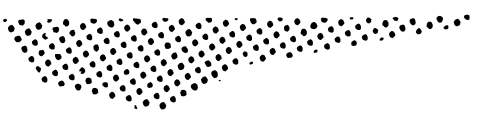
Незаметно сгораю
в свете ленинских глаз —
мире, рожденном от мысли
и пламени
человеческой крови.

Вдали —
в северных туманах, в туманах южных —
по земному шару
подымаются Петрограды —
с зимними дворцами или летними —
все равно.

Над Разливом
утро встает, как береза,
заслонившая белыми ветками тьму.
День — это лист,
осыпанный росой и надеждами.

Я ухожу.
У недремлющих волн,
в шалаше Ленина,
в шалаше воспоминаний
остается мое сердце.
И если ночь
услышит говор весел,
и топки свет
опять прорежет мрак —
пусть и оно
над головами сосен
заплещет, словно флаг!

Алло. Алло... Временные правительства,
вызовите себе
карету скорой помощи!



АНХЕЛЬ АУХЬЕР

В МАВЗОЛЕЕ

Перевод с испанского
ПАВЛА ГРУШКО

Ты есть! И ты не спишь, хоть и похоже,
что не глядят твои глаза. Но нет —
глаза не спят. И свет, омывший ложе,
в тиши взволнованной,— не мертвый свет.

Похоже, будто этот свет струится
от ясного крутого лба,
звуча,
как светоносный голос твой провидца,
как плеск живой студеного ключа.

Недвижен ты. Но разум твой — движенье:
он как полет лучей из темноты,
в нем чувствуется ветра напряженье
и бесконечный гул земной среды.

И руки живы. В их простом покое
есть скрытое волненье и порыв,
так розы пробуждаются весною,
томятся зерна в теплой глуби нив.

Ты есть! Ты здесь. Бессонный, как и прежде.
К тебе все человечество пришло,
не к мертвому — к живой своей надежде,
чтобы твое почувствовать тепло.

Нетленным будет труд правдивый твой,
как ветка с вечно свежею листвой.

АЛЕКС ЛА ГУМА

Каменная страна

РОМАН

Перевод с английского
И. ГУРОВОЙ

ЧАСТЬ I

1

— Сидеть нам тут и на рождество,— сказал Джордж Адамс.

Юноша ничего не ответил.

Они были в камере одни. Джордж Адамс стоял у двери и смотрел в зарешеченное, затянутое проволочной сеткой окошечко. Ему был виден бетонный коридор, тянущийся через весь второй этаж изоляторного корпуса, и лестница в конце коридора, ведущая на первый этаж. И окно над лестницей, за которым горел на солнце квадрат асфальта — крохотный кусочек двора. Солнце было таким ярким, что казалось, будто смотришь на асфальт сквозь желтое стекло.

Джордж Адамс нашарил в грудном кармане сигарету и закурил. Выпустив струйку дыма, он смотрел, как она разбилась о сетку и облачком поплыла по коридору.

— Который теперь час, как по-вашему? — спросил юноша, прозвище которого было Малыш Касба.

— Не знаю. Должно быть, четвертый,— сказал Джордж Адамс и вспомнил, что Малыш Касба, наверно, уже никогда не выйдет из этих стен и время для него скоро остановится.

— Скоро ужин. Ну, да нам все равно до завтра жрать не дадут, чтоб им! — сказал юноша. Голос у него был холодный и равнодушный. Разбитая и опухшая верхняя губа почти не шевелилась.

— Ничего, наверстаем завтра. Получим свою порцию кукурузной каши. Ты очень голоден?

— Обойдусь без их кошачьей башки,— буркнул юноша.

Обычно он говорил редко и неохотно, словно слушая себя со стороны. Но теперь, наедине с Джорджем Адамсом, он как будто держался менее настороженно. И все же у Джорджа Адамса было такое ощущение, словно каждый раз, начиная разговор, ему приходится дергать заклинившуюся дверцу сейфа.

Джордж Адамс тоже был наказан лишением обеда и ужина, и ему не на шутку хотелось есть. Он не сомневался, что и его соседа, который к тому же не завтракал, мучит голод, но понимал, что тот никогда в этом

не признается. «А, ладно! — подумал Джордж Адамс.— Это ведь не праздничный домашний обед, чтобы о нем жалеть!»

В камере было жарко, и Малыш Касба лежал на веревочной циновке, накрытой рваным одеялом, в одних истрепанных старых джинсах и резиновых туфлях. Стены камеры, в нижней части серые, как линейный корабль, а в верхней желтовато-белые и повсюду одинаково грязные, были испещрены надписями — и выцарапанными по краске, и выведенными карандашом: обычная тюремная литания бесчеловечности человека по отношению к человеку. «Тут сидел Гус за кражу со взломом», «Джонни Бил, ты сволочь», «Не видать мне больше синего неба», «Тут сидели фартовые ребята», «Не верь бабам, пожалеешь», «22 мая Уилли Кинг получил четыре года за изнасилование», «А мне висеть, ну и плевать».

И перезрело-пышные голые женские фигуры, и удивительно художественные натюрморты черным и белым, и бесчисленные призывы к богу — человек XX века, загнанный назад, в пещеру.

Где-то снаружи из испорченного крана медленно и безостановочно капала вода.

Джордж Адамс отошел от железной двери, вернулся к своей циновке и сел на нее, прислонясь спиной к исписанной стене. Он был невысок, с кожей цвета старой меди, темными курчавыми волосами, густыми сросшимися бровями, лицом слегка негроидного типа и глубоко посаженными веселыми, дружелюбными глазами, которые поблескивали, как новые монеты.

Он хотел было бросить сигарету в жестянку из-под сардин, служившую им пепельницей, но вдруг спохватился и протянул окурок юноше.

— Хочешь разок затянуться?

— Спасибо.

— А как губа?

— Ничего.

Не сделав ни одного лишнего движения, Малыш Касба взял окурок, затянулся и пустил дым в потолок.

Где-то рядом, нарушив устоявшуюся тишину, печальный истовый голос запел «Ближе, господь мой, к тебе».

Малыш Касба с легким презрением сказал сквозь колеблющуюся завесу дыма:

— Псалом! — и добавил словно с неохотой: — А вам что, не очень улыбается просидеть тут рождество?

Джордж Адамс усмехнулся.

— Да нет. Ну, конечно, приятней встречать праздник со своей семьей. Повеселиться.

— Угу. Выпить. В церковь сходить. А вы в церковь ходите, мистер?

— Ходил в детстве.

Юноша раздавил окурок, встал, подошел к бачку в углу и налил воды в жестяную кружку. Между глотками он говорил:

— Рай, ад... А мне все едино... куда я попаду... когда меня вздернут.

Голос его оставался равнодушным и безразличным, словно диктор на вокзале сообщал об отходе очередного поезда.

Джордж Адамс посмотрел на юношу, и его сердце сжалось. Где-то неподалеку, но уже в другом мире набожный каторжник продолжал тянуть псалом. Малыш Касба поставил кружку и пошел назад к своей циновке, осторожно вытирая ладонью разбитую губу.

Ему было девятнадцать лет, гибкая подвижная фигура и коротко остриженные волосы делали его похожим на японца-военнопленного. Над вздувшейся верхней губой топорщились юношеские усики.

Он улегся на свою постель и стал чесать под мышками. Джордж Адамс посмотрел на него и спросил:

— А ты об этом вовсе не думаешь?

— О чем еще?

— Я говорю не про рай или ад, а... а...— ему не хотелось произносить вслух эти слова.— Если тебе...

— Если мне дадут петлю?

— Ну... да.

— Плевать. Вот что, мистер, вы ведь когда-нибудь помрете, верно? Мы все помрем. Слушайте, мистер, я подколол одного парня. Он сдох. Так ему было на роду написано. Я так считаю: всякому его смерть на роду написана.— Он задумчиво погрыз ноготь и посмотрел на него.— И мне, и вам, и... и этому, Мяснику.

— На роду написано? Ты так думаешь? Но если наша жизнь предопределена заранее, так какой же смысл бороться, чтобы ее изменить?

— А никакого, мистер. Ничего изменить нельзя.— И он откусил заусеницу на большом пальце.

— Но послушай! Люди все время борются, чтобы все изменить.

— Верно. А получают фигу.

Джордж Адамс поглядел на мальчика и грустно покачал головой. Он спросил:

— Конечно, теперь уже поздно об этом говорить, но тебе не жалко того, кого ты убил?

Малыш Касба смерил его взглядом.

— Кого? Ах, этого! Жалко? А чего тут жалеть? Я же вам говорю, мистер, так ему на роду было написано. Я, значит, стою в подъезде. Так? А этот фраер идет мимо. И выпивши. Ну, я его остановил и стал шарить по карманам. А на нем часы на золотой браслетке. И не отдает, гад. Полез драться. Ну и понюхал ножа. А меня сцапали через три недели и нашли при мне часы. Вот так, мистер. И я не скулю. Значит, так мне было на роду написано, верно?

— Но послушай...

Малыш Касба угрюмо перебил его:

— Хватит, мистер. Вы, видно, умный. И язык у вас хорошо подвешен. Ладно. А в это не лезьте. Поняли? А меня вздернут. И плевать. Моего старика вздернули, ну и что?

— Твоего отца повесили? — спросил Джордж Адамс.— Твоего отца?

Но Малыш Касба отвернулся к стене, вновь укрывшись за щитом упрямого молчания.

Псалмопевец уже перешел на «Мы пашем ниву и сеем доброе семя». Но теперь в его пение вплетались другие звуки. Внизу, на кухне позади изоляторного корпуса, звякали крышки котлов, раздавались голоса: «Триста шестьдесят пять для цветной предварилки. Взял кашу для банту? Двадцать три в лазарет. Для каторжников готово?» Любитель псалмов продолжал петь, но тут надзиратель приказал ему заткнуть глотку. Послышался стук открываемых тяжелых дверей, и поднялся глухой ропот множества голосов, точно где-то далеко заблеяло овечье стадо — это принесли ужин и заключенных выпускали из камер.

Джордж Адамс поудобнее вытянулся на циновке, размышляя о странном юноше, лежащем напротив, чей отец был повешен.

2

Битком набитый тюремный фургон дергался, набирая скорость, и люди падали друг на друга, локти упирались в ребра и скулы, слышались ругательства. Потом фургон пошел ровнее и кое-кто запел. Люди, загнанные в большую стальную коробку, теснились на металлических скамьях, кучей сидели на полу, а те, кому не хватило места сесть, стояли,

кое-как цепляясь за металлический потолок. В кузове было жарко, в спертом воздухе мешались запахи пота, кислого дыхания и грязной одежды.

Джордж Адамс влез в фургон одним из первых и теперь был притиснут к стенке шоферской кабины валом потных мышц, жестких колен и переминающихся ног. Его окружала мозаика лиц: старые лица, молодые лица, пожилые лица; лица, заросшие щетиной и испещренные шрамами; опухшие лица и изможденные лица; злобные лица и добрые лица; лица унылые, равнодушные, веселые, испуганные, жестокие. Казалось, это тесное пространство, ограниченное стальными стенками, вместило весь опыт человечества. Теперь пели почти все. Некоторые приникли к вентиляционным щелям в стенках фургона, свистом и воплями оповещая остальных, когда им удавалось увидеть что-нибудь на улице. Пение, свист, крики сливались в монолитную глыбу звука. Фургон резко повернул, копошащаяся людская масса качнулась, и пение перебилось руганью.

Джордж Адамс оглядывал окружающих и думал, что нехудо было бы как следует вымыться. Кожа от пота стала липкой, он не брился уже несколько дней, во рту был медный привкус. «Принять бы ванну!» — подумал он. И ему стало смешно. «Принять ванну» на блатном жаргоне означало «попасть в тюрьму». Ему хотелось курить, но он был так сжат навалившимися на него телами, что не мог сунуть руку в карман за сигаретами. Стена голов заслоняла от него Джефферсона.

Ему вдруг улыбнулась морщинистая коричневая физиономия, открылись гнилые зеленоватые зубы. Обдав его лицо смрадным дыханием, она крикнула:

— Ничего, приятель! Ничего! Верно я говорю?

— Верно.

Джордж Адамс улыбнулся морщинистой физиономии. Она закивала, ухмыляясь, и Джорджу Адамсу вдруг захотелось узнать, какое преступление привело сюда этого человека.

Фургон все еще катил и катил вперед; потом возмущенно завизжали тормоза и он остановился. Поездка от здания суда до тюрьмы заняла около четверти часа. Пение смолкло, затекшие тела готовились вырваться на простор.

Тюрьма стояла высоко над городом и портом — угрюмая широкая ограда из бурого камня, серой штукатурки и бетона, а внутри тесный лабиринт зданий из кирпича и того же камня.

Построена она была в прошлом веке, во времена королевы Виктории, и долгие годы обрастала дополнительными корпусами, перестраивалась, а так как выйти за пределы наружной стены она не могла, то превратилась в настоящий кроличий садок камер, карцеров, коридоров и двориков.

Снаружи угрюмость ее фасада смягчали клумбы и газоны: зловещий лик палача скрывала маскарадная личина. Медные украшения на дверях главного входа были начищены до блеска, а мощеная дорожка перед ней содержалась в безукоризненной чистоте, словно каждую минуту здесь могли появиться высокопоставленные посетители. Тюрьма ждала, точно разряженная больная проститутка, готовая обнять ничего не подозревающего клиента.

Фургон задним ходом подъехал к огромным воротам из дерева и металла. Внутри было слышно, как защелкали замки на двери фургона, и по кузову пронесся нетерпеливый ропот. Дверь распахнулась — придерживая ее одной рукой, на арестованных смотрел надзиратель в тюремной форме. Другая его рука сжимала толстую пачку пропусков. По другую сторону двери встал второй надзиратель с пистолетом в кобуре.

Тот, который держал дверь, скомандовал:

— Выходи! Выходи!

Толпа в кузове качнулась вперед, и арестанты по одному начали спрыгивать с металлической приступки и исчезать за дверью в створке ворот, а надзиратели считали выходящих.

Джордж Адамс протолкался мимо тех, кто почему-то хотел выйти последним, и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Спрыгнув на землю, он переступил порог. За дверью под аркой еще один надзиратель с большим ключом в руке тоже сосчитал его. Он был очень тощ, его розовое лицо казалось узким и жестким, как поставленная на ребро крышка кастрюли, глаза смотрели холодно и равнодушно, а губы отсчитывали:

— Двадцать три, двадцать четыре... тридцать один...

Ключ в его руке поднимался и опускался в такт счету, точно металлическая рука робота.

— ...тридцать восемь, тридцать девять...

За спиной этого надзирателя проход перегораживала стальная решетка, за которой виднелся передний двор. У калитки в этой решетке стоял еще один надзиратель с ключом и тоже считал проходящих мимо него арестантов.

В переднем дворе перед канцелярским корпусом их ждали новые надзиратели и каторжники из цветных в холщовых брюках и синих куртках. Они кричали:

— Стройся! Стройся! По двое, по двое!

Они кричали, чтобы как-то использовать жалкое подобие власти, которой облекли их бдительные хозяева; руганью и тычками они, рыча, как псы на сворке, заставляли медлительных арестантов строиться в колонну по два.

Во дворе за железной решеткой и калиткой все было пронизано холодом, словно дневной зной сразу куда-то исчез. Сумрачная тень каменных стен по сторонам двора казалась такой же угрожающей, как застывшие лица надзирателей в плоских фуражках, как их ледяные глаза, которые подозрительно высматривали малейшее нарушение дисциплины.

Надзиратели и заключенные одинаково были подневольными обитателями иной страны, иного мира. Это был мир, лишенный красоты, лунная пустыня камня, стали и запертых дверей. В этом мире не росли деревья, и тень отбрасывали только отвесные утесы стен; единственные ароматы, которые он знал, исходили от параш и канализационных шахт. Летом этот мир изнывал от палящей духоты, а зимой стучал зубами от холода. Единственная музыка, которую допускал тюремный устав, слагалась из шлепанья босых подошв, шарканья сапог, окриков, стука дверей и побрякивания тяжелых ключей. Все остальное уже отдавало бунтом.

Когда арестанты построились парами, надзиратель с пачкой пропусков начал выкрикивать фамилии, арестанты один за другим отзывались и исчезали в дверях канцелярского корпуса. Тех, кто мешкал, каторжники поторапливали новыми тычками, а еще один надзиратель — резким окриком.

— Джеймс Хэннес...

— Тут, баас.

— Филип Мартин...

— Я, баас!

— Генри Сэмпсон...

— Тут я, хозяин.

Оборванцы из трущоб, трясущиеся алкоголики, хулиганы в дешевых костюмах самой яркой расцветки и с рыскающими глазами, убийцы, грабители, взломщики, карманники, насильники, бродяги и просто люди, просрочившие вид на жительство, спотыкающейся вереницей вливались в распахнутую дверь.

Один раз надзиратель неверно произнес африканскую фамилию, и

когда вызванный отозвался не сразу, на него обрушился град ругательств и угроз.

— Пошевеливайся, черномазый, так тебя и растак! Ты что, у себя в резервации?

— Энтони Лангефельт...

— Я, баас.

— Самуэл Принс.

— Тут, баас.

— Уильям Папагаай.

— Вот он я.

— Это что еще за фамилия? Черт, ну вылитый попугай!

Арестант угодливо хихикнул, а за ним робко засмеялись и другие.

— А ну, заткните пасти, подонки! Это что вам, цирк?

Сразу наступила тишина, побагровевший надсмотрщик обвел свирепым взглядом колонну арестантов и снова опустил глаза на пачку пропусков в толстой розовой лапе.

Джордж Адамс встал рядом с Джефферсоном и, дернув его за рукав, шепнул:

— Ну, вот мы и тут, брат.

— А, ерунда! — прошептал Джефферсон.— Я уже один раз через все это прошел. Когда было объявлено особое положение.

— А мы будем вместе?

— Нет, к сожалению. Эта тюрьма — маленький образчик того, во что они хотят превратить всю страну. Тут все сидят отдельно, братец: белые, африканцы, цветные. Для каждого — свои правила и белый надсмотрщик с пистолетом и дубинкой,— он усмехнулся, показав ослепительные зубы.

Джефферсон был одного роста с Джорджем Адамсом, но более широк в плечах. Блестящие глаза на широком африканском лице были в непрерывном движении, точно ящерицы гекко.

— Ну, да все будет хорошо,— докончил он.— Черт с ними!

— Черт с ними,— согласился Джордж Адамс, но, когда он услышал свою фамилию, сердце у него екнуло и он неуклюже рванулся вслед за арестантом, вызванным перед ним. Он вошел в дверь и торопливо зашагал по узкому коридору, вымощенному истертыми белыми и розовыми плитами. Плиты сменились истертыми досками — начался другой коридор. Потянуло затхлостью и пылью. Затем он очутился в большом зале с дощатым полом и серыми стенами, вдоль которых тянулись полки, уставленные большими плоскими регистрационными книгами. Дальний конец зала был отгорожен широким барьером.

Арестанты сгрудились у стены, переминаясь с ноги на ногу, перешептываясь, а за барьером тюремные писари и двое тюремных старост из белых заключенных что-то писали, перебирали анкеты, листали большие книги. Те, кто вошел позже, оттеснили Джорджа Адамса в гущу толпы.

Теперь его сердце билось ровнее, но ему по-прежнему было не по себе, точно иммигранту, который приехал в чужую незнакомую страну и не знает, что с ним будет дальше. Потом он подавил это чувство, заставил себя забыть о нем, осудил его, запер на замок. «Как будто учишься плавать,— подумал он.— Сначала захватывает дух от ледяной воды, а потом приспосабливаешься и держишь голову на поверхности».

Он оглянулся, вытягивая шею,— в лицо ему ударило кислое дыхание человека, который стоял сзади. Джордж Адамс поискал взглядом Джефферсона и увидел его в заднем ряду. Джефферсон улыбнулся и ободряюще поднял большой палец.

Теперь пачка пропусков перешла в руки писаря, стоявшего за барьером, а один из тюремных старост намазал чернилами плоскую плитку,

готовясь снимать отпечатки пальцев,— каждый арестант по прибытии в тюрьму должен был поставить отпечаток больших пальцев на своей анкете. Снова началась перекличка.

— Сулейман Адамс...

— Я, баас.

Вызванный шагнул вперед, и надзиратель, прикрикнув, чтобы он расслабил пальцы, схватил его сначала за одно запястье, потом за другое. На анкете отпечатался левый большой палец, затем правый, а арестанту было велено отойти в сторону.

— Самуэл де Брейн.

— Тут, баас.

— Альберт Марч...

— Джон Соломонс...

— Как штык!

К столу пританцовывающей шутовской походкой бывалого уголовника подошел тощий коротышка и прижал большие пальцы к своей анкете. Потом обтер их о волосы и направился к широкой арке с двумя ступеньками, которые вели вниз, в камеру хранения.

— Куда это ты попер?

— Так ведь, начальник, мне же сюда или нет?

— А ну, назад, сволочь!

Коротышка зашаркал назад, подмигивая остальным арестантам и ухмыляясь.

— Джозеф Экермен...

— Здесь!

— Титес Бикмен...

— Это я.

Те, до кого очередь еще не дошла, перешептывались:

— Слышь-ка, Горилла Абрамс еще в предварилке?

— Нет, приятель. В прошлом месяце получил пятнадцать лет.

— Где будешь спать?

— В Большой камере.

— Ничего не выйдет. Ты же еще предварительный. Пойдешь куда пихнут.

Тем временем приговоренным было приказано отойти в сторону и раздеться. Теперь они стояли, сбившись в кучку, держа узелки с одеждой, и ждали, чтобы после новой переклички им выдали казенные штаны и рубаху. За ними следил младший надзиратель, совсем молодой цветной парень в вылинявшей гимнастерке и огромном тропическом шлеме, который казался нелепым на его маленькой голове. Он сурово хмурился, стараясь держаться со спокойным достоинством и не замечать усмешек и перемигивания своих подопечных.

По ступенькам в зал из-под арки поднялся еще один надзиратель — невысокий, с грудью и плечами молодого медведя. Брюки цвета хаки обтягивали толстые, кривые, как у шимпанзе, ноги. Белобрысые волосы были пострижены под машинку. Рот на круглом скуластом лице стягивался в розовую пуговку, под белобрысыми бровями плоскими стекляшками поблескивали маленькие голубые глаза. Обычно розовые щеки сейчас побагровели от злости и нетерпения. Войдя в зал, он вдруг ринулся на арестантов, оказавшихся у него на пути,— люди отлетали к стене, теряли равновесие, неуклюже взмахивали руками.

— Чтоб вас! — ревел он.— Вы что, в пивной?

Он остановился, угрожающе пригнувшись, посреди этого претенциозного зала с пропылившимся викторианским лепным потолком и серыми убогими стенами. Голубые глазки свирепо впивались в прижавшихся к стене арестантов, потом белобрысый надзиратель отвернулся и посмотрел в сторону барьера.

— Ну, долго вы еще? — спросил он.— Мне же надо зарегистрировать барахло этих ублюдков.

Надзиратель, снимая отпечатки очередных пальцев, сказал:

— Мы уже кончаем. Но Мьюлину еще нужно заполнить карточки.

— Я и так тороплюсь как могу,— огрызнулся писарь. Он сидел за столом позади барьера и заполнял маленькие карточки, заглядывая в анкеты, которые ему передавали одну за другой. В карточки заносились фамилия и номер арестованного и предъявленное ему обвинение.

— У меня дежурство кончается,— проворчал белобрысый.— А тут задерживайся из-за этой мрази!

Он обвел зал злобным взглядом. Арестанты затихли, почувствовав в нем свирепого врага.

И вдруг он безо всякой причины снова разразился яростными криками:

— Вы что, отдыхать сюда явились? Это тюрьма, а не санаторий! Поняли?

Повернувшись на каблуках, он спустился по ступенькам и исчез в нижнем помещении.

Остальные надзиратели, подхлестнутые его нетерпением, заторопились. Фамилии выкрикивались одна за другой, и арестанты кидались к барьеру, толкая друг друга. Писарь, заполнивший регистрационные карточки, буркал фамилию, отбрасывал, не глядя, готовую карточку и принимался за следующую, так что арестанты путались и хватали чужие.

— Абрахем Хендрикс... Уильям Джонсон, кража со взломом... Черт бы побрал эти фамилии... Джозеф Коллинз... Питерсон... Обри... Сэм Баатьсс, изнасилование, э?

Младший надзиратель отвел голых каторжников к большому мешку с предназначенной для них одеждой — штаны из парусины или чертовой кожи и линялые красные рубахи.

Надзиратель, снимавший отпечатки пальцев, продолжал выкрикивать фамилии, словно соревнуясь с писарем. Солнечный свет в зарешеченных окнах позади барьера начал меркнуть.

— Джордж Адамс! — крикнул писарь, потом вдруг остановился, перечитал то, что написал, и, подняв голову, посмотрел на Джорджа Адамса.— Еще один коммунист! Да к тому же дегтем мазанный? Эту поганую тюрьму доверху набили коммунистами.

Писарь ухмыльнулся — его угрюмое лицо словно перерубили топором от уха и до уха. Он повернулся к своему товарищу.

— Нет, ты погляди на него, старик! Как по-твоему, будет он премьер-министром?

Надзиратель, снимавший отпечатки пальцев, оглянулся и, не прерывая своего занятия, сказал с усмешкой:

— Где ему! Ростом не вышел.

Писарь расхохотался и швырнул карточку Джорджу Адамсу, который ловко поймал ее на лету и отошел, мысленно выругавшись, а писарь уже выкрикивал:

— Альберт Марч, убийство...

Джордж Адамс присоединился к тем, кто уже побывал у барьера, и посмотрел на свою карточку. В ней значилось: «Н-ская тюрьма. Предварительное заключение». Затем следовали номер, его фамилия, дата и «предъявленное обвинение: принадлежность к нелегальной организации». Он сунул карточку в грудной карман и подошел к Джефферсону, который еще ожидал своей очереди.

— Получил карточку? — сказал Джефферсон.— Вот что: береги ее. Ты обязан всегда иметь ее при себе. Смотри не потеряй, не то эти голландцы зададут тебе жару.— И добавил с усмешкой: — Карточка тут — это как вид на жительство.

— Если здешняя сволочь себе что-нибудь позволит, я устрою скандал,— ответил Джордж Адамс.— Вот увидишь.

Он сунул руку под рубашку и поскреб под мышкой. Эх, вымыться бы сейчас! И побриться — на лице словно не кожа, а наждачная бумага.

Человек, стоявший рядом, оглядел его и спросил:

— Вы что, оба политические?

— Да,— ответил Джордж Адамс.

— У нас не правительство, а дерьмо. Некоторых из ваших вчера освободили под залог.

— Да? А сколько человек?

— Точно не скажу, приятель. Только из его компании — никого,— он кивнул в сторону Джефферсона.

— Мое дело отложили на месяц. Без права залога,— сказал Джордж Адамс.

— Не правительство, а дерьмо,— шепнул в ответ его собеседник.— Нам нужна ри... риверлюция.

Тут их погнали под арку в нижнее помещение для проверки личных вещей. Личные вещи пересылались из полицейских участков в специальных мешках, и тюрьма принимала их в присутствии владельцев. Все снова выстроились в ряд перед еще одним барьером, за которым сидел уже знакомый им сердитый белобрысый надзиратель и помогавший ему тюремный староста.

Одного за другим арестантов вызывали к барьеру. Староста монотонной скороговоркой перечислял содержимое мешка, а надзиратель сверял его с описью. Вещи, которые разрешалось иметь при себе в предварительном заключении, тут же возвращались владельцу. Джорджу Адамсу вручили его безопасную бритву и полупустую пачку сигарет, а также сообщили, что в тюрьме ему открыт счет на пятьдесят восемь центов.

Он отошел от барьера, рассматривая бритву. Полотенце ему дали, но пакетика бритвенных лезвий, который его квартирная хозяйка переслала ему в участок, не вернули, и он подумал, что, пожалуй, стоит отпустить бороду. Возвращаясь на свое место, он с кем-то столкнулся и, очнувшись от задумчивости, пробормотал:

— Извини, приятель.

Они встали у стены рядом, и Джордж Адамс увидел юное, почти детское лицо с чуть пухлыми, нежными, как у младенца, щеками и ожесточенно сжатым ртом. Глаза были серые и холодные, как камешки на морском берегу во время отлива — и никогда не улыбались, решил Джордж Адамс. Волосы на маленькой круглой голове были острижены под машинку, кожа отливала желтизной, как давно обглоданная кость.

Джордж Адамс сказал шепотом, пробуя завязать разговор:

— Ну как, приятель?

— Ничего,— ответил юноша колюче. Каменные серые глаза по-прежнему смотрели мимо Джорджа Адамса.

— А ты тут за что?

— За убийство,— последовал рассеянный ответ.

«Господи! — подумал Джордж Адамс.— Убийство? Он же еще мальчик!»

Это спокойное равнодушие почти испугало его.

В эту минуту надзиратель крикнул: «Альберт Марч» — и юноша пошел к барьеру. На прежнее место рядом с Джорджем Адамсом он не вернулся.

Джордж Адамс шепнул Джефферсону, стоявшему рядом:

— Совсем мальчишка — и убийство!

Нахмурившись, он добавил:

— Но, может, тут какая-нибудь ошибка. И убил не он.

Он продолжал думать об этом, когда надзиратели с криком и руганью начали отделять африканцев от цветных.

— Ну, пока, Джордж! — Джефферсон улыбнулся, подмигнул и, задев его плечом, исчез под аркой.

Тех, кто остался, построили парами, и надзиратель скомандовал:

— Пошли!

По двум ступенькам они поднялись в первый зал, где писари и тюремные старосты все еще возились со списками и регистрационными книгами, и снова вышли во двор. Солнечный свет уже не озарял каменные стены, но он пронизывал синюю квадратную плиту неба в вышине, словно насмехаясь над ними, а они прошли через двор, спустились по наклонному проходу, у которого, застыв в неподвижности, стоял цветной часовой и смотрел куда-то вдаль, точно деревянная фигура на носу старинного парусного корабля. Еще один надзиратель отпер решетчатую калитку, и они очутились в следующем дворе, совсем пустом в этот вечерний час. По двум его сторонам тянулись камеры; глазки на железных дверях были прикрыты железными крышками — точно выстроились в ряд циклопы и каждый заклеил пластырем единственный глаз посреди лба. Сюда же выходили задние стены корпусов, внутри которых камеры располагались в два этажа. Они прошли и этот двор — еще один надзиратель отпер железным ключом еще одну решетчатую дверь, которая вела в узкий сводчатый туннель под двумя корпусами. Пройдя туннель, они очутились в третьем дворе между административным корпусом, кухней, стеной с аркой, за которой находилась больница, и высокой решеткой, отделявшей две секции предварительного заключения — для цветных и для белых.

Пятна пленного солнечного света лежали на асфальте двора, перемежаясь широкими треугольниками и прямоугольниками серых теней — все это слагалось в двухцветный абстрактный узор.

Через двор к кухне скользнула пестрая тюремная кошка — толстая и пушистая.

Сопровождающий крикнул:

— Давай раздевайся!

Некоторые уже начали раздеваться, не дожидаясь команды, и остальные теперь последовали их примеру. Надзиратель следил за ними, похлопывая себя по ноге ременной петлей дубинки.

Пока они раздевались, по железной лестнице во внутренний дворик секций спустился еще один надзиратель. Поглядывая на свои часы, он достал ключ и отпер калитку в решетке, отделявшей большой двор от внутреннего дворика.

— Мыться, мыться! — скомандовал он и добавил, обращаясь к сопровождающему: — Чего так поздно?

— Уж очень большая партия дерьма,— ответил тот, ухмыляясь.

Джордж Адамс снял брюки и куртку и начал расстегивать рубашку. Те, кто успел раздеться раньше его, кидались через калитку нагишом, а надзиратель обыскивал снятую одежду, осматривая рубашки и штаны с осторожностью ученого, работающего с особо опасными бациллами. Но прежде, чем Джордж Адамс успел пройти в душевую, надзиратель снова взглянул на часы и крикнул:

— Эй, довольно!

Потом он объяснил сопровождающему:

— Черт подери, я ждать не буду. Мне пора. Эта сволочь может вымыться и утром, ну их к дьяволу. Я не собираюсь работать сверхурочно!

Сопровождающий пожал плечами, и надзиратель махнул рукой тем, кто еще ждал рядом с Джорджем Адамсом, чтобы они вошли во дворик.

— Живей, живей! — командовал он.— Поторапливайтесь!

Они подобрали узелки со своей одеждой — те, кто успел побывать

под душем, подпрыгивали и приседали, чтобы немного обсохнуть,— и вошли в секционный дворик. Надзиратели начали разводить их по камерам, отпирая и тут же запирая двери.

Джордж Адамс брел по дворику, ощущая сквозь носки тепло нагретого за день бетона. Он успел надеть брюки, но куртку и башмаки нес под мышкой. Рука надзирателя втолкнула его в камеру, и он увидел четырех людей, которые сидели на циновках и, почесываясь, глядели на него. Дверь за ним захлопнулась, ключ заскрипел в замке, и один из сидящих спросил:

— Тебе, приятель, оставили твои вещи?

— Да, друг,— ответил Джордж Адамс, улыбнулся ему и подумал, что вымыться ему так и не удалось.

3

В зале канцелярии писарь встал из-за стола и вышел за барьер, размахивая пачкой документов.

— А где эти повторники?

— Вон там,— ответил его товарищ, указывая на одну из боковых дверей.— Это те, которые напали на надзирателя.

Писарь подошел к двери и рявкнул:

— Ну-ка, выходите!

Из двери вышли три босых человека в тюремных парусиновых куртках, красных рубахах и шортах. Они встали у стены, писарь сверил их регистрационные карточки со своими бумагами и вернулся к столу. Он расписался на сопроводительном формуляре и отдал его надзирателю, который привез их из другой тюрьмы. Здесь, в городской тюрьме, им предстояло ожидать суда.

Они стояли неподвижно, и лица их ничего не выражали — это были опытные заключенные, постигшие все тонкости тюремной жизни. Казалось, они ничего не замечали вокруг, но на самом деле они готовы были в любой момент включиться в действие — точно электрические счетчики после поворота выключателя. У одного из них левую щеку от брови до подбородка рассекал рубец ножевой раны, и от этого его лицо казалось перекошенным; словно его наскоро набили соломой и кое-как зашили. У всех троих головы были выбриты, а губы угрюмо сжаты.

Пока шла общая регистрация, они стояли у внутренней двери и наблюдали за происходящим. Когда коротышка Джон Соломонс, услышав свою фамилию, принялся приплясывать, как клоун, двое из них вдруг засмеялись. Солли обернулся, изобразил на своем лице яростное негодование и крикнул: «Чего регочете, падла?» Тут на него прикрикнул надзиратель, и он, пританцовывая, отошел, а человек со шрамом улыбнулся зубастой улыбкой.

Теперь они ждали, выстроившись у стены, а потом по команде надзирателя гуськом пошли за ним. Он быстро провел их по тихим дворикам и переходам во двор, где напротив секции предварительного заключения темнел изоляторный корпус.

4

Лампочка за толстым стеклянным плафоном на потолке Большой камеры светила размытым желтым светом, который не достигал углов. Два решетчатых окошка под самым потолком были затянуты пыльной проволочной сеткой, гасившей сумеречные отблески зеленоватого вечернего неба. На полу на смятых одеялах лежали и сидели почти все обита-

тели камеры — их было сорок с лишним человек. Остальные лениво прохаживались или стояли, прислонясь к стене.

Казалось, в камере вместе с заключенными была заперта дневная жара: невидимая сырая и липкая вата, пропитанная душной вонью. Правда, у находившихся в предварительном заключении на ночь отбирали верхнюю одежду и башмаки, но это мало что меняло. Только еще более резким был запах пота, исходивший от голых и полуголых тел и грязных одеял. Вонь и жара словно загустевали, окутывали и поглощали все вокруг, как и въедливый шум, заполнявший камеру.

Кто-то пел одну песню, кто-то — другую, кто-то что-то рассказывал, стараясь перекричать поющих, а еще кто-то спорил или просто орал, чтобы поорать,— и все это сливалось в общий оглушительный гул.

Одни тасовали пухлые засаленные колоды самодельных или тайком пронесенных в камеру карт, другие двигали шашки из клочков бумаги или кусочков угля по выцарапанной на полу доске, третьи бросали кости, выигрывая и проигрывая одежду. Это была общая камера первого этажа. Над ней находилась такая же камера, где был еще больший бедлам.

Время от времени шум стихал после того, как дежурный надзиратель, обходя секцию, открывал глазок в железной двери и кричал на нарушителей тюремной дисциплины.

Мясник Уильямс спрашивал:

— За что вас взяли, сявки?

Он загнал группу новоприбывших в угол и сверлил их налитыми кровью глазами.

Главарь шайки и полновластный хозяин камеры благодаря своей жестокости и силе, а также поддержке вышколенных и таких же злобных прихлебателей, он был подл, как шакал, кровожаден, как волк, и мерзок, как гиена. Те, кого он допрашивал в углу, нервно переминались с ноги на ногу и отводили глаза, избегая его свирепого взгляда.

Один только Солли, по-видимому, совсем не оробел. Он кривил морщинистое лицо в веселой гримасе и смеялся пронзительным кукарекающим смехом.

— За пьянство и драку, приятель! — воскликнул он, давясь смехом.— За пьянство, приятель!

— Тебя-то? — презрительно усмехнулся Мясник.— Я же тебя знаю, Солли. Пьянство — это да. А драка — ну нет! Где тебе драться? И не заливай!

— А вот и да, а вот и да! — кукарекал Солли, отплясывая, как марионетка, нелепый танец перед грозной тушей. Он был смятой, смазанной, набранной петитом желтой копией человека, с глазами, как два расплывшихся плюса под морщинистыми веками, со ртом, как нечеткое тире между двумя глубокими скобками. Его череп был покрыт запятыми крутых завитков, а лоб исчерчен множеством линий. Тощее карликовое тело пряталось в рубахе, которая была ему непомерно широка и доходила до покрытых коростой колен.

Он отплясывал, ухмыляясь в лицо Мяснику беззубым ртом и прихлопывая заскорузлыми ладонями.

— А вот и да, Мясник! — кукарекал он.— А вот и да, приятель!

— Пошел ты! — проворчал Мясник. Его обнаженный по пояс обезьяний торс был вес покрыт татуировкой: две руки, соединенные в пожатье, череп и скрещенные кости, английский флаг, кинжал с каплями крови и прочие эмблемы в том же дикарском вкусе.

Он нагнулся над Солли, упершись толстыми ручищами в бока, и улыбнулся зловещей улыбкой.

— Брось заливать,— сказал он сипло.— Да тебе и с ребенком не сладить.

— А ты послушай,— хихикал Солли, исполняя новое па.— Ты послушай, приятель.

Воспользовавшись тем, что внимание Мясника было отвлечено, остальные начали потихоньку выбираться из угла.

— Нет, ты послушай,— говорил Солли Мяснику.— Только послушай. Сижу я, значит, в этой забегаловке. В «Гербе Веллингтона». Ты ж ее знаешь, так? Значит, сижу я там у стойки, взял виски и пью себе. Тут входит этот парень...

— Какой еще парень? — проворчал Мясник.

— А ты слушай, слушай! Я же тебе рассказываю. Значит, входит этот фраер, идет к стойке и вякает: «Дайте мне банановогo ликээру». Ну, я гляжу на него и говорю: «Банановогo ликээру? Ах, банановогo ликээру! А куда, по-твоему, ты зашел, приятель? Это тебе что, «Гранд-отель»? Да на кой тебе сдалось это дерьмо? Банановый ликээр? Бабское пойло». А фраер глядит на меня и вякает: «Не твое дело». «Ах, ты так,— говорю я.— Фу ты, ну ты, жук навозный!» «Иди ты к черту,— говорит фраер.— Ты пьян». Ну, мне не понравилось, что он задирается, и я ему сказал: «Так человеку, значит, и выпить нельзя? Лезут тут всякие жуки навозные, не дают человеку выпить спокойно. Банановогo ликээру захотел? Я тебе покажу банановый ликээр!» Я, значит, беру его за грудки, а тут...

Его голос утонул в воплях, раздавшихся в другом углу камеры, и Мясник, подняв свою неандертальскую голову, взревел:

— А ну, заткните свои паршивые глотки, падла!

Шум немедленно стих, и, повернувшись к Солли, он проворчал:

— Валяй дальше.

— Ладно,— прокудахтал Солли.— Значит, взял я этого парня за грудки и говорю: «Чего орешь, чего орешь?» — а бармен мне говорит: «Эй, прекрати!» — говорит. Ну, я послал его куда следует, а этот фраер как съездит мне по затылку. Я к нему повернулся и говорю: «Значит, ты так? Ну, погоди!» И делаю вот что!

Внезапно Солли вцепился в плечи Мясника, миниатюрное тельце взвилось вверх, и круглая голова пушечным ядром мелькнула в воздухе.

Мясник еле успел отдернуть подбородок и, сердито выругавшись, стряхнул с себя коротышку.

— Я ж только тебе показал! — закукарекал Солли, и его морщинистая физиономия задергалась от смеха.

— Ты эти штучки брось! — приказал Мясник.— Валяй дальше.

— Ладно. Ну, это подпортило ему физиономию, сам понимаешь. Мы покатились по полу, столики опрокидываются, стаканы летят, а я обрабатываю парня головой. Видишь?

Солли наклонил голову и грязным пальцем, похожим на сухой сучок, потрогал шишки и ссадины. Потом он продолжил свой рассказ:

— Этот фраер саданул меня пару раз коленом, и тут я подумал: «А, так ты ногами, падло? Ну, я тебе покажу!» И пошел молотить головой: у него кровь течет из его поганого носа и изо рта, а глаз весь заплыл. Только сука бармен позвонил в полицию, а потом он и еще пара фраеров меня схватили. Ну, я, конечно, тишины и порядка нарушать не хотел и спокойненько дождался полиции. Я ж ничего не сделал, верно? А все этот парень с банановым ликээром! Банановый ликээр, надо же!

— Ну, и что тебе дали? — поинтересовался Мясник.— Штраф два фунта или десять дней. Куда тебе больше!

— Черта с два! Я сказал, что виновным себя не признаю.

— Не признаешь? Ты что, сбрендил? — съязвил Мясник.— Ничего же не выйдет. А то бы ты уже начал отбывать свои десять дней.

Солли хитро сощурился, кукарекнул и снова принялся отплясывать свой нелепый танец.

— А мне так больше подходит,— сказал он.

Мясник смерил его подозрительным взглядом, сказал:

— А пшел ты! — и повернулся к коротышке широкой, как дверь, спиной. Он двинулся вперед, расталкивая ногами лежавших на полу и рыча: — Где другие новички? Я хочу с ними поговорить!

Он добрался до своей постели; отобрав одеяла у других заключенных, он соорудил себе на бетонном полу довольно удобное ложе, даже с подушкой, на которую пошло еще несколько одеял. Усевшись на постели, он угрожающе осмотрел камеру, а вокруг столпились его дружки — Тормозной Питерсон, Розовый, Моос и Косой Самуэлс. Все они выражали свою преданность главарю восхищенными ухмылками, но внимательный наблюдатель заметил бы, что в этих ухмылках прячутся ненависть и насмешка.

Мясник расправил плечи, потянулся, и рисунки, покрывавшие его торс, ожили, точно мультипликации. Он похлопал себя по могучей груди и плечам ручищами, напоминавшими ковши землечерпалки. Его маленькие блестящие глазки перекатывались, как угольки в костре.

— Ну-ка! — загрохотал он.— Кого я еще тут не знаю?

Его взгляд остановился на изрытом оспой лице человека, который стоял неподалеку, угрюмый, как нахохлившийся стервятник.

— Эй, ты! Поди сюда! Живей!

Тот не пошевелился.

— Живей, кому говорят,— проскрежетал Мясник.

Поглядев прямо в его глаза-пуговички, человек демонстративно сплюнул.

— Приведите-ка его ко мне,— распорядился Мясник, и через мгновение новичка схватили за шею и за штаны и подтащили к хозяину камеры. Мелькнул кулак-кувалда, и из расплющенного носа брызнула кровь. Рябой бессильно обвис на вцепившихся в него руках, Мясник взял его за пояс и, приподняв повыше, швырнул в дальний угол камеры. Заключенные увертывались от летящего тела, и оно, ударившись об стену, шмякнулось на пол. Раздались глухие стоны, похожие на вой раненого зверя.

Мясник хрипло рассмеялся, его дружки захихикали. Теперь крохотные глазки заметили худого, но крепко сбитого паренька, с лицом старым, как у всех детей трущоб.

— А это что за мальчик? — осведомился Мясник сиплым голосом, показывавшим, что у него повреждены голосовые связки.

— Ему прозвище Малыш Касба,— сообщил Тормозной Питерсон, у которого только половина лица была человеческой. Вторая же представляла собой жуткую маску из бугров и шрамов плохо залеченного ожога — его любовница, не выдержав постоянных побоев и издевательств, однажды ночью, когда он спал, прижала ему к щеке раскаленный утюг.

— Его вздернут,— пояснил Тормозной со смехом.— Он тут за мокрое дело.

— Ишь ты, какой мальчик! — хрипло рассмеялся Мясник.— Ну-ка, поди сюда, мальчик.

Малыш Касба неторопливо подошел к нему — в водянистом свете лампочки под потолком его глаза казались тусклыми и пустыми. Он откусил заусеницу на большом пальце и только тогда посмотрел на Мясника.

Губы великана зашевелились, открывая щербатые зубы.

— Как тебя звать, мальчик?

— Марч. Альберт Марч.

— И что же ты сделал, мальчик?

— Убил.

Он сказал это с полным равнодушием, как мог бы сказать о том, что он подтянул штаны или почесался.

— Ну, поговори, поговори.

— А я не люблю говорить,— ответил Малыш Касба, откусил еще одну заусеницу и принялся рассматривать ноготь, не обращая внимания на пристальный взгляд Мясника.

— Ишь ты, какой бойкий мальчик.

Вытерев палец о штаны, юноша буркнул:

— Одни любят говорить, а я не люблю.

— Вот что, приятель: когда говоришь со мной, помни, с кем говоришь, понял? — И широкая ладонь хлестнула юношу по щеке.

Малыш Касба отлетел в сторону и растянулся на полу, но лишь на мгновение. Секунду спустя он с глухим ворчанием упруго вскочил на ноги. В следующую секунду он пригнулся и прыгнул, целясь головой в живот Мясника. Если бы его макушка, движимая инерцией всех ста двадцати фунтов его веса, угодила в цель, зазевавшийся Мясник перегнулся бы пополам от удара в солнечное сплетение и, возможно, потерял бы сознание. Но великан был начеку и точно рассчитал ответное движение.

Прихрюкнув, он выставил колено и попал им прямо в лицо юноши.

Когда Малыш Касба очнулся, все уже спали — кто завернувшись в одеяло, кто разметавшись от жары. Он с трудом поднялся на ноги, выплюнул зуб и осторожно потрогал распухшую губу. Он не раздумывал о том, мстить Мяснику или нет. Месть разумелась сама собой, и мысль о ней вошла в его сознание с такой же легкостью, с какой зубцы хорошо смазанного колеса входят в звенья хорошо смазанной цепи.

Он встал, подошел к бачку с водой, смыл кровь и выпил глоток. Потом он поглядел туда, где могучая грудь Мясника вздымалась и опускалась в такт оглушительному храпу, отвернулся и принялся осматривать камеру.

Бесшумно перешагивая через спящих, он подобрал старую жестянку из-под сардин, которую кто-то приспособил вместо пепельницы. Пригнувшись, Малыш Касба начал высвобождать из закрученной полоски жести длинный ключ.

Потом он нашел свободное место у стены, сел и принялся осторожно тереть прямой конец ключа о бетонный пол. Он неторопливо затачивал тупой стержень, останавливался, когда кто-нибудь из спящих переворачивался на другой бок, потом опять принимался за работу, и ключ постепенно превращался в маленький стилет.

5

Появление Джорджа Адамса прервало карточную игру — засаленная колода мгновенно исчезла под одеялом, едва дверь начала открываться.

Трое игроков, скорчившиеся на полу в безжизненном свете лампочки, выглядели весьма непрезентабельно: грязные шорты, давно не стиранные рубахи. Когда дверь захлопнулась, они вытащили карты и, небрежным кивком поздоровавшись с Джорджем Адамсом, сразу же возобновили игру.

Камера была маленькой и душной. В углу у двери стояла параша, в противоположном — бачок с водой. Зарешеченное окно под потолком заросло слоем грязи. На проволочном крючке, привязанном к решетке, висели четыре кружки.

Джордж Адамс оглядывался, выискивая, где бы сесть, но тут заговорил четвертый обитатель камеры — тот, который спросил Джорджа Адамса про его одежду.

— Располагайся поближе к окну, приятель!

Голос у него был веселый и насмешливый. Толкнув одного из игроков ногой в спину, он сказал небрежно:

— Ну-ка, подвинься. Дай присесть этому парню.

Игроки, не отрывая глаз от карт, потеснились и освободили половину одеяла.

— Спасибо, ребята,— сказал Джордж Адамс, но они не обратили на него никакого внимания, и он улыбнулся человеку с насмешливым голосом.

Сняв башмаки, Джордж Адамс поставил их у стены, положил на них аккуратно свернутую куртку, сел и с облегчением вытянул ноги. Его поташнивало, и духота в камере словно спекалась в плотную корку. Где-то рядом несколько голосов затянули «Бухту Гэллуэй», а издали донесся гулкий стук каблуков по железным ступенькам.

— Ну что ж, приятель,— сказал четвертый обитатель камеры,— значит, сидим мы тут в тоске и унынии.

Джордж Адамс снова улыбнулся ему, и он ответил веселой усмешкой.

— А одеяла тебе не дали? — спросил он потом.

— Нас привезли поздно,— объяснил Джордж Адамс.— Наверно, надзиратель не захотел отпирать склад.

— Эти шкуры шагу лишнего не сделают, если им самим не нужно. Вот что, друг, когда утром нас выведут завтракать, попроси у начальника секции одеяло и кружку. Если сам не скажешь, они и не почешутся, ясно?

— Хорошо,— сказал Джордж Адамс, и у него стало легче на душе от этого дружеского участия.

Здесь, в замурованном мире железа и камня, властвовал дух озлобленной разобщенности: каждый был только за самого себя и против всех остальных. Дух этот был чужд и неприятен Джорджу Адамсу. Но он вырос в трущобах и знал, что тут собраны разные люди — коварные и хитрые, малодушные и трусливые, свирепые и властные, вкрадчивые и злобные, робкие и беспомощные; сильные здесь эксплуатировали слабых, сильные и жестокие почти бессознательно сплачивались, чтобы держать остальных в страхе и покорности.

Голос четвертого человека вывел Джорджа Адамса из задумчивости:

— Первый раз в тюряге, приятель?

— Да. В участках мне приходилось сидеть, но в настоящую тюрьму попал в первый раз.

Джордж Адамс поглядел на своего собеседника. Худой и гибкий, он сидел в углу, прислонившись к стене; худощавое красивое лицо было светло-коричневым, улыбка открывала белые ровные зубы вставных челюстей. Как и остальные, он был в собственной одежде, но его ярко-зеленая рубаха и брюки выглядели чистыми и не мятыми, словно он и здесь тщательно следил за своей внешностью. Это был гангстер с замашками джентльмена, принадлежавший к аристократии преступного мира,— не хулиган, болтающийся на уличных перекрестках, а завсегдатай биллиардных на Гановер-стрит и Кейлдон-стрит, где под щелканье шаров в табачном дыму планируются крупные кражи и ограбления.

Он занял угол подальше от вонючей параши — длинный, тонкий, самоуверенный и опасный, как лезвие ножа.

С дружеским интересом он задал неизбежный вопрос:

— За что тебя забрали, приятель?

Джордж Адамс задыхался от жары, лоб у него стал мокрым от пота, и, расстегивая рубашку, он ответил:

— За политику. За то, что выступал против правительства.

Безмолвные игроки на мгновение оторвались от карт и поглядели на него с любопытством, а четвертый обитатель камеры засмеялся и, кивнув, сказал:

— А! Сопротивление! Я про него читал! — Глаза его вспыхнули, и он наклонился вперед.— Боевые ребята. Я слыхал, что какие-то парни взорвали склад железнодорожной компании. Верно? Клевое дело, а?

Джордж Адамс снял брюки, оставшись в майке и трусах. Он ответил осторожно:

— Меня арестовали за организационную работу, ну, и еще за разное.

Он провел пальцем по мокрому лбу. Игроки вновь нагнулись над картами. Обшарив свою куртку, Джордж Адамс отыскал смятую пачку сигарет. Их осталось четыре штуки, и, расправив пачку, он протянул ее худощавому, но тот покачал головой:

— Побереги для себя, приятель. У меня есть курево,— и, подмигнув, добавил: — Моя маруха меня не забывает.

Увидев, что Джордж Адамс вынул одну сигарету и протянул ее ближайшему игроку, он сказал сердито:

— Ну, чего ты швыряешься табаком? Эти сявки могут сами о себе позаботиться!

— Брось! — ответил Джордж Адамс.— Мы же тут все вместе в этой поганой тюрьме.

Его сосед взял сигарету и улыбнулся Джорджу Адамсу, а тот пояснил:

— На троих, ребята.

— Ладно, мистер,— ответил другой игрок и в знак благодарности приложил палец ко лбу.

Худощавый щелкнул зажигалкой и дал Джорджу Адамсу прикурить. Адамса он считал равным себе, специалистом по преступлениям самого высшего разбора, но игроку протянул зажигалку с брезгливой неохотой. Спрятав зажигалку, он сказал:

— Кстати, друг. Меня зовут Юсеф Ибрагим. А приятели зовут меня Юсеф Турок.

Джордж Адамс назвал себя и спросил, улыбнувшись сквозь спираль табачного дыма, уже завивавшуюся к потолку:

— А тебя почему взяли, друг?

Юсеф Турок негромко засмеялся, а потом вдруг нахмурился, выпрямился и поглядел Джорджу Адамсу прямо в глаза:

— Они мне шьют кражу со взломом, гады.— Он покачал головой, и его приглаженные волосы заблестели.— Говорят, будто я помогал грабить фабрику. Черт, эти легавые хватают первого, кто им под руку попадется!

— Случается,— ответил Джордж Адамс и посмотрел на клубы дыма, подсинившие спертый густой воздух. Остальные не обращали на духоту никакого внимания.

Юсеф Турок уставил на него указательный палец и, тыкая им перед собой, продолжал говорить:

— Вот послушай, приятель. Ты же человек знающий, верно? И в законах разбираешься, раз ты работаешь против правительства.

— Не скажу, чтобы очень разбирался,— с улыбкой ответил Джордж Адамс.

— Да ладно! Слушай, приятель. Стою я около ворот этой фабрики в Солт-ривер. Стою и ничего не делаю. Ну, может, прогуливаюсь взад-вперед, понимаешь? Кругом никого нет. Только машина стоит неподалеку. А я ничего не делаю. Прогуливаюсь себе и ничего не делаю. Тут из ворот выбегают какие-то парни и тащат что-то — вроде как мешок.

Он замолчал, поскреб под мышкой, вынул руку, поглядел на пойман-

ное насекомое и раздавил его об стену. Один из игроков встал и направился к параше.

— Ну, ладно,— снова заговорил Юсеф Турок.— Значит, выбегают эти парни из ворот с мешком. А тут раз — вылетает из-за угла патрульная машина. Прямо на двух колесах повернули, до того торопились. Нет, ты послушай. Эти два парня бросают мешок и дают винта по улице...

Снаружи донесся лязг закрываемой калитки и тяжелый стук сапог по бетонному полу. Юсеф Турок сделал Джорджу Адамсу знак спрятать сигарету, а игроки опять убрали карты и вытянулись на одеялах, словно готовясь уснуть.

Ночной дежурный, покашливая, переходил от двери к двери. Крышка глазка в их двери поднялась, и Джордж Адамс увидел уставившийся на них глаз надзирателя. Затем глаз исчез и крышечка опустилась на место. Они прислушались: шаги удалялись, стихли, потом раздались снова — уже на железной лестнице, которая вела на галерею второго этажа.

Один из игроков сказал:

— Скоро отбой. Я больше не играю.

— Ладно,— согласился его товарищ.— Можно и лечь.

Юсеф Турок проворчал:

— Всегда подсматривают да подглядывают! — а потом вернулся к своей истории.— Ну, значит, бегут эти парни по улице, а я стою себе и знать ничего не знаю. А что, по-твоему, делают легавые? — Худой палец пронзил сизый воздух.— Останавливают машину, вылезают и хватают меня! — он злобно фыркнул.— Как тебе это нравится? Что я сделал? Стоял там — и все.

Джордж Адамс пожал плечами.

— Расскажи это своему адвокату.

— А ну их, адвокатов! — кисло отозвался Юсеф Турок.— Я и сам сумею сказать речь. Клянусь Аллахом, я стоял перед фабрикой и ничего не делал, а теперь вот сижу здесь за кражу со взломом! — Он покачал головой, встал, взял кружку и пошел к бачку.— По-твоему, это справедливо? Нет, ты скажи: по-твоему, это справедливо?

— Что-то патруль слишком быстро явился,— заметил Джордж Адамс.

Юсеф Турок выпил полную кружку, вернулся в свой угол, разлегся на одеяле и ухмыльнулся до ушей.

— А мы сторожа плохо связали. Ну, и пока мы возились на фабрике, он позвонил в полицию. Эге, вот и отбой, пора спать.

6

Задний бампер старого автомобиля совсем разболтался и все время погромыхивал. Джорджу Адамсу, который сидел рядом с Джефферсоном Мполо, этот звук напомнил лязг машин в заводском цеху, где он одно время работал. Джефферсон вел машину уверенно и спокойно, внимательно глядя сквозь запыленное ветровое стекло. Обивка сиденья была продрана, и пружина впивалась Джорджу Адамсу в бедро. Они ехали по тихой улице мимо освещенных домов с верандами, мимо садовых оград и фонарей, бросавших на асфальт тротуаров размытые пятна желтого света.

— Далеко еще, Джордж? — спросил Джефферсон.

— Поезжай прямо,— сказал Адамс.— Скоро надо будет повернуть направо. Я скажу где.

Джефферсон икнул и сказал:

— Переел за ужином рыбы. Ужасно пить хочется.

— Как по-твоему, у них уже все готово? — спросил Адамс.— Нам незачем торчать там зря.

— Если не готово, я с ними поговорю! — ответил Джефферсон.— Мне надо вернуться домой пораньше. Лина прихворнула.

— Ты вызвал врача?

— Нет. Она немного простудилась. Выздоровеет и так.

Они все еще ехали мимо аккуратных особнячков. В садах росли высокие пальмы, стены были завиты диким виноградом, веранды щеголяли цветными стеклами. Джордж Адамс поглядывал по сторонам и думал о людях, которые жили здесь,— это была преуспевающая верхушка той части общества, к которой принадлежал он: врачи, юристы, мелкие чиновники и предприниматели, дельцы средней руки и те, кто всю жизнь терзались из-за того, что они не родились еще чуть-чуть светлее — ведь тогда они уже могли бы сойти за белых. Он сказал с веселой усмешкой:

— Во всяком случае, фараоны тут не рыщут.

— Такие тут почтенные люди проживают, э? — отозвался Джефферсон.

— Вот увидишь, правительство скоро объявит этот район белым, и беднягам придется убраться отсюда.— Адамс поглядел сквозь желтоватое ветровое стекло и сказал: — Второй поворот направо, Джефф. Вон у того дома с высокой верандой.

Загромыхав, они свернули в поперечную улицу, и Джордж Адамс заметил:

— Хороша конспирация! Эта колымага и покойника разбудит.

— Ну, ты не очень-то! — засмеялся Джефферсон.— У нас в резервации это «роллс-ройс». Я же капиталист!

— А кто тебя знает! — Адамс тоже засмеялся.— Остановись-ка тут. Дальше пойдем пешком.

Старая машина, задребезжав, остановилась, мотор оглушительно чихнул и смолк. Адамс открыл дверцу с большой осторожностью, так как петли были ненадежны, и не стал наступать на старомодную подножку, зная, что она может защемить ногу не хуже капкана. Он с силой захлопнул дверцу, чтобы она не открылась, и остановился, ожидая Джефферсона.

Ночь была жаркой, но тут, у подножия горы, дул легкий ветерок. Внизу сияли огни города и порта, мачты судов на фоне моря походили на антенны. Город окутывала дымка, пронизанная неоновым светом реклам, и казалось, будто пылают крыши.

— Ну, пошли! — окликнул его Джефферсон.

— Сюда,— ответил Адамс, и они пошли по улице мимо ряда домов за низкими оградами. Из-за освещенных занавесок доносились звуки голосов и смех. Они пересекли еще одну улицу, испещренную круглыми ледяцами фонарного света. Джефферсон негромко насвистывал «Станцию Тьюкседо», а Джордж Адамс закурил сигарету и швырнул спичку в густой сумрак. Они прошли мимо темной бакалейной лавки, парикмахерской, аптеки. У мясной лавки Джордж Адамс тронул Джефферсона за локоть, и они остановились.

— Тут,— сказал он.

Лавка была погружена в темноту. Джордж Адамс оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли кого-нибудь поблизости, потом постучал в стеклянную дверь.

Джефферсон спросил шепотом:

— Хозяин этой лавки наш?

— Только сочувствующий,— объяснил Адамс.— Иногда помогает нам деньгами.

Он постучал еще раз. Послышалось щелканье отпираемого замка, и дверь чуть-чуть приотворилась.

— Это я, Джордж,— сказал Адамс в щелку.— Со мной Джефф.

— А! Заходите.

Дверь распахнулась, и они вошли в темную лавку. Там пахло сырым мясом, опилками и карболкой. Из заднего помещения доносилось ритмичное постукивание.

Джордж Адамс прошел в глубину лавки. В заднюю стену был вделан большой холодильник, на прилавке стояли весы и касса.

Впустивший их человек сказал:

— Привет, Джефф. Я тебя что-то давно не видел.

— Дела,— ответил Джефферсон.— А как листовки, готовы?

Джордж Адамс открыл дверь в задней стене, и они вошли в небольшую освещенную комнату с закрашенными окнами и опилками на полу. На одной стене висели ножи для разделки туш, рядом стояла сосисочная машина. В углу виднелась раковина. Возле стола, заваленного пачками готовых листовок, работала копировальная машина, за которой наблюдала рыженькая девушка. Ее подбородок был выпачкан чернилами.

— Джордж, Джефф! — сказала она, увидя вошедших.— Я тебя черт знает сколько времени не видела, Джефф.

Она улыбнулась им.

Джефферсон сказал строго:

— Ты не пришла на прошлое собрание.

— Я никак не могла. Правда.— Она собрала отпечатанные листовки и сложила их.— Ты очень на меня сердит?

— На этот раз я тебя извиняю,— ответил Джефферсон с улыбкой. Он подошел к раковине и напился прямо из-под крана. Вытирая рот, он спросил: — Для нас все готово?

— Вот только свяжем пачки,— ответил мужчина, который впустил их. Он был молод, но уже толст — его круглый животик нависал над брючным ремнем. Нос у него был крючком, а щеки все в рябинах.

Джордж Адамс повернулся к нему и шутливо ткнул его пальцем в живот.

— Черт! Ну и разнесло же тебя, Кассим!

— Ведь правда? — засмеялась девушка.— Я все уговариваю его сесть на диету.

— Никто не уговорит меня есть реже четырех раз в день! — отпарировал Кассим.— Ну, мы их сейчас перевяжем, и можете отправляться.

Они вместе с Джефферсоном начали перевязывать пачки, а Джордж Адамс взял листовку.

— Неплохо,— сказал он.

— Особенно если учесть, что эта проклятая машина ломается каждые пять минут,— заметила девушка.

Кассим, затягивая веревку, вдруг рассмеялся.

— Большая стена возле рынка вся исписана лозунгами. Я сам видел.

— Да неужто? — притворно удивился Джефферсон.— Кто ж это мог сделать? Как не стыдно марать чужую стену!

Когда несколько пачек было связано, Джордж Адамс сказал:

— Пожалуй, хватит. Шесть тысяч. Надо еще успеть их развезти.

— Счастливчики! — сказала девушка.— А мне еще тут нянчиться с этой проклятой машиной бог знает сколько времени!

Кассим снова захохотал:

— Ну, ты же в этом деле спец! Зачем пошла в секретарши?

Девушка показала ему язык и вытерла тряпкой перепачканные руки.

— Уходи, Кас, не мешай.

Адамс сказал Джефферсону:

— Пригони машину, Джефф. Мы будем ждать тебя у двери.

Они взяли пачки листовок и вслед за Джефферсоном вышли в лавку. Девушка сказала, вновь нагибаясь над своей машиной:

— Желаю удачи, мальчики.

Кассим положил свои пачки на пол и отпер дверь. Когда Джефферсон ушел, Джордж Адамс сказал:

— Молодец мясник, что пустил нас в свою лавку.

— Черт подери! — рассмеялся Кассим.— Он перепугался насмерть, но я его уговорил.

Девушка закрыла внутреннюю дверь, и они остались в полной темноте. Адамс слышал пыхтящее дыхание молодого толстяка, а потом оба они услышали дребезжание подъезжающего автомобиля и визг его тормозов.

Вскоре старая машина, дергаясь и подскакивая, уже катила под уклон. Ветер с горы усиливался и бил в ее разболтанные дверцы.

— Ветер крепчает,— заметил Адамс. — Завтра может быть буря.

— Угу,— рассеянно ответил Джефферсон и спросил: — Ты на сегодня подобрал надежных людей?

— Думаю, да. Только ведь выбирать теперь особенно не приходится. Берешь тех, кто вызовется. Теперь многие опасаются рисковать. Боятся полиции.

— Ну, будем надеяться, что все сойдет удачно.

— Почему ты это сказал? У тебя что-нибудь неладно?

— Нет. Но ведь многих из новых людей мы знаем плохо. Ты же сам сказал, что выбирать теперь не приходится.

Начался район трущоб. Они проехали мимо темного мебельного магазина, бакалейной лавки, кулинарии, запертого пустого кинотеатра — ветер трепал афиши на обветшалых стенах, на которых из-под осыпавшейся штукатурки, точно язвы, проглядывала кирпичная кладка.

Адамс закурил; он ни на минуту не забывал, что на заднем сиденье лежат пачки запрещенных листовок, и на душе у него было неспокойно. Поскорей бы развезти все пачки и без опасений отправиться домой! Конечно, он не боится, убеждал он себя, но когда выполняешь такое задание, всегда бывает немного тревожно.

— Поверни вон там,— сказал он Джефферсону, и тот, отпустив педаль газа, повернул руль. В этой узкой темной улице ветер гнал по мостовой обрывки газет, и они танцевали на черно-сером рябом асфальте, как крохотные привидения.

Джефферсон остановился возле дома, на который ему указал Адамс, и из проулка появился какой-то человек. Он вошел в желтый луч фары, улыбнулся, поднес руку к старой шляпе и свернул к дверце, у которой сидел Адамс. У него были седые клочкастые усы, точно спутанные мотки шерсти.

— А, Джордж! — сказал он. — Как дела? Мы уже заждались.

Джордж Адамс перегнулся через спинку, взял две пачки и передал их в окошко усачу.

— Простите, мистер Питерс, что задержал вас.

— Ничего, Джорджи, ничего. Все в порядке?

— Как будто. Ну, вы знаете, что делать дальше, мистер Питерс.

— Само собой. Можешь на нас положиться. Я пошлю моих трех парней. И еще их двух приятелей.

— Прекрасно. Ну, нам пора.

— Конечно, конечно. Доброй ночи.

Они выехали на магистральное шоссе и начали петлять по пригородам. Было далеко за полночь, когда они наконец развезли почти все пачки.

— Ну, еще две — и все! — сказал Джордж Адамс.

Теперь они ехали через пустыри по обсаженному деревьями узкому шоссе.

— В конце этой дороги должен ждать один из моих связных,— сообщил Джефферсон.— Ну, будем надеяться, что чертов сын не подведет.

— Он что, может и передумать?

— Новичок,— ответил Джефферсон.— Выполнил пару поручений и работать как будто хочет.

— Я буду уж и тому рад, если никто из этих ребят не бросит свою пачку в первую попавшуюся канаву,— заметил Адамс.

Джефферсон снизил скорость, вглядываясь в темноту впереди. Небо над ними было черно-синим — кусок старой саржи, осыпанной поддельными алмазами; ветер на пустырях совсем разгулялся и гнул верхушки деревьев. Вдали, словно зубчатая цепь холмов, чернели строящиеся дома.

— Где-то здесь, — сказал Джефферсон и притормозил. Тут на шоссе выходила грунтовая дорога, проложенная строительной компанией.

— Ты думаешь, стоит подождать? — спросил Адамс.

Вдруг, прорезав мрак над грунтовой дорогой, перед ними вспыхнули фары. За слепящим сиянием они различили очертания большого автомобиля.

— Это еще что? — спросил Джефферсон, а из темноты вынырнул второй автомобиль и встал поперек шоссе под самым радиатором дряхлой машины.

Ее окружили какие-то люди, и они услышали смех. В окошки заглядывали полицейские в штатском, дверцы распахнулись.

— Да это никак Адамс и Джефферсон? — насмешливо спросил кто-то.— Как поживаешь, Джефферсон? Что это вы, ребята, вздумали кататься в такую пору? К девочкам едете?

Послышался хохот, и другой голос сказал:

— Ладно, нечего терять время. Посмотрим, что у них там.

— Вытряхивайтесь, товарищи,— хихикнув, скомандовал первый голос.

Адамс и Джефферсон выбрались из машины в резкий свет фар и полицейских фонарей. Джордж Адамс стоял, засунув руки в карманы куртки. Он узнал нескольких сыщиков службы безопасности. Джефферсон стоял рядом, его широкое темное лицо ничего не выражало. Двое полицейских обыскивали старую машину.

Тот, который заговорил первым, сказал, улыбаясь:

— Ну, как ты себя чувствуешь, Джордж? Хорошо?

Джордж Адамс поглядел на него, но ничего не ответил. Его душила бессильная ярость, и руки в карманах сжимались в кулаки.

Второй сыщик насмешливо фыркнул и сказал:

— Джорджовский! Вот твоя настоящая фамилия — Джордж-овский! Вам, сволочам, место в России, а не здесь.

Те, кто обыскивал машину, вылезли из нее на шоссе. У одного в руках были пачки листовок. Обращаясь к высокому грузному человеку с красным лицом и носом, похожим на клюв совы, он сказал:

— Вот только это. Больше ничего нет.

— Этим займемся в участке,— сказал краснолицый, который, по-видимому, командовал операцией. Затем, повернувшись к сыщикам, стоявшим рядом с Джефферсоном и Адамсом, он распорядился: — Вы поедете с ними, а я за вами.

Любитель шуток жестом велел им снова влезть в машину, указав Джорджу Адамсу на заднее сиденье. Они повиновались, и сыщик, говоривший про Россию, сел рядом с Джеффом. Остальные разошлись по своим машинам, и автомобиль, стоявший поперек шоссе, взревев мотором, развернулся, чтобы указывать Джефферсону дорогу.

— Следуй за ними, Джефф,— приказал сыщик на переднем сиденье.

Все три машины покатили по обсаженному деревьями длинному шоссе. Джефферсон смотрел перед собой, хмуря брови. Джордж Адамс

отсел от своего соседа как мог дальше. В нем все еще бушевала ярость, и его сердце словно захлебывалось.

Сыщик на переднем сиденье сказал:

— Что же ты не купишь себе новую машину, Джефф? Эта же вот-вот развалится.

— Пусть выпишет машину из России,— отозвался тот, что сидел сзади.

Оба расхохотались, а машины продолжали нестись туда, где в лиловой дымке лежало освещенное фонарями магистральное шоссе.

7

В половине шестого утра из административного корпуса напротив секции предварительного заключения вышел надзиратель и заколотил по железному треугольнику, который был подвешен к сооружению, напоминавшему виселицу.

Еще только начинало светать, и по небу расплывалась серая мгла, растворяя в себе ночную синеву и гася звезды. Поднявшийся ночью ветер замер со вздохом, точно призрак, возвращающийся с зарей в свою могилу, и воздух застыл в неподвижности, сулившей безоблачный день.

Во всех камерах старой тюрьмы слышалось шарканье, ругань, ворчанье, люди толкали друг друга, огрызались, суетились, как муравьи в разворошенном муравейнике. Надо было сложить одеяла и скатать циновки, чтобы освободить пол для уборки. На кухне кухонная команда, вставшая задолго до рассвета, расставляла на высоких многоярусных носилках жестяные миски с завтраком — кукурузная каша без всего для небелых, кукурузная каша с сахаром, молоком и куском хлеба для белых.

Джордж Адамс сел, зевнул, провел рукой по лицу и протер глаза. Все его тело затекло и ныло после ночи, проведенной на жесткой циновке. Но это ощущение было ему хорошо знакомо по пробуждениям в камере полицейского участка, и он не обращал внимания на боль, зная, что она скоро пройдет.

Он встал, натянул брюки и нагнулся зашнуровать башмаки. В спине сильно закололо. Рубашку он решил надеть после умывания. Его соседи свертывали циновки и одеяла, зевали, потягивались, щурили слипающиеся глаза. Из-за двери доносился хаос звуков просыпающейся тюрьмы.

— Ну, как спалось, приятель? — спросил Юсеф Турок, закуривая сигарету.

Он не утруждал себя уборкой — одеяла за него складывали другие, а когда Джордж Адамс сделал движение, чтобы помочь им, Юсеф сказал:

— Брось! Пусть этим занимаются сявки. Они в накладе не останутся.

— Мы же сидим тут все вместе,— возразил Джордж Адамс.— И работать нам тоже следует вместе.

Турок рассмеялся и выпустил к потолку струю дыма.

— Как погляжу, приятель, тебе еще надо многому научиться. Хочешь, чтобы тебе жилось в кичмане легко, так гляди, как это делается.

— Свою работу я буду делать сам,— сказал Джордж Адамс.

Турок снова засмеялся и хлопнул его по плечу.

— Клянусь Аллахом, ты еще научишься, приятель! Вот послушай: здесь живут ничего только те, кто умеет устроить так, чтобы за них работали другие,— те, кого все боятся, и еще, пожалуй, те, кто лижет задницу надзирателям. Правда, лизуны обычно кончают плохо.

— Этим я заниматься не собираюсь!

— Вот и правильно! — усмехнулся Юсеф Турок.— Но ты не дрейфь, приятель, Юсси за тобой приглядит.

— Спасибо, мамочка,— с иронией ответил Джордж Адамс.

Тем временем остальные скатали циновки, сложили их у дальней стены, сверху положили одеяла, сели на них и стали ждать, пока отопрут дверь.

Юсеф Турок отошел к параше и, стоя спиной к Адамсу, сказал:

— Вот что: когда нас кончат кормить, ты попроси у начальника секции циновку и одеяла, слышишь? Два одеяла.

— Ладно,— отозвался Джордж Адамс, садясь рядом с остальными тремя.

— И учти: он первостатейная сволочь. Так что проси повежливей. Такой сволочи поискать, можешь мне поверить.

Джордж Адамс посмотрел на него и нахмурился.

— Повежливей? — спросил он.— То есть как это «повежливей»? Мне же должны выдать одеяла, верно? У меня есть на это право.

— Право! — сказал Турок уже без улыбки.— Ты думаешь, у тебя тут есть какие-то права? Слушай, приятель, тут права есть только у надзирателей. И уж они тебе объяснят, какие такие ты имеешь права.

— Но ведь существуют правила тюремного распорядка!

— Правила? Правила-то есть, но не все правила этим сукам нравятся, понял? Ты попроси у них то, что им не по вкусу, и они тебе покажут правила.— Он угрюмо усмехнулся.— Знаешь, какие порядки в этой тюряге? Делай что хочешь, только их не беспокой. Не беспокой надзирателей, и тебе будет хорошо. Понял, приятель?

Джордж Адамс подумал, что Юсеф, вероятно, прав, но унижаться он не собирался. Ведь стоит показать, что ты боишься или просто не уверен в себе, и они набросятся на тебя, как стая волков.

— Что же, посмотрим,— сказал он вслух небрежным тоном.

— Держись за Юсси — и ты не пропадешь,— с усмешкой сказал его собеседник.

Джордж Адамс закурил свою последнюю сигарету. Он несколько раз затянулся, потом предложил сигарету соседу, но тот, улыбнувшись, покачал головой.

— Кури-кури! Это же твоя последняя. А мы достанем.

— Моя маруха должна бы принести сегодня передачу,— заметил Юсеф Турок.— Вчера она не приходила. Ну, пусть побережется. А когда тебе в суд?

— Слушанье дела отложено на месяц,— ответил Джордж Адамс.— Без права внесения залога.

Турок собирался еще что-то сказать, но тут по дворику затопали сапоги и заскрипели отпираемые двери. Щелкнул их замок, дверь распахнулась, и они все вскочили.

— Выходи! — кричал надзиратель.— На поверку!

8

Дворик секции в сером свете занимающегося утра заполнялся заключенными — многие выскакивали нагишом и торопливо натягивали одежду, а по железной лестнице со второго этажа спускались все новые и новые люди. Нестройный шум приглушенных разговоров прорезали резкие выкрики:

— Стройся! Стройся!

Ночные надзиратели, торопясь сдать дежурство, помогали построить заключенных для поверки.

— Стройся по четверо! — кричали надзиратели, тыча дубинками и

хлеща ременными петлями на рукоятках по спинам и головам.— Живее, живее!

Заключенные, одеваясь на ходу, нагибаясь за уроненными башмаками, вырывая свои вещи из чьих-то вороватых рук, не переставая ворчать и ругаться, строились у стены в колонну по четверо.

— Стройся по четверо! Стройся по четверо! — взвизгнул голос, точно лопнувшая гитарная струна.

Это кричал коротышка Солли, передразнивая надзирателей. Он прыгал, подталкивал своих соседей к стене, и его длинная рваная рубаха взметывалась, открывая потрепанные шорты,— казалось, прыгает и машет руками-палками ожившее на ветру огородное пугало.

— Стройся по четверо! Стройся по четверо!

Надзиратель хлестнул его ременной петлей.

— Ты что это валяешь дурака? Это тебе что, цирк?

Солли захохотал, его лицо сморщилось, как лежалый гранат, и, расталкивая строящихся людей, он пробрался туда, где стоял Мясник. Привалившись к стене, великан горбил огромные плечи, как неандерталец, маленькие кабаньи глазки были налиты тупой злобой. Он поглядел на Солли с высоты своего роста и усмехнулся, показав гнилые щербатые зубы.

— Чего тебе здесь надо? — проворчал он.

— Мясник! С добрым утром! — зачастил коротышка.— Тебе ничего не нужно, приятель? Башмаки, рубашку? — Он угодливо заглядывал в лицо великана, рассчитывая, что тот примет его в число своих прихвостней.— Я могу снять рубашку с кого захочешь, друг! Хочешь сигарет? Какао?

— Почему ты не внес залог, падло, и не убрался отсюда? — кабаньи глазки свирепо уставились на Солли.

— Зачем зря тратить деньги? — захихикал коротышка.— И я ведь тут не просто так.— Он подмигнул.— Думаю провернуть одно дельце! — Это было не просто хвастовство, это была просьба о доверии, фальшивая рекомендация, которая могла открыть ему доступ в избранный круг.

— Пшел ты! — сказал Мясник. Ладонь, широкая, как лопасть весла, небрежно опустилась, и Солли полетел кувырком, цепляясь за ноги людей, стоявших рядом. Строй заколыхался, нарушился, смешался, и туда с криком ринулся надзиратель.

Солли кое-как выбрался из чащи переминающихся ног, но тут кто-то, не глядя, дал ему пинка, и он взвился с визгливым воплем:

— Это какая сволочь тут пинается? Только скажите мне! Только скажите!

Надзиратель схватил его за шиворот и тычком поставил в ряд, рыча:

— Неприятностей захотел, сукин сын? Только скажи мне, и получишь свое, только скажи!

Солли униженно хныкал:

— Баас! Баас!

Смятые ряды снова выровнялись, все смолкли, и надзиратели пошли вдоль колонны, отсчитывая четверки. Когда счет был закончен и надзиратели убедились, что все на месте, колонна медленно поползла к решетке, отгораживавшей дворик.

Все звезды уже погасли, молочно-белое небо начинало голубеть— всходило солнце, которого никто из них не увидит до полудня, когда оно окажется в зените. По кирпичам и бетону стен разливался яркий свет, и высокая решетка начала отбрасывать полосатый узор параллельных теней.

Появилось двое каторжников из кухонной команды. Они тащили многоярусные носилки, уставленные мисками с кашей. Пока отпирали решетку, носильщики переступали с ноги на ногу, чтобы облегчить тя-

жесть, оттягивающую руки. Едва калитка открылась, они вбежали во дворик секции, поставили свою ношу на бетонный пол, и заключенные двинулись строем мимо, разбирая миски.

В эту минуту в большой двор вошел писарь и, остановившись у решетки, начал вызывать тех, кому предстояло ехать в суд. Ряды заключенных возмущенно всколыхнулись.

— Да мы же еще не жрали! — крикнул кто-то.

— Без завтрака не поедем!

— Они не имеют права!

Начальник секции обернулся и рявкнул:

— Молчать! Заткните свои паршивые пасти! Это вам что, кино? — Потом, обращаясь к писарю, он добавил: — А в чем дело? Сейчас ведь завтрак.

Писарь пожал плечами:

— Мне велено вызвать тех, кому сегодня ехать в суд. Фургон уже ждет.

— Бардак, а не тюрьма! — покачал головой надзиратель и повернулся к заключенным: — Ладно! Те, кого вызвали, берите миски, остальные стойте на месте.

Вызванные выходили с мисками за калитку и, присаживаясь на корточки с той стороны решетки, принимались быстро есть. Потом строй опять двинулся вперед, разбирая миски с беловатой кашей. Получившие завтрак рассаживались у стены, захватывали пальцами липкие комья и отправляли их в рот.

— Эй, приятель, одолжил бы ты мне сахарку!

— А пошел ты знаешь куда! Ты что, сахару купить не можешь?

— Я все спустил на курево. Возьми чинарик за щепотку.

— Свиньи и те лучше едят. Белым-то дают и сахар, и молоко. А нас кормят дерьмом.

— Бобы да кукуруза. Кукуруза да бобы. Это сучье правительство ничего другого нам не дает.

— Ну, еще два раза в неделю шматок мяса с указательный палец в обед.

— Некоторые обходятся. У них есть деньги покупать консервы — говядину или там сардинки...

— Сардинки! Слушай, приятель, тут, значит, ничего не дают, кроме бобов и кукурузы. Так что же делает моя старуха? Приносит мне каждый день сардинки! Каждый день паршивые сардинки. Вот и выбирай, приятель: кашу или сардинки. Ей-богу, каша мне поперек глотки встает, не уж сардинки!..

— Э-эй! Полегче с сахаром. Его еще надо на два дня растянуть!

— В следующий раз возьму банку компота.

— Джем держится дольше, приятель.

— Иди ты! Джем вскроешь, а сразу все не съешь, верно? Ну и всякая грязь в банку набивается. А компот, так сразу умнешь, верно? Ну и для живота полезно.

— Верно. От этой вонючей каши и бобов кишки заворачивает.

— Больно уж вы разборчивы. Чего вы ждали? Ресторанных разносолов? А по мне, кукурузная каша — еда в самый раз.

— Ну, конечно. Другого-то вы на фермах ничего и не нюхаете! Батраки поганые.

— Дай чуток сгущенки, приятель!

— А пошел ты! Что я, миллионер, что ли?

Джордж Адамс сидел, прислонившись к стене. Он только попробовал кукурузное месиво и с отвращением опустил миску. «Выбор не велик,— подумал он.— Либо ешь эту дрянь, либо ходи голодный». Разве что с воли передадут какую-нибудь еду. Комитет, наверно, об этом поза-

ботится, решил он. К тому же необходимо вымыться, а кто знает, будет ли на это время после завтрака.

Он уже хотел отставить миску, стесняясь предложить кому-нибудь свои объедки, но тут в его локоть вцепилась рука, похожая на высохший корень, и, обернувшись, он увидел перед собой сморщенное ухмыляющееся лицо и исчерченную рубцами макушку с крутыми завитками волос.

— Приятель! — завопил Солли.— Ты что, собираешься ее выбросить?

— Я не хочу есть,— ответил Джордж Адамс.

— Ну, так отдай мне, приятель. Бережливость нужду гонит, как говорится.

— Бери, приятель.

— Спасибо.

— Э-эй, Солли! — крикнул кто-то.— Ты ведь уже умял три миски!

— А тебе завидно? — прокудахтал коротышка, поспешно глотая кашу.

— Черт, куда ты только все это упихиваешь, Солли?

Коротышка похлопал себя по животу под широкой рубахой и снова закудахтал. Потом сказал, обращаясь к Джорджу Адамсу:

— Вот дурачье! У нас-то с тобой башка варит, верно? — Он постучал себя по лбу костлявым скрюченным пальцем.— У нас с тобой башка варит, приятель,— он подмигнул и ухмыльнулся, обнажив беззубые десны.— Они думают, что Солли так, мелочь. Но мы-то знаем, что и как, верно?

— Верно, верно, друг,— с улыбкой ответил Джордж Адамс.

— Он чокнутый. Ну, малахольный,— объяснил кто-то.

— Слушайте, вы, дураки,— заверещал Солли и, проглотив новую порцию каши, добавил: — Что вы понимаете-то? Старый Солли знает и умеет побольше вас, мелкота. Вот погодите! И эти белые тоже кое-что увидят,— докончил он вполголоса.

— А что ты сделаешь, Солли? — насмешливо спросил сосед.— Устроишь побег?

Солли испустил кукарекающий смешок.

— Побег? А на кой мне бежать, если мне и так больше двадцати дней не дадут или вовсе оправдают? Кормежка три раза в день, бесплатный стол и квартира, что я, дурной, чтобы бегать? — Он закудахтал и снова принялся за кашу.

Джордж Адамс похлопал его по плечу, встал и, выбравшись из лабиринта скорчившихся тел, опрокинутых мисок и густого запаха пота, прошел по залитому электрически-желтым солнечным светом дворику к душевой.

Открытая душевая помещалась под галереей второго этажа. Вдоль одной стенки тянулись потрескавшиеся раковины умывальника, а вдоль другой — души.

Голый паренек с курчавыми волосами, остреньким мышиным лицом и вытатуированным на правой руке словом «Святой», вытирался обрывком полотенца. Он поднял голову и подмигнул Джорджу Адамсу.

— Ну, как, папаша?

— Ничего,— ответил Джордж Адамс, начиная расстегивать брюки. Он торопился, опасаясь, что завтрак вот-вот кончится.

Паренек улыбнулся и, волоча за собой одежду, голым выскочил во двор.

Джордж Адамс встал под душ и поежился под колючими ледяными струйками. Потом начал энергично тереть кожу ладонями.

Надо что-то придумать с бритьем, решил он. Ему вовсе не хотелось

отращивать бороду. Не пробыл он под душем и минуты, как надзиратель крикнул:

— Все те, кто поступил вчера,— во двор!

Господи, это еще зачем? Он слышал, как нетерпеливо ругается надзиратель, и, кое-как вытеревшись, быстро натянул брюки. Новички уже выходили за калитку, а Джордж Адамс надевал башмаки, раздраженно проклиная надзирателя, тюрьму — всю страну, которая была одной большой каменной тюрьмой.

К калитке он подошел последним, и надзиратель, который стоял там, пересчитывая выходящих, вперил в него глаза, морозные, темные и злые, как зимняя полночь.

— Ты что, спать сюда явился?

Джордж Адамс прошел мимо, не взглянув на него, и мысленно снова его выругал.

9

Теперь их выстроили у стены в большом дворе под присмотром темнокожего надзирателя в старом тропическом шлеме. Солнце ласково касалось их кожи, точно теплая женская рука. Но Джордж Адамс подумал: «Поставили к стенке!» Глядя прямо перед собой, он спросил у соседа:

— Зачем нас сюда вывели, приятель?

— Врачебный осмотр. Только толку от него!

Слова вылетали изо рта говорившего, точно он их выплевывал, и, повернувшись, Джордж Адамс узнал Альберта Марча, Малыша Касбу, юношу, которого обвиняли в убийстве. С маленького худого лица трущобного подростка, который старательно отращивает пушок на верхней губе, чтобы походить на взрослого, смотрели равнодушные глаза-камушки, полуприкрытые тяжелыми веками. Джордж Адамс заметил, что рот у него разбит, верхняя губа распухла и посинела.

— Как ты, приятель? — не шевеля губами, спросил Джордж Адамс тем беззвучным шепотом, который сам собой появляется у заключенных в присутствии начальства.

— Ничего.— Это был не столько ответ, сколько неохотное признание того, что кто-то с ним заговорил. Джордж Адамс словно увидел, как невидимая броня одела этого юношу, неприступного, точно риф среди бурунов.

— Что у тебя со ртом?

— Так.

— Покажешь врачу?

— Обойдусь.

Джордж Адамс тщетно пытался заставить Малыша Касбу разговориться — с тем же успехом он мог бы попытаться вскрыть сейф алюминиевой ложкой. Он хотел было попробовать еще раз, но тут младший надзиратель спросил резко:

— Эй, вы! Больные есть?

Из-под арки, ведущей в соседний дворик, вышел врач. Он был в гражданской одежде, цвет его волос напоминал посеревший от воды песок, а в руке он нес стетоскоп, помахивая им, как хлыстом. Никто из заключенных не вышел вперед.

Надзиратель отдал честь и сказал:

— Доброе утро, доктор. Тут все здоровы.

Врач кивнул, взгляд его водянистых, опухших глаз скользнул по шеренге заключенных. Он снова кивнул и прошел мимо них в следующую секцию.

— Вот нас и осмотрели,— насмешливо сказал кто-то, а когда надзиратель прикрикнул на них, тот же человек добавил нагло: — Ладно, ладно, корпи (так называли надзирателей из цветных), мы же тут все темнокожие.

Надзиратель в ярости выпучил глаза, и несколько секунд его губы подергивались, словно ползущие гусеницы, но потом его лицо снова застыло и он отрывисто скомандовал:

— Молчать! Идите назад!

Во дворике их секции шла уборка: одни заключенные весело плескали на пол воду из ведер, которые наполняли под краном в дальнем углу, другие энергично терли бетон швабрами, превращая работу в игру, а третьи мыли жестяные миски и составляли их у решетки в ожидании кухонной команды. Недоеденная каша была свалена в бачки для отправки на свиноводческие фермы.

Возле бачков крутилась, мурлыча, тюремная кошка, гладкая, с лоснящейся от сытости шерстью. Задрав пушистый хвост, она слизывала розовым язычком рассыпавшиеся комочки каши.

Другие заключенные под надзором старост подметали камеры и опорожняли параши в канализационные шахты во дворе, а начальник секции стоял, почесывая ладонь, возле решетки. Подняв глаза, он увидел перед собой Джорджа Адамса.

— Ну? Чего тебе нужно? — Голос был безразличным, как стук капель, падающих из крана. Надзиратель был грузен, его живот отвисал — казалось, будто этот человек аккуратно сшит из туго набитых мешков. Лицо у него было круглое, пухлое, налитое здоровым румянцем, как у деда-мороза,— только белоснежную бороду заменяли пшеничные усы, но глаза на этом словно бы добродушном лице были белесыми и водянистыми — матовыми, как фальшивый жемчуг, и холодными, как шарики ртути.

— Вчера мне не выдали циновку и одеяла,— сказал Джордж Адамс, смотря прямо в бесцветные глаза.

— Ну?

— Нельзя ли мне получить их сейчас, сэр?

Холодный взгляд стал колючим и зло царапнул Джорджа Адамса.

— Сэр? Ты что, не знаешь, что тут так не говорят? Тут говорят «начальник», понял?

Джордж Адамс продолжал смотреть на пухлое, медленно багровеющее лицо. Надзиратель заложил большие пальцы — толстые и розовые— за пояс и легонько постукивал остальными по лакированной коже. Под тугими складками шеи что-то задергалось, точно придавленный червяк, но глаза не изменили выражения.

— Ты слышал, что я сказал?

— Да, сэр, слышал,— ответил Джордж Адамс, а в голове у него промелькнуло: неужели из-за такого пустяка этот тип полезет в бутылку?

Но злые глаза задержались на его лице еще только секунду, а потом надзиратель отвернулся и позвал заключенного, приставленного к складу. Тот подбежал с испуганным и заискивающим видом. Надзиратель рявкнул:

— Принеси два одеяла и циновку для этого парня. И не очень выбирай. А ты,— повернулся он опять к Джорджу Адамсу,— поменьше умничай. Если будешь умничать, заработаешь неприятности.— Он замолчал, а потом, словно передумав, добавил: — Ну-ка, дай твою карточку.

Джордж Адамс достал из кармана голубую карточку. Он вдруг заметил, что вокруг него возникло кольцо тишины. Эта тишина медленно растекалась во все стороны, как лужица пролитой патоки; те, кто носил воду, поставили ведра, те, кто тер пол, оперлись на швабры — все на-

пряженно ждали, что будет дальше. С надзирателями не спорят, а Джордж Адамс позволил себе настоять на своем, пусть даже в мелочи, и все ждали, когда разразится буря начальственного гнева.

Надзиратель взял карточку и уставился на нее тусклыми серебристыми глазами.

— Участие в нелегальной организации, э? Значит, ты из этих! Паршивые коммунисты только и думают, где бы устроить беспорядки. Ну, ладно, молодчик, буду иметь тебя в виду. Так что поберегись.— Пухлое лицо было неподвижно, точно картонная маска, двигались только губы под пшеничными усами. Он вернул карточку Джорджу Адамсу.

Посланный на склад вернулся и бросил циновку и одеяла перед Джорджем Адамсом на влажный бетон. Джордж Адамс смерил его взглядом и спросил холодно:

— Тебе обязательно было бросать их в лужу?

Тот нервно хихикнул и отвел глаза, а надзиратель рявкнул над самым ухом Джорджа Адамса:

— Эй ты! Бери одеяла и убирайся, не то будет худо.

Джордж Адамс похолодел, хотя солнце все сильнее припекало его спину и затылок. Сердце бешено застучало о ребра. Он не поглядел на надзирателя, а нагнулся и поднял свою будущую постель. Он не поглядел на надзирателя и ничего не сказал, а понес одеяла и циновку к себе в камеру мимо других заключенных — мимо злобных лиц и подлых лиц, мимо молодых лиц и морщинистых лиц, мимо отупевших лиц и упрямых лиц, и внезапно у него полегчало на душе, и он весело им подмигнул, а безмолвные люди смотрели на него с любопытством, и некоторые улыбались ему и подмигивали в ответ.

А позади него надзиратель поглядел на Мясника, человека-зверя, который стоял, лениво привалясь к каменной стене. Надзиратель улыбнулся зимней улыбкой и сказал:

— Он из этих, из умников. Напрашивается на неприятность.

И Мясник почесал могучие плечи о стену, ухмыльнулся и сказал:

— Да, начальник, он напрашивается на неприятность. Этот умник.

10

Когда Джордж Адамс снова вышел из камеры, остальные заключенные сидели рядами в тени у противоположной стены. Официально это считалось прогулкой, но под тем или другим предлогом заключенных заставляли все это время сидеть — до самого обеда. Только некоторые из тюремных аристократов, присваивая себе сомнительную привилегию, стояли в дверях камер, курили и вполголоса переговаривались.

Вскоре во дворе опять появился писарь и начал выкрикивать фамилии по списку, который держал в руке. Заключенные один за другим вставали с пола и выходили через калитку. Джордж Адамс услышал свою фамилию и пошел за ними, застегивая только что надетую рубаху. Он не столько видел, сколько чувствовал, что белесые глазки толстого надзирателя злобно сверлят его, а губы под пшеничными усами расходятся узкой трещиной, означающей улыбку.

С легким торжеством Джордж Адамс подумал: «Этим сволочам не нравится, когда им возражают. Наверняка для Жирного я — самая главная заноза».

Во дворе надзиратель построил их и повел мимо административного корпуса и белой секции предварительного заключения, где ее обитатели, почти все в шортах или плавках, грелись на солнце и болтали со своим надзирателем. Их было гораздо меньше, чем заключенных в цветной секции.

Затем они прошли под аркой в другой двор между белой каторжной секцией и небольшими корпусами, в которых помещались аптека, больница, склады и кухня для персонала. В углу двора за проволочной сеткой сидели белые каторжники в тюремной одежде, защитных очках и толстых рукавицах — они дробили в щебень камни, привезенные из карьера.

Колонна заключенных приблизилась к внешней стене тюрьмы по ту сторону двора. Там высокая стальная решетка, оплетенная поверху колючей проволокой, отгораживала дверь в стене. От заключенных эту дверь заслонял тамбур, так что только дежурный надзиратель с пистолетом на боку и два помогавших ему тюремных старосты видели входящих.

Провожатый собрал и протянул надзирателю у двери их карточки. Тот через несколько минут начал вызывать заключенных поодиночке и выдавать им передачи.

Джорджу Адамсу был вручен бумажный мешочек с банкой мясных консервов, пачкой какао, пятьюдесятью сигаретами, куском туалетного мыла и тюбиком зубной пасты. Он очень обрадовался, хотя и не знал, кому был этим обязан — своей квартирной хозяйке или комитету.

Конечно, в день, когда ему будет разрешено свидание, все выяснится, но, с другой стороны, он остался должен квартирной хозяйке за две недели, и скорее всего она сидит без денег, а может быть, и слишком зла на него, чтобы тратиться на передачи.

Тюремные старосты перед тамбуром взрезали хлебные буханки по всей длине, проверяя, не спрятано ли в них что-нибудь, а потом передавали их по назначению.

Когда последний из вызванных получил свою передачу, провожатый отвел их назад в цветную секцию — одни несли полученные продукты в руках, другие рассовали их по карманам. Джордж Адамс спрятал плоскую коробку с сигаретами в нагрудный карман и поплотнее завернул мешочек.

Он уже подходил к своей камере, когда на его плечо небрежно опустилась тяжелая ладонь, в затылок ударило горячее дыхание и густой хриплый бас просипел:

— Как делишки, приятель? Да ты никак что-то нам несешь!

Джордж Адамс повернулся, взглянул вверх и увидел совсем близко налитые кровью горильи глаза на шишковатом, заросшем щетиной лице, вздутые красные губы, которые, растянувшись в усмешке, открывали гнилые зеленоватые зубы, точно покрытые мхом могильные памятники на заброшенном кладбище.

— Ты нам что-то принес, а, приятель?

В лицо Джорджа Адамса било вонючее дыхание, приводившее ему на память опрокинутые мусорные баки в подворотнях трущобных домов и запах параш в душных камерах. Он сказал сдержанно:

— Родственники мне кое-что прислали.

— Ишь ты! — просипел Мясник, и Джордж Адамс почувствовал, что огромная лапа сжала его плечо, как тисками. Он замер, выжидая, что последует дальше.

— Ну-ка, приятель, покажь, что у тебя тут есть для нас в этом мешочке!

Вокруг медленно затихли разговоры, сидящие на корточках люди теперь смотрели только на них, и напряжение вибрировало в воздухе, точно перенатянутая струна. Кто-то вдруг хихикнул, этот звук в наэлектризованной тишине обрел неожиданную резкость, словно разбилась брошенная с размаху тарелка, и Джордж Адамс, яростно уставившись в налитые кровью глазки, закричал:

— А ну, убери свою поганую руку!

Из груди зрителей вырвался вздох, и они вытянули шеи, предвкушая избиение. Надзиратель по-прежнему стоял у решетки. Он не сделал ни шагу в их сторону, и Джордж Адамс понял, что надзиратель решил таким способом рассчитаться с ним за дерзость и что ждать от него помощи нечего.

Джордж Адамс почувствовал, что губы у него дергаются от бешенства и что его плечо немеет в цепкой хватке железных пальцев. Сиплый, насмешливый голос спросил с притворным любопытством:

— Ты что-то сказал, приятель?

— Убери свою поганую руку,— повторил Джордж Адамс еще громче, чтобы его услышали все во дворике, а в голове у него крутилась мысль: он же может сломать твою шею, как спичку, так чего ты лезешь на рожон?

— Ах, вот что? — засмеялся сиплый голос, и круглая массивная голова повернулась к кучке прихвостней, которые стояли у двери камеры и ухмылялись до ушей — даже лицо Малыша Касбы, угрюмо державшегося возле них, оскалилось неохотной усмешкой.

— Эта гнида еще разговаривает! — сообщил им Мясник с хриплым гоготом.— Любит спорить с теми, кто получше него, умник.

Гнусная физиономия снова надвинулась на Джорджа Адамса. Глубоко посаженные горильи глазки пошарили и обнаружили очертания коробки в грудном кармане жертвы.

— Дай-ка поглядеть! Никак курево? Что же, если это мои любимые, костей я тебе, пожалуй, не переломаю.

Вторая ручища потянулась к карману, и Джордж Адамс увидел татуировку, узловатые бугры мышц и толстые пальцы с полумесяцами грязи под ногтями.

— А ну, давай сюда сигареты и все остальное.

Джордж Адамс подумал: «Ударю его ногой в пах, а там будь что будет. Возможно, для меня дело кончится больницей». Он чуть-чуть отодвинул ногу, ничем не выдав своего намерения. Его руки перехватили мешочек, чтобы бросить его в тот момент, когда колено рванется вперед.

И тут раздался новый, веселый голос:

— Ты что, сбрендил, Мясник? Лезешь к порядочным людям.

И Мясник, и Джордж Адамс узнали этот голос и обернулись туда, где вдруг возникла высокая, узкая и гибкая, как лезвие ножа, фигура Юсефа Турка. Красивая голова с приглаженными волосами была наклонена набок, а на смуглом лице сияла белозубая улыбка.

— Турок!—сказал Мясник, не выпуская плеча Джорджа Адамса.— Не лезь не в свое дело, Турок. Тут тебе делать нечего.

— А почему, Мясник? — спокойно спросил Юсеф Турок.— Нам всем тут делать нечего, в этом кичмане. Разве не так?

— Ты знаешь, о чем я. У меня с этим парнем особое дельце.

— Дельце! — засмеялся Турок.— Это ведь хорошие люди, Мясник. Не твоего поля ягоды. И даже не моего. Ты этого парня знаешь? Нет?— веселый голос внезапно изменился, и Турок закончил с угрозой: — Нука, отпусти его.

Мясник не шевельнулся, только красноватые глазки глубже ушли в грязные складки кожи, выглядывая из-под полуопущенных век, точно хищные твари в засаде.

— Турок, я тебя по-честному предупреждаю,— сиплый голос был пропитан злобой.

Среди зрителей прошло движение, дружки Мясника — Тормозной Питерсон, Косой Самуэлс, Розовый, Моос и остальные — выпрямились и инстинктивно подвинулись поближе к полю сражения. Малыш Касба быстро облизнул разбитую губу, не спуская глаз с Мясника, и его пальцы сжали в кармане консервный ключ.

Но Юсеф Турок даже не посмотрел на них.

— Мясник, ты тут, кажется, считаешь себя главным, так?

— Ну и что?

— Командуешь сявками?

— Ну и что?

— А то, что этот парень — мой друг, понял? Не вяжись к нему.

Мясник выпустил клуб гнилого дыхания и покачал головой.

— Турок! — сказал он.— Мне тебя жалко, Турок. Ты что-то начал задираться, Турок, и я, пожалуй, этим займусь.

— Когда хочешь, Мясник.

— Может, как-нибудь переночуешь в моей камере?

Юсеф Турок улыбнулся опасной улыбкой.

— А почему бы и нет?

— Значит, договорились.

Джордж Адамс сказал Турку:

— Брось, Юсеф.

— Ладно, приятель,— ответил тот.— А теперь, может быть, Мясник отпустит твое плечо?

Крохотные глазки впились в лицо Турка, который только улыбнулся, но тут залязгал железный треугольник в наружном дворе и раздался крик надзирателя:

— Стройся! Стройся!

Сидящие заключенные повскакали, напряжение рассеялось, и Мясник снял руку с плеча Джорджа Адамса.

— Мы еще об этом потолкуем, Турок,— сказал он.

И Юсеф Турок усмехнулся.

II

На этот раз предстоял обход начальника тюрьмы. Их построили в четыре ряда — тех, кто пониже, в передние ряды, а кто повыше — в задние, и каждый держал в руке свою голубую карточку так, чтобы начальник тюрьмы мог прочесть, как зовут того, с кем ему вздумалось бы заговорить. Начальник секции расхаживал вдоль рядов, похлопывая себя по сапогу ремнем дубинки, и его глаза были холодными, как утренний иней,— и такими же белесыми.

Он подозрительно спросил:

— Жалобы есть?

А когда никто ничего не ответил и не шевельнулся, он вновь прошел вдоль рядов к калитке, приговаривая:

— Шапки снять! Шапки!

Завидев начальника тюрьмы, он поспешно отпер калитку, старательно вытянулся, отдал честь и доложил:

— Секция предварительного заключения, двести шестьдесят девять человек. Все в полном порядке, господин майор.

Начальник тюрьмы ответил на его приветствие взмахом трости и в сопровождении надзирателя прошел вдоль рядов. Он был очень высок, очень худ и очень костляв — узловатые суставы придавали ему сходство с фигурой, вырезанной из сучковатой палки. Заключенные прозвали его Майор Жердь. Лицо у него было сухое и прозрачное, точно смятый листок розовой папиросной бумаги с двумя дырками глаз и горизонтальной складкой рта.

Он прошел мимо заключенных, заглянул в душевую и крякнул. По-видимому, удовлетворенный осмотром, он направился назад к калитке, которую начальник секции услужливо распахнул перед ним.

Едва он скрылся из вида, как все заговорили и встали поудобнее

— Старик только выругался. Нынче он в хорошем настроении.

— Еще бы, ведь сегодня обед без мяса. Он всегда злится, когда приходится расходовать казенное мясо.

— Ну, Жирный сегодня сосчитал и не ошибся. Что это с ним?

— А я и не знал, что он умеет считать! Ха-ха-ха!

Джордж Адамс растирал плечо, онемевшее от хватки Мясника. Плечо ныло, и он подумал: «Скотина! Надо было садануть его коленом!» Все это время он косился на дверь камеры, опасаясь, что кто-нибудь попробует украсть его припасы. Банку мясных консервов он решил разделить между всеми своими товарищами по камере. Можно угостить их и какао, только пить его придется холодным — горячую воду, кажется, дают только к завтраку.

Толстяк надзиратель уже выкрикивал свое «Стройся! Стройся!», и все двинулись к решетке, разбирая миски с обедом. Самые сильные проталкивались вперед, чтобы съесть свою порцию бобов с рисом, пока она еще не совсем остынет. Обед приносили почти сразу после завтрака. В три тридцать приносили ужин и заключенных запирали в камерах до утра.

Получив наконец свою миску, Джордж Адамс отыскал Турка и сел рядом с ним.

Юсеф жевал бобы с рисом без всякого удовольствия. Он подмигнул Джорджу Адамсу и сказал между глотками:

— Ну, как, Профессор?

— Все в порядке,— ответил Джордж Адамс, пробуя полусырое месиво.— Фу, дрянь!

— Есть немного. Он тебе плечо не вывихнул?

— Нет. Только сдавил очень.

Прожевав бобы, Джордж Адамс добавил:

— А ты чего вмешался?

Юсеф Турок подмигнул ему.

— А ты что, недоволен? Он бы мог тебе руку с корнем вырвать! Ничего не скажешь — силач.

— Я-то доволен. Но ведь теперь он озлился на тебя.— Джордж Адамс посмотрел туда, где в окружении своих дружков обедал Мясник.— А ты против него все-таки не потянешь, Юсси.

— Юсси сумеет о себе позаботиться. А вот ты держись от него подальше, Профессор. Он не твоей весовой категории.

— Не моей? Но ведь ты весишь меньше меня!

Юсеф Турок выплюнул боб и выругался:

— Это просто камни, а не бобы!

— Нет, а почему ты все-таки вмешался? — снова спросил Джордж Адамс.— Ты же говорил, что тут каждый сам за себя.

— Да. Блатные вроде меня и Мясника и все эти подонки! — Он засмеялся.— А о парнях вроде тебя мы должны заботиться!

— Спасибо,— ответил Джордж Адамс.— Но ведь он тебя убьет. Он тебе пригрозил, и ты ему пригрозил, и ему поздно идти на попятный.

— Не беспокойся, Профессор. Убить он меня не убьет. Может, я попаду в больницу, но там человек спит в кровати и обходятся с ним лучше, чем тут.

Стайка голубей опустилась на карниз второго этажа. Джордж Адамс отставил миску — он не мог больше жевать сухие бобы. К тому же он все время помнил про свою банку мясных консервов. Он сказал:

— Хороший способ добиться, чтобы с тобой обходились лучше!

— Послушай, друг,— с усмешкой отозвался Юсеф Турок.— Вот каторжники в каменоломнях. Скажем, кончается у них терпение, так они подрезают себе пяточное сухожилие, только бы оттуда выбраться. Или бросаются с кулаками на надзирателя, чтобы попасть в одиночку — или сюда для нового суда. А все, чтобы получить передышку.

— Да, я про это слышал.

— Ну так не беспокойся за Юсси. Если Мясник что-нибудь затеет— ладно, а не затеет — тоже ладно.— Он вытер пальцы о край своей миски.— Моя маруха ничего мне сегодня не принесла. Вот и приходится есть это дерьмо. Знает же, что должна носить передачи каждый день. Я с нее всю шкуру спущу, когда выйду.

Он отодвинул миску, вынул вставные челюсти и очистил их спичкой.

Голуби, совсем сизые в солнечном свете, спорхнули с карниза и, слетев во дворик, принялись важно расхаживать в поисках бобов, их острые клювы стремительно опускались и поднимались, не задевая выпяченной грудки.

Один из новичков, прибывших накануне, отставил миску, наклонился и, протягивая к голубям руку в изодранном рукаве, начал тихонько ворковать. На нем была рваная куртка, брюки все в заплатах и дырявые башмаки. У него было дряблое тело и дряблое, давно небритое, опухшее от пьянства лицо, которое морщилось, как плохо надутый воздушный шарик. Не верилось, что эти отвислые губы способны издавать такой нежный зов.

— Коорр! Коорр! — звал он негромко и улыбался.

И вдруг голуби вспорхнули, зашумев крыльями, и опустились на покрытые лохмотьями руку и плечи. Оборванец встал. Теперь он походил на какое-то мифическое существо — получеловека-полуптицу.

Он продолжал ворковать и корявым пальцем осторожно поглаживал жемчужно-серые и голубые спинки. Голуби толкали друг друга и балансировали на его руке и плечах, а он что-то шептал им, словно грязный, одетый в лохмотья Франциск Ассизский.

— Знаете, ребята,— сказал он тем, кто таращил на него глаза,— существует больше шестисот пород этих птиц.— Он улыбнулся, поглаживая шелковистые спинки.— Я голубей понимаю. У меня была своя голубятня, да! — Его голова торчала над голубями, словно над пышным жабо.— Говорят, ребята,— продолжал он,— что голубь всю жизнь живет с одной подругой. Черт, они почти что люди. Слушайте меня, ребята. Голубка сносит два белых яичка, а птенцов она кормит голубиным молоком. Срыгивает из зоба.— Он усмехнулся.— Да, у меня было много голубей. Турманы, дутыши, всякие. Я и в состязаниях участвовал.

Он весело болтал, а окружающие смотрели на него с почтительным любопытством.

— Хороший почтовый голубь весит шестнадцать унций,— тоном знатока сообщил оборванец.— Вы знаете, что скорость их полета достигает девяноста семи миль в час? И что в хорошую погоду они покрывают от пятисот до семисот миль в день? С зари и до зари. Да, в голубях я разбираюсь. Я про них все знаю.

Он снова заворковал, и голуби отвечали ему воркованием, а потом он поднял унизанную птицами руку, словно отдал какую-то команду, и они взмыли вверх, устремляясь к плоскому квадрату неба.

Когда миски были вымыты и составлены у решетки, всех заперли в камерах до ужина. В одной из камер заключенные затянули «Белое рождество».

Джордж Адамс сказал с усмешкой:

— Все мечтают о белом рождестве!

Они развернули циновки, разостлали одеяла, и игроки тотчас вытащили свои засаленные карты.

Юсеф Турок ответил, почесывая бок:

— Рождество, рождество! Тут все дни одинаковы. Разве что на рождество дают лишний кусочек мяса да еще сюда является оркестр Армии Спасения.— Он вытащил руку из-под рубашки и оглядел пойманное на-

секомое.— Пора бы устроить обработку. Развели тут паразитов! — Он раздавил вошь ногтем и засмеялся: — Вот бы и устроили обработку к рождеству!

Джордж Адамс достал свою новую коробку сигарет, сорвал целлофановую обертку, открыл и протянул Юсефу.

Турок взял одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Джордж Адамс протянул сигареты игрокам.

— Курите, ребята,— сказал он.— У меня их много.

Когда один из игроков взял сигарету, Джордж Адамс сказал:

— Бери еще!

Тот улыбнулся и взял вторую сигарету.

— Ты тут за что? — задал Джордж Адамс извечный вопрос.

— А нас накрыли в бакалейной лавке,— ответил игрок. У него было круглое коричневое лицо, и улыбался он до ушей, показывая красные десны — словно взрезали арбуз.— Всех троих.

— Три дерьмовых мушкетера! — усмехнулся Юсеф Турок.— В бакалейной лавке!

Остальные игроки тоже взяли по две сигареты. Сдающий заложил одну за ухо, а другую сунул в рот, повернул голову и, продолжая тасовать, прикурил у товарища.

В камере опять стало жарко, и духота сгущалась, нависала плотным пологом, пронизанная струйками табачного дыма. Джордж Адамс снял рубашку и начал ею обмахиваться.

— Хоть бы ветер поднялся, что ли,— пробормотал он, а потом добавил: — У меня есть банка тушонки. Может, вскроем?

— Нет,— ответил Юсеф.— На ужин дают ломоть хлеба и кружку кофе. Вот тогда тушонка придется в самый раз.

Теперь в соседней камере затянули «Серебряные колокольчики». Надзиратель от калитки крикнул, приказывая замолчать, и песня стихла.

— Один хлеб? — переспросил Джордж Адамс.

— Ну, может, мазнут по нему джемом. Прежде мазали топленым салом, но мусульманам и индейцам полагалось гхи*. Ну, наверно, они решили, что больно много возни — и теперь всех кормят джемом. И прежде каждому давали по булке, этак в четверть фунта — по кошачьей башке, так мы их называли. А теперь режут на четыре ломтя фунтовую буханку, понял? Кусочек хлебца с ложечкой джема, чтоб их!

— Заключенные должны протестовать,— сказал Джордж Адамс.— Устроить забастовку с требованием улучшить питание.

— Как же! — ухмыльнулся Турок.— Ты объясни им это, Профессор!

— Мясник как будто оставил тебя в покое,— сказал Джордж Адамс.— Может, он забыл?

— Жди! — ответил Юсеф, покачав головой, и зевнул.— Он должен драться со мной. Ему надо показать себя перед дружками. Если он не станет драться, то ему тут хана.

— Но ведь он такой великан!

Юсеф Турок засмеялся.

— Чем они тяжелее, тем сильнее ушибаются.

От наваливающейся духоты клонило ко сну. «Они стравливают нас тут, как собак. Какая напрасная растрата сил!» — подумал Джордж Адамс. Сознание, что он в тюрьме, его не угнетало. Человек поступает согласно своим убеждениям и принимает последствия. Он ходил на собрания и слушал речи, немного читал — и пришел к выводу, что все это правда. Проваливаясь в черную пропасть сна, он подумал: «Терпеть пинки можно только до какого-то предела...»

---

* Топленое масло из буйволового молока.

12

Его разбудил скрип ключа в замочной скважине, он привскочил и замигал от света. Остальные уже встали и отцепляли кружки, подвешенные к оконной сетке. Джордж Адамс тоже встал и протер слипающиеся глаза. Дверь распахнулась, и надзиратель отошел к следующей.

— Ну, как выспался, друг? — спросил Турок.

— Я сам не заметил, как заснул,— сказал Джордж Адамс.— Послушай, у меня же нет кружки.

— Ну, пока тебе лучше о ней и не заикаться. Жирный взбесится.

— Почему? Мне были обязаны выдать кружку при поступлении, верно? Это их вина, а не моя.

Игроки уже вышли, Юсеф и Джордж Адамс последовали за ними.

— Я этим сволочам ничего спускать не намерен,— сказал Джордж Адамс.

— Ладно, Профессор, валяй. Только с Жирным держи ухо востро.

Заключенные парами двигались к решетке, где два каторжника из кухонной команды наливали кофе и раздавали хлеб.

Джордж Адамс вышел из строя и направился к толстому начальнику секции, который наблюдал за раздачей ужина. Он посмотрел на приближающегося Джорджа Адамса, но его каменный взгляд не изменился.

— Ну, что тебе понадобилось? — спросил ледяной голос.

— Мне не выдали кружки.

— А, это опять ты! — Пшеничные усы чуть-чуть дрогнули.— Ничего не поделаешь, парень. Нет кружки — не получишь кофе.

— Мне обязаны выдать кружку, так? — спросил Джордж Адамс, глядя прямо в глаза под рыжеватыми ресницами.— Я не виноват, если дежурный надзиратель мне ее не выдал.

Глаза, в которые он смотрел, потемнели, а пухлое розовое лицо начало наливаться кровью.

— Ты, падло! — проскрежетал надзиратель.— Ты с кем разговариваешь? Ты думаешь, я позволю всякому черному скоту задираться, будто он белый? Пшел, а не то...

Джордж Адамс не двинулся с места и продолжал смотреть прямо в багровеющее лицо. Он думал: «К черту! Этого я ему не спущу. Они хотят, чтобы мы из-за всего ползали на брюхе: хозяин, будет такая ваша милость дать мне кружку?» Вслух он сказал:

— Почему в вашей тюрьме не соблюдаются правила?

Лицо надзирателя взбугрилось, как плавящаяся лава. Он был взбешен — во-первых, этот подонок посмел ему возражать, а это было опасно: только начни им объяснять, так они тебе на шею сядут! Во-вторых, он позволил себе критиковать тюремную администрацию — неповиновение и бунт! И в-третьих, он же был из этих, из агитаторов, которые стараются ниспровергнуть законную власть в стране.

— Так ты, значит, умник? Черномазый умник?

Тон стал спокойнее, он обрел прежнюю льдистость — толстяк надзиратель взял себя в руки. Но тем опаснее он был, так как главным его оружием был лед, а не жар белого каления. Он замораживал сопротивление, а не сжигал его, и этот метод позволял ему сохранять подобие надменного превосходства.

Он заметил, что раздача ломтей и горького черного кофе приостановилась — все ждали, что произойдет дальше.

Тут подошел заключенный со склада.

— Вот запасная кружка, баас,— сказал он, взмахнув кружкой и не глядя на надзирателя.

— Чего ты лезешь, когда тебя не спрашивают,— буркнул надзиратель, но не помешал Джорджу Адамсу взять кружку. Промолчал он и

гогда, когда Джордж Адамс протянул заключенному две сигареты. Однако надзиратель отлично понял скрытый вызов и гневно повернулся к застывшим зрителям.— Ну, чего стоите! Берите свой вонючий ужин и убирайтесь в камеры! — Он знал, что потерпел поражение, и это его злило.

Колонна снова заколыхалась, и Джордж Адамс прошел в ее хвост. Кое-кто оборачивался на него, и он перехватил кабаний взгляд Мясника, который лениво стоял у двери своей камеры, ожидая, когда ему принесут ужин. Великан прикидывал, напрягая тупой мозг, ржавый, но коварный, как забытый медвежий капкан, будет ли доволен «баас», если он разделается с этим умником по-своему.

Откуда-то из середины колонны Юсеф Турок позвал негромко:

— Иди сюда, друг!

Заключенные с улыбкой посторонились, давая ему дорогу, а Солли, стоявший рядом с Турком, тихонько закудахтал:

— Ты здорово осадил Жирного, приятель. Ух и здорово!

И даже Тормозной Питерсон, человек с одной половиной лица, сказал беззвучным шепотом:

— Эта толстая задница когда-нибудь допрыгается!

Мясник услышал все это и почуял, что его авторитет колеблется,— надо кончать, и поживее, решил он. Но сначала придется разделаться с Юсефом Турком. Без Турка того можно будет взять голыми руками. Да, нужно будет заняться Турком.

А чуть подальше Малыш Касба нащупал в кармане заостренный консервный ключ и крепко сжал его в пальцах. Уголки его рта еле заметно дрогнули в призрачной улыбке.

13

Дворик был залит утренним солнцем, и железная решетка отбрасывала на бетонный пол обычный узор перемежающихся серых полосок и ярких прямоугольников. В эмалево-синем небе над головой бронзовело солнце. Воздух застыл в неподвижности, и очертания горы над горизонтом, скрытым за тяжелыми стенами тюрьмы, были словно выбиты чеканом.

Начальник секции стоял за решеткой в большом дворе, разговаривая с другим надзирателем. Три каторжника из изоляторного корпуса напротив были выведены на прогулку и без конца шагали по кругу.

Кран в дальнем углу дворика был открыт, и вода бежала по неглубокой канавке в бетонном полу — заключенные стирали одежду. Они негромко переговаривались, иногда смеялись под частые звучные шлепки мокрой ткани по бетону. Некоторые разделись донага, чтобы выстирать все, что на них было, другие остались в шортах или в брюках. Они сидели на корточках друг против друга над бегущей водой, терли, колотили, выжимали. Те, кто не стирал, прохаживались возле, курили и болтали.

Юсеф Турок выжал рубашку, поднялся, расправляя затекшие плечи, и пошел к проволоке, привязанной одним концом к пруту решетки, а другим — к перилам железной лестницы. Он повесил рубашку на проволоку, хорошенько расправил и, сев у стены, принялся ее сторожить.

Он сторожил ее бдительно, зная, что стоит ему хотя бы на секунду отвести глаза — и она может мгновенно и бесследно исчезнуть.

Рядом сидели другие такие же сторожа и как завороженные смотрели на свою одежду, ожидая, пока летнее солнце ее высушит.

Юсеф Турок смотрел на рубашку и злобно думал о том, что его любовница последняя дрянь. Не могла принести чистую рубашку, стерва! И вообще она опять не пришла. Он начинал все больше и больше подозревать, что она его бросила, воспользовавшись тем, что он за решет-

кой, и закрутила с кем-нибудь другим. Юсеф прикинул, забыть ли про нее совсем или навестить ее, когда он выйдет из тюрьмы, чтобы оставить ей о себе хорошую памятку. В том, что свободы ему ждать недолго, он нисколько не сомневался. В эту минуту рядом с ним на пол опустилась горилья туша Мясника.

— Турок! — хрипло прорычал Мясник.— Турок!

— А? — спросил Юсеф, не отводя взгляда от рубашки.— Чего тебе?

Он не видел хищной щербатой улыбки на щетинистом лице, а только услышал утробный бас:

— Тутошнее поганое мыло не мылит ни черта. Турок, я слыхал, что у тебя есть кусок настоящего стирального мыла. Вот я и подумал: может, Турок, ты мне его одолжишь.

Юсеф Турок рассмеялся — такой заход показался ему очень смешным. Он сказал, глядя на рубашку:

— Слушай, Мясник, я тебе, друг, скажу только две вещи. Во-первых, на черта тебе мыло — ты же даже не знаешь, что это такое. А во-вторых, я тебе не одолжу даже дерьма в нужнике.

— Турок,— сказал Мясник все с той же злобной усмешкой.— Нам тут с тобой вдвоем тесно. Ты из себя корчишь важную птицу. Вот и покажи нам, какой ты такой важный. Понял?

— Когда хочешь, Мясник.

— Ладно, Турок. Сегодня один фраер из моей камеры перейдет в твою, а ты можешь перейти в мою, и мы уладим наше дело. Идет?

Юсеф Турок улыбнулся своей рубашке:

— Идет, приятель.

— Значит, сегодня вечером?

— Сегодня вечером,— сказал Турок.

Мясник встал и, отшвыривая в сторону тех, кто оказывался у него на дороге, пошел в угол, где собрались его дружки и прихлебатели. Юсеф Турок не смотрел ему вслед — он опять сосредоточил все свое внимание на рубашке, которая уже наполовину высохла.

В квадрате дворика дрожал зной, искажая все предметы, точно волнистое стекло, и заключенные, которым нечего было делать, скучились в тени, ожидая обхода начальника тюрьмы.

По бетону колышущейся походкой проследовала тюремная кошка — ее пестрая шерсть блестела на солнце, а хвост был поднят трубой. Она подошла к канавке, полакала воду и, проскользнув между прутьями решетки, удалилась в сторону кухни.

Джордж Адамс подошел к Юсефу. Выстиранную майку он нес на руке, и солнце сильно припекало его спину, защищенную только тонкой тканью рубахи. Он спросил тревожно:

— Что ему понадобилось, Юсси?

Юсеф Турок встал на ноги, пощупал свою рубашку, сдернул ее с проволоки и взял сигарету из коробки, которую протянул ему Джордж Адамс.

— Просто решил навестить хорошего знакомого,— ответил он с улыбкой.— Мы покончим с этим делом сегодня вечером в его камере.

— Сегодня? — Джордж Адамс чиркнул спичкой, и они оба прикурили от нее.— Я пойду с тобой.

— А это ни к чему. Не стоит тебе вмешиваться.

— Спасибо за совет,— сказал Джордж Адамс. Все это ему очень не нравилось.— Ты ведь вмешался, когда он пристал ко мне? Он только поэтому на тебя и взъелся. Я пойду с тобой,— докончил он, выпуская клуб дыма в желтое солнечное марево.

Юсеф Турок сказал:

— А мне не по вкусу, когда такой гад измывается над парнем вроде тебя. Нам надо беречь тебя, Профессор.

Он улыбнулся, показав все искусственные зубы, белые, как дешевый фарфор.

— А еще говоришь, что каждый должен заботиться только о себе!

— Конечно. Ну, Майор Жердь вроде бы уже близко!

Треугольник в большом дворе загремел, и заключенные начали строиться.

14

Жаркая духота в камере сгустилась в плотный ком. Как сказал Юсеф Турок, ее можно было бы набрать в горсть и шмякнуть об стену — и она прилипла бы. Она ватой обволакивала тела людей, вязким соусом сдабривая этот человеческий винегрет из карманников, гангстеров, грабителей, убийц, хулиганов и торговцев наркотиками — почти все они сидели в тюрьме не в первый раз, многие уже давно опустились на самое дно, а двое-трое стариков бессильно и безнадежно докуривали горький, чуть тлеющий окурок жизни.

В этот вечер все как-то притихли и почти не замечали жары. Вместо обычного оглушительного гомона слышался лишь сдержанный шепот. Слишком велико было напряжение, царившее в камере.

Снаружи солнце скрылось за горизонтом, и на камень и железо тюрьмы ложились зеленоватые сумерки. Дневные надзиратели в последний раз пересчитали заключенных и сдали дежурство. Новые надзиратели принимали эту тишину как нечто само собой разумеющееся — как свет фонаря на темной улице или блеск мостовой после дождя. Она их не беспокоила.

Хлеб и кофе в Большой камере поглощались с неимоверной торопливостью или прятались до более подходящей минуты. Засаленные колоды карт, кости и самодельные шашки остались лежать в тайниках. В маленьких камерах по другую сторону двора и на верхнем этаже тоже стояла тишина, смешанная с запахом пота и липкой духотой.

Джордж Адамс нервничал. Все это ему очень не нравилось. Это была страна за узкой береговой полосой законов, постановлений и запутанных кодексов — джунгли из железа и камня, населенные шакалами и гиенами, злобными волками и дрожащими овцами, пленными львами и неуклюжими чудовищами с изуродованным мозгом и с телом, закованным в броню невежества и жестокости, которые давили и топтали всех, кто пытался вырваться из цепкой хватки трясины.

Мясник сказал:

— Турок, придется нам устроить над тобой суд.

Юсеф Турок стоял, небрежно прислонившись к стене, и рядом с ним стоял Джордж Адамс. Турок слегка улыбался, полуопустив веки, но расслабленность эта была напускной: глаза настороженно блестели, и он весь был собран, напряжен и опасен, как полированная сталь копья.

— Суд? — спросил Юсеф Турок.— А я-то думал, Мясник, что это будет честная драка. Один на один.

В тюрьмах довольно часто устраивают «суды» — самые закоренелые и озверевшие преступники «судят» какого-нибудь несчастного, который навлек на себя их гнев непокорностью, заискиванием перед надзирателями, а может быть, и доносами на товарищей или чем-нибудь еще. В камерах устраиваются подпольные суды, гораздо более страшные, чем настоящие, и выносятся самые жестокие приговоры.

Однажды разбиралось «дело» одного заключенного, который чем-то не угодил хозяевам камеры. Говорили, что он пожаловался на притеснения надзирателю — непростительное «преступление». Шайка «судила» его, признала виновным и приговорила к... ему не сказали, к чему. Приговор с утонченной жестокостью они сохранили в секрете.

Измученный ужасом человек тысячу раз умирал в собственном воображении, пока наконец не уснул, не выдержав бесконечного бдения. И пока он лежал, вздрагивая в кошмарном сне, ему зажали рот и полдесятка ножей пронзили одеяло, в которое он завернулся.

На следующее утро надзиратели нашли мертвеца, завернутого в окровавленное одеяло. Но ни на ком из многочисленных обитателей Большой камеры не было обнаружено следов крови. Нож, которым были нанесены раны, исчез, и найти его не удалось. Тюремное следствие также ничего не установило.

Мясник захохотал. Он стоял у противоположной стены, окруженный обычной свитой. Рядом с ним стояли Розовый Моос, Тормозной Питерсон, Косой Самуэлс и Нур, а на внешней орбите компании находились такие спутники, как Хромой, Маленький Джонни, Солли и Малыш Касба. Все они ждали, что ответит великан.

— Честная драка! — загоготал Мясник, обводя взглядом зрителей.— Он хочет честной драки. Один на один.

Но, к его удивлению, множество голосов потребовало:

— Честная драка! Честная драка!

И это требование поддержали даже его дружки. Он прищурился. Значит, так? Ну, что ж, когда он разделается с этим тощим крикуном, надо будет навести порядок и тут.

Обезьянье лицо налилось кровью, щербатые зубы обнажились в усмешке.

— Ладно,— сказал Мясник.— Пусть будет честная драка.

Круглая голова повернулась на бычьей шее, и сиплый бас приказал:

— Тормозной, станешь на стреме у двери. А вы все пошли к стене. И чтоб молчать, ясно? Чтоб ни единого звука!

Мгновенно циновки и одеяла были свернуты и уложены у стены напротив двери. Зрители взгромоздились на них или расположились на полу. Все молчали, затаив дыхание. На лицах было написано жадное ожидание.

Мясник снял рубаху, обнажив грузное туловище, все в буграх мышц и жира. Оно было испещрено старыми шрамами и украшено гирляндами татуировки. Мясник согнул руки, напрягая бицепсы, оскалил гнилые зубы и похлопал себя по груди, выставляя напоказ наколотые картинки: череп над скрещенными костями, флаги и скрещенные кинжалы, голую женщину, которая двигалась, когда сокращались его мышцы. Всю левую сторону широкой спины занимал летящий орел с распростертыми крыльями, разинутым клювом, выпученными глазами и скрюченными когтями, готовый броситься на добычу.

Мясник злобно усмехнулся:

— Давай выходи, приятель! Я тебя раздавлю, как вошь.— Утробный бас клокотал в поврежденной гортани.— Честная драка, хо-хо!

Юсеф Турок отошел от стены и расстегнул рубаху. По сравнению с громадной тушей Мясника его полуобнаженный торс казался узким, но под гладкой коричневой кожей ящерицами танцевали мышцы, а длинное тело было таким же крепким и гибким, как бич из носорожьей шкуры.

Он поднес руку ко рту и вынул вставные челюсти. Его лицо сразу стало худым, щеки запали.

— Подержи-ка, Профессор,— сказал он.

Джордж Адамс неловко взял влажные зубы и осторожно опустил их в нагрудный карман.

В Большой камере наступила тяжелая, мертвая тишина. В углу напряженно ждали дружки Мясника, их глаза злобно и хитро поблескивали. Малыш Касба стоял совсем неподвижно, равнодушный и бесчувственный, как мумия, только одно его веко все время подергивалось, как будто он лукаво подмигивал. Тормозной Питерсон прижимал ухо к глаз-

ку окованной железом двери, и его сожженное лицо кривилось в застывшей страшной ухмылке.

Мясник двинулся вперед. Грязные шорты почти не прикрывали его толстых уродливых ног, узловатых, точно древесные пни. Он зарычал и борцовским жестом вытянул вперед правую руку.

Молниеносным движением Турок схватил его за кисть, рванул и выпустил прежде, чем Мясник успел высвободиться и в свою очередь схватить его. От неожиданного рывка великан, теряя равновесие, повернулся влево, и Турок ударил его по щеке твердым ребром ладони и рассек ему кожу на скуле.

Зрители ахнули и вытянули шеи: великан зашатался, а Юсеф Турок, закаленный победитель в сотнях уличных драк, не давал ему опомниться. Худое тело-бич метнулось в сторону, перенося всю тяжесть на левую ногу, а правая нога согнулась в колене и, распрямившись, как пружина, с силой пушечного снаряда ударила шатающегося Мясника в живот.

Глаза великана выпучились, из округлившегося рта со звуком, напоминавшим икоту, вырвался воздух. Бугристое лицо перекосилось, громадная туша закачалась, как скала, но не опрокинулась, и Турок свирепо пнул Мясника в колено.

Мясник взмахнул руками, стараясь сохранить равновесие. Он давно привык полагаться на свой вес и силу. Никогда еще человек настолько легче него не осмеливался вступать с ним в единоборство, а потому стремительная атака более опытного Турка застала его врасплох. Однако Мясник не получил серьезных повреждений, а только пришел в еще большую ярость.

С бешеным ревом он кинулся на врага. Неуклюже увернувшись от удара кулака, он протянул громадные ручищи, готовясь схватить Турка за пояс. Когда хищные лапы были совсем близко, колено Турка дернулось вверх, чтобы размозжить лицо, так соблазнительно нависшее над ним. Лицо рванулось в сторону, удар пришелся мимо, и нога Турка была стиснута железными пальцами. По рядам зрителей пронесся вздох.

Но за спиной Юсефа Турка были десятки подобных драк. Левой рукой он обвил шею Мясника и зажал ее, схватившись за собственное правое плечо. Его правая рука скользнула вверх, запястье легло на торчащий кадык, и он принялся душить Мясника. Конечно, тот мог повалить его на пол, но этот маневр не освободил бы его горло от удавки из сухожилий, костей и мышц, которая безжалостно сжималась все туже.

Мясник опрокинул Турка и сам повалился на него. Турок напряг руки, почувствовал, как подался кадык, и увидел, что лицо над ним синеет, а язык начинает вылезать изо рта. Мясник быстро изменил тактику. Обхватив ногу Турка под коленом, он другой рукой стиснул ступню и начал загибать ее вверх со всей звериной силой. Когда нога выпрямилась, он локтем нажал на колено — еще мгновение, и нога переломится, как сухая палка. Юсеф Турок знал это. На его лице выступили капли пота, глаза вылезли из орбит, беззубые десны обнажились в глухом стоне.

Джорджу Адамсу хотелось закричать, броситься вперед, превратить свирепое лицо Мясника в кровавую кашу. Все, затаив дыхание, ждали хруста ломающейся кости.

Но тут Тормозной Питерсон прошипел в напряженной тишине:

— Надзиратель, чтоб ему!

В мгновение ока противники разошлись, а зрители в небрежных позах улеглись на полу, старательно не глядя на дверь. Мясник растянулся во всю длину и злобно уставился на Турка. Его грудь вздымалась, как кузнечные мехи. Коричневое лицо Юсефа Турка позеленело, он тоже задыхался, как усталая собака. Нога мучительно ныла, и он с тревогой

подумал, что она может его подвести. Оба стали скользкими от пота.

Теперь все слышали шаги надзирателя снаружи. Насвистывая, он переходил от глазка к глазку, и сквозь скрип его сапог они различали мотив «Лили Марлен». Духота внутри Большой камеры набухала безмолвием, и когда кто-то вдруг кашлянул, это прозвучало, как взрыв.

Посвистывание приблизилось к их двери и замерло. Звякнула крышка глазка. Затем она снова звякнула — надзиратель отошел от двери. Снова раздалось посвистывание, но теперь оно удалялось в сторону лестницы.

— Тормозной! — пропыхтел Мясник.— Все в порядке?

— Он поднялся наверх.

Через несколько минут надзиратель спустился. Теперь он насвистывал «Ах, какой счастли-счастли-счастливый день!» Они услышали, как он прошел через дворик к калитке.

— Порядок! — сказал Тормозной, и все вскочили на ноги.

Мясник и Турок вновь встали друг против друга. Скула великана опухла, и кабаньи глазки под морщинистыми веками горели кровожадным огнем.

Внезапно он ринулся вперед. Юсеф Турок хотел увернуться, но разболевшееся колено плохо повиновалось ему и страшные лапы обхватили его, прижав его руки к бокам.

Зрители возбужденно зашумели, и Тормозной Питерсон прикрикнул на них.

Когда руки Мясника сомкнулись у него за спиной, Турок изо всех сил боднул свирепое лицо. Он почувствовал, что содрал кожу на лбу — глаз ему залило кровью. Но он услышал, как Мясник крякнул от боли — нос великана был сплющен в лепешку, кровь хлынула по толстой верхней губе в разинутый рот и потекла по заросшему подбородку.

В ту же секунду Турок перенес всю тяжесть своего тела на поврежденную ногу, а коленом другой ударил Мясника в пах. Великан закричал от резкой боли, но не разжал рук, а наоборот, уперся головой в подбородок Турка и весь напрягся, так что могучие мышцы на его спине задергались и зашевелились, точно кошки, засунутые в мешок.

Юсеф Турок знал, что стоит ему податься, выгнуться — и для него все будет кончено. Когда горильи объятья разомкнутся, он упадет на пол с поврежденным, а то и сломанным позвоночником, на его лицо, грудь и живот обрушится град ударов, а потом великан вспрыгнет на него обеими ногами...

Мясник вложил всю свою силу в это объятие, и его бицепсы вздулись шарами. Турок секунду сопротивлялся, потом вдруг обвис, пропустил ноги между расставленными ногами врага и вместе с ним опрокинулся на пол. В последнее мгновение он рванулся в сторону, и захваченный врасплох Мясник со всего размаху ударился окровавленным лицом о бетон.

Руки Мясника разжались. Турок выскользнул из-под него, осыпая режущими ударами распухшую скулу и шею, и вскочил на ноги. Мясник тяжело встал, но прежде, чем он успел выпрямиться, Юсеф Турок ударил его ногой в солнечное сплетение.

Хриплый вопль сразу задохнувшегося Мясника прозвучал в ушах Турка самой сладкой музыкой. Он сам еле переводил дух, спина и колено отчаянно ныли, и он знал, что недолго сможет противостоять упрямой силе великана. Но, кроме того, он знал, что еще несколько секунд Мясник будет в его власти.

И рванувшись вперед, он принялся наносить короткие частые удары по окровавленному лицу, согнувшегося пополам, задыхающегося Мясника. Руки его работали, словно рычаги паровоза. Он чувствовал, как

лопается кожа на костяшках его пальцев, и продолжал вкладывать всю свою силу в этот град ударов.

Мясник пятился с хриплым ревом. Он хотел уйти от беспощадных кулаков, чтобы собраться с силами для новой атаки. Зашатавшись, он почти упал в самую середину безмолвной кучки своих дружков и прихвостней — Мооса, Розового, Косого Самуэлса, Малыша Касбы, Нура, Солли, Маленького Джонни и других. Розовый и Нур выставили ладони, чтобы поддержать его, Косой Самуэлс и Маленький Джонни бросились подхватить его, остальные шагнули ему навстречу, и правая рука Малыша Касбы молниеносно дернулась вверх.

Мясник, охнув, вдруг осел — толстые ноги подогнулись, как тряпичные, горящие красным огнем глазки недоуменно вытаращились. Потом огонь в них погас, словно перегорели пробки, и он повалился на пол в гуще бестолково топчущихся людей.

Он больше не пошевелился, не издал ни звука. Кто-то подбежал с кружкой и выплеснул воду на окровавленное лицо, решив, что великан просто потерял сознание. Вокруг Мясника, взволнованно переговариваясь, сгрудились все обитатели камеры. Еще кто-то перевернул его на живот. Он лежал большой и неподвижный, а фонтанчик крови, бивший из глаза вытатуированного орла, опадал, превращаясь в тоненькую струйку.

Сбоку в толпе Малыш Касба быстро облизнул распухшую губу.

ЧАСТЬ II

I

Ранние сумерки лиловели во дворе перед изоляторным корпусом, и недавно поднявшийся легкий ветер тихо посвистывал в лабиринте зданий внутри тюремной стены. Где-то в кухонном дворике по-прежнему падали капли из неисправного крана.

Всем, кроме юноши по прозвищу Малыш Касба и Джорджа Адамса, уже роздали ужин — ломоть хлеба с джемом и кофе. Тишина, мешаясь с сумраком, висела над рядами каменных клеток с железными дверями и решетчатыми окошками, над административным корпусом, уже совсем темным, над канцелярией, над главными воротами. В кухне шла вечерняя уборка, но большинство работавших там заключенных уже спали, потому что им предстояло начать работу еще до рассвета. В служебных помещениях переодевались сменившиеся надзиратели.

Джордж Адамс сидел, прислонившись к стене.

— Спишь, друг? — спросил он у юноши в другом углу.

— Нет,— ответил Малыш Касба, не повернувшись.

— Послушай, друг, я знаю, что у тебя хватает неприятностей, но все-таки почему ты накинулся на того парня во дворе? Он же тебя не трогал.

Малыш Касба ответил, по-прежнему глядя в стену:

— Ну и болтун же вы, мистер! Ладно, я вам скажу. Я его стукнул, чтобы меня засадили сюда.

— Сюда? — с недоумением спросил Джордж Адамс.

Малыш Касба ответил с обычным сухим равнодушием:

— Да. Они будут расспрашивать про Мясника, а я не хочу, чтобы меня спрашивали. Может, про нас тут они забудут. Я не люблю говорить лишнего. Может, я кое-что видел и не хочу про это говорить белым, понятно? А вы, мистер, что-нибудь видели? Вы же тоже там были,— докончил он подозрительно.

Джордж Адамс ответил, смотря на спину юноши:

— Ну, если меня спросят, видел ли я что-нибудь, я скажу правду. Только и всего, приятель.

— Правду? — Малыш Касба перевернулся на другой бок и поглядел на Джорджа Адамса.

— Ага,— подтвердил Джордж Адамс и, засучив штанину, почесал голень.— Если им потребуются мои показания. Ну, я видел драку — может, она велась честно, а может, нет, но во всяком случае ножей у них не было и они дрались один на один. Потом я увидел, что Юсеф ударил Мясника в живот и он упал прямо на людей, которые смотрели на драку. Потом Мясник свалился на пол, а когда его перевернули, он был уже мертвый — кто-то, по-видимому, его чем-то заколол. А кто, я не знаю. Народу в том углу было много. Юсеф остался на середине камеры, а остальные стояли у стен. Вот и все.— Он разгладил штанину и добавил, нахмурившись: — А мне как-то жалко беднягу. То есть Мясника.

— Жалко? — насмешливо повторил Малыш Касба.— Ну и чудак вы, мистер.

— Как-то сейчас Юсси в больнице? Я слышал, его туда забрали, чтобы сделать рентген колена и позвоночника. И странно, как это никто не может догадаться, чем закололи Мясника.

— От Турка они ничего не узнают,— заметил юноша. Он откусил заусеницу и вытер палец о рубашку.— Скажет, что упал и расшибся. И все тут.

— Да, наверно,— согласился Джордж Адамс, но прежде, чем он успел сказать что-нибудь еще, кто-то застучал в стену, отделявшую их от соседней камеры.

Джордж Адамс встал и подошел к двери.

— Эгей! — крикнул он в окошечко.

— Здорово, приятель! — ответил голос из-за соседней двери.— За что они тебя сюда посадили?

— А я заспорил с Жирным. Ну, и они с майором решили, что я устраиваю беспорядки.

— Гад! — сказал сосед.— Жирный этот. А за что тебя забрали, друг?

— За политику,— ответил Джордж Адамс.

— За политику? Это что же, в тюрьму и за политику сажают?

— Да,— засмеялся Джордж Адамс.— Они думают, что я замышлял свергнуть правительство!

— Ого!

Джордж Адамс не знал, кто именно разговаривает с ним, но он видел этих троих на прогулке. А потом еще раз — когда принесли ужин и они вернулись в свою камеру. Все трое были каторжниками, о чем свидетельствовала тюремная одежда — парусиновые шорты и красные рубахи.

— А у вас как дела?

— Ничего. Мы тут ждем суда по повторному обвинению.— Говоривший кашлянул и добавил: — Слушай, друг, как у тебя с куревом?

— Есть сигареты.

— А у нас тут сейчас купе для некурящих! — усмехнулся его невидимый собеседник.— Может, у тебя найдется лишняя?

— Попробуем что-нибудь придумать,— сказал Джордж Адамс и повернулся к Малышу Касбе.— Нужно бы передать им сигарету. Ты не можешь это устроить? Ты ведь знаешь все здешние штуки.

— Попрошайки чертовы,— проворчал Малыш Касба.— Только и знают, что клянчить. Того у них нет, этого у них нет!

— Но ведь они не могут покупать в тюремной лавке, как покупаешь ты.

— А мне-то какое дело? — угрюмо сказал юноша.

— Конечно, никакого! — ответил Джордж Адамс с нарастающим гневом.— Тебе на всех наплевать. Но что-то я не слышал, чтобы ты отказывался, когда тебе что-нибудь предлагают даром! Разве не так?

Малыш Касба смерил его хмурым взглядом.

— Мы же тут вместе сидим. Я бы вам тоже что-нибудь дал, да нету у меня. А они вам на кой сдались? Они же не с нами сидят.

— Черт! Все, кто тут заперт, сидят с нами! — вспылил Джордж Адамс.

— Попрошайки чертовы,— снова сказал Малыш Касба, глядя на Джорджа Адамса, и его веко задергалось. Однако он встал и принялся рыться у себя в карманах, пока не нашел клубочка ниток, а Джордж Адамс следил за ним с любопытством, снова чувствуя себя иммигрантом в чужой стране, не знакомым с привычками и обычаями ее буйных обитателей.

— Дайте пару сигарет,— сказал юноша своим злым голосом, а его лицо было холодным и пустым, как оконное стекло.

Он взял три сигареты, которые Джордж Адамс извлек из коробки, и раскрошил их на ладони. Потом насыпал табак на обрывок оберточной бумаги и свернул в плоский пакетик. Он аккуратно загнул концы, чтобы табак не просыпался, а потом положил пакетик на пол и придавил ногой, совсем его расплющив.

Джордж Адамс молча наблюдал за его действиями и думал:

«Бедняга, бедняга! Тебя ждет смерть, и ты плюешь и на себя, и на всех остальных; а если бы тебе показали правильный путь — вот как сейчас, когда ты учишься совсем другому, хотя уже и поздно...».

В стену снова постучали, и тот же человек крикнул в дверь:

— Ну как, приятель?

— Сейчас,— отозвался Джордж Адамс.

Малыш Касба отмотал нитку и пошел к двери, доставая из кармана обломок расчески. Обломок он привязал к концу нитки. Потом пропустил несколько футов нитки через пальцы, привязал к ней пакетик с табаком и растянулся на полу у двери.

— Смотрите в коридор, мистер. Будете следить за соединением.

Джордж Адамс, сообразив, что должно произойти, засмеялся.

— Черт побери! — пробормотал он и окликнул соседа: — Ну как, готовы?

— Валяйте!

Малыш Касба слегка отодвинулся, чтобы не прижать нитку, и резким движением толкнул расческу наискосок под дверь. Джордж Адамс увидел, как она выпрыгнула из-под двери, скользнула по полу, таща за собой нитку, и остановилась напротив соседней двери.

Секунду спустя из щелки под этой дверью выскочила пуговица, привязанная к шерстяной нитке, выдернутой из одеяла, и остановилась около обломка.

— Не достает,— сообщил Джордж Адамс, заглядывая за прутья и сетку.

— А мы опять попробуем, приятель.

— Бросай вбок, ближе к нам,— распорядился Джордж Адамс, радуясь такому расширению своих познаний.

Пуговица исчезла, но тут же вновь появилась, и шерстяная нитка пересекла нитку Малыша Касбы.

— Медленнее тяни! — возбужденно крикнул Джордж Адамс.— Медленнее, приятель, медленнее... а то не зацепятся... Ах, черт!

Пуговица, не задев расчески, уползла под дверь соседней камеры.

Малыш Касба крикнул:

— Будем тянуть вместе. Только медленно, чтобы они зацепились, слышишь?

— Ладно,— ответил голос с терпеливым спокойствием, рожденным долгим опытом.

Пуговица снова вылетела в коридор и пересекла нитку. Малыш Касба и их невидимый сосед начали тянуть одновременно. Джордж Адамс следил, как пуговица и расческа начали сближаться.

— Медленнее, медленнее,— командовал он, глядя в окошечко.— Медленнее... Эй, стойте, стойте!

— Ну, что еще? — буркнул Малыш Касба и выругался.

— Все в порядке,— сказал Джордж Адамс.— Но только не торопись. Не торопись!

Пуговица и обломок расчески были уже в дюйме друг от друга. Они постепенно сблизились совсем, шерстяная нитка скользнула между зубьев расчески, пуговица прижалась к ним, и две нитки соединились.

— Есть! — сообщил Джордж Адамс.— Тащи к себе.

— Ладно, приятель! — И человек за соседней дверью потянул шерстяную нитку, а вместе с ней и расческу. Малыш Касба протолкнул в щель плоский пакетик с табаком, и он медленно уполз в соседнюю камеру. Каторжник отвязал пакетик, отцепил пуговицу от расчески, и Малыш Касба втащил назад свою нитку и расческу.

— Ну до чего же ловкая штука! — сказал со смехом Джордж Адамс.— Я бы никогда такого не придумал. Ловко, черт побери!

— Попрошайки чертовы,— пробурчал Малыш Касба, сматывая свою нитку.

Джордж Адамс засмеялся и похлопал его по спине. Где-то в сгустившейся темноте любитель псалмов торжественно запел «Иисус претворит меня в солнечный луч».

2

Осознав, что Мясник мертв, увидев тоненькую струйку крови, вытекающую из крохотной ранки на спине, над самым сердцем, заключенные окаменели. Но ошеломленное безмолвие длилось только одно мгновение. В следующую секунду толпа ринулась к сложенным постелям — люди хватали циновки и одеяла, вырывали их друг у друга, торопясь скорее лечь и заснуть, чтобы сразу отгородиться от случившегося.

Через несколько минут все они уже лежали, с головой укрывшись вонючими одеялами, забыв про духоту и жару. Никто не собирался ничего говорить сам, а если спросят, ответ был уже готов: заснул сразу же после отбоя.

Конечно, думать можно было сколько угодно и что угодно. Кто? Не Юсеф Турок, это-то точно. Под конец драки — хорошая была драка, что так, то так! — Турок бил Мясника кулаками по лицу. Мясник ни разу не повернулся к нему спиной. А пырнули-то его в спину... Вязальной спицей? Гвоздем? Или еще чем-то? Сзади пырнули. Ну, повалился он прямо на свою шайку, а это все ребята отпетые — и Нур, и Розовый, и Моос, и Маленький Джонни, и Косой, и остальные,— и кто-то из них ударил его в спину... Только вот чем? Этого никто не знал. Ни ножа, ни чего-нибудь вроде никто не видел. Белые будут задавать вопросы, устраивать обыски, но они ничего не найдут...

Дружки покойника как могли прибрали его тело: смыли кровь с лица, расстелили циновку и одеяла, положили на них неподвижную горилью тушу и укрыли еще одним одеялом. Делали они все это не из уважения к мертвому чудовищу, а ради собственной безопасности.

Все-таки нельзя сказать, что ты не заметил мертвеца, который всю ночь провалялся посреди камеры. А раз заметил, так почему не позвал

надзирателя? Теперь же, когда надзиратель снова посмотрит в глазок, он увидит, что в камере все спокойно спят под своими одеялами. Утром все уйдут из камеры вместе, а когда после проверки надзиратели найдут труп Мясника, то как они смогут доказать, что в Большой камере в эту ночь находились такие-то и такие-то люди? Тюремные власти интересовались только общим числом заключенных в секции, а не тем, в какой именно камере они проводят ночь.

Юсеф Турок, хромая, добрел до бачка и смыл кровь с лица и груди. Лоб у него был рассечен, один глаз начинал заплывать. Сильно ныло правое колено, и каждый шаг отдавался резкой болью в спине.

— Что же теперь будет? — шепнул Джордж Адамс, подходя к нему.— Вот твои зубы.

— Ничего не будет,— ответил Турок, морщась от боли. Он ополоснул искусственные челюсти, осмотрел их, сунул в рот и прищелкнул зубами, чтобы они получше встали на место.— Ничего. Никто ничего не скажет, Профессор. Утром, когда отопрут дверь, мы все выйдем отсюда, а белые пусть сами разбираются.

— А как же...— шепнул было Джордж Адамс, но Юсеф Турок сердито его перебил:

— Слушай, друг, это же тюрьма, понял? Такие вещи тут время от времени случаются. Тюрьму построили они, пусть они ей и управляют как следует. А тем, кто тут заперт, нужно одно: самим улаживать свои дела, а с белыми держать язык за зубами. Ты не думай, будто тут как на воле.— Он смочил водой опухший глаз.— И вот еще что: если ты начнешь разыгрывать паиньку и захочешь помочь правосудию, дружкам Мясника это не понравится. Подколол его кто-то из них, так что им не понравится, если про это узнают надзиратели. И они сведут счеты с тем, кто распустит язык.

Джордж Адамс понимал, что объединившаяся шайка Мясника не менее опасна, чем был он сам, а может быть, и опаснее. И все же рассердился на себя за то, что почувствовал страх. К тому же его мутило, его желудок подергивался, как рука старика. Он в первый раз видел, как кого-то убили, и мысль о том, что ему придется провести ночь в этой камере рядом с трупом, приводила его в ужас.

Он сглотнул слюну и спросил:

— Как ты себя чувствуешь, Юсси?

Турок пососал разбитые костяшки пальцев и выругался.

— Голова почти не болит. А вот спина и колено...

— Утром заявишь, что болен?

— Наверно.

— А что ты им скажешь?

— Что я болен, расшибся. Ну, с лестницы слетел или еще что-нибудь.

— Но тебя же будут допрашивать...

— Вот когда будут, тогда и посмотрим.

Он, прихрамывая, поплелся туда, где они устроили себе постель, но Джордж Адамс почувствовал, что больше не может совладать с тошнотой, и стремглав бросился к параше.

Он долго лежал без сна, изнывая от духоты, и мысли его все время возвращались к Мяснику, который терроризировал своих товарищей и был убит одним из них.

3

Человек со шрамом на левой щеке соорудил длинную цигарку. С терпением и искусством хирурга, делающего труднейшую операцию, он оторвал полоску оберточной бумаги, перегнул ее пополам вдоль, по-

том зажал между большим и средним пальцами так, что указательный палец мешал краям сойтись, аккуратно насыпал табак из трех сигарет по всей длине полоски и старательно разровнял. Затем ловко свернул бумагу в трубочку, лизнул один край, приклеил его, потом для верности облизнул всю трубочку и закрутил концы.

— Огоньку! — приказал он.

Один из его товарищей по камере выпростал рубашку из штанов, повозился со швом и, как фокусник, извлек на свет спичку — вернее, половину спички, умело расколотой вдоль. Человек со шрамом взял ее, подошел к стене и чиркнул, точно рассчитав нажим. Едва она вспыхнула, он поднес к ней цигарку, быстро затянулся и выпустил дым через ноздри.

Человек со шрамом подошел к двери и выглянул наружу. Ночь окутала тюрьму лиловым саваном. Псалмопевец умолк. Человек со шрамом вернулся на прежнее место, с наслаждением затягиваясь табачным дымом, а тот, кто дал ему спичку, сказал:

— Гус, ты бы разогнал дым. Явится старый хрыч — и будет заварушка. Нам ведь табак не положен.

— А пошел он! — засмеялся Гус, показывая длинные желтые зубы. Когда он смеялся, тонкий шрам на щеке белел и изгибался, точно плохо застроченный шов.

— Он придет еще не скоро.— сказал Гус.

— Может, и так,— отозвался его собеседник.— Но ты всю-то не выкуривай!

— Ну, ладно, ладно.

Гус затянулся, а потом вынул цигарку изо рта и поглядел на тлеющий кончик. Это был плотный коренастый человек среднего роста с сильными кряжистыми ногами — переразвитые мышцы икр бугрились узлами, ступни были широкие и мозолистые.

Он подошел к своей постели и сел, поджав ноги, точно факир. Сделав еще две затяжки, он передал самокрутку своему товарищу.

У этого человека было очень темное, круглое и плоское лицо, больше всего напоминавшее донышко сковородки, на котором по слою сажи, горелого масла и застывшего жира кто-то небрежно нарисовал пальцем глаза, ноздри и губастый рот. Когда он говорил, были видны торчащие резцы и сбоку золотая коронка. Его карие глаза весело блестели.

Затянувшись, он улыбнулся во весь рот.

— Давненько я не курил! Этот парень там ничего, правильный.

Он покурил еще, а потом спросил:

— Как по-твоему, Гус, сколько мы схлопочем за этого надзирателя?

— Сколько? — рассмеялся Гус.

Он в общей сложности уже получил двадцать три года тюремного заключения. Ему было двадцать семь лет, и он не собирался спокойно отсиживать срок до конца. Друзья на воле готовили ему побег, и теперь он ждал только весточки от них.

Нападение на надзирателя входило в план, а круглолицего он втянул в это дело для того, чтобы лучше замаскировать свою истинную цель. Третий же присоединился к ним неожиданно, когда они уже бросились на надзирателя,— по-видимому, он просто поддался настроению минуты. Все получилось, как было задумано, и из каменоломни их перевели до суда в городскую тюрьму, на что и рассчитывал Гус.

Но двум своим товарищам Гус о побеге пока ничего не говорил, откладывая объяснение до последней минуты. Тогда они будут вынуждены бежать с ним — во всяком случае, через окно на крышу. А там пусть сами о себе заботятся. Остаться в камере они не рискнут, так как им придется отвечать за то, что они не подняли тревоги и не остановили его — ну, а уж этого они никогда не сделают и предпочтут бежать с ним.

Гус поглядел на окошко в глубине камеры и улыбнулся. Изнутри оно было затянуто крепкой проволочной сеткой, а снаружи загорожено решеткой из четырех прутьев. Над окошком поднимался парапет крыши. Гус снова улыбнулся — он был домушником и умел лазать по отвесным стенам и крутым крышам. Потом он сказал небрежно:

— Сколько? Год, два — какая разница! — Он поглядел на третьего обитателя камеры, который сидел на одеяле, обхватив колени, и тупо смотрел перед собой.— Что это с ним?

Круглолицый, которого звали Морган, ответил:

— С ним-то? Он боится.

— Боится? Сопля! Гнида! — объявил Гус, бросая на третьего хмурый взгляд.

Этот третий обитатель камеры был моложе остальных двух, и его неотступно терзала мысль о том, что он получит лишний срок за участие в нападении на надзирателя. Глаза у него были тусклые, углы рта уныло загибались вниз, и рот казался отпечатком подковы на бледном лице.

Он поглядел на Гуса и Моргана, а потом сказал:

— Не лезьте вы ко мне. Ну, чего вам от меня надо? Оставьте человека в покое.

— Сопля! — насмешливо повторил Гус.— И чего он увязался за нами бить надзирателя? Ну-ка, Копп, зачем ты это сделал?

Копп ответил голосом, в котором дрожали слезы:

— Черт! Я и не думал вовсе. Как-то само собой вышло. Точно меня толкнуло. Я скажу в суде, что увидел, как вы бросились на него, а потом вдруг и сам... Только я не хотел. Как-то само собой получилось.

— А, так ты не хотел! — передразнил его Гус.— Не хотел, бедненький, а вот сидишь теперь здесь!

— Да отвяжись ты от него, Гус,— вмешался Морган.— Ну, может, у него в башке помутилось. Это бывает.

— А теперь он трусит? Сопля! Он, наверно, только и умеет ходить в штаны. Гнида вонючая!

— Не лезь ты ко мне, Гус,— с тоской пробормотал Копп.— Не лезь!

— А пшел ты! — Гус повернулся к Моргану.— В Дыре кто-нибудь сидит?

— Вроде нет,— ответил Морган и, еще раз затянувшись, протянул Коппу окурок цигарки.

— С чего ты вздумал угощать этого говнюка? — сердито спросил Гус.

— Брось! Пусть покурит,— отозвался Морган.

Копп взял окурок и пробормотал слова благодарности. Рот у него нервно подергивался, и было приятно зажать в губах шершавую трубочку. Он затянулся, уныло глядя в пол.

— Нет,— продолжал Морган, обращаясь к Гусу,— в Дыре я никого не видел.

— Эй, сопля! — сказал Гус, глядя на Коппа.— Хочешь посидеть в Дыре?

Дырой называли карцер в подвале — квадратную каморку без окон, выкрашенную изнутри черной краской. Воздух туда попадал через узкую зарешеченную отдушину над дверью, и там всегда было темно, как в аду.

Гус продолжал изводить перепуганного парня.

— Спорим, ему в Дыре понравится. Там внутри темно, хоть глаз выколи, и говорят, там водятся привидения. Один слабак там свихнулся и покончил с собой.

Копп молча курил. Гус встал, подошел к нему, вырвал окурок из его рта и сам докурил дотлевающий табак. Он злился и нервничал из-за по-

бега, как беременная женщина накануне родов, и срывал свое раздражение на Коппе.

— Сядь, Гус,— посоветовал Морган.— Чего ты дергаешься? Вши заели?

Гус только злобно фыркнул, вернулся к своей постели и лег, закинув руки за голову.

— А кто эти рядом? — спросил Морган.

— Один фраер. Его взяли за разговоры против правительства,— сообщил Гус.— А второй как будто сидит за мокрое дело.

— За разговоры против правительства! — удивился Морган.— За что только теперь не сажают! Я бы и сам кое-что сказал про это вонючее правительство. Да-а, хватают и за то, и за это.

Он лежал, задрав босые ноги, и теперь ткнул большим пальцем в сторону надписей, испещрявших стену напротив.

— Вот посмотри! Видишь? «Тоффи Уильямс». Вон там!

— Где? — спросил Гус, вглядываясь.

— Ну, вон там! «Тут сидел Тоффи Уильямс за убийство»!

— А, ты вот о чем! Вижу. Ну и что?

— А то, что я Тоффи знал. И опять скажу: за что только сюда не попадают! А Тоффи не везло. Черт знает, какой он был невезучий!

— Так что он сделал-то? — спросил Гус. Он готов был слушать какие угодно истории, лишь бы заглушить томительное раздражение, которое жгло его.

Морган поерзал, устраиваясь поудобнее — насколько можно устроиться поудобнее на жесткой веревочной циновке, прикрытой одним одеялом.

— Дело, значит, было так,— начал он.— Как-то вечером Тоффи Уильям со своим корешем Сэмом Никерком вышел из пивной Дьюка. Они пропустили пару-другую кружек, а теперь шли домой. Тоффи был рыбаком, работал на траулере и по неделям, а то и по месяцам торчал в море. Так уж у них, у рыбаков, заведено. Ну, а когда он возвращался, Сэм уже поджидал его у Дьюка, неподалеку от порта, и они выпивали за встречу. Тоффи зарабатывал прилично, и за хороший улов им еще полагалась премия. Сэм был его кореш, и он всегда его угощал. Сэм-то работал где-то в городе, и свободного времени у него было много.

Ну, вышли они из пивной и пошли себе по Портовой. Тоффи несет на плече мешок с инструментом. Идут они, значит, разговаривают, и тут вдруг из-за угла шасть кто-то — и прямо на Тоффи, так что он чуть свой инструмент не растерял.

— Какого дьявола! — кричит он.

— Простите, мистер,— говорит кто-то тоненьким голосом.

Глядит, девчонка растянулась у стены.

— Ну-ну,— говорит Тоффи и помогает ей встать, а сам смеется.— Не ушиблась?

— Ничего,— отвечает девчонка и тоже смеется.

Тут Тоффи ее разглядел: очень симпатичная, вся накрашена, как куколка, и волосы мягкие. Ну, словом, картинка.

Короче говоря, так Тоффи и познакомился с этой Беллой. И начал с ней гулять. Хотя он все еще угощал своего кореша Сэма, когда сходил на берег, но времени для друзей у него оставалось мало. Ну, как всегда, когда человек спутается с девчонкой. Сэм, правда, думал, что она просто шлюха с Портовой, но Тоффи про это не говорил.

Прошло так месяца два-три, а Тоффи, когда бывал на берегу, все с Беллой да с Беллой. Сэм всегда их видел вместе — кроме разве тех случаев, когда выпивал с Тоффи у Дьюка. Они, то есть Тоффи с Беллой, ходили в кино, или в парке сидели, или ездили на пляж, когда погода была подходящая.

И вот как-то сидят они вечером в парке, а Белла что-то притихла. Ну, Тоффи ее и спросил, чего это она, а она и говорит:

— Да ничего.

Только он видел, что у нее не все ладно, и давай ее расспрашивать, ну, и она ему под конец сказала:

— У меня будет ребенок.

— Вот те на! — говорит Тоффи.

— Ну и что же ты будешь делать? — спрашивает Белла.

— Не знаю,— отвечает Тоффи, растерявшись.

— Ну, так я что-нибудь сделаю,— говорит Белла.

— Как это «сделаешь»? — кричит Тоффи.— Где ты набралась таких вещей? И думать не смей!

— Так что же мне — рожать? — спрашивает она сердито.

— Конечно,— говорит Тоффи.— Только нам лучше будет пожениться.

Ну, они и поженились. Получили домик от муниципалитета, а у Тоффи были сбережения, так что они и мебель купили.

Сэм Никерк ходил к ним в гости. А потом ребенок родился. Мальчик. И похожий на Тоффи.

Ну, время шло, и Тоффи с Беллой жили как будто хорошо. Конечно, ссорились иногда, как это между женой и мужем водится. Особенно если Тоффи хлебнет лишнего.

Как-то вернулся Тоффи с лова и по обыкновению зашел к Дьюку, а там, конечно, Сэм и прочая компания.

— Здорово, ребята,— говорит Тоффи и бросает свой мешок у стенки.

— Здорово, Тофф! Улов был хороший?

— Лучше некуда,— говорит Тоффи. — Так что разопьем по кружке.

— Смотри не протраться! — смеется Сэм.— Не то твоя хозяйка с тебя шкуру спустит.

Посмеялись, а Тоффи говорит:

— Ну, нет. Тут любовь до гроба.

Все опять засмеялись, выпили и давай дразнить Тоффи, что он, дескать, совсем остепенился и все деньги отдает жене.

Ну, выпили они еще, мирно так, тихо.

— Что верно, то верно,— говорит кто-то у стойки.— Тоффи есть для чего возвращаться домой. В тепло и уют после холодного-то моря!

— А как же! — говорит другой.

— И не он один так думает,— говорит третий и подмигивает остальным у Тоффи за спиной.

— Ты это о чем? — говорит кто-то и смеется.— Тоффи, друг!

Тоффи оскалился, как акула, и глядит на них.

— Вы про что?

А тут его кореш, Сэм, берет его за локоть и говорит:

— Вот что, Тофф. Пойдем-ка со мной на улицу. Там и потолкуем.

— О чем это? — спрашивает Тоффи, берет свой мешок и идет за Сэмом.

Вышли они, значит, а Сэм и говорит:

— Тут дело такое: каждое утро у твоей двери стоит тележка зеленщика, и что-то долго стоит. Мы это все видали.

— Ну и что?

— А зеленщик парень красивый, только и всего.

Ну, Тоффи совсем взбесился. А главное — в пивной все хохочут, а ему слышно. Человек он был простой, и все это ему очень не понравилось. Ну, время шло к полудню, и он решил пока домой не возвращаться, а пойти туда на другой день пораньше утром.

Тут он ушел от Сэма. Днем шлялся по другим пивным, а ночь про-

вел в одном притоне, стараясь утопить в вине сомнения и подозрения, которые грызли его, точно крыса, забравшаяся в сыр.

Утром Тоффи, пошатываясь, пошел домой. Гады они, а не друзья, ну просто тронутые. Да и Сэм хорош — кто же это другу такие вещи говорит про его жену? Тепло и уют после холодного моря! Не он один так думает! Решили разыграть его. Измываются, сволочи! Но он-то знает, какая у него хорошая жена...

Тут он свернул на свою улицу и вытаращил глаза. Перед его домом стояла-таки тележка с зеленью, а входная дверь была закрыта.

Тоффи уставился на эту улику. Тепло и уют после холодного моря! И парень он красивый!

Тут Тоффи совсем очумел. Вбежал в дом, ничего не соображая. В руке у него сверкнул нож для чистки рыбы. Белла завизжала. А зеленщик вроде растерялся.

Белла на суде показала, что попросила зеленщика только внести ее покупки в дом, и он их внес, как всегда вносил.

— Вот так-то,— докончил Морган, оскалив крупные зубы.— Сюда за всякое попадают. Некоторые говорили, что Тоффи сам виноват: нечего было связываться с девкой, которую он подобрал на Портовой. Ну, не знаю.

— А что дальше было с этой Беллой? — спросил Гус, переворачиваясь на бок и глядя на Моргана.

Тот зевнул и почесал грудь под линялой красной рубахой.

— Уа-ха-ха! — сказал он.— Она вскоре закрутила с Сэмом Никерком.

4

Ночной надзиратель пришел и ушел. Они услышали, как вскоре после отбоя открылась дверь внизу, а потом его каблуки застучали по лестнице. Надзиратель постоял у дверей занятых изоляторов, проверил засовы и заглянул в окошечко. Джордж Адамс, который лежал, растянувшись, на своем одеяле, увидел лицо и фуражку надзирателя — ячейки сетки и прутья делили его лицо на прямоугольники и квадратики, словно оно было мозаичным. Потом они услышали, как он спускается по лестнице, стукнула железная дверь, щелкнул замок.

«Запирают и отпирают,— подумал Джордж Адамс.— Только и делают, что запирают и отпирают. Прекрасная гимнастика для ума». Ему пришло в голову, что тюремные надзиратели, в сущности, такие же заключенные — ведь почти всю свою жизнь они, пока работают, проводят за каменными стенами и решетками. Прикованы к другому концу цепи...

Он зевнул, прикидывая, что они сделали с Юсефом Турком и чем вообще может кончиться это дело.

Тогда утром все ринулись к двери, едва она распахнулась, и выскочили во двор, одеваясь на ходу. Мясник остался лежать, укрытый одеялом, и можно было подумать, что он просто спит.

Юсеф Турок потащил Джорджа Адамса за собой, не слушая его возражений, впрочем, не очень настойчивых. Уже во дворе Джордж Адамс сказал:

— Но нельзя же его бросить вот так!

— Чего тебе еще взбрело в башку? Унести его? — прошипел Турок.— Держись, будто ничего не случилось, приятель. А этим пусть занимаются другие. Они знают, что нужно делать.

И Джордж Адамс вдруг ощутил тягостный стыд, точно он бросил во время отступления тело друга.

Позже, когда они построились на поверку, надзиратели обнаружили,

что одного заключенного недостает. Обеспокоившись, они еще раз пересчитали четверки, а потом один из них обошел камеры и нашел труп Мясника. Он выбежал во двор, взволнованно крича:

— Эй, он валяется там мертвый!

Жирный и ночной надзиратель бросились за ним в Большую камеру. Они вышли оттуда все трое, и Жирный встал перед строем заключенных. Его пухлое розовое лицо хмурилось. Он обвел их подозрительным взглядом.

— Те, кто ночевал в этой камере, шаг вперед!

По строю заключенных прошло движение, но никто ничего не сказал, и никто не сделал шага вперед. Жирный холодно усмехнулся и поглядел на остальных надзирателей.

— Ну, конечно, там никто не ночевал. И никто из этих красавчиков ничего не знает.

— Я пойду разбужу начальника,— сказал ночной надзиратель.

— Валяй, иди.

Тот ушел, а Жирный неторопливо прошел вдоль ряда, всматриваясь в каждое лицо глазами ледяными и застывшими, как сама смерть. Рот под пшеничными усами кривился в злой усмешке.

Через несколько минут явился начальник тюрьмы, длинный, худой и костлявый. Он шел, выставив вперед голову на морщинистой шее, точно ищейка, взявшая след.

И вот в эту минуту юноша по прозвищу Малыш Касба вдруг затеял драку. Раздался вопль, строй смешался, люди отскочили в сторону, и все увидели, что Малыш Касба бьет привязанной к поясу кружкой какого-то молоденького парнишку, который только закрывает лицо руками, вскрикивая от боли, и старается увернуться от ударов, сыплющихся на его голову и плечи.

Надзиратели кинулись туда, отшвыривая тех, кто оказался у них на пути. Жирный схватил Малыша Касбу за ворот и вырвал у него кружку. Начальник тюрьмы со взбешенным видом зашагал к нарушителю порядка — его длинные ноги двигались, точно рычаги какой-то машины.

— Что это ты затеял? — крикнул он, поднимая трость, как дубинку.

Малыш Касба угрюмо поднялся на ноги и ничего не отвечал. Он покусывал нижнюю губу и смотрел куда-то вдаль.

— Кто он такой? — спросил начальник тюрьмы, и Жирный прикрикнул на юношу:

— Покажи карточку начальнику, мерзавец!

Малыш Касба вытащил из кармана брюк свою регистрационную карточку и, не взглянув на Жирного, протянул ее. Начальник тюрьмы поглядел на карточку, раздраженно фыркнул и сказал:

— А! Еще один любитель пускать в ход нож. Из этих, из закоренелых.— Он медленно кивнул, как заводная механическая игрушка.— Лишить завтрака, обеда и ужина, и в изолятор! — приказал он.— До дальнейшего распоряжения.

Он вперил взгляд в толстого надзирателя, и Жирный поднес руку к козырьку.

— А ну, иди! — рявкнул он на Малыша Касбу и ткнул его концом дубинки.

— С чего этот псих отколол такую штуку? — задумчиво пробормотал Юсеф Турок, потирая ладонью ноющую спину.

— Заявил бы ты, что болен,— посоветовал Джордж Адамс.

— Не сейчас. Да они теперь и не станут выслушивать жалобы.

В эту минуту во дворе появились два каторжника с носилками в сопровождении больничного санитара, у которого поверх формы был надет белый халат. Все они — начальник тюрьмы, надзиратели, носильщики и санитар — вошли в Большую камеру.

Заключенные в строю начали переговариваться и оглядываться. Джордж Адамс заметил, что бывшие дружки Мясника стоят рядом и, усмехаясь, что-то обсуждают — Моос, Нур, Маленький Джонни, Тормозной Питерсон, Косой и Розовый. «Кто же из них это сделал?» — подумал Джордж Адамс. Но, если судить по лицам, все они были способны украсть вставные челюсти собственной бабушки, открой она в их присутствии рот.

Из камеры вышел санитар, за ним каторжники с носилками. Труп Мясника был укрыт одеялом. Затем вышел начальник тюрьмы. Шествие замыкали надзиратели. Начальник говорил:

— ...для них это словно не тюрьма, а пивная!

Он обвел взглядом строй заключенных, которые разом смолкли.

Начальник тюрьмы был рассержен и встревожен. Управление тюрьмами требовало, чтобы он поддерживал должный порядок во вверенной ему тюрьме и не допускал, чтобы порочащие систему факты становились достоянием гласности. У тюрем и так достаточно скверная репутация! Но как он сумеет скрыть такой скандальный случай? Начальник тюрьмы с кислым и расстроенным видом пошел к калитке.

Завтрак, овсяная каша, был роздан и съеден в полном молчании. Это молчание, по-видимому, внушало толстому начальнику секции какие-то опасения: он медленно прохаживался по двору, и связка ключей в его руке позвякивала в тишине, которая составляла единое целое с солнечным светом и узором теней на каменных стенах.

После завтрака Юсеф Турок встал, скособочился, подмигнул Джорджу Адамсу и, хромая, побрел к надзирателю. Джордж Адамс и все остальные смотрели, как они обменялись несколькими словами и Жирный подозрительно прищурился. Он что-то сказал и оглядел Турка с ног до головы, еще что-то сказал, взмахнув ключами, а Юсеф Турок, показывая на спину и на колено, что-то объяснял, после чего надзиратель покачал головой и, судя по выражению его лица, выругался. Потом он подошел к калитке, отпер ее и передал Юсефа Турка надзирателю, наблюдавшему за двором по ту сторону решетки. Надзиратель пошел с ним к арке, за которой была больница, и в этот день Джордж Адамс больше Турка не видел.

Заключенные принялись убирать двор, подметать камеры, выносить параши, и жизнь постепенно вошла в обычную колею — начались разговоры, и двор заполнился обычным разноголосым гулом.

Толстый надзиратель продолжал расхаживать по двору. Однако все понимали, что он рассчитывает узнать что-нибудь о смерти Мясника, и при его приближении разговоры смолкали, а он сердито шел дальше.

Джордж Адамс стоял в клинышке тени. Тюремная кошка подошла и изящно потерлась о его ногу. Он с улыбкой нагнулся, взял кошку на руки и принялся поглаживать шелковистую шкурку, наблюдая, как топорщится мех, где рука перестает его касаться. Кошка замурлыкала и лизнула ему руку шершавым теплым язычком.

Кто-то сказал над самым его ухом:

— Ты зачем взял кошку?

Подняв голову, он увидел перед собой морозные глаза Жирного.

— Я с ней просто играю,— коротко ответил Джордж Адамс.

— Играешь? Ты что, для того здесь, чтобы играть?

— Какой вред в том, что я подержу на руках кошку? — спросил Джордж Адамс нарочито небрежным тоном.

— Все еще распускаешь язык, умник?

— Вы задали вопрос, и я ответил,— сказал Джордж Адамс. Ему было смешно смотреть, как растерян и озабочен надзиратель. Он думал: «Вляпался, Жирный! Совсем перетрусил».

— Мне твоя наглость надоела! — рявкнул надзиратель, поводя у са-

мого его носа розовым пальцем, похожим на сосиску.— Сейчас увидишь, что значит умничать! А ну, брось кошку и иди за мной. Я тебе покажу!

Джордж Адамс осторожно опустил кошку на пол, его покрытые щетиной щеки дрогнули в улыбке. Он пошел за толстяком, а позади смеялись заключенные, глядя, как надзиратель сердито семенит ногами — сейчас он был очень похож на дородную женщину, которая куда-то опаздывает.

Надзиратель отпер калитку и знаком приказал Адамсу выйти в большой двор.

— Стой тут, пока не придет майор,— приказал Жирный и добавил, обращаясь к надзирателю, дежурившему во дворе: — Последи за этой сволочью, приятель.

Джордж Адамс долго стоял на солнцепеке у решетки и смотрел, как трое каторжников из изоляторного корпуса все ходят и ходят по кругу. У одного из них щеку рассекал узкий шрам, кожа другого была совсем черной, а третий, щуплый и изможденный, по-видимому, испытывал мучительную тревогу. Их босые ноги шлепали по асфальту — круг за кругом, круг за кругом. Солнце палило нещадно, и все они были мокры от пота.

Ближе к полудню из административного корпуса вышел надзиратель, принялся колотить по железному треугольнику перед дверью; послышалась команда:

— Становись! Становись!

Обитатели черной секции предварительного заключения построились во внутреннем дворике и смолкли. Джордж Адамс стоял один под слепящим солнцем, его клонило ко сну, и он жалел, что нельзя лечь.

Тюремная кошка проскользнула сквозь решетку и направилась к кухне за изоляторным корпусом, а Джордж Адамс сонно смотрел ей вслед и думал: «Кисонька, киса, попал я из-за тебя в переплет, кисонька!»

Затем во двор вышел начальник тюрьмы и направился к калитке белой секции, а Джордж Адамс следил за тем, как он идет — высокий, костлявый, слегка наклонившись вперед от пояса, точно пугало, которое вот-вот опрокинется. Трость он зажал под мышкой, и вид у него был очень сердитый.

Проинспектировав заключенных белой секции, он направился в черную секцию и, заметив Джорджа Адамса, остановился перед ним.

— Это еще что такое?

Жирный, вышедший ему навстречу, поднес руку к козырьку и ответил:

— Это смутьян, майор. Распускает язык и дерзит.

Он прикрикнул на Джорджа Адамса:

— Давай карточку!

Начальник тюрьмы поглядел на карточку и совсем вышел из себя. Он сказал;

— А! Один из этих! Участие в нелегальной организации, тэк-с? — Он сверлил Джорджа Адамса сердитым взглядом, и его чисто вымытое розовое лицо наливалось кровью.— Я больше не потерплю этих безобразий! Слышите? Не потерплю! С этой секцией и без того хватает хлопот! Что произошло вчера? Я этого больше терпеть не намерен! Являются сюда, как на собрание. Устраивают беспорядки! — Он повернулся к Жирному.— Лишить обеда и ужина и отправить в изолятор.

Начальник тюрьмы удалился, бормоча:

— И никто, конечно, ничего про это не знает. Ничего!

И теперь, лежа в камере напротив Малыша Касбы, Джордж Адамс засыпал и слушал ветер. Ветер, посвистывая, гулял по тюрьме — вры-

вался в проходы и опустевшие дворы, упирался в стены и, побежденный, отступал, жалобно курлыкал, раздраженно бился в карнизы и двери. За ночь он окрепнет и будет выть от ярости, натыкаясь на непреодолимые каменные преграды, будет рвать калитки и засовы, хлестать по бетону и кирпичу и, разбиваясь о стены, с ревом уноситься в город.

По-прежнему, аккомпанируя нарастающему свисту ветра, капала вода из испорченного крана, а Джорджу Адамсу снилось, что он стоит во дворе дома, где он снимал квартиру, а Мясник говорит: «Эй, заверните кран!» Под мышкой у Мясника была пачка листовок, и он объяснил Джорджу Адамсу: «Надо раздать их за вечер, пока нас не заперли на ночь». «Тебе помогут Джефферсон и Юсси»,— сказал Джордж Адамс. «Я перережу Юсси его поганую глотку». И Мясника унесли на носилках, а он держал листовки и говорил: «Кто убил воробья?» И тут миссис Айзекс, квартирная хозяйка, сказала: «Я этого не потерплю. Вас повесят за шею, пока не будете мертвы, мертвы, мертвы. Хватит спать. Вот ваш чай!» Она держала миску с бобами, другой рукой трясла Джорджа Адамса за плечо и приговаривала: «Вставайте, на работу опоздаете! Вставайте!»

Джордж Адамс проснулся, бормоча:

— А? Что?

Малыш Касба тряс его за плечо:

— Пора вставать, мистер. Уже звонили.

Ветер совсем стих, и утреннее солнце било в окошко, отбрасывая на пол сетчатый узор.

5

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп...

По кругу, по кругу, еще раз по кругу — босые ноги каторжников шлепали по раскаленному асфальту двора. За ними шли Малыш Касба и Джордж Адамс. Сбоку над их головами, точно раскаленная монета в синеве неба, висело солнце. Хотя на вершине горы лежала шапка облаков, предвещавших ветер, полуденный воздух был неподвижен.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп.

Обруч идущих людей все катился и катился. Их тени то волочились за ними черными лохмотьями, то сметали солнечный свет перед ними. У стены изоляторного корпуса со скучающим видом стоял надзиратель. За высокой стальной решеткой, во дворе секции предварительного заключения, рядами сидели заключенные, ожидая, когда лязг треугольника возвестит обед, а солнце неумолимо укорачивало тень, в которой они ютились.

Через двор прошел старший надзиратель, и толстый начальник секции закричал во дворике:

— Шапки снять! Шапки снять!

Прошел писарь с толстой книгой под мышкой и перекинулся шуткой с надзирателем у стены. В кухне гремели крышки котлов, а из испорченного крана все падали и падали капли, дразня напоминанием о ледяной воде.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп.

Перед Джорджем Адамсом маячила худая спина Малыша Касбы, его обвисающие джинсы, резиновые туфли, грязные и совсем изношенные,— они шлепали по асфальту почти так же звонко, как босые подошвы каторжников. Малыш Касба шагал с тупым упорством, закованный в латы молчания, пряча свои мысли под невидимыми покрывалами непроницаемого равнодушия.

Позади него Джордж Адамс подумал: «Недурной способ похудеть». Он совсем взмок и прикидывал, что произойдет, если он сядет в тени отдохнуть. Шагая по кругу, он улыбнулся чернолицему каторжнику, когда

тот оказался напротив, и круглое лицо раскололось в широкой улыбке, блеснув золотым зубом, один глаз подмигнул. Раньше, когда они все спускались по лестнице, человек со шрамом поблагодарил его за табак, и теперь Джордж Адамс решил, что оба они — приятные ребята. Третий был хмур и ничего не сказал.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп.

Пятеро шли и шли по кругу. Гус косился на решетку, выглядывая человека, который должен был подать ему сигнал, что все готово. Он шел по кругу под палящим солнцем, щуря глаза от ослепительного света, и шарил взглядом по рядам болтающихся заключенных во внутреннем дворике. Но человек, который был ему нужен, не обращал на него внимания, и он шел по кругу и думал: «Наверно, у них все готово. Конечно готово! Не то я с ними посчитаюсь!»

Шлеп-шлеп.

Со стороны складов появился караван каторжников, и Джордж Адамс посмотрел на них с удивлением: каждый тащил на плечах большой мешок с мукой, и их ноги дрожали и подгибались от непомерной тяжести. Поддерживая каждый свою Землю, эти согбенные побагровевшие от натуги Атланты брели к кухне.

За ними во двор вошел цветной младший надзиратель и, встав у решетки, начал называть фамилии по списку. Один за другим вызванные подходили к решетке, и их выпускали за калитку. Джордж Адамс услышал свою фамилию и, кивнув надзирателю у стены, тоже подошел к калитке.

Среди вызванных был и коротышка Солли, который улыбнулся ему и с кудахтающим смешком сказал:

— Здорово, приятель. Значит, тебе дали отдельную комнату, а?

— Да,— засмеялся Джордж Адамс.— Номер «люкс». А что тут происходило?

— Вчера приходил следователь,— ответил Солли, глядя мимо Джорджа Адамса на Гуса, который все шагал и шагал по кругу.

— Никто ничего не сказал,— продолжал Солли, все еще не глядя на Джорджа Адамса.— Наверно, будут и дальше вести допросы. Может, какая-нибудь сука им что-нибудь скажет, а может, им надоест и они бросят.

Солли пожал плечами, наконец перехватил взгляд Гуса и сделал рукой еле заметный таинственный знак, а Гус кивнул, подмигнул ему и продолжал шагать, чему-то улыбаясь про себя.

Надзиратель кончил читать список, построил вызванных попарно и повел к приемной для посетителей. Возле внешней решетки, через которую Джордж Адамс получил свою передачу, в стене была дверь. Надзиратель открыл ее и, отсчитав шестерых, велел им войти в узкую клетку, где шесть человек лишь с трудом могли встать в ряд. Перед ними от пола до потолка была натянута проволочная сетка, а в четырех футах за ней — еще одна сетка, за которой стояли посетители.

Когда Джордж Адамс встал у стены, по его телу электрическим током пробежала дрожь волнения. Сердце забилось с необыкновенной быстротой — кого он сейчас увидит? Кого-нибудь из комитета или кого-нибудь из своих друзей? И еле удержался от радостного возгласа: миссис Айзекс, его квартирная хозяйка!

Маленькая и худенькая старушка, видимо, робела, но в то же время и негодовала, потому что ей пришлось идти в тюрьму. Джордж тихий, порядочный мальчик, считала она, но он связался с нехорошими людьми, которые выступают против властей. А в дела правительства мешаться не следует. В конце концов господь все устроит. Но если уж понадобилось арестовать Джорджа, то его могли бы держать в каком-нибудь приличном месте, а не тут, со всеми этими ворами, хулиганами и никчем-

ными бродягами. Теперь, увидев заросшее щетиной лицо Джорджа Адамса и его воспаленные глаза, она почувствовала комок в горле и достала носовой платочек, чтобы утереть непрошеную слезу.

Джордж Адамс улыбался и махал ей за второй сеткой.

— Миссис Айзекс! Я очень рад, что вы пришли! Я очень вам благодарен.

Миссис Айзекс надела свой выходной наряд: он узнал розовый жакет и черную соломенную шляпу с пестрым букетиком искусственных цветов.

В клетке посетителей теснились другие женщины и мужчины. Расслышать, что говорит твой собеседник, было трудно, и вскоре все уже кричали и отчаянно жестикулировали.

— Вы себя хорошо чувствуете? — крикнула миссис Айзекс, затиснутая в угол соседкой — могучей, увешанной дешевыми побрякушками толстухой в пестром платье, широком, как пляжный зонтик, и с толстыми руками, похожими на надутые хирургические перчатки. Толстуха разговаривала с коротышкой Солли.

— Очень хорошо,— отозвался Джордж Адамс, перекрывая смешанный гул голосов.

— ...в воскресенье! — проревела толстуха.

— Вам надо бы побриться! — крикнула миссис Айзекс, сердито косясь на соседку.

— Заказы в лавку будут приниматься только в следующий вторник,— ответил Джордж Адамс.— Тогда я куплю лезвия. А передавать их запрещено.

— Скажи ему, что в воскресенье! — вопила толстуха. Пот лил с нее градом, и пудра на лице превратилась в замазку.

— ...деньги для залога!.. — кричал кто-то еще.

— Ваш комитет дал мне для вас кое-что! — кричала миссис Айзекс.— Я отдала клерку. А в среду вы все получили?

— Да. Спасибо!

—...машина! — надрывалась толстуха.— Там, в той улице! — Жирной рукой она указывала на восток.— В воскресенье ночью. Я тебе принесла разных разностей, Солли.— И она хитро подмигнула коротышке.

— Ясно, тетушка, ясно! — взвизгнул Солли и разразился кудахтающим смехом.

— А ты принес...— перебил их посторонний голос.

— И они заплатили ваш долг за квартиру! — крикнула миссис Айзекс с притворной строгостью.

Джордж Адамс засмеялся и послал ей воздушный поцелуй.

— Я сегодня видел вас во сне. Вы — самая лучшая девушка в мире!

Миссис Айзекс засмеялась, показав беззубые десны.

— Скажи ему, что все сделано! — проревела толстуха.

— Ладно! — ответил Солли, подмигивая.

— Ваш адвокат придет к нам в понедельник или во вторник! — крикнула миссис Айзекс, приставив ладонь рупором ко рту.

— Спасибо. Спасибо.

— Скажи, чтоб не беспокоился.

— Ладно, ладно.

— Я принесла вам коричневую рубашку, Джордж. А эту отошлите в стирку. И носки тоже. Я принесла носки и носовой платок. Вам нужно еще что-нибудь?

В клетке продолжали перекрикиваться, пока надзиратель не зазвонил в колокол. Время свидания кончилось. Миссис Айзекс помахала Джорджу Адамсу, и он помахал ей в ответ. Толстуха подмигнула Солли и вышла из клетки, переваливаясь, как слониха. Все махали и что-то кричали друг другу на прощание.

6

— Черт подери, как же мы откроем эти персики? — спросил Джордж Адамс.

— Можно попросить у надзирателя консервный ключ,— ответил Малыш Касба.— У них есть в дежурке.

— А! Так я попрошу. Значит, у нас есть персиковый компот, а вот еще банка вырезки. Четыре яблока, пакетик леденцов и сигареты.

— А разве бывает вырезка в банках? — спросил Малыш Касба. Его грызло подозрение, что щедрость соседа — какая-то ловушка, и говорил он с обычной неохотой.

— Ну и попируем же мы! — со смехом объявил Джордж Адамс.

— Да ладно вам, мистер.

— Обеденные миски у нас еще не забрали. Ну, так мы придержим их до завтра, чтобы было куда выложить консервы.

— Я вас, мистер, объедать не хочу. Это же для вас прислали.

— Брось, друг! Тут вполне хватит на двоих.

— Спасибо, мистер.— От непривычных слов благодарности во рту юноши остался странный привкус, точно после лекарства.

— Ну-ка, закурим! Угощайся!

— Странный вы человек, мистер! — Детское лицо со злыми старческими глазами нахмурилось.— Вот вы что мне скажите, мистер. Про то, чтобы цветных тоже выбирали в правительство. По-вашему, это поможет людям вроде нас? Ну, тем, которые в тюрьме?

Джордж Адамс сказал загадочному юноше, который был убийцей:

— Во всяком случае, с ними будут обращаться по-человечески.

— По-вашему, так когда-нибудь будет?

И Джордж Адамс сказал:

— Вот увидишь.

Его охватила грусть.

7

Этот задрыга Солли с кем-то сегодня повидался, думал Гус, растянувшись на одеяле и глядя в потолок. Кого-нибудь обязательно прислали. Может, Уилли, может, старика Баарда. А то дядюшку Кооса или даже толстуху Флорри.

Теперь, когда он убедился, что и в самом деле что-то готовится, его охватило нетерпеливое волнение. Конечно, они устроили так, чтобы Солли попал в тюрьму за какую-то мелочь, едва узнали, что его, Гуса, переводят сюда. Тут Гус вспомнил про Коппа. Ополоумел от страха, гнида. Еще сорвет все дело, гад. Ну, да он ничего не будет знать до самой последней минуты. А как только Гус вылезет в окно, все будет просто. Стены, крыши — это пустяки. Что-что, а лазить он умеет.

...Он перевалился через низкий парапет, а дождь хлестал его сотнями ледяных бичей. Дальше по улице в сырой мгле сиял огнями многоэтажный жилой дом — точно огромная рождественская елка. Далеко внизу пронесся автомобиль — черный жук, блестящий от дождя. Крыша, мокрая и скользкая, круто уходила вверх к коньку. Дождь колол ему лицо, струйками стекал за воротник. Он уверенно и ловко взбирался по металлической мокрой ребристой крутизне, на секунду уселся верхом на конек, чтобы вглядеться в темноту — не следят ли за ним. Но вокруг были только дождь да чахлая роща печных и вентиляционных труб и флюгеров. Вниз по другому склону — ограниченному не кирпичным парапетом, а только узким железным желобом. Вдруг его нога заскользила, и

он поехал по вибрирующему металлу туда, где из моря дождя грозно, точно бивень нарвала, вставало острие электрического фонаря. Но его сильные пальцы затормозили падение, ноги нащупали желоб, а потом и венчик водосточной трубы. Весь мокрый, он медленно и осторожно начал спускаться к давно облюбованному окну...

Нет, его они не поймают! Гус им не по зубам. В своем деле он первоклассный специалист!

8

Солли перебирал своими куриными лапками содержимое большого пакета, который ему передала толстуха. Он радостно похихикивал. Две жестянки рыбы в томатном соусе, пачка с двадцатью сигаретами, три банана и большой батон, который при проверке разрезали во всю длину. Он рассматривал эти припасы, не вынимая их из пакета.

Из другого угла камеры Тормозной Питерсон крикнул, улыбаясь своей жуткой улыбкой:

— У тебя есть для нас что-то вкусненькое, Солли?

— Очень, очень вкусное! — закудахтал Солли. Он отломил банан от грозди и бросил его человеку с сожженным лицом.

Потом он принялся исследовать батон. Снизу, в стороне от разреза, корку пересекала еле заметная царапинка. Солли ткнул в нее длинным ногтем большого пальца, отогнул корку и вытянул три тоненькие новые пилки. Он завернул их так, что никто не заметил его маневра, в газетный лист, в который были раньше завернуты бананы и сигареты, а затем перекрутил длинный сверток жгутом, точно это была просто ненужная бумага, и опустил жгут на дно пакета. Сверху он положил консервы, хлеб и сигареты и сунул пакет под одеяло. А потом принялся чистить банан.

9

По утрам в субботу в секции обычно царила суматоха. В субботу надзиратели сменялись после раздачи ужина, а потому на протяжении этого утра заключенным выдавался и завтрак, и обед, и ужин. Тюремным властям не приходило в голову, что нельзя запирать людей с полудня до следующего утра без всякой еды.

В субботу, еще отпирая камеры перед завтраком, надзиратели уже были полны нетерпения. Они предвкушали, как пойдут днем на футбол, или поедут с женой и детьми за город, или просто побездельничают всласть. Поэтому они торопили заключенных, дергали их непрерывными распоряжениями и нетерпеливо подгоняли кухонную команду.

Солли проснулся, едва загремел треугольник. Он разом очнулся от сна, как лесной зверь, почуявший приближение врага, и быстро посмотрел по сторонам. Морщинистая лапка скользнула под сложенное одеяло, которое служило ему подушкой, и Солли убедился, что драгоценный пакет на месте. Правда, он не думал, что пакет могли украсть, не разбудив его, но проверить все же не мешало.

Повсюду в камере в бледном утреннем свете ворочались сонные тела. В воздухе стоял душный запах пота и грязных одеял. Снаружи затихал ветер, ночью он бушевал, а теперь только хрипло вздыхал, как умирающая старуха.

Солли вскочил, натянул засаленные шорты, заправил в них полы своей длинной рубахи и закричал весело:

— Вставайте, вставайте, деточки! Пора кушать кашку, миленькие. Нехорошо заставлять Майора Жердь дожидаться!

Вокруг него люди сонно охали и ругались, вяло протирая слипающиеся глаза.

— Вставайте, поднимайтесь! — вопил Солли, лихо отплясывая какой-то импровизированный танец. Ему не терпелось скорее выполнить свою роль в подготовке побега, и его глаза блестели, как две пуговицы, среди сухих морщин его маленького лица.

— Господи! — пробурчал кто-то.— Эк ты расходился, Солли!

— Расходился! — заверещал Солли.— Я ведь не лежебока вроде вас. Да когда я работал на ферме, мы вставали в два часа гонять скот. Расходился!

Он начал свертывать свою постель, приговаривая:

— Сегодня суббота. Мы все идем сегодня на замечательный матч.— Он глупо захихикал.— Побыстрей, вы! Я хочу тут прибраться!

— Ты? Прибраться? Что это с тобой, Солли? Прежде за тобой такое не водилось! — засмеялся кто-то.

К этому времени все уже были на ногах — кто встряхивал одеяло, кто скатывал циновку. Тормозной Питерсон, Нур, Косой и их приятели, давно приспособившие работать за себя тех, кто был послабее, стояли у стены и покуривали. После смерти Мясника они забрали камеру в свои руки, и теперь вопрос заключался в том, кто из них первым сумеет совершить, так сказать, дворцовый переворот и стать единовластным диктатором.

— Эй, Солли! — крикнул Косой.— Присмотри за тем, чтобы у нас сегодня был кипяток! Чтой-то охота выпить какао. Мы его давно не пили.— Он посмотрел по сторонам здоровым глазом.— Куда делся этот фраер, которому прислали жестянку какао?

— Чтоб я вам таскал кипяток? — насмешливо фыркнул Солли.— По-твоему, я буду носить вам кипяток? Что я тебе — дворецкий? — Он сплюнул.— Подыщи себе горничную, приятель.

Косой почесался и ответил со смехом:

— Ладно, ладно, не лезь в бутылку! Я не всерьез.

Они не трогали коротышку, который в их компании играл роль придворного шута.

— Не всерьез! — повторил Солли.— И чего они не отпирают? Я хочу тут подмести!

Но сначала их построили для поверки, потом им роздали завтрак, и, только когда началась общая уборка двора и камер, Солли наконец позволили вернуться в Большую камеру.

Команда заключенных вынесла параши и забрала бочки, чтобы налить в них воды. Тогда Солли начал энергично орудовать шваброй, и подметал он очень чисто, чтобы не вызвать подозрений.

На душе у него было неспокойно. Оставалось еще передать пилки Гусу, а надзиратели бдительно следили за тем, чтобы между каторжниками и теми, кто ждет суда, не было никаких сношений.

И Солли, сгребая в ведро тюремный мусор — окурки, клочки бумаги, апельсиновые корки, консервные банки, шерстинки от одеял и обгоревшие спички,— ломал голову над тем, как добраться до Гуса. Его старый отупелый мозг, ветхий, как колченогий стул, был не способен составлять хитрые планы, и некоторое время Солли ругал себя за то, что связался с этим делом. Теперь, когда приближалась решающая минута, его обычная бойкость ему изменила и он совсем пал духом.

Сердито ворча, Солли подошел к своей свернутой постели, достал пакет и извлек из него бумажный жгут с пилочками. Его он бережно бросил в ведро поверх остального мусора и, неся ведро перед собой, точно жертвоприношение, вышел из камеры.

Он прошел по мокрому дворику, не замечая, что занятые уборкой заключенные выплескивают воду прямо на его кривые ноги. Мусорные

баки стояли у решетки по ту ее сторону, и заключенные, подметавшие другие камеры, сновали взад и вперед со своими помойными ведрами через открытую калитку.

У калитки, слева, подальше от мусорных баков, толпились те, кто ничего не делал, и наблюдали за тем, что происходило в большом дворе. Сквозь прутья Солли увидел обитателей изоляторного корпуса. Вот Малыш Касба, низенький чудак, который каждому хочет быть другом, черный каторжник, какой-то хлюпик и Гус. Неподалеку от них Жирный разговаривает с надзирателем, дежурящим во дворе, и с еще одним — из белой секции.

Солли пошел к калитке, Гус поднял глаза и увидел его. Солли кивнул, все еще не представляя, как Гус сумеет к нему подойти. Затем он прошел в калитку и тут увидел, что происходило во дворе.

10

Тюремная кошка поймала мышь и теперь играла с ней, перед тем как сожрать.

Мышь, маленькая и серая, отнюдь не собиралась допускать, чтобы ее сожрали, но ее слепил яркий солнечный свет, она была измучена ударами когтистой лапы, и надежды на спасение у нее, по-видимому, не оставалось никакой. Расставив лапки, она следила за туманным пятном на слепящем фоне — за пятном, которое было кошкой. Крохотные легкие отчаянно втягивали воздух. Мышка стояла, задрав остренькую мордочку и насторожив уши. Ее хвост бессильно лежал на горячем асфальте, дымчатое тельце дрожало мелкой дрожью.

Внезапно мышь серой полоской метнулась в сторону, но кошка небрежно ударила лапой, и она покатилась по асфальту. Кошка, распушив шерсть и свирепо размахивая хвостом, кинулась за ней и снова ударила ее лапой со втянутыми когтями.

Три надзирателя следили за жестокой игрой и похохатывали, точно находя в этом кошачьем садизме что-то близкое и понятное. Заключенные, столпившиеся за решеткой, также не спускали глаз с кошки и ее жертвы.

Гус, заметив, что внимание надзирателей отвлечено, начал потихоньку продвигаться за их спиной к решетке. Он подобрал комок бумаги и апельсиновую корку, выпавшие из чьего-то ведра, и понес их к мусорному баку, стараясь держать их так, чтобы они были видны всем.

Кошка припала к асфальту и, вытянув передние лапы, следила за оглушенной мышью безжалостными желто-зелеными глазами. Грозно выпущенные хищные когти были готовы к удару. На первый взгляд казалось, будто кошка лениво отдыхает, на самом же деле она, напрягшись всем телом, ждала нового движения своей добычи. Мышка вертела головой, выискивая безопасное убежище. На мордочке у нее была кровь.

Солли вышел за калитку и неторопливо повернул направо к мусорным бакам. Жгут с пилками увенчивал мусор в его ведре. Гус небрежной походкой приближался к Солли. Солли потрогал жгут и подмигнул Гусу. Гус подмигнул в ответ.

Мышь, решившись, метнулась влево. Кошка прыгнула, взмахнула лапой, промахнулась, и мышь, петляя, как регбист с мячом, помчалась по двору. Кошка бросилась за ней. Все повернулись, наблюдая за погоней.

Солли и Гус подошли к бакам одновременно. Солли прошипел:

— Завтра вечером. Когда стемнеет. Машина будет ждать на улице М.

Гус схватил жгут и, молниеносно сунув его за ворот, прижал к боку. Его сердце бешено забилось, в горле пересохло. Он с недоумением поду-

мал: «Кажется, нервы сдают». Прежде этого за ним не водилось. Неторопливой походкой он направился в тень изоляторного корпуса.

Мышь добежала до административного корпуса и, оказавшись в тупике, шмыгнула вдоль стены, а кошка стремительно прыгнула и отбросила ее лапой: мышь покатилась на солнечный свет, отчаянно цепляясь за асфальт крошечными коготками.

Кошка подскочила к ней, забрала в кольцо передних лап. В этом кольце она и лежала, раненая, дрожащая, ощущая на себе кошачье дыханье, дурманясь жутким кошачьим запахом.

Гус шмыгнул в изоляторный корпус, взбежал по лестнице и бросился в свою камеру. Выхватив жгут с пилочками из-под рубахи, он сунул его в свернутую постель и с облегчением подумал: «Сегодня же суббота!» По субботам надзиратели никогда не устраивали внезапных обысков.

Он скатился по лестнице и затаив дыхание встал у двери. Потом тихонько выскользнул во двор.

Кошка глядела на мышь, припавшую к асфальту между ее лапами. Она опять улеглась на живот, и ее дыхание шевелило дымчатую шерсть на тяжело вздымающихся маленьких боках крохотного существа с блестящими глазками-бусинками. Мышка вся собралась в напряженный шарик, все еще надеясь, все еще выжидая спасительной случайности. Лапа со втянутыми когтями шлепнула ее по спине — для мыши это было равносильно атаке носорога. Острая боль пронизала напряженный клубочек, шкурка задергалась, но мышка не расслабилась и с бьющимся крохотным сердцем ждала, не удастся ли ей все-таки избегнуть страшной участи, которая подстерегала ее с таким жутким терпением.

И тут кошка сделала ошибку. Она встала на все четыре лапы, и мышь тотчас бросилась вперед под длинное брюхо мимо подергивающегося хвоста. Ее ушки заполнил громовой рев — это смеялись зрители.

Кошка повернулась, но было уже поздно: мышь получила несколько секунд форы и снова мчалась через двор. Что-то огромное и сияющее (это был сапог надзирателя) вдруг преградило ей дорогу, но она ловко метнулась в сторону и, напрягая последние силенки, бросилась в тень.

Кошка уже почти нагнала ее, но она снова увернулась и краешком ноющего глаза увидела смутное пятно — отверстие водостока. Вооруженная пятью кинжалами лапа коснулась ее спины, но мышка опять успела отскочить и оказалась перед самым водостоком.

Лапа снова опустилась и располосовала нежный хвост, однако мышка уже исчезла в водостоке, и снаружи зрители посмеивались над разочарованием кошки, которая, подобравшись, устроилась терпеливо ждать у темной дыры.

А внутри водостока в прохладной привычной тьме лежала ее недавняя жертва, стараясь отдышаться.

II

В половине третьего ужин был уже роздан и заключенных заперли в камерах вместе с их слегка помазанными джемом ломтями хлеба и кружками горького кофе.

Смешно, размышлял Джордж Адамс, какими скучными часто кажутся свободные дни! Работаешь всю неделю и мечтаешь как следует отдохнуть в субботу и воскресенье. А когда суббота наступает, вдруг начинает тянуть на работу. Разве что у тебя собрание, или ты участвуешь в организации субботних танцев для сбора средств, или поздно вечером, крадучись, ходишь по улицам и бросаешь листовки в почтовые ящики.

Но в тюрьме любой день одинаково скучен. И даже медленное движение солнечного луча по полу превращается в интересное событие.

Даже вылезший из щели таракан — это развлечение. И «кап-кап-кап» испорченного крана кажется музыкой.

А возня кошки с мышью? Тут она вполне заменяла кино. Зрителям она, во всяком случае, доставила большое удовольствие. «И все твои симпатии были на стороне мыши»,— думал Джордж Адамс. Слабым непрерывно приходится терпеть пинки. Тебя рвут и бьют, как эту мышь, и приходится бежать и увертываться, спасаясь от когтей и клыков, и он обрадовался, когда мышь в конце концов спаслась от безжалостных лап. Твои симпатии всегда на стороне маленьких зверюшек, слабых и робких, которые вынуждены всю жизнь бежать и увертываться!

Что ж, эта мышь, наверно, совсем ополоумела от мучений, которые ей пришлось вытерпеть. Вот так жизнь иногда оглоушивает людей, и они совершают самые странные поступки. Как Малыш Касба. Если бы он заговорил, сказал бы что-нибудь, было бы не так томительно тоскливо. Но он оглоушен. Словно всю жизнь провел на ринге и теперь навсегда оглоушен. И все-таки — он же убил человека, ведь так? Только, может быть, в глубине души он никого не хотел убивать. Но он был оглоушен и выхватил нож. И почему этот сукин сын все время молчит? От скуки сдохнуть можно, а тут сиди наедине с оглоушенным мальчишкой, который больше двух слов подряд ни за что не скажет! Надо было попросить миссис Айзекс, чтобы она каждый день присылала мне газету. Тем, кто ждет суда, разрешается получать газеты. Непременно скажу ей об этом, когда она придет еще раз.

Малыш Касба ждал понедельника. В понедельник его снова повезут в Верховный суд и приговорят к смерти. В этом он не сомневался. Он знал это твердо. Не способный к отвлеченным размышлениям, он любую идею, хорошую или дурную, воспринимал прямолинейно, и она навсегда запечатлевалась в его сознании, точно картинка, вклеенная в альбом.

Ему было девятнадцать лет, и все его воспоминания были серией картинок — дешевых, захватанных, испачканных картинок, изображавших только мерзости. Они все хранились в его сознании, и он вновь и вновь их проглядывал: тайком загляни в альбом, перелистай его с конца к началу, просмотри еще раз гнусные сцены, точно порнографические открытки. Если ему хотелось, он мог остановиться на одной какой-то странице, рассмотреть одну картинку, а потом открыть следующую или захлопнуть альбом.

Он не рассказывал о том, что видел на темных страницах своей памяти, но иногда какая-то отдельная сцена вдруг начинала его преследовать, точно страница нечаянно смялась или согнулась, так что альбом открывался только на ней. Она мучила его, как прыщ или ноющий зуб. Но это случалось редко — даже в этом грязном мире была своя упорядоченность, и все тайны оставались в его распоряжении, не доступные никому другому.

Но вот теперь опять смялась страница, и это его беспокоило. Неизбежная виселица беспокоила его куда меньше. Малыш Касба с глухим раздражением думал, что, может быть, ему следует рассказать своему соседу по камере про это. Бессознательно он прислушивался к стуку капель. Неплохой человек, с неохотой признал он: делится припасами и не ворчит, отдавая сигарету. Чудак, конечно, но человек неплохой.

Гус ждал воскресного вечера. Ждал нетерпеливо, и это нетерпение удивляло его. Тюрьма подточила его уверенность в себе, и ему приходилось напрягать всю силу воли, чтобы справиться со своими нервами, которые никогда прежде ему не изменяли даже в самые рискованные

минуты его воровской карьеры. Ни разу, цепляясь за отвесные стены или за шаткие водосточные трубы, он не испытывал этой мучительной тревоги.

Он подумал, что ему стало бы легче, если бы он рассказал про побег своим товарищам. Но впереди был еще вечер и весь следующий день, и он опасался, что они могут случайно проговориться или даже стукнуть надзирателям. Впрочем, Морган его не беспокоил — стоящий парень. Другое дело Копп. До того перетрусил, что может выдать весь план, лишь бы попасть в милость к начальникам.

Гус лежал на своем одеяле, почесывался и торопил время. Удачно, что они выбрали для этого воскресенье. По воскресеньям дежурит меньше надзирателей. Снаружи из испорченного крана капала вода.

Гус спросил хмуро:

— Чего это вы притихли?

Морган, который сидел, привалившись спиной к стене, сказал в ответ:

— Эх, и что они, сволочи, не устраивают кино! — Он усмехнулся и добавил: — А ты чего-то нервничаешь, Гус.

— Я? С чего ты взял?

— Как ты думаешь, мы за нападение на этого белого получим лишний год? Или два?

— А я плевать хотел,— ответил Гус и улыбнулся про себя, отогнав грызущее нетерпение и вновь обретая уверенность. Ему-то не придется отсиживать дополнительный срок!

— Этот гад сам напросился,— задумчиво сказал Морган.— Сука! Надо бы его лопатой!

Копп поглядел на него и сказал тревожно:

— Нам бы припаяли убийство.

— Все равно когда-нибудь да помрешь,— ответил Морган, почесался, поймал вошь и раздавил на ногте. Она щелкнула, как сухой сучок.— Обхохочешься! Знаешь, эти гады всегда говорят, что это мы натаскиваем сюда паразитов. А то их тут нет! Так вот мне про это рассказывали один анекдот. Был, значит, пророк Даниил, а египетский или там вавилонянский царь решил сунуть его в пещеру со львами. Ну, и сунул. Даниил, значит, просидел там всю ночь, а львы его не трогают. Ну, утром приходит царь поглядеть, что там и как, и видит: сидит Даниил живехонький, а львы его не трогают. «Доброе утро, Даниил,— говорит царь.— Как тебе спалось?» А Даниил отвечает: «Неплохо, царь, только львы допекали». А царь и говорит ему: «Мне, конечно, это неприятно, Даниил, но ведь ты сам их сюда натаскал!»

Морган захохотал, широко разинув рот, в котором тускло блеснул золотой зуб, а Гус усмехнулся и сказал:

— Черт побери, Морг, хороший анекдот!

12

Снаружи дул свежий бриз, обещая к вечеру сильный юго-восточный ветер. Солнце рисовало обычный решетчатый узор на полу и серых стенах, на которых прежние обитатели камеры оставили свои эпитафии, приветы и предостережения: «Пайк — стукач». «Бог дает нам жизнь, а палач петлю». «Здесь сидели фартовые ребята». «Прощай, Молли, я никогда тебя не позабуду».

Испорченный кран продолжал свою прерывистую морзянку. Псалмопевец в этот день принялся за рождественские гимны и, когда дверь заперли после завтрака, добрался уже до середины «Когда со стадом пастухи». Никто не приказывал ему замолчать. Очевидно, по воскресеньям духовные песнопения были разрешены. Кашу им дали холодную — она уже покрылась резиновой корочкой.

— Вчерашняя,— пробурчал Малыш Касба.— Станут эти суки затрудняться в воскресенье!

В изоляторном корпусе еду принесли в камеры.

— У нас еще осталось немного компота,— сказал ему Джордж Адамс, но юноша продолжал угрюмо набивать рот кашей.— Моя квартирная хозяйка принесет воскресную передачу,— продолжал Джордж Адамс.— Так что пообедаем мы по-настоящему. А к тебе никто не приходит?

Малыш Касба поглядел на него, потом покачал головой и снова уставился в миску с кашей. Еще сегодня и потом — завтра, думал он. Сегодня воскресенье, а потом — завтра. Каждая секунда, каждое падение капли из испорченного крана, каждый вздох ветра приближали неизбежное. Но он стряхнул эту мысль, точно крупинки каши с пальцев.

Они услышали, что по лестнице поднимается надзиратель. Внизу заключенные секции предварительного заключения убирали двор и переговаривались под плеск воды, выливаемой из ведер. Надзиратель отпер дверь соседней камеры, а потом их дверь и крикнул:

— Уборка! Живо, живо!

Он оставил дверь открытой и спустился, не дожидаясь их.

Джордж Адамс и Малыш Касба взяли парашу и бачок и вышли из камеры. В коридоре они увидели своих соседей, и каторжник со шрамом на лице, улыбнувшись Джорджу Адамсу, сказал:

— Доброе утро, приятель!

— Доброе утро.

— Послушайте, не сочтите за нахальство, мистер,— шепнул человек со шрамом.— Может, у вас найдется еще одна сигаретка?

— Конечно,— ответил Джордж Адамс с улыбкой и, достав коробку свободной рукой, протянул ее каторжнику. Тот оглянулся, вытащил четыре сигареты и шмыгнул с ними в камеру. Через секунду он вышел, подмигнул Джорджу Адамсу и сказал весело:

— Воскресенье! Сегодня воскресенье, приятель.

Во дворе каторжники опорожняли параши в открытые канализационные шахты. Швабры шуршали по бетону, и кто-то кричал:

— Посторонись! Посторонись!

Надзиратель во внутреннем дворике чистил ногти обломком спички.

Джордж Адамс подошел к крану на первом этаже изоляторного корпуса, чтобы набрать воды в бачок. Там уже стоял каторжник с черным плоским лицом. Он дружески подмигнул и улыбнулся, показав большой золотой зуб.

— Как дела, друг?

— Хорошо.

— А чего ты тут?

— Возражал Жирному.

— Да! — сказал чернолицый, вынимая свой бачок из раковины.— Белые не любят, чтобы им возражали! — Он крякнул, разгибаясь с тяжелым бачком в руках.— Ух и не любят!

Он начал подниматься по лестнице, и желтые подошвы его босых ног звонко шлепали по ступенькам. Джордж Адамс умылся и только потом наполнил свой бачок.

Малыш Касба подметал их камеру, и Джордж Адамс, водрузив бачок на деревянную подставку, прижал к полу лист оберточной бумаги, как совок.

— Я выброшу,— предложил он.— Передохни, приятель.

— Так вы же не обязаны! — подозрительно сказал юноша.

— Да не задирайся ты! — засмеялся Джордж Адамс. – Посиди, покури.

Он протянул ему сигарету, свернул бумагу с сором и вышел из камеры.

Спускаясь по лестнице, он думал: «Этот паренек убежден, что просто так никто ему ничего хорошего делать не будет. Ничего задаром. Таких недоверчивых людей я еще не встречал!» Тут он вспомнил, что мальчика ждет смертный приговор, и подумал мрачно: «Наверно, все дело в этом. Услуга умирающему! Последняя сигарета, которую дают осужденному!»

Джордж Адамс вышел во двор, и на него обрушился ветер, теребя его одежду. Он отнес свой сверток к мусорным бакам у решетки.

Кто-то окликнул его сквозь прутья:

— Эй, Профессор! Давненько мы не видались!

Джордж Адамс обернулся и увидел Юсефа Турка, который дружески ему улыбался.

— Юсси, сукин ты сын! Ну, как ты? — зашептал он удивленно и обрадованно.

— Неплохо,— ответил Юсеф.— Меня было забрали в больницу.

— Ну и что?

— Ничего. Пощупали, сделали снимок, дали мазь для растирания. Завтра опять пойду туда.

— Я здорово по тебе соскучился! — сказал Джордж Адамс весело.— Ну, а насчет того дела как?

— Шарили, спрашивали. Может, будут нажимать, пока кто-нибудь не проговорится. А ну их к черту!

— Нет, но кто все-таки убил Мясника? — спросил Джордж Адамс.

— Не знаю, друг. Кто-то из его шайки,— Юсеф Турок пожал плечами.— Когда я вернулся из больницы, мне сказали, что ты угодил в изолятор.

— Да. Жирный на меня взъелся.

— Гад! Ну, увидимся, когда тебя выпустят.

— Конечно, Юсси.

— Пока, дружище.

Джордж Адамс хотел сказать что-то еще, но тут надзиратели закричали:

— Стройся, стройся! Шапки снять!

Поэтому он только подмигнул Турку и отошел, оглядываясь через плечо на своего приятеля, который, прихрамывая, направился к строю заключенных.

Трое каторжников и Малыш Касба уже выстроились перед изоляторным корпусом, и Джордж Адамс встал рядом с ними.

Дверь административного корпуса отворилась, и из нее вышел священник. Под мышкой он нес большую библию в черном переплете, крепко прижимая ее к боку, точно папку с секретными документами. Это был низенький неуклюжий человек с сухим старческим лицом, и даже ветер не мог растрепать седые прилизанные волосы, сквозь которые просвечивала розовая кожа макушки. Узкие плечи, выпяченный живот, толстые бедра и короткие ноги придавали ему странное сходство с перевернутой юлой. Но в своем длинном черном сюртуке, черных брюках и начищенных черных ботинках он вполне оправдывал прозвище, которым его дружно окрестила вся тюрьма,— Туз Пик.

Он кивнул надзирателю, распахнувшему перед ним калитку, и мячиком покатился туда, где заключенные рядами рассаживались на бетонном полу. Перед ними тюремный староста поставил что-то вроде железного нотного пюпитра, а возле расстелил веревочную циновку. Священник, встав на циновку, открыл огромную библию на странице, заложенной черной закладкой. Можно было подумать, что это дирижер хора, который готовится дирижировать ораторией.

Однако дирижировать он не стал, а, склонив голову (предполагалось, что заключенные последуют его примеру), забормотал молитву. Почти никто ничего не слышал, так как ветер относил слова в сторону. Затем священник звучно провозгласил:

— Аминь! — и добавил деловито: — «Когда раздастся трубный глас».

Заключенные, которые тупо ждали окончания молитвы, петь были готовы с удовольствием. Воскресная служба была хоть каким-то отступлением от тягостного однообразия тюремного существования, и они с радостью пели бы хоть весь день напролет, при условии, что промежутки между псалмами, предназначенные для проповеди и молитв, будут покороче. Названный священником псалом они грянули с большим чувством — голоса их сливались в гармоничный хор, а священник указательным пальцем отбивал такт. Истовее всех пели, благочестиво улыбаясь, дружки покойного Мясника.

Когда псалом был допет, священник достал очки и, близоруко вглядываясь в отмеченную страницу, начал читать с профессиональными интонациями:

— «...Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату...»

Слушатели покорно внимали тем отрывкам проповеди и цитат, которые не заглушались ветром, и терпеливо ждали, когда наконец умолкнет поучающий голос. Трудно сказать, вдохновляло ли проповедника сознание возложенной на него миссии обращать и смягчать сердца или же он каждое воскресенье утром являлся сюда только потому, что ему так приказало его начальство. Но как бы то ни было, заключенные сидели со скучающим видом каннибалов, которые из вежливости согласились выслушать странствующего миссионера и теперь терпеливо, но весьма неохотно ждут, когда он кончит свою нелепую болтовню.

После проповеди слушатели с прежним энтузиазмом спели «В царственном граде Давидовом», а потом Тормозной Питерсон вышел вперед и попросил бааса позволить им еще раз пропеть «Когда раздастся трубный глас» — самый любимый псалом заключенных.

Они еще не допели его, как появилась кухонная команда с носилками, нагруженными мисками,— в каждой на бобах и рисе лежал кусочек мяса.

Надзиратель посмотрел на свои ручные часы и выжидающе взглянул на священника, который закрывал библию. Священник улыбнулся, кивнул надзирателю и покатился к арке, которая вела в каторжную секцию, а заключенные, строясь в очередь за обедом, грянули еще один псалом.

13

Морган вздрогнул от неожиданности. На мгновение его нижняя челюсть удивленно отвисла, точно отвалившаяся крышка глазка, но он тут же пришел в себя и спросил только:

— Когда?

Копп простонал, заикаясь от ужаса:

— Т-т-ы с-с ума с-сошел!

— Я могу и повторить,— сказал Гус, довольный эффектом, который произвели его слова.— Сегодня вечером мы дернем отсюда.

Морган первым понял, что Гус не шутит, и спокойно осведомился:

— А как?

— Ты согласен, Морг? — спросил Гус, внимательно вглядываясь в черное лицо.

Морган пожал плечами.

— Рискнуть всегда стоит, верно? Если выйдет — хорошо, мы на воле. Поймают — так мы просто вернемся сюда. Припаяют лишнее — ну так что? — Он посмотрел на Гуса и снова спросил: — А как?

— Они нас схватят,— взволнованно перебил Копп.— Они нас схватят. Нет, мне это не нравится. Они нас обязательно схватят.

— Заткни пасть! — прикрикнул на него Морган.

Гус смерил Коппа злобным взглядом и сказал:

— Слушай, приятель. Ты пойдешь с нами, понял? Если останешься, они спросят тебя, почему ты не поднял тревогу, когда увидел, что мы затеяли. И за одно это дадут тебе лишний срок. Поэтому лучше соглашайся по-хорошему,— добавил он угрожающе.

— Я не хочу бежать,— пробормотал Копп. В его голосе слышались слезы.— Я не хочу бежать.

Гус спросил мрачно:

— Ну, а чего же ты хочешь? Позвать надзирателя, когда мы возьмемся за дело?

Копп поглядел на него, как попавший в ловушку зверек. Но на изуродованном шрамом лице он не увидел ничего утешительного. Снаружи по тюрьме разгуливал ветер, крепчая с каждой минутой. Копп отвел глаза и сказал хрипло:

— Они нас поймают.

— А, да пойдет он с нами! — вмешался Морган.— Пойдет, когда настанет время.— Он пососал золотой зуб.— А как же мы это сделаем, Гус?

Гус ответил:

— У меня есть пилки. Начнем пилить, как только надзиратель кончит обход.

— Пилки? Как это ты их раздобыл?

— Неважно,— ответил Гус.— Они у меня есть, и все. До вечера мы успеем перепилить сетку и один прут. Этого хватит, чтобы пролезть. Из окна выберемся на крышу. Это нетрудно. Сетку и прут мы оставим пока на месте, до ночного дежурного, понял? В камеру он не заходит, а через глазок ему ничего толком не разглядеть. Ну, а как только он уйдет, мы смоемся. И будем уже далеко, когда он явится во второй раз.

Морган негромко засмеялся.

— Гус,— сказал он благоговейно,— Гус, ну и ловок же ты! Пилки! Значит, у тебя есть пилочки? Ох, и ловок ты, Гус. Первый класс!

И он восторженно шлепнул себя по голому колену.

Копп сидел в своем углу с потерянным видом. Он нервно теребил нижнюю губу, потом стал потирать вспотевшие ладони. Наконец он испуганно сказал:

— Но они же будут стрелять! Слышите, они будут стрелять!

— Заткнись, падло! — рявкнул Гус.— Ты что, думаешь, мы из-за тебя, суки, бросим это дело? — Он в бешенстве уставился на перепуганного человека в углу.— Слушай, ты! Не полез бы ты с нами на надзирателя, не сидел бы сейчас здесь, так? А мы тебя не звали, так? Мы бросились на этого белого, а ты сам к нам пристал. И теперь тебе поздно идти на попятный, понял? — Он вдруг усмехнулся.— Все сошло как по маслу. Стукнули разок надзирателя и попали сюда. Все точно получилось.

Морган поглядел на него и нахмурился. Он спросил:

— Значит, ты подбил меня напасть на этого надзирателя для того, чтобы нам предъявили новое обвинение и прислали сюда? А потом твои дружки передали тебе сюда пилки?

— Само собой,— с улыбкой ответил Гус. Он весело и самодовольно потер руки.

— Черт подери! — сказал Морган.— Мог бы хоть предупредить! Чего ты молчал?

— Ну, вот теперь ты все узнал,— с тихим смешком ответил Гус.

— Они услышат, как мы будем пилить! — внезапно крикнул Копп, обрадовавшись, что нашел предлог отказаться от побега.

— Сопля! — с издевкой сказал Гус.— Мы же на втором этаже, и мы будем петь. И услышат они только пение. Псалмы ведь распевать не запрещено?

— Сегодня же воскресенье! — засмеялся Морган.— А белые одобряют, когда по воскресеньям поют псалмы.— Он подмигнул Гусу и принялся напевать вполголоса «Иисусов рыбарь».

Гус захохотал и весело хлопнул Моргана по плечу. Теперь надо было дождаться обхода. За стеной шуршал и взвизгивал ветер, ударяясь о равнодушный камень.

14

Миссис Айзекс прислала Джорджу Адамсу праздничный обед: половину домашнего мясного пирога, вареные овощи, макароны, сыр, нарезанные огурцы и фрукты — все это было завернуто в пергамент. Джордж Адамс разделил угощение на две равные части, и они съели все, кроме фруктов. Еду они запили молоком из бумажного пакета. Тюремный обед они оставили нетронутым. Малыш Касба признался, что за свои девятнадцать лет ему довелось поесть так хорошо не больше десятка раз.

Насытившись, они разлеглись на одеялах. «Точно римские патриции после оргии»,— подумал Джордж Адамс. Его клонило ко сну, но Малыш Касба вдруг почувствовал гнетущую уверенность, что настало время...

Осужденному дают перед казнью вкусный обед. А он уже считал себя осужденным.

Когда рушится плотина, в прорыв устремляется ревущий поток. Привычный трезвенник, выпив, теряет сдержанность, а когда начинает говорить молчальник, он говорит без умолку. Некоторые люди открывают свои тайны под пыткой, другие в бреду, а иные тогда, когда знают, что должны скоро умереть.

Снаружи бушевал ветер и день медленно близился к багряному закату. В соседней камере три каторжника все еще громко распевали псалмы, заглушая шум ветра. Они пели так уже несколько часов.

— Какое благочестие! — сказал Джордж Адамс и зевнул.

— Прямо похороны,— пробормотал юноша и принялся грызть ноготь большого пальца.

— Говорят, что разговоры про похороны накликают неудачу.

— Чего там накликать! — Малыш Касба скрипнул зубами.— Была она у меня когда, удача-то?

— А, брось! — сказал Джордж Адамс.— Еще неизвестно, как все обернется. Хочешь закурить? К чему выставлять напоказ свои беды? — Он чиркнул спичкой, дал прикурить юноше и закурил сам.

— Ну, вам-то не висеть, мистер! — заметил Малыш Касба и, выпустив клуб дыма, добавил: — Этого я не боюсь. Да, мистер, не боюсь!

— Ну, может, и бояться нечего,— сказал Джордж Адамс, стараясь скрыть жалость.— Может, тебе дадут несколько лет — и все.

— Нет,— ответил юноша.— Они меня вздернут, как вздернули папашу.— Он нахмурился.— Как моего папашу.

В соседней камере по-прежнему гремел псалом.

— Вот послушайте,— сказал Малыш Касба, приподнимаясь на локте.— Моего отца повесили за убийство моей матери.

Джордж Адамс потрясенно уставился на юношу, точно впервые увидел его, увидел эту горечь и ожесточение.

«Еще бы он был разговорчивым! — подумал он.— Пряча в душе такое!»

— Твой отец убил твою мать? И его повесили? — пробормотал он, теряясь под пристальным взглядом каменных глаз.

— Его за это повесили,— ответил Малыш Касба, и разбитые губы искривились в подобие улыбки.— А я мог бы его спасти. Вот так! — добавил он.

— Может, не стоит тебе говорить про это...— сказал Джордж Адамс.

— Вот послушайте, мистер,— продолжал Малыш Касба, пропустив его слова мимо ушей.— Когда явилась полиция, все было ясно, как... как на картинке, понимаете? Жилица под нами увидела, что ее потолок пошел красными пятнами. Это была кровь из нашей комнаты, понимаете? Ну, она разбудила своего старика, а он вызвал полицию...

Что увидели полицейские, когда взломали дверь? На полу пропахшей дешевым виски жалкой комнатушки с облезлыми стенами, грязной постелью и разбитым окном в нелепой позе неподвижно лежала женщина. Она была мертва — нож, которым она была убита, обыкновенный кухонный нож, все еще торчал в ее шее. Она лежала в красной луже — может быть, она умерла сразу, а может быть, истекла кровью.

На стуле сидел, а вернее сказать, обвис мертвецки пьяный мужчина. Голову и одну руку он уронил на стол, другая рука безжизненно повисла, почти касаясь пола. Его небритое опухшее лицо колыхалось от тяжелого храпа. На столе стояла пустая бутылка, вторая валялась на полу. В углу, брошенный туда, точно тряпичная кукла, неподвижно лежал худенький мальчик.

Он был жив, но голова у него была раскроена свирепым ударом, одна рука сломана, лицо и тело покрывали синяки и ссадины. Кроме того, он был истощен постоянным недоеданием и, по-видимому, болен туберкулезом. Нетрудно было заметить, что женщина, изнуренная голодом, преждевременно состарившаяся, была перед смертью зверски избита — оба ее глаза заплыли, платье было разорвано.

Полицейские сразу поняли, что здесь произошло. Мужчина вернулся домой пьяный и принес с собой две бутылки дешевого виски, которые выпил тут же. Он набросился на женщину с побоями, а когда она стала вырываться, схватил оказавшийся под рукой нож и ударил ее в шею. Во время драки или раньше он топтал ногами мальчика и швырнул его бесчувственное тело в угол. А потом свалился сам в пьяном оцепенении.

— Судье этого хватило,— сказал Малыш Касба.— Бесспорное дело, мистер, как они говорят.

За стеной каторжники все еще тянули псалом.

— По-видимому, так оно и произошло,— сказал Джордж Адамс сочувственно.— И раз не было свидетелей...

— Свидетель-то был, мистер! — перебил его юноша.— Я. Я все видел, почти до самого конца.

— И ты мог бы спасти своего отца! — пробормотал Джордж Адамс.— Если бы придумал что-нибудь... Дьявольское положение. И тебя заставили давать показания против него?

Малыш Касба подтянул колени к подбородку. Потом погрыз заусеницу на большом пальце. Снаружи совсем смерклось, и северо-восточный ветер сердито бился о каменные стены, свистел и улетал прочь.

— На суде мой отец плакал и просил снисхождения. Он кричал, что не виноват. Призывал в свидетели бога, что ничего про это не знает. Он говорил, что был пьян, когда пришли полицейские, и что, если он и сде-

лал это, то в беспамятстве. Он был как очумелый. Потом он спросил, как он мог попасть ей прямо в жилу, если был мертвецки пьян. Но судья спросил, как он может доказать, что не убил ее сначала и не напился потом.

Вот тут и до меня дошло дело, мистер.

Папаша попросил адвоката, которого ему дали в суде, чтобы он вызвал меня свидетелем. Ну, они меня допросили, и я им рассказал, да только не все.

А сказал я им, что мой папаша, сколько я себя помню, всегда пил и дрался. И я много раз видел, как он бил мать ремнем с пряжкой или кулаками. А иногда стулом. Она падала замертво, а он пинал ее ногами. И меня он всегда порол. Просто так, без причины. Где он брал деньги, я не знаю, а тратил он их все на выпивку. Есть нам было нечего, и мать посылала меня на улицу просить у чужих дверей.

В ту ночь, когда мать умерла, он вернулся домой, наклюкавшись, но на ногах держался и говорил связно. Он принес с собой две бутылки виски, а еды никакой не принес.

Он стал кричать на мать, чтобы она собрала ему ужин. А когда она ему сказала, что в доме ничего нет, он сшиб ее с ног и пинал ногами, покуда она не потеряла сознание. Тогда он сказал, что и со мной разделается так же.

Я хотел выскочить из комнаты, он пнул меня изо всех сил, а потом стал обрабатывать кулаками и швырнул об стену. И снял ремень. Мать приподнялась, хотела меня заслонить, и он опять ее ударил.

А что было дальше — я сказал судье, что ни за что не скажу. Пусть хоть меня пытают.

Ну, они подумали, что я не хочу давать против отца показания, которые отправят его прямо на виселицу, и даже вроде пожалели меня. Ну, и остались при своем мнении, что он ее убил. Понимаете? Тут объявили перерыв на обед и папашу увели в камеру в подвале, а он кричал, что не виновен.

Малыш Касба умолк и принялся грызть ногти, глядя в пустоту. Внизу стукнула дверь, и на лестнице послышались шаги надзирателя. Каторжники уже не пели, и только ветер ревел снаружи. Надзиратель прошел по коридору, заглядывая в камеры, а потом спустился вниз. Стукнула тяжелая дверь, взвизгнул в замке ключ.

— Послушай, друг,— сказал Джордж Адамс тихо.— Не говори, если тебе не хочется. Лучше попробуй заснуть и забыть про все это.

— Нет,— пробормотал Малыш Касба.— Мне нужно про это рассказать. Завтра другой судья пошлет меня на виселицу, как послали моего отца. Мне нужно про это рассказать.

Он оглядел свои обгрызенные ногти и, прижав подбородок к колену, продолжил свой рассказ:

— Ну, я попросил, чтобы меня пустили в камеру повидать отца. Им было меня жалко, и они позволили. И я пошел к нему — к человеку, который загубил мою мать, а мне за всю мою жизнь ни одного слова не сказал — только порол ремнем. Ну, тут, мистер, он во всем покаялся. Плакал, просил у меня прощенья за то, как измывался надо мной и над матерью. Плакал, скулил, просил, чтобы я его спас. Твердил, что я наверняка видел, как там было на самом деле. Так почему я не хочу рассказать судье? Он же был мертвецки пьян, он без памяти валялся, он пальцем пошевелить не мог. Разве я видел, как он это сделал? «Скажи мне, сынок,— просил он,— скажи, что там случилось?» Он весь трясся, плакал и просил, чтобы я не дал белым повесить его. «Ладно,— сказал я ему.— Ну, слушай. Ты хочешь, чтобы я сказал, что там случилось, так? В ту ночь? Ладно, слушай!»

Мужчина храпел, уронив голову на стол в пьяном забытьи, душную комнатушку наполнял тошнотный запах винного перегара. На полу неподвижно лежали его жертвы — его жена и сын. Первой очнулась женщина. Она поглядела кругом помутневшими от боли глазами и увидела скорчившееся тело сына. «Умер! — прошептала она.— Мой сыночек умер...» И она посмотрела на пьяного негодяя, храпевшего у стола.

— Я все это видел,— хрипло говорил Малыш Касба.— Я же не умер, а только был оглушен и начинал приходить в себя. И тут я увидел, что мать ползет к столу на четвереньках — он ведь ей ноги совсем отшиб. На столе около его головы лежал хлебный нож. То есть нож, чтобы хлеб резать, только мы хлеба-то никогда не видели. Даже черствой корки от него ни разу не дождались. Я видел, как она потянулась за ножом. Я мог бы ей крикнуть, что я жив.

«Отчего же ты не крикнул? — спросил мой отец, трясясь от страха в подвале суда.— Отчего?»

«Оттого, что я думал, что она хочет убить тебя,— сказал я.— За то, что ты убил меня. Так с чего мне было ее останавливать? И я лежал смирно, как мертвый, а сам смотрел».

Я ждал, что она перережет ему горло. А она плакала. Может, она все еще его любила. Кто знает? Только она взяла его правую руку и вложила в нее нож. Я не понимал, чего это она. И все думал: закричать или нет. И не крикнул. Решил сдуру, что она хочет зарезать его так, чтобы вышло похоже на самоубийство. Его же рукой. Ловко, верно? Потом она изо всей силы прижала его пальцы к рукоятке ножа, да так и осталась держать его руку в своей. И поднесла его руку с ножом к своей шее. Я закричал: «Мама! Не надо!» — А она ударила снизу вверх ножом, который зажала в его пальцах.

«У, сука! — крикнул тут мой отец в подвале.— Самоубий... самоубийством покончила и на меня свалила. Сука! Бог ее покарает, а меня спасет, я же ни в чем не виноват!» Да. Моя мать думала, что я умер, и решила уйти ко мне, и так, чтобы отцу, убийце ее сына, пришлось бы объяснять, откуда в комнате два трупа. «Сынок! Сыночек! — радовался отец.— Теперь ты меня спасешь. Ты им все расскажешь». Я улыбнулся ему. Ну, когда его опять привели в суд, он прямо как помешался от облегчения. И тут же все выложил: он ни в чем не виноват, я сейчас им расскажу, как было дело. А потом повернулся ко мне и крикнул, чтобы я подтвердил, что он говорит чистую правду. Да, он ни в чем не виноват, и я могу это доказать.

— Ну, и что же ты сказал? — с ужасом спросил Джордж Адамс, глядя, как Малыш Касба грызет ноготь на указательном пальце.

— Я стоял, мистер, и мне прямо как почудилось, что из-за спины судьи на меня смотрит мать. Я посмотрел на судью и покачал головой. «Я не знаю, чего он выдумал»,— сказал я.

— И твоего отца повесили? — прошептал Джордж Адамс.

— Судья сказал, что пьянство не оправдание,— хмуро ответил юноша.

— Но... но...— запинаясь, произнес Джордж Адамс,— это все правда?

Малыш Касба поглядел на него и начал грызть ноготь на большом пальце.

15

Весь день они пилили сетку и прут. Едва надзиратель кончил первый обход, как Гус вскочил на ноги с живостью фокстерьера. До нового появления надзирателя у них в распоряжении было полчаса.

— Порядок,— сказал он вполголоса, чтобы его не услыхали два человека за стеной.— Сейчас и начнем, Морг!— Он повернулся к Моргану, который тоже встал.— Я влезу тебе на плечи и начну пилить первым, идет?

— Ладно,— отозвался Морган. Он был не очень уверен в благополучном исходе этой операции, но риск его не пугал. Морган не отличался ни бесшабашностью, ни чрезмерной осторожностью и всегда спокойно подчинялся обстоятельствам.

Третий каторжник, Копп, наоборот, дрожал от страха. Он не хотел участвовать в побеге, но он отчаянно боялся Гуса с Морганом и знал, что ему все-таки придется бежать с ними. Он смотрел на них как завороженный и покусывал нижнюю губу, чтобы она не дрожала. Сердце его прыгало, как сумасшедшее. Он попытался протестовать:

— Вы с ума спятили! Они же вас поймают!

— А, иди ты! — отмахнулся от него Гус и извлек из-под своих одеял бумажный жгут с пилками. Он сорвал газету и, довольно посмеиваясь, несколько раз согнул и разогнул гибкие стальные полоски.

— Эй, поосторожнее! — шепотом предостерег его Морган.— Вот сломаешь их, что тогда?

Гус продолжал весело посмеиваться. К нему вернулась его обычная уверенность в себе, и он не сомневался в успехе. Завернув один конец пилки в газету, он сказал:

— Ну-ка, Морг!

Морган ухмыльнулся, присел и поднял взобравшегося на его плечи Гуса к самому окну. Гус поглядел на них сверху.

— Порядок! Начинайте петь.

Морган смущенно усмехнулся и прочистил горло:

— Запевай лучше ты, приятель, а я подтяну.

— Что петь-то?

— А я почем знаю? Давай «Вперед, христовы воины!»

Гус запел. Сперва он немного фальшивил, но потом дело пошло на лад. Густой бас Моргана вторил ему. Копп поглядел на них, дергаясь от страха. Страх овладел им, точно припадок судорог, и он трясся, слушая их пение. Гус поглядел на него и, не прерывая пения, выругался по его адресу. Тогда запел и Копп — визгливым, полным слез голосом.

За окном выл ветер, и сетка содрогалась от его ударов. Гус засунул узкую пилку в верхнюю ячейку сетки у самой стены и начал пилить.

Крохотные зубья вгрызались в металл, их пронзительный скрежет вплетался в вой ветра и громогласное пенье. Когда они кончили первый псалом, пилка прошла два дюйма сетки. Теперь Гус затянул «Восстань во имя Иисуса», и его рука работала в такт этому псалму-маршу.

Затем настала очередь Моргана. Коппу пилить они не предлагали, но угрозами и руганью заставили его петь, и он дрожащим голосом выводил очередной псалом вместе с ними.

Каждый раз, когда внизу открывалась дверь, они бросались на свои постели, и надзиратель видел только, что они спокойно лежат на одеялах и во всю мочь орут псалмы.

Они пели «Когда раздастся трубный глас», когда сломалась первая пилка. Они замолчали, переводя дух, пока Гус доставал другую. Указательный палец на его правой руке был стерт до крови от непрерывного нажима на тонкую сталь, и он иногда останавливался, чтобы пососать ссадину.

Теперь Гуса мучил страх, что остальные пилки сломаются прежде, чем будет перепилен прут, однако вторая пилка оказалась покрепче, и в конце концов, сменяя друг друга, они пропилили сетку справа до самого подоконника.

Теперь уже не нужно было взбираться на плечи товарища, чтобы

пилить. Они подтащили к окну бачок вместе с подставкой и пилили параллельно подоконнику, стоя на крышке.

Когда их голоса совсем садились, они отпивали воды и пилили, пилили, пилили. Пилка вгрызалась в ячейки сетки, а псалмы и вой ветра заглушали ее скрежет.

Копп не смотрел на них. Он сидел на своем одеяле, потея от страха, и пел. Один раз, когда его голос иссяк, как пересыхающий ручей, Гус больно ударил его по ребрам жесткой пяткой. Копп в душе надеялся, что надзиратель откроет дверь тихо и застанет их за работой. Авось его простят: он же только поет, а не пилит! Но надзиратель не приходил, и Гус с Морганом продолжали без устали пилить. И вдруг Морган вскрикнул:

— Есть! Есть!

Подняв голову, Копп увидел, что они пропилили сетку по всей ширине. Морган ухмылялся, сверкая золотым зубом, а Гус радостно хлопал его по спине.

Тут Гус вспомнил про четыре сигареты, которые дал ему чудак из соседней камеры. Он достал их и щедро предоставил одну Моргану в полное владение.

Поглядев на свои руки, на каторжные мозоли, насквозь протертые пилкой, Гус сказал с веселой усмешкой, от которой его шрам обмяк, как бечевка без груза:

— Почетные раны, верно?

Затянувшись несколько раз, Гус погасил сигарету, но Морган протянул свой окурок Коппу со словами:

— Разгони-ка дым, приятель. Да не вешай ты носа!

— Сопля,— сказал Гус,— гнида! — И он насмешливо захохотал, глядя на тощую фигуру в углу. Копп нервно затянулся.

Затем работа возобновилась. Гус осторожно приподнял угол сетки так, чтобы не согнуть ее, не оставить заметной вмятины или складки, а Морган просунул руку в отверстие и начал пилить прут. Этих вделанных в бетон железных столбиков было четыре, но Гус с Морганом решили, что достаточно будет перепилить крайний.

Они снова затянули псалом, и Копп, хрипло подпевая им, помахивал одеялом, чтобы разогнать табачный дым. Снаружи ветер хлестал по стенам, над которыми сгущался сумрак.

Когда небо совсем потемнело, прут, наконец, был перепилен в дюйме над подоконником. Они оставили его на месте и аккуратно расправили сетку, так что в глазок нельзя было заметить линии распила. Обнаружить их приготовления надзиратель мог, только подойдя к окну.

Гус потирал руки и торжествующе улыбался. Все было готово. Про машину, которая будет ждать его на улице у восточной стены тюрьмы, он остальным двум не сказал. Машина предназначена для него, а они пусть сами о себе заботятся! Выберутся с ним на крышу — и ладно!

— Ну, дружище! — сказал он с упоением.— Кончили!

— Гус! — хохотал Морган.— Ну и ловкач же ты, Гус! Здорово ты это с пилками!

— Теперь можно и отдохнуть, дружище, пока надзиратель не пройдет.

И они расположились на своих постелях в ожидании первого обхода ночного надзирателя.

16

Тяжелый железный ключ заскрипел в замке обитой железом двери внизу, лязгнул, защелкнувшись, гяжелый навесной замок — дополнительная мера предосторожности,— и надзиратель прошел через плохо освещенный двор, где буйствовал ветер.

Гус и Морган одним прыжком очутились у окна. Следующий обход будет через полчаса — срок, вполне достаточный, чтобы выбраться не только из камеры, но и за наружную стену.

Гус влез на бачок, который они снова подтащили к окну, едва надзиратель закрыл глазок, и одним рывком загнул железную сетку кверху. Потом просунул в зияющий черный треугольник обе руки, ухватил перепиленный прут и нажал.

Копп смотрел на него и думал, что мог бы сейчас закричать, позвать надзирателей. За то, что он помешает побегу, ему, возможно, снизят срок. Но Копп прекрасно понимал, что после такого предательства вряд ли выйдет на свободу живым.

В этой стране из железа и камня было свое правосудие. Тайные мстители с бесконечным терпением готовили расправу, и приказ о воздаянии передавался тайными путями из камеры в камеру, из корпуса в корпус, из тюрьмы в тюрьму. Копп знал, что до него доберутся в самой глухой одиночке. И даже если бы ему удалось дожить до освобождения, это все равно его не спасло бы.

Поэтому он стоял, дрожа, и страх ледяной глыбой давил его живот, а Гус, напрягая все силы, выгибал прут наружу. Железо поддалось мощи бицепсов, развитых работой в каменоломнях, и через несколько секунд в решетке появилось широкое отверстие.

Гус загнул прут наружу для того, чтобы он служил им приступкой, когда они будут выбираться на крышу. Он поглядел вниз на Моргана и подмигнул:

— Я полезу первым, Морг. Пошлешь соплю за мной, а сам лезь последним. Так будет вернее. А то как бы этот гад не поднял тревоги.

— Ладно, приятель,— ответил Морган.

Гус, как организатор побега, естественно, имел право лезть первым. И конечно они не могли положиться на Коппа.

— Только ты побыстрее,— добавил он, но Гус уже протискивался в дыру между стеной и вторым прутом. На секунду он замер, держась за отогнутый прут.

Напротив за темным кухонным двориком поднималась задняя стена административного корпуса. Все его окна были темными. Справа находились служебные помещения. Второй этаж был чуть выше изоляторного корпуса, и его занавешенные окна светились. Гус уставился на них с бьющимся сердцем, но ни одна занавеска не дрогнула. Кухонный дворик внизу был темен и пуст.

Он услышал раздраженный шепот Моргана и начал боком вылезать из окна, глядя на крышу. Ветер ударил ему в спину, потянул за старую красную рубашку, и он крепче ухватился за прут. Почти над самой его головой проходил парапет крыши.

Гус был теперь совершенно спокоен. Он вернулся в свою стихию. Ухмыльнувшись ветру и мраку, он отнял одну руку от прута и уперся ладонью в шершавую стену — зашуршала, осыпаясь, известка. Гус вытащил из дыры ноги, осторожно поставил босую ступню на изгиб прута и резким движением вскинул тело вверх. Он почувствовал, что прут прогибается под его тяжестью, но его рука уже достала до парапета и сильные пальцы зацепились за край, как стальные крючья. Он вскинул вторую руку и на мгновение всей тяжестью повис на одной руке, чуть не вывихнув плечо. Но тут вторая рука нашла опору, и он ловко перебросил тело через парапет.

На крыше буянил ветер: он хлестал Гуса по лицу, слепил глаза. Гус пригнулся и выглянул за парапет. Из окна их камеры показалось лицо Коппа, а потом его плечи. В полоске света, падавшей из окна, Гус увидел полные ужаса глаза. Копп висел над кухонным двориком, а Морган по-

нукал его, ругаясь вполголоса. Гус почувствовал отчаянное желание бросить их тут и бежать одному.

Чуть ниже Копп, дрожа от страха, уже поставил ногу на прут и пытался уцепиться за парапет. Ветер налетал на него, старался оторвать его от стены и сдуть, как клочок бумаги, на темный асфальт внизу. Коппу хотелось закричать, отпустить прут, броситься в черный провал, чтобы разом покончить с этим паническим ужасом. Он закрыл глаза, стуча зубами. Но тут на его кисти сомкнулись жесткие пальцы, и он почувствовал, что его злобно тянут вверх.

Пальцы босых ног Коппа царапнули по осыпающейся известке, его свободная рука ухватилась за парапет. Острый выступ содрал кожу с его груди. Он вскрикнул от боли и в следующее мгновение уже лежал на крыше. Сквозь свист ветра он услышал, как ругается Гус.

— Давай же, давай, сволочь,— шипел Гус, и его слова уносились в темноту. Копп, дрожа, скорчился за парапетом.

В следующую секунду над ним возникло лицо Моргана, на котором кусочками мела белели глаза.

Гус, пригибаясь, уже уходил в воющий мрак. Он двигался по ребристому железу, как кошка, приподнимаясь на носках, опираясь на кончики пальцев. Так он добрался до угла, где узкая арка соединяла крышу изоляторного корпуса с крышей секции предварительного заключения. Дальше тянулся лабиринт других квадратных и прямоугольных крыш, скученных в тесном пространстве.

Гус огляделся, щурясь под плетью ревущего ветра, который налетал с юго-востока, бился о тюремные стены, гремел по крышам, старался сбросить его вниз. Справа был двор, куда их выводили на прогулку, а слева большой двор каторжной секции. Фонари за толстыми стеклами бросали тусклый свет на асфальт. Оба двора были пусты. Надзиратели, вероятно, обходили камеры. Прямо перед ним прямоугольная крыша арки пересекала темный провал, как перекладина.

Гус быстро посмотрел налево и направо и медленно пополз по узенькому мостику. Ветер хватал его, останавливал, толкал и тянул — на секунду ему вдруг показалось, что он сейчас сорвется. Время тянулось бесконечно. Но в конце концов он все-таки достиг противоположной крыши и перевалился через парапет.

Гус посмотрел назад: по арке, разинув рот и выпучив глаза, бежал Копп. Гус грязно выругался в шуме ветра и отчаянно замахал рукой, приказывая ему лечь. Но Копп продолжал бежать, открытый ветру, точно полностью развернутый парус, и через несколько секунд достиг крыши секции предварительного заключения.

Копп видел, как открывается и закрывается рот Гуса, но ветер относил ругательства в сторону. Потом Гус повернулся и, пригибаясь, побежал вдоль низкого парапета.

Копп бросился ничком на крышу. Оцарапанную грудь обожгло — он ударился о ребро железного листа. Гонимый страхом, Копп открыто перебежал арку, но теперь тот же страх внушил ему осторожность, и он медленно пополз на животе по холодному, пахнущему птичьим пометом железу, и все его тело содрогалось от ужаса, а над ним выл ветер. Копп знал, что в глазах тюремного начальства он уже беглец, и теперь ему оставалось надеяться только на то, что их побег удастся.

Морган благополучно перебрался через арку и скорчился за парапетом. Он осмотрелся. Гус уже скрылся из вида. Он успел заметить смутное, похожее на краба пятно, исчезающее в темноте. Это полз Копп.

Морган не испытывал ни страха, ни возбуждения. Он был флегматиком и умел спокойно подчиняться любым обстоятельствам. И теперь он пополз по крыше, думая только о том, как довести дело до конца.

Над ним за темным пологом пронизанной ветром ночи лиловело небо, точно одеяло, усыпанное дешевыми блестками, а вдали за стенами багровели огни города, как будто дотлевал костер, и над портом силуэтами доисторических чудовищ вздымались краны.

Одной стороной квадрата была задняя стена секции, а по трем остальным располагались двухэтажный каторжный корпус, склады и умывальные, выходившие в угольный дворик, и больница. В углу двора железная решетка перегораживала выход в другой двор.

Гус выглянул из-за парапета и увидел, как какой-то надзиратель отпер калитку в этой решетке, вошел и, заперев за собой калитку, по трем ступенькам спустился во двор каторжного отделения. Он был в шинели и фуражке, за плечом у него висела винтовка. Гус смотрел, как надзиратель, похлопывая ключом по полам шинели, вошел в полосу фонарного света. На середине двора он остановился и поглядел по сторонам. В дальнем углу стояла цистерна с дезинфицирующей жидкостью, а за ней виднелась запертая калитка каторжного корпуса. Надзиратель подошел к калитке и проверил замок. Затем повернулся, задрал голову и обвел взглядом линию крыш.

Гус не понял, заметил ли его надзиратель, но когда он увидел прямо под собой повернутое к нему лицо, его нервы не выдержали. Он вскочил и в панике помчался по крыше, не отдавая себе отчета, зачем и куда он бежит.

Надзиратель увидел его и закричал. В ту же секунду он вскинул винтовку и выстрелил. Из дула вырвался язычок оранжевого пламени, звук выстрела, полузаглушенный ревом ветра, сухим щелчком раскатился по двору. Надзиратель еще раз крикнул и кинулся к кнопке сигнала тревоги на противоположной стене.

17

— Но ... но это все правда?

Джордж Адамс растерянно смотрел на Малыша Касбу, который сидел, подтянув колени к груди, и грыз ногти.

Малыш Касба впервые решился вырвать страницу из сумрачного альбома своей памяти. Ему вдруг захотелось показать ее кому-нибудь, перед тем как его отвезут в столицу, чтобы повесить. Он колебался, точно исповедующийся, который не знает, то ли признаться священнику в гнусном грехе, то ли ограничиться простительными пустяками и уйти с неправедно полученным отпущением. Но теперь, показав страницу, он снова замкнулся и решил, что этот чудак что-то слишком уж настырен. Поэтому он ответил Джорджу Адамсу только угрюмым и злым взглядом.

«Пойди разберись в нем! — с беспомощным раздражением подумал Джордж Адамс.— Оглоушенный, точнее не скажешь».

Потом глаза Малыша Касбы прояснились, словно он решил все-таки ответить на заданный ему вопрос, но тут вдруг внимание обоих было отвлечено. Наклонив головы, они прислушались.

Откуда-то из завывающей тьмы позади корпуса донесся крик, потом щелкнул ружейный выстрел, и через секунду взревела сирена на крыше, рассекая ветер и ночь мечом оглушительного звука.

Джордж Адамс вскочил вне себя от возбуждения.

— Черт! — воскликнул он.— Кто-то бежал.

Он бросился к двери и, вытягивая шею, попытался хоть что-нибудь разглядеть в окне над лестницей, но видел только прямоугольник мрака.

Металлический рев сирены не смолкал. Они услышали еще один выстрел. Потом до них донеслись крики надзирателей, пробежавших через двор. И вновь послышался треск выстрелов. «Точно линейка щелкает по столу»,— подумал Джордж Адамс. И вдруг до его сознания дошел новый

звук — вернее, какофония звуков. Сотни голосов кричали и пели, сотни жестяных кружек стучали по стенам и железным дверям — и все это сливалось в нестройный оглушительный хор. Заключенные издевались над надзирателями, пели и кричали, подбадривая беглецов.

«Солидарность преступного мира!» — с улыбкой подумал Джордж Адамс. Сквозь общий гомон он разобрал злобные выкрики растерявшихся надзирателей, грозивших лишить заключенных завтрака, оставить их на весь день без еды, если они тотчас не прекратят этого безобразия.

Опять раздался выстрел. За ним еще один. Надзиратели отдавали распоряжения, стараясь перекричать вой ветра и насмешливые вопли заключенных. Сирена ревела, не умолкая.

Тут Джордж Адамс заметил, что в соседней камере царит гробовая тишина. Он напряг слух, но не уловил ни единого звука и с удивлением сказал себе: «Да это же они сбежали!»

Он возбужденно крикнул Малышу Касбе:

— Черт! Это парни из той камеры. Сбежали! А мы-то и не заметили ничего.

— Что ж, удачи им,— неохотно пробормотал юноша. Он все еще был погружен в свои угрюмые мысли.

Несколько минут спустя сирена захлебнулась и стихла — теперь только шум ветра аккомпанировал реву в камерах.

Надзиратели все еще отдавали приказы, потом раздался чей-то вызывающий густой бас, а кто-то пронзительно закричал. Снова и снова. Дверь внизу распахнулась, и по лестнице загремели шаги. Выглянув в окошечко, Адамс увидел четырех надзирателей — трое были в форме, а четвертый в шортах и спортивной куртке. Пятым шел начальник тюрьмы. Из-под штатского пиджака выглядывала пижама. Лицо у него побагровело, и его тощее тело тряслось от ярости.

Надзиратель отпер дверь соседней камеры, и все они вошли туда. Через две-три минуты они вышли. Начальник тюрьмы держал в костлявых пальцах обломки пилок и говорил сердито:

— ...эти мерзавцы их достали? Как они их достали?

Они спустились по лестнице, не заметив лица Джорджа Адамса в решетчатом окошке.

Во дворе раздался визг — кто-то униженно просил пощады, потом тот же визг прозвучал в нижнем этаже изоляторного корпуса. Надзиратель завопил:

— Шкура черномазая!

Послышался звук ударов и тупое чавканье сапог, бьющих по мягкому телу. Кто-то глухо застонал, и снова раздался молящий визг.

Джордж Адамс отошел от двери и сел на постель. Он поглядел на Малыша Касбу и сказал:

— Они их схватили. Эти суки их схватили!

Но тот уже натянул одеяло на голову.

18

«Все кончено!» — подумал Морган, скорчившись на тесной крыше, а ветер вцеплялся в его одежду, как обезумевшая женщина. Он услышал, как надзиратель во дворе второй раз выстрелил в бегущий силуэт Гуса, и сейчас же где-то совсем рядом с ним вопль сирены прорезал ночь.

Позади него почти на уровне крыши распахнулось окно служебного корпуса, из него высунулся надзиратель с винтовкой и начал вглядываться в темноту.

Внизу из дверей выбегали другие надзиратели с винтовками и пистолетами. По всей тюрьме поднялся невообразимый шум. Надзиратель в

окне увидел Моргана, поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Щелкнул затвор, раздался второй выстрел. Стреляя, надзиратель кричал:

— Ни с места, сукин сын, ни с места!

Снизу донеслось:

— Они на крыше! Несите лестницу! Лестницу!

Вооруженные люди вылезали на крыши пристроек, которыми изобиловала старая тюрьма.

Морган услышал свист пули над головой. Он знал, что надзиратель в окне хорошо различает его силуэт на фоне неба, а умирать он не хотел. Поэтому он встал и повернулся — в ту же секунду раздался второй выстрел, и пуля обожгла ему щеку. Он вздрогнул, но сразу застыл неподвижно, подняв руки над головой.

— Ладно, не стреляйте, сволочи! — крикнул он с вызовом, и его густой бас перекрыл свист ветра и вой сирены.

Где-то в стороне защелкали выстрелы — в Гуса стреляют или в Коппа? Надзиратель в окне кричал:

— Иди к краю крыши, дерьмо! И медленно, не то я разнесу тебе башку!

Морган разобрал лишь два-три слова, остальное заглушила сирена, но он догадался, чего от него требуют. Держа руки над головой, он медленно пошел вперед. Царапина, оставленная пулей, саднила, и он чувствовал, как кровь теплой струйкой стекает по щеке на шею.

Морган дошел до парапета и поглядел вниз. Надзиратель продолжал держать его под прицелом. Внизу во дворе надзиратели устанавливали лестницу, другие размахивали пистолетами и дубинками.

— Эй, спускайся, черная свинья! — крикнул кто-то.

— Да спускаюсь я, сволочи! — проревел он в ответ, покачиваясь, как темное дерево на ветру.— Суки! Мать вашу!

Он продолжал осыпать их ругательствами все время, пока спускался по лестнице, с тупым упорством батрака, расшвыривающего навоз. Поэтому едва он оказался на земле, надзиратели обрушили на него удары дубинок и прикладов и били его сапогами, а он продолжал ругать их, корчась от взрывов боли, раздиравших его крепкое, сильное тело. Потом в голове у него вспыхнул пронзительный белый свет и он потерял сознание.

— Господи, господи, не дай им меня схватить,— молился Копп, припав к железу тюремной крыши.

Страх судорогой сводил ему внутренности, и он обливался горячим потом под холодным ветром.

— Господи! Господи! Они на крыше, они меня убьют. Иисусе сладчайший, спаси меня от них, спаси, спаси!

Ужас пригвоздил его к крыше, у него не было сил встать и сдаться. Когда взвыла сирена, он в панике помчался по крышам, сам не зная куда, и теперь лежал, прижавшись к парапету, дрожа от страха. Он же не хотел бежать! Это они, это Морган и Гус его заставили! Он так и скажет на суде, что они его заставили.

Он плакал от беспомощности и ужаса. Он хотел уползти куда-нибудь, спрятаться, бежать, сдаться надзирателям, умереть — лишь бы уйти от этого невыносимого ужаса.

Прошло несколько минут. Копп, дрожа, приподнялся и заглянул за парапет. К своему удивлению, он увидел, что добрался до наружной стены тюрьмы: внизу, в двадцати футах под ним, лежала мостовая пустынной улицы.

Гус тоже добрался до наружной стены, но в другом месте. Он промчался по крышам корпусов, арок, пристроек в неудержимом стремлении вырваться на свободу.

Надзиратели тащили лестницы — он слышал их крики. Его заметили, и дальше он бежал под треск выстрелов. Пули свистели совсем рядом, и он похолодел от страха, но мысль о том, что где-то близко ждут друзья, а с ними спасенье, гнала его дальше.

Ветер хлестал его, хватал за одежду, насмешливо хохотал, как злой дух, решивший помешать ему. Но он бежал дальше, и его босые подошвы гулко гремели по железу.

Он пробежал еще одну крышу и увидел за узким проходом верхушку наружной стены. Задыхаясь, он пригнулся у самого края крыши, на мгновение замер и прыгнул.

Его руки зацепились за острый край, пальцы сжались, босые ноги отчаянно заскребли по кирпичу. Он подтянулся и закинул локти на шершавый верх стены, обдирая их до крови. Попробовал вскинуть ногу и рассек колено. И вдруг оказался на стене. Гус выпрямился на ноющих ногах, готовясь спрыгнуть в темноту улицы. Одно мгновение он стоял так, балансируя, и тут ему в грудь ударил ветер и, взвыв, смел, точно сухой листок назад, в тюрьму. Гус упал с воплем отчаяния и тут же снова вскрикнул — его тело ударилось об асфальт и боль обожгла бедро. Над ним наклонялись люди, и он снова вскрикнул, когда надзиратель злобно пнул его сапогом в ребра. На его плечи опустилась дубинка, и он завизжал, извиваясь от боли, ползая у их ног.

— Это второй! — крикнул надзиратель.— А где третий, падло? — Где третий?

Они били его, слушали его визг и спрашивали:

— Где третий?

— Нет, нет, нет! — стонал Гус, плача от страха.— Я не знаю, начальник. Не знаю!

Его подняли, поставили на ноги, и на его лицо обрушился тяжелый кулак. Его били дубинками, кулаками, сапогами, а он плакал и просил пощады.

В изоляторном корпусе отперли железную дверь Дыры. Морган стонал на полу в коридоре, а надзиратель надевал на него цепи — запер обруч на поясе, защелкнул браслеты на лодыжках. В коридор втащили Гуса — надзиратели продолжали избивать его, а он стонал и плакал. Его тоже заковали в цепи, и под их тяжестью он упал на колени, все еще рыдая и умоляя.

Потом надзиратели швырнули их обоих в черную темноту Дыры и захлопнули тяжелую дверь.

Прошло еще много времени, прежде чем Морган из мрака беспамятства вернулся в другой мрак — мрак замурованной гробницы. Сознание возвращалось к нему медленно, он стонал от невыносимой боли, судорогой сводившей его тело. Его лицо было все в крови, кровь наполняла рот, глаза превратились в два ноющих бугра. У него болели все кости. Он лежал в густой тьме карцера и постепенно приходил в себя. Через несколько минут он сунул пальцы в рот, отер кровь с разбитых десен и сплюнул. К его удивлению, золотой зуб остался цел. Он отхаркнулся, еще раз сплюнул и хрипло крикнул в темноте:

— Суки!

Потом он попробовал привстать и застонал от боли. Лязгнули цепи. В свирепой темноте кто-то плакал, захлебываясь, судорожно всхлипывая. Морган с трудом повернулся на бок и охнул. Открывать глаз он не стал — слишком больно, да и что можно увидеть в темноте Дыры?

Хриплым шепотом он позвал:

— Гус? Это ты, Гус?

Снова залязгали цепи, но ответом было только скулящее хныканье. Морган повторил, хотя каждое движение разбитых губ причиняло ему острую боль:

— Гус, это ты, приятель? А Копп где?

Собственно говоря, он вовсе не был уверен, что рядом лежит именно Гус. Может, это гнида Копп распустил нюни...

Но тут в темноте раздался прерывающийся, полный звериной тоски голос Гуса:

— Он выбрался, сволочь! Выбрался!

— Выбрался? — пробормотал Морган.— Он?

Несколько секунд он молчал, прислушиваясь к всхлипываниям Гуса, а потом хихикнул. Потом хихикнул еще раз и несмотря на боль вдруг захохотал.

Морган хохотал, не чувствуя боли, его тело содрогалось, а цепи лязгали в такт этому пронзительному истерическому хохоту, похожему на лошадиное ржанье.

— Чего ты смеешься? — прохныкал Гус.— Чего ты смеешься, сволочь?

— Выбрался! — Морган икал от смеха.— Выбрался! Копп выбрался! Этот говнюк! Да ведь он даже не хотел бежать! — И Морган продолжал смеяться в темноте сумасшедшим смехом, который жгучей болью отдавался во всем его теле.

19

Из административного корпуса вышел надзиратель и заколотил по железному треугольнику. Ветер стих, и день снова обещал быть жарким. Бледное небо начинало розоветь, стайка голубей взвилась над тюрьмой и улетела навстречу восходящему солнцу.

На втором этаже изоляторного корпуса Джордж Адамс очнулся от спокойной дремоты. Он удивился тому, что не видел никаких снов: он ожидал, что после вчерашнего его будут мучить кошмары. Потянувшись, он сел на постели, зевнул и посмотрел на Малыша Касбу, который тоже уже скинул с себя одеяло. И тут Джордж Адамс со стыдом вспомнил, какой это день. Он подумал: «Не стоит его расспрашивать про то, что он рассказал. Ему и без того нелегко».

Поэтому он только грустно посмотрел на странного юношу, но ничего не сказал.

Они встали, сложили одеяла, и Джордж Адамс подумал, что Малыш Касба выглядит как будто бледнее обычного. Но может, это только воображение? Когда знаешь, что ему предстоит...

Малыш Касба не сказал ни слова, когда они спустились на поверку. Заметив, что им придется ждать своих мисок с завтраком, он нахмурился.

Тюремное начальство решило не приводить в исполнение ночные угрозы, и во дворике секции заключенные уже строились, чтобы получить завтрак. Повсюду возбужденно обсуждался вчерашний побег. Джордж Адамс увидел Юсефа и приветственно поднял большой палец.

Но завтрак все не несли, а вместо этого во двор вошла группа надзирателей и скрылась в изоляторном корпусе. Они отперли дверь карцера и крикнули:

— А ну, выходите!

Все в молчании смотрели на двух каторжников, которые, волоча цепи, вышли во двор под охраной надзирателей. Их распухшие лица, головы и одежда были все в крови. Щеку гемнокожего пересекал багровый рубец, его рубаха была в пятнах запекшейся крови. Но разбитые губы кривились в вызывающей усмешке, а за ними тускло поблескивал золотой зуб.

Надзиратели увели их в сторону больницы, и заключенные смотрели им вслед. На крышах тюрьмы были теперь расставлены вооруженные надзиратели, и Джордж Адамс, глядя, как один из них смотрит вниз и поправляет ремень винтовки, подумал: «Стерегут конюшню, когда лошадь уже увели!»

Одному из каторжников удалось бежать — этому щуплому, угрюмому, который всегда дрожал, точно вымокший под дождем щенок.

Взяв свою миску, Джордж Адамс налил в кружку горячей воды и в камере размешал в ней какао. Половину отлил в кружку Малыша Касбы и сказал:

— Как раз остынет, пока мы доедим кашу.

— Я не хочу есть,— вдруг сказал юноша, и его лицо, лицо военнопленного, окостенело.

— Ну, так выпей какао. Я его много намешал.

— Найдется у вас чинарик, мистер?

— Ну, конечно,— Джордж Адамс достал коробку и протянул Малышу Касбе сигарету, а потом, подумав, добавил:— Возьми-ка еще. Весь день без курева тебе будет трудно.

Псалмопевец затянул «Прекрасно все».

— Спасибо,— сказал Малыш Касба и взял еще три сигареты. Он спрятал их в нагрудный карман, а первую поднес к зажженной спичке, которую протянул ему Джордж Адамс.

— Спички тоже возьми,— спохватился Джордж Адамс.— У меня есть еще коробок.

— Ладно.

«Черт! — подумал Джордж Адамс.— Словно к стенке тебя поставили!»

Не глядя на юношу, он сел на свою свернутую постель. Малыш Касба выпил несколько глотков какао и снова затянулся. Затягивался он нервно, однако рука, державшая кружку, не дрожала, а лицо хранило каменное выражение.

Снаружи послышался голос писаря: он вызывал тех, кому предстояло ехать в суд. Малыш Касба нагнулся и потуже затянул шнурки своих резиновых туфель. Потом он встал и подошел к двери. Джордж Адамс тоже встал, а Малыш Касба крикнул:

— Это я! Я тут, наверху.

Потом он подошел к Джорджу Адамсу, и ожесточенный рот с усиками над верхней губой, которая уже почти зажила, улыбнулся с обычной неохотой. Малыш Касба задумчиво облизнул губы, а потом вытер правую ладонь о брюки и протянул ее Джорджу Адамсу, неуклюже и смущенно, словно движение это было для него непривычно.

Джордж Адамс взял протянутую руку и улыбнулся юноше.

— Ну, желаю удачи, друг.

— Спасибо, мистер.

Дверь внизу открылась, и надзиратель начал подниматься по лестнице, повторяя:

— Альберт Марч! Альберт Марч!

Не выпуская руки Джорджа Адамса, Малыш Касба крикнул через плечо:

— Здесь! Это я.

Потом он посмотрел на Джорджа Адамса, нерешительно помолчал и наконец сказал:

— Мне надо идти.

Надзиратель отпер дверь, и Малыш Касба, отпустив руку Джорджа Адамса, вышел в коридор. Джордж Адамс остался стоять один у исписанной стены, а где-то капала вода из испорченного крана.

20

Выслушав смертный приговор, Малыш Касба замкнулся в броне молчания. Стоя у барьера в зале, где пахло лаком и жужжали вентиляторы, он отгородился от окружавших его чуждых лиц — торжественного белого лица судьи под гербом, розовых лиц полицейских в синей форме, лица прокурора и лица защитника, которого ему назначил суд и который теперь собирал свои бумаги. Он был чужим здесь, среди этих белых лиц, строгих костюмов и белоснежных рубашек,— только позвякивание ключей под лестницей, ведущей к камерам, было знакомым и привычным.

Судья, приговоривший Альберта Марча к смерти, произнес небольшую речь.

— Царство ужаса, посеянного шайками вооруженных ножами хулиганов,— сказал он,— долее не может быть терпимо, и суды должны выполнять свой долг, налагая наиболее суровые кары, дабы помочь добропорядочным людям вести спокойное существование. Суды не раз уже указывали на разгул поножовщины в некоторых районах города и в сельских местностях,— говорил он.— И больше нельзя терпеть шайки и отдельных индивидов, пускающих в ход нож по любому поводу. Государство и местные власти несут колоссальные расходы во имя улучшения социальных условий. Но усилия обеспечить людям лучшую жизнь подрываются деятельностью элементов, подобных обвиняемому, которые сеют ужас и смятение. Защита ссылалась на то, что обвиняемый происходит из класса и среды, где насилие и пьянство — явления самые заурядные. Но это никак не может служить оправданием.

21

Джордж Адамс увидел его еще раз — вечером, когда надзиратели привезли его назад в тюрьму и заперли в последней камере на втором этаже изоляторного корпуса, где ему предстояло ждать отправки в столицу. Малышу Касбе выдали новую парусиновую одежду — еще твердую от крахмала,— и она топорщилась жесткими складками. Джордж Адамс успел мельком увидеть его лицо сквозь частую сетку окошечка. Оно было каменным и замкнутым.

Потом Джордж Адамс увидел каторжника, который нес поднос с ужином для приговоренного к смерти: суп, вареные овощи и кусок хлеба с маслом — обычный ужин белых заключенных.

Надзиратель, сопровождавший каторжника, ушел, но в коридоре остался цветной младший надзиратель в форме цвета хаки и тропическом шлеме — его обязанностью было следить, чтобы заключенный не повесился в камере, избежав казенной виселицы.

Младший надзиратель некоторое время стоял в конце коридора, заглядывая в камеру Малыша Касбы, потом отошел к двери Джорджа Адамса.

— Один сидишь? — спросил он довольно дружелюбно.

— Да,— ответил Джордж Адамс.

— Ну, все-таки тебе не так тоскливо, как ему,— заметил надзиратель, указывая в сторону последней двери. Он покачал головой и, вздохнув, тоном первооткрывателя добавил:— Чего только люди не вытворяют!

— А как он? — спросил Джордж Адамс.

— С виду ничего. Только молчит.

— А курить ему есть что?

— Им выдают сигареты.

— Все-таки передайте ему и от меня,— попросил Джордж Адамс.

— Ладно, давай. Беды большой не будет. А ты его знаешь?

— Да, сэр, я его знаю,— кивнул Джордж Адамс.— Он мой друг.

Он просунул сквозь сетку три сигареты, и надзиратель отнес их в камеру Малыша Касбы. Через несколько минут он вернулся и сказал:

— Сидит и молчит.

— Когда его увезут?

— Попозже. С ночным поездом.

Тут дверь внизу снова открылась, и надзиратель поспешно отошел в конец коридора. По лестнице поднимался начальник тюрьмы в сопровождении старшего надзирателя. Они подошли к камере Малыша Касбы и заглянули в дверь. Начальник, похлопывая тростью по костлявой ладони, сказал:

— Марч? Это Марч? Как ты себя чувствуешь, Марч?

Джордж Адамс не расслышал, ответил ли Малыш Касба что-нибудь, но начальник тюрьмы сказал:

— Скоро тебя увезут. С этой минуты уповай на всевышнего. Уповай на всевышнего.— Он помолчал и докончил:— Гм...

И они удалились. Снаружи опять поднялся ветер, и Джордж Адамс слышал, как он таинственно шепчет что-то, пролетая между тюремными корпусами. В камерах тускло светили лампочки, во дворах тускло светили фонари.

Джордж Адамс еще стоял у двери, когда надзиратели явились за Малышом Касбой. Сквозь частую сетку он смотрел на них и услышал, как заскрипел тяжелый замок.

Из камеры каменной походкой вышел Малыш Касба. В новой одежде он чувствовал себя неловко, а жесткий воротничок уже натер ему шею. Он обвел лица пришедших за ним людей равнодушным взглядом. Задержавшись на мгновение, он вдруг прошел мимо них к камере, где ждал Джордж Адамс.

Джордж Адамс увидел его. Надзиратели не остановили юношу, и Джордж Адамс увидел его по ту сторону проволочной сетки. Пальцы с обгрызенными ногтями коснулись сетки, и серые холодные глаза на неизмеримо краткое мгновение вдруг осветились, точно в них проскочила электрическая искра. Ожесточенный рот чуть раздвинулся в одной из своих редких усмешек.

— Ну, всего, мистер,— сказал Малыш Касба.

Джордж Адамс кивнул.

— Всего, друг,— сказал он.

Юноша повернулся и отошел к надзирателям. Джордж Адамс смотрел, как они спускались по лестнице. Дверь внизу захлопнулась, заскрежетал замок, и он опять остался один в обществе исписанных стен, одеял, запаха табачного дыма и посвиста ветра.

На следующее утро его перевели назад в секцию предварительного заключения.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

Буриданов осел

РОМАН

Перевод с немецкого
Е. КАЦЕВОЙ и Т. ИЛЛЕШ

1

Началось это так: при пробуждении Карл Эрп улыбался, не зная почему. Сна он никакого припомнить не мог. И только позже, ненамного позже, но все-таки потом, он вспомнил о фрейлейн Бродер.

Скажем лучше так: впоследствии ему казалось, что в то утро он проснулся с улыбкой. (Он так об этом и рассказал фрейлейн Бродер: «Знаешь, это было странно. Я отчетливо чувствовал, что мои губы растянуты в улыбку, и лишь мгновением позже передо мной возник твой образ. Да, так это началось у меня».) Сегодня он, пожалуй, и сам верит в эту версию, уже не помнит, что в то утро, как и во всякое другое, будильник вырвал его из глубокого сна, что он повторил свою обычную утреннюю клятву рано ложиться спать, мысленно перебрал распорядок дня в поисках неприятных пунктов, что вопрос, бриться ему дома или в библиотеке, вырос в проблему, и лишь коснувшись теплой со сна рукой холодного подбородка, он обратил внимание на свое куда менее скверное, чем всегда по утрам, настроение и недоуменно стал доискиваться причин этого, что и привело к упомянутому растяжению губ и к мысли (спустя секунду), какое это идиотство, когда сорокалетний мужчина сумрачным утром ухмыляется в кровати, после чего углы рта были возвращены в исходное положение и, уже при нормальном выражении лица, соблюдение нормального утреннего распорядка вступило в свои права: пять минут понежиться в кровати, затем с подобием легкости вскочить, не зажигая света, открыть окно, скинуть пижаму, с вытянутыми вперед руками сделать десять приседаний, выглядывая при этом в окно. На яблони, скелеты которых высовывались из утренних сумерек, на туман, стелющийся по земле и закрывающий ему вид на Шпрее, и на дом напротив, и на удящего рыбу старика в меховой шапке, которого он принимал за ушедшего на покой профессора. Массаж слегка намечающегося брюшка он проделал с безнадежным усердием, выкрикнув свое утреннее приветствие в туман, откликнувшийся ему тоненьким голосом. Ловится ли что-нибудь, он и на этот раз не спросил старика, боясь

громким голосом вспугнуть рыбу. В детской было еще тихо. Уверенно прошел он по темному коридору и спустился по лестнице, тесно прижимаясь к перилам, потому что середина ступенек скрипела. Возвращаясь из ванной, он уже не соблюдал осторожности, ибо теперь семье можно было проснуться. Еще три года назад он, нагой и продрогший, всегда пробирался к Элизабет и, лаская, будил ее собственными или заимствованными из книг словами. В такое утро, как сегодня, он, вероятно, сказал бы: «Пусть клубятся туманы, желтый падает лист, но поцелуй дорогого — и серый день станет снова словно золото чист, да, чист»,— или что-нибудь в этом роде. Теперь же он ограничивался тем, что приоткрывал дверь, шептал: «К сожалению, пора» — и убегал к себе одеваться. Выигранные таким способом минуты он использовал на то, чтобы полистать купленные недавно книги, лежавшие еще нечитанными на его ночном столике. В это утро он, правда, не понимал, что читал, так как старался придать образу фрейлейн Бродер ясные очертания: приятное, но затяжное занятие, которому он предавался еще и тогда, когда выводил свою машину из гаража на улицу и когда (ровно в семь десять) сидел за завтраком.

В это утро, с этой улыбки, с попытки воссоздать ее образ все и началось! Подчеркнуть это очень важно, дабы не представить характер Карла с самого начала в превратном свете, свете двойственном или, упаси боже, в едко-зеленом свете своекорыстия и тем самым не впустить его в книгу уже со знаком минус на челе. Ведь если бы он накануне предвидел свою утреннюю улыбку, его непринужденность была бы просто лицемерием, его деловитость — поставлена на службу лишь собственному делу. Но на это он был просто неспособен. Нечистая совесть лишила бы его уверенности, благодаря которой он одержал победу. Он был убежден, что судит объективно, и никто из присутствующих не усомнился в этом, даже Хаслер — единственный, кто голосовал против решения. Он и впоследствии никогда прямо не обвинял Карла, будто тот из личного интереса голосовал за зачисление фрейлейн Бродер, а лишь разъяснил ему, что у остальных участников заседания и у всех служащих библиотеки подобное впечатление должно было создаться и опровергнуть его невозможно.

А такое не начинается с утренней улыбки и вообще не начинается внезапно. Оно возникает постепенно, незримо, беззвучно, медленно. Оно растет изо дня в день, еженедельно, из месяца в месяц столь незаметно, что даже по прошествии полугода можно и не увидеть угрожающих симптомов и вести борьбу за практикантку Бродер (и против практиканта Крача) уверенно, со спокойной совестью и убедительными аргументами, свидетельствующими о заботе не только о библиотеке, но и о человеке. Ее познания огромны, этого никто не мог отрицать, ее трудовая мораль вне всяких сомнений, и тот факт, что она родилась и выросла в этом городе, тоже ведь следовало учесть. Или нет? А то, что некоторые коллеги из-за ее сурового отношения к их халатности чувствовали себя задетыми, не могло же служить контраргументом, равно как и желание некоторых молодых сотрудниц заполучить наконец в качестве коллеги мужчину. А ее работа по каталогизации не была разве беспримерной? Была беспримерной,— ну вот видите! Это должен был признать даже Хаслер и, чтобы не уступить, вернуться снова к тому, с чего начал. Но теперь он остался в одиночестве; дело близилось к полуночи, последние поезда метро должны были вот-вот уйти, и те из сотрудниц, что вначале стояли на его стороне, устали, а они отлично знали, что их шеф скорее будет спорить до утра, нежели изменит свою точку зрения. И потому они сдались, проголосовали за фрейлейн Бродер и, от нетерпения щелкая замками сумочек, ерзали на стульях, в то время как Хаслер, тя-

жело прохаживаясь взад-вперед на своем скрипящем протезе, формулировал точку зрения, которой придерживались и они. А именно: работа народной библиотеки — разумеется, работа с книгами, но это работа для людей, и интеллектуальность коллеги Бродер, при всех ее преимуществах, в этом смысле содержит в себе и нечто негативное. «А знаешь ли ты, товарищ Эрп, что ее не любят ни коллеги, ни читатели? Правда, ее уважают уборщицы, не знаю почему, может быть, потому, что им необходимо кого-нибудь уважать, а другие, более простодушные,— мало подходящие для этого объекты. Я же в присутствии этой Бродер всегда боюсь, как бы не застудить душу. Такое же чувство испытывают — за некоторыми исключениями — и остальные. Может быть, то, чего ей не хватает, можно назвать сердечностью, а без этого хорошему библиотекарю так же не обойтись, как священнику без ладана. Честно говоря: будь она тут, я бы не решился это сказать, потому что боялся бы ее усмешки и ее вопросов, которых должен избегать, чтобы не продемонстрировать ненаучность своих взглядов». Примерно так высказался Хаслер. Эрпу послышался упрек, адресованный ему, ибо он принадлежал к тем исключениям, которым всякий разговор с фрейлейн Бродер доставлял удовольствие.

По поводу отношений Бродер — Хаслера нужно сказать сразу: она была красивая женщина, но не для него.

Спрашивается, кому она казалась красивой? Даже Эрп признался потом, что не сразу разглядел ее красоту. Он размышлял над этим в то утро за завтраком, проходившим точно по разработанному им самим церемониалу: яблоки, ржаной хлеб, молоко с медом, яйцо всмятку и потом кофе (детям какао) с домашним кексом. Так как во время еды разрешалось говорить только о еде и лишь заключительная сигарета дозволяла иные темы, у Эрпа было достаточно времени, чтобы отдать себе отчет в том, какое причудливое превращение произошло с образом фрейлейн Бродер в его представлении. Началось это еще до их первой встречи. Директор библиотечного училища позвонил: «Вы получите то, чего желали, двух практикантов, выберете, кого захотите себе оставить; экзамены они оба выдержат отлично, это несомненно, было бы хорошо, если бы вы оставили у себя девушку, она берлинка и принадлежит к тому типу людей, которые без Берлина зачахнут; с ней нелегко, у нее острый глаз на человеческие слабости и всякие неполадки, больше интеллекта, чем души и тела, это не каждому по вкусу, но я рекомендую именно ее!» Выглядела она не так скверно, как ожидал Эрп после этого описания. Она не носила очков, чулки не морщили, пальто и платье как нельзя лучше подходили к ее фигуре. Никакой бледности, хорошая осанка — ничто не напоминало о длительном сидении за письменным столом, ни одна черта ее лица не говорила о забитости или заносчивости. Держалась она свободно, уверенно, с чувством собственного достоинства, говорила на хорошем литературном языке, без просторечий или изысканности, не пыталась кокетничать, очаровывать. То, что Эрп был ее начальником и мужчиной, казалось, не производило на нее никакого впечатления. Она была сдержанна и вызывала сдержанность. Эрпу это понравилось. Небольшое недовольство, которое он поначалу ощутил, было столь ничтожно, что он не обратил на него внимания. Он не прибег к шутке или к показной сердечности, которые пускал в ход с робкими практикантками, был краток и деловит и испытал тогда приятное чувство равенства. Когда она вышла, у него не осталось никакого представления о ее лице. Если бы его спросили, он сказал бы, что оно холодное, строгое, угловатое, бесспорно интересное, но неприятное. И лишь спустя полгода, за завтраком, в семь двадцать, он нашел правильное определение для этого лица: суровое — в смысле твердое, замк-

нутое, непроницаемое, отстраняющее. Он обрадовался этому слову, как грандиозному открытию; не только потому, что точное определение уже наполовину означает обладание, но и потому, что слово было меткое и тем самым подтверждало его способность к объективной оценке. Он не заметил, как сам обманул себя, ибо, впервые мысленно произнеся это слово, одновременно придал ему особое значение: оно стало синонимом красоты. Ведь за это время он неоднократно видел фрейлейн Бродер смеющейся и, попивая со всегда тщательно скрываемым отвращением сладкое молоко, отчетливо представлял себе движения ее губ при этом и слышал те мягкие интонации, которые иной раз приводили в смятение ее собеседника.

Она была неотразимой, когда естественность пробивалась сквозь ее искусственную холодность. Хаслер называл это коварством, так как пытался сопротивляться очарованию, которое покорило Карла.

Это было коварство, и это была естественность. Коварно примененная естественность. Эрп знал это и в то утро не менее коварно воспользовался своим знанием. Он дозволил растрогать себя наивной мягкостью (растроганность была ему необходима) и восхищался коварством, возбуждавшим вовсе не душу. (Когда он ей потом признался, как быстро раскусил ее, она засмеялась, и оба они поняли тогда, что и это тоже свяжет их, как двух заговорщиков.) Тогда же он вспомнил, что ему довольно скоро стало ясно: сверстник не годится этой девушке в партнеры.

А Элизабет тем временем спокойно и благодушно объясняла детям действие витаминов (скрывая при этом, что и ей самой порядком надоела их тирания), призвала к порядку Петера, который показывал сестре, как у моряков, заболевших от солонины цингой, выпавшие зубы путаются среди начинающих шататься, затем обратилась к Карлу с вопросом, в ответ на который получила лишь «нет» — «нет» без каких-либо дополнений. И удовлетворилась этим.

Она даже не обеспокоилась, хотя вопрос был: «Ты сегодня вечером вовремя придешь домой?» Она достаточно хорошо знала его, чтобы не сомневаться, что узнает все, только не с утра. Он не умел ничего скрывать. Как-нибудь вечером, когда дети уже в постели, почта им просмотрена, дневные происшествия ею рассказаны, он начнет примерно так: «Помнишь последнюю среду, когда я только к полуночи вернулся домой...» И она кивнет выжидательно, чтобы была видна ее заинтересованность, не задаст никаких вопросов, не станет торопить. Когда речь шла о профессиональных делах, она, само сочувствие или восхищение, высказывала свое мнение; если же были замешаны женщины, она, подавляя малейшую ревность, жалела бедные создания. Ибо женщины в его рассказах всегда были достойны жалости — либо потому, что обожали его и он, по доброте сердечной, не мог совсем их оттолкнуть, пока с испугом не замечал, что дальше дело так не пойдет, либо потому, что они были ужасно глупы и неприятны, что он хоть и с запозданием, но все же достаточно своевременно обнаруживал. Она не очень боялась историй подобного рода, ибо кончались они неизменно превознесением — высказанным или нет — ее красоты, ее ума, ее доброты, ее спокойствия, ее трудолюбия; всякий раз победительницей выходила она, даже когда догадывалась, что в том или ином случае не его обожали, а он обожал, целовал не в щеку, а в губы, пил не сок, а коньяк. Но обмануть ее, нарушить в худшем смысле слова супружескую верность, этого — она уверена — он не делал никогда, это точно, совершенно точно, даже если иной раз он, возможно, и жалел об этом. К счастью, он этим не гордился. Да она и не видела причины к тому. Он просто не смог бы изменить ей, ничего бы не получилось, в предпоследнюю минуту у него всегда пропадала охота, кто знает почему, может быть, потому,

что его всегда тянуло вовремя домой, что он не мог пожертвовать своим регулярным сном, может быть, и ради нее. Она знала по опыту, что каждое из его увлечений уходило в песок, и тем не менее он не терял вкуса к новым приключениям. Может быть, ему это нужно было. Она не хотела лишать его этого, она ведь знала ход событий: после пробуждения мысленно перебирается предстоящий день в поисках какой-нибудь радости, вырисовывается лицо, подготавливается комплимент, на вопрос о своевременном возвращении домой дается отрицательный ответ и лишь потом, когда-нибудь, когда дети уже улягутся, облегчится слегка обремененная совесть, процитируется старая считалка: «Ты и я, мельника коза, мельников осел, вот кто ты таков!» — и при этом подумается, что жена и дети, дом и сад неотъемлемы, как собственная рука, как волосы или губы, нашедшие так мало радости на губах чужих. Следовательно, «нет» не давало повода к тревоге, как не давали его последний глоток кофе, несколько шагов к машине, беглый поцелуй перед отъездом.

2

Но действительно ли не было ни тревоги, ни ревности? По меньшей мере была попытка подавить их. Почти удачная попытка, ибо Элизабет, как уже сказано, имела практику. Но, может быть, дело вовсе не в практике. Может быть, попытка удавалась потому, что хватало забот, трудностей, боли, так что тепличные увлечения Эрпа (расцветавшие вечером и увядавшие утром) по сравнению с ними казались пустяками. Потом, в главе 8-й, Элизабет попытается объяснить это одному мужчине (не мужу), прибегнув к образу спутника, который вращается вокруг большей планеты, должен вращаться, потому что закон любви (давно уже взятый под негласное сомнение) так повелевает или кажется, что повелевает. В то утро в палисаднике на бетонной дорожке между осенними астрами (последними, синими, мелкими), когда она с улыбкой смотрела вслед детям и махала им рукой, этот образ еще не возник, но уже было чувство тяжести, как всегда, когда она оставалась одна в доме перед горой работы, которую ежедневно разгребала и которая ежедневно вырастала заново.

Карл же был весел. Хоть он и считал, что детям полезно бы утром пройтись двадцать минут пешком, он каждый раз брал их с собой, потому что его радовал их восторг от езды в машине и гордость, с которой они на глазах у соучеников вылезали из машины и с независимым видом захлопывали дверцу. В это утро он особенно много смеялся, посигналил им, высадив у школы, на прощание огнями и пунктуально, как всегда, прибыл в библиотеку, где секретарша ему шепнула, что Хаслер уже ждет его.

Да, Эрп много смеялся, но он и много думал во время той поездки по городу, и лишь поэтому она достойна упоминания. (Он, между прочим, никогда не говорил: «Я еду в город», а всегда говорил: «Я еду в Берлин», подражая тем самым своим соседям — коренным жителям, язык которых еще не признавал того факта, что их поселок вот уже более сорока лет входит в Берлин. В разговоре с фрейлейн Бродер он однажды привел это как пример, подтверждающий, что человек легко и быстро приспосабливается к своему окружению, если оно пришлось ему по вкусу. А поселок на Шпрее подходил Эрпу во всех отношениях.) Итак, он смеялся и болтал с детьми, но вдруг ощутил, сколь непрочна и сомнительна его привязанность к ним. Может ли он себе представить жизнь без них? Этот вопрос он впервые поставил перед собой и испугался, когда, не колеблясь, ответил на него утвердительно. Он мало бы-

вал с ними — недолго утром, иногда вечером, по воскресеньям немножко больше, а в отпуск совсем их не видел. Педагогическим тщеславием он почти не обладал, ему доставляло удовольствие баловать их, но чаще всего они мешали ему во время работы или во время вполне заслуженного отдыха, а когда они были в летних лагерях, он не скучал по ним, хотя мысль, что с ними может что-нибудь случиться, несчастье или болезнь, приводила его в ужас. Он всегда будет делать все, чтобы они были здоровы, довольны и счастливы, это несомненно, но и не больше того. В особенности при виде старшего, сидящего в машине рядом с ним и комментирующего каждый поворот, каждый дорожный знак, каждую машину, он никогда не чувствовал в себе то, что когда-то назвали голосом крови. Он покосился на без умолку умничавшего одиннадцатилетнего сына и, как всегда, почувствовал лишь отчужденность при виде его бледного лица: мальчик не похож ни на него, ни на Элизабет. Она могла бы не рожать его в муках, а взять из приюта — чувства к нему Эрпа не были бы иными. Он нес за него ответственность — юридическую, моральную,— он привык к нему, вот и все. Почему к Катарине у него было совсем другое отношение? То, что она была существом женского пола, кокетливой, нуждавшейся в ласке, благоговеющей перед ним, безусловно имело значение. Он почти не решался дотрагиваться до нее, после того как он насмотрелся на обращение молодых матерей со своими голенькими сыночками. Но важно было, видимо, иное: Катарина была такой, как он (или, вернее, каким он себя считал),— спокойной, разумной, уверенной в себе, гораздо серьезней, гораздо умней, чем ее старший брат. Эрп любил в ней, вероятно, лишь самого себя. В своей утренней склонности к правдивости он признавался себе в этом, но тут же находил и оправдание: всякая любовь сродни скорее эгоизму, нежели любви к ближнему. Может быть, когда-нибудь дойдут до того, что осознают это, в других областях ведь до этого уже дошли: так, уже можно думать и говорить, что родину свою любишь потому, что в ней хорошо жить. А Элизабет, почему он любит ее? Потому что он хорошо себя чувствовал с нею, потому что всегда мог переносить ее присутствие, потому что она никогда не надоедала ему, не докучала, не стесняла его, потому что она удивительно хорошо приладилась к нему и к его работе. Значит, тоже эгоизм, конечно, так это можно назвать, но кому вредил он, не ей же, никогда она ничего подобного не давала почувствовать, никогда не восставала против него, следовательно, она все же была, пожалуй, счастлива или (выражаясь осторожнее) довольна. Так он размышлял, проявляя тем самым чрезвычайные способности к самоанализу и одновременному самооправданию — способности, очень уместные в его работе руководителя. (А ведь это может не всякий: быть красноречивым критиком собственной деятельности и притом всегда иметь наготове объяснения, извиняющие все ошибки.) Его воле к правдивости недоставало только последовательности, прежде всего потому, что честность и сентиментальность всегда слишком тесно переплетались в нем. Вместо того, чтобы уяснить себе, почему предчувствие разлуки вызвало у него потребность расчета с самим собой, он отдался во власть печальных воспоминаний. Шоссейная дорога, пустынный берег озера, сосновый лес, голые деревья вдоль дороги напомнили ему одно воскресенье тринадцать или четырнадцать лет назад, когда он впервые проезжал здесь на грузовике, замерзший, в синей рубашке (она сохранилась, он иногда надевал ее для работы в саду), под хлопающим на ветру знаменем, обняв Элизабет за плечи. Лучшие представители библиотечного училища ехали в деревню помогать в уборке урожая и внедрять культуру, пели что-то об авангарде пролетариата и глубоко были убеждены, будто они и есть этот авангард. Элизабет даже испытывала

чувство стыда, что живет в одной из вилл этого восточного Далема *. Эрп был достаточно честен, чтобы задним числом усмехнуться над восторженными попытками оживить мумию народного танца, но в его ощущениях преобладала грусть оттого, что впоследствии он никогда больше не бывал таким беззаботным и независимым, как тогда. Вскоре после этого он проезжал здесь на велосипеде, один. У гидростанции его поджидала Элизабет в своем лучшем полотняном платье, чтобы познакомить с родителями. Спровоцировать их на ссору было нелегко. Но это было необходимо, иначе ему бы не унять своей ярости по поводу того, что ухоженный газон, спускающаяся к реке терраса, со вкусом обставленный дом, атмосфера дружной семьи импонировали ему. Хода событий эта ссора не изменила и даже не замедлила: Элизабет поклялась ему — всегда, что бы ни случилось, быть с ним заодно; а открытие, что никто не попрекнул его ни бедностью, ни воззрениями, примирило его с родителями жены. Теперь он каждое воскресенье проводил на Шпрее; они даже торжественно обручились и потом с воодушевлением встречали каждый шаг на пути к однообразию: экзамены, первое место работы, свадьбу, пустую комнату в городе, Петера, повышение зарплаты, мебель, радио, собственную квартиру и так далее и так далее. Все ему удавалось: в работе он достиг успеха, признанного и оплаченного, все конфликты оказались разрешимыми, удачные обстоятельства он сумел повернуть себе на пользу, был здоров, обеспечен, уважаем, популярен и доволен собой — вплоть до этого утра, когда вдруг загрустил о былой независимости, сохранить которую никогда не старался. Размышления Эрпа и в самом деле имели под собой почву: высокий прожиточный минимум его семьи не допускал перехода на более низко оплачиваемую должность; дом окончательно привязал его к Берлину, сад поглощал ранее свободные воскресенья; занимаемое положение, дом, машина возвысили его над средним уровнем, изолировали его, но не сделали независимым. Раньше он каждый день на протяжении двух умиротворяющих часов был не кем иным, как пассажиром электрички, одним из тысяч, чувствовал ежедневно, что мир состоит не только из библиотеки и семьи, среди множества людей он был два часа самим собою, мог разговаривать, читать, молчать, наблюдать, слушать или думать; теперь же он был там начальником, здесь главой семьи, а в промежутке один в своей движущейся клетке. Действительно, от таких мыслей не отмахнешься, скверно лишь, что он не решался назвать их причину настоящим именем — Бродер.

Размышления подобного рода не новы для него. На вопрос о планах на будущее после сданных с отличием экзаменов он ответил примерно следующее: «Я хотел бы несколько лет набираться опыта в Берлине, а потом уехать в деревню, желательно в такую, где еще не налажена библиотечная работа, где я смогу, не обремененный грузом традиций, делать дело, где революция в культуре действительно будет революционной; я раньше был садовником и привык к зримым и измеримым результатам моей работы». И потом, когда родители жены предложили им дом, он долго медлил с ответом.

Но не во имя революционных планов, а ради спокойной совести. Отец Элизабет, служивший в западноберлинском страховом обществе, за тридцать лет превратился из ученика в директора филиала и при уходе на покой очутился перед дилеммой — жить в своем доме на берегу Шпрее, получая мизерную пенсию, или же снять квартиру в Западном Берлине и получать большую пенсию. Решение этого вопроса он навязал молодой чете со словами: «Если вы возьмете дом, я уйду, если

* Фешенебельный район Берлина, расположенный в его западной части.

нет, я останусь здесь»,— уготовив члену партии Эрпу несколько бессонных ночей. Однажды весенним воскресным вечером Эрп возвестил о своем решении. Да, они возьмут дом, но только с условием: переезд стариков должен произойти легально. В ответ на суровость и решительность, с которыми это было сказано, отец Элизабет лишь пожал плечами. Он никогда и не помышлял о том, чтобы бежать с зубной щеткой и драгоценностями в портфеле и в двух надетых один на другой костюмах, бросить книги, картины и мебель. Прошение уже было написано, справки наведены; никто не возражал против того, чтобы лишиться двух потребителей масла и получателей пенсии и приобрести квартиру. Итак, заявление было подано, дом и сад в поселке на Шпрее, моторная лодка и прибрежный участок нотариально переписаны на имя Элизабет. Чтобы избежать затруднений с жилищным управлением, молодая семья сразу переехала к старикам, и, прежде чем они окончательно рассорились, переселение было разрешено, так что до 13 августа им оставалось выносить друг друга лишь по воскресеньям. Лодку и участок поменяли на машину, когда оклад заведующего берлинской районной библиотекой позволил справляться с расходами на нее.

Кто на месте Карла принял бы иное решение?

Бессмысленно и глупо сентиментальное неудовольствие по поводу положения, которое ты сам добровольно создал.

Но полностью без влияния Элизабет дело не обошлось.

Она тогда согласилась бы на любое его решение, поехала бы с ним и в Мекленбург, если бы чувствовала, что там он будет счастливее.

Но он знал, что она привязана к дому, к саду и к реке; в конце концов, она провела там большую часть жизни.

Тактика самооправдания! Именно ее он применил снова, когда беспрепятственное передвижение опять предоставило ему время для раздумий. Ради Элизабет он взвалил на себя крест собственности, пожертвовал своей свободой, похоронил юношеские мечты. Он вздохнул, когда светофор на Тресков-аллее зажегся красным. А ведь с юридической точки зрения он такой же бедняк, как десять лет назад. Даже машина, на которой он вечером подъедет к дому фрейлейн Бродер, в сущности, принадлежит его жене.

Когда Эрп без одной минуты восемь вошел в приемную перед кабинетом, он снова вздохнул, но на сей раз не из жалости к самому себе (этого он никогда не позволил бы себе в служебном помещении), а из-за угасшего рабочего рвения. Между восемью и одиннадцатью он всегда работает сосредоточеннее и быстрее, чем потом, а сейчас Хаслер помешает ему. Когда же фрейлейн Завацки намекнула ему, что может, действуя испытанным способом, напомнить ему в девять или в половине десятого о какой-нибудь назначенной встрече, Эрп отказался. Это не помогло бы отделаться от Хаслера.

3

С Тео Хаслером в эту книгу попала бы образцовая хрестоматийная история, если бы не два сущих пустяка, которых ему недоставало; во-первых, волос и, во-вторых, манеры ясно выражаться. Правда, лысина — классическое место для лавровых венков, но это связано еще с Цезарем и потому, пожалуй, не очень нам по душе. Манеру же выражаться никак нельзя было назвать образцовой потому, что речь Хаслера была нашпигована архаизмами, делавшими ее несовременной и тяжеловесной, и казалась содержавшей обещание, которое так и не реализовалось, что человек этот оригинал. Он не был оригиналом — разве лишь в той мере, в какой каждый человек (будем надеяться) отличается своими

оригинальными чертами от других. В то время как многие современники всю жизнь заняты тем, чтобы заново установить свой неправильно смонтированный в молодости внутренний компас, Хаслер быстро и основательно разделался с этим по окончании войны, но операция эта оставила у него бросающийся в глаза шрам церковной метафоричности в речи. К тому же он не был женат. В остальном же в нем не было ничего заслуживающего порицания. И если он иной раз ночью ковылял по улицам нового поселка к вокзалу, чтобы там в ресторане встретиться с людьми, которые, как и он, разжижали алкоголем тягучие ночи, это вызывалось тем, что он не любил пить водку в одиночестве. Кроме всего, он ведал в районном совете культурой, будучи таким образом непосредственным начальником Карла. Но сидел он на месте мало, был всегда в пути, любил беспокойство и ненавидел бесчувствие сна, который мстил ему тем, что не приходил и тогда, когда его звали, а если и приходил, то через час-два снова откланивался, принуждая таким образом Хаслера вставать и работать или бодрствовать лежа и размышлять, как, например, сегодня, о заседании, которое он перебирал фраза за фразой, будто читал протокол. При этом он в первую очередь доискивался, каковы побудительные причины высказанных мнений, то есть искал отцов незаконнорожденных детей, но его поиски редко увенчивались успехом, разве только в тех случаях, когда касались его самого. И так как результаты этих раздумий не смыл и утренний кофе, его погнало к немедленному подведению итогов, то есть к Карлу. Вот он уже сел в потрепанное ширпотребовское кресло (которое в начале пятидесятых годов, должно быть, находили красивым) и начал говорить, прежде чем Карл успел сесть. «Наверняка ты в детстве не имел таких хороших преподавателей закона божьего, как я, и тебе необходимо объяснить разницу между неполным и полным раскаянием. Первое исходит из страха перед наказанием, из любви к самому себе, второе же из любви к богу, что применительно ко мне должно означать: если я захочу частично взять обратно свои сказанные вчера о Бродер слова из опасения, что их неточность откроется и я окажусь посрамленным, то это раскаяние неполное, если же я сожалею о них из чувства справедливости, то это раскаяние полное. Клянусь тебе, верно последнее, и отпущение грехов мне тем самым обеспечено. Хотя бы потому, что вчера вечером я не сказал ни слова неправды. Недостатки, в которых я ее упрекал, у нее действительно имеются, но они менее значительны, чем я хотел вас уверить. Теперь я понимаю, что раздул мелочи, после тщательного обследования своей совести я познал причину, побудившую меня к этому, или, лучше сказать, пучину, в которую дал увлечь себя. Здесь опять обнаруживается, как мало годимся мы для того, чтобы решать судьбы других людей, вмешиваться в жизнь, играть роль провидения, другими словами — быть начальниками. Действительное право на это имел бы только бог, если б существовал, ибо только он был бы достаточно мудр и справедлив. А мы не можем быть таковыми хотя бы уж потому, что мы не бесполые, как Несуществующий, потому что в нас дремлют инстинкты, которые, внезапно пробуждаясь, туманят голову или, вероломно подкрадываясь, определяют действия, мутят рассудок. Нарушения такого рода наблюдаются у обоих полов, но более тяжелые последствия вызывают у пола мужского, поскольку он, несмотря на законы равноправия, все еще является господствующим. Женщины — министры, функционеры в экономике, руководители предприятий все еще редкие исключения, лишь подтверждающие правила; от ООН до супружеского ложа все еще господствуют мужчины, и пока не установлено, в какой степени на их решения влияет половой инстинкт. Вот пример, свидетельствующий о том, как все это сложно: начальник отдела Х, так сильно любящий мир, людей и

самого себя, что хочет сделать их лучше, чем они есть, старается сыграть ненавистную, но необходимую роль провидения как можно более мудро и справедливо, и, в особенности когда речь идет о женщинах, он всячески стремится уберечься от вредного влияния собственных эмоций; он очень исправный мужчина и знает, что нечто в нем откликается так или иначе на женщину, каковой является каждая партийная или беспартийная сотрудница. Поэтому он возводит для себя в непреложный принцип: во-первых, не прикасаться ни к одной женщине, с которой имеет дело на работе, и, во-вторых, опознать и исключить всякое обусловленное половым инстинктом суждение. И когда ему пришлось принять участие в судьбе одной, по всей видимости, весьма исправной, женщины Y, он сказал себе: «Милый X, то, что тебе нравится в этой девице, к делу не относится!» Он напрягает весь свой критический ум, говорит о ней только отрицательное и гордится этим, пока бессонной ночью ему не становится ясно, что из боязни принять неверное решение он принял решение более неверное, чем когда бы то ни было». В таком духе и еще больше (во избежание притязаний оратора на гонорар, его выступление приведено здесь в сокращенном виде) говорил Хаслер утром в восемь часов в кабинете заведующего библиотекой. Карл сидел за письменным столом и, чтобы не глядеть на него, просматривал почту.

По лицу Эрпа было заметно, что подобная исповедь доставляет ему не очень-то большую радость. Возможно, она слишком уж напоминала ему собственную тактику самокритики.

Иначе обстояло со второй частью исповеди: «Однако, что озадачило X, когда он в своих размышлениях дошел до данного пункта, так это неумышленная злобность, в которой, он потом отдал себе отчет, едва заметная враждебность тона, окрашивавшая его голос, когда он говорил о коллеге Y. И он задается вопросом, откуда у него это стремление говорить оскорбительно о женщине, которая ему нравится. Окольными путями он приходит, наконец, к объяснению: в своей первой жизни (так он именует время до своего возрождения в году тысяча девятьсот сорок пятом) он был рабочим на кирпичном заводе и солдатом, во второй же своей жизни — функционером в беспрестанно менявшихся областях, стало быть, человеком, постоянно начинавшим и никогда не доводившим дело до конца, а поэтому всегда чувствовавшим презрение специалистов, к тому же он, инвалид, человек с одной ногой, не может отделаться от чувства, что женщины считают его неполноценным мужчиной, и потому-то и старается снова и снова доказывать им обратное. И вот этого человека, имеющего на одну ногу меньше и на два комплекса больше, чем другие, встречает та самая коллега Y, которая как женщина по крайней мере равноценна ему, но как специалист явно его превосходит, встречает с равнодушием, не исключающим, правда, необходимого уважения к его должности и его возрасту, но сразу же возводящим границу перед всякой попыткой к возможному сближению, что должно оскорбить его как мужчину, поскольку он хотя и не хочет перейти границ, но устанавливать их желает сам; ибо если уж он из добрых намерений ограничивает свои личные радости, то хочет делать это по меньшей мере с сознанием принесенной им героической жертвы». После этих слов Хаслер встал и, скрипя протезом, пошел к двери.

Пошел, в надежде, что Карл его окликнет и он еще сможет задать ему вопрос: «А как с тобой обстоит дело?» Он ведь пришел не только для того, чтобы делать признания, но и чтобы выслушать их; он хотел быть не только исповедующимся, но и исповедником. Его откровенность была не без расчета, она была также приманкой. Но Карл не клюнул, не попался на удочку, не повис на крючке, лишь сделал вид, будто намерен клюнуть, сказав: «Действительное равноправие все мы еще не вы-

носим», отодвинул почту, впервые посмотрел на Хаслера, понял вдруг, что готов вот-вот использовать свое тройное превосходство (он верно оценил профессиональную пригодность фрейлейн Бродер, никто не подозревал о его чувствах к ней, он мог питать надежду) самым подлым образом, сказав, к примеру: «Если они хоть немного выше нас, дело уже не клеится», или: «Мы требуем от них хотя бы мнимого подчинения», но подавил в себе это желание, как и искушение поболтать с Хаслером о достоинствах фрейлейн Бродер, предпочел притвориться безучастным, несколькими пустопорожними словами по-товарищески похвалить Хаслера за честность, высказать опасения по поводу состояния здоровья фрейлейн Бродер (нарушения кровообращения в ее возрасте чреваты частой потерей работоспособности) и как можно быстрее перейти к вопросу, в какой форме сообщить Крачу о принятом решении.

В общем, он был очень ловок. Но именно это и усилило подозрения Хаслера.

4

Давно уже Карлу рабочий день не казался таким длинным. Он начал пересчитывать часы в минуты, испугался, поймав себя на этом, тут же запретил себе даже смотреть на часы и вообще думать о фрейлейн Бродер и то и дело нарушал свой запрет. Он заставил себя сосредоточиться, занялся работой, которую постоянно откладывал, диктовал письма, вел телефонные переговоры и наконец пригласил Крача, чтобы сообщить ему о решении руководства библиотеки. Вопреки первоначальному намерению, разговор затянулся до обеда, потому что Эрп чувствовал недовольство Крача, а он не выносил, если кто-нибудь подчинялся приказу, не будучи с ним согласен. Как от себя, так и от других он требовал понимания фактов, даже неприятных, и потому почитал своим долгом говорить до тех пор, пока парень не поймет. Он был приветлив, не льстя, честен, не оскорбляя, но стал нервничать оттого, что Крач продолжал молчать, пристально уставившись на него сквозь толстые стекла очков, начал говорить чересчур много, повторяться и, наконец, раздраженный упорным молчанием, принялся утешать Крача, поносить Берлин, причем оказалось, что он много говорит о самом себе. Еще во времена его экзаменов, почти пятнадцать лет назад, назначение в Берлин считалось особенно желанным, правда, не для него, он тогда уже понял, сколь иллюзорны надежды, связанные с этим назначением. А то, что денег здесь платили больше, еще не значило, что их было больше. Еженедельными танцульками можно было наслаждаться и у него дома, в Альт-Шрадове, если не быть ленивым и прокатиться на велосипеде в Ломсдорф или Петчен; кино тоже показывали по пятницам в соседней гостинице, а уж три-четыре раза в год можно было съездить в Берлин в театры и музеи, посещая их таким образом даже чаще, чем большинство берлинцев, которые про сокровища своего города читают только в газетах, а после работы, так же как и сельские жители, забираются в свои квартиры, чтобы с помощью телевизора создать видимость контакта со всем миром, что им и необходимо в их одиночестве, вне города не ощущаемого в столь резко выраженной форме. Как страдал он первое время от затерянности в безымянной столичной толпе! Ведь он привык здороваться с каждым человеком на улице, знать о каждом, откуда он и кто он, что делает и думает, и исходя из этого заключать, как тот относится к нему. Лишь с трудом он понял, наконец, что его всегда живой интерес к соседям расценивался как навязчивое любопытство, что участливость и готовность помочь воспринимались как нежелательное вмешательство, он был отлучен, изолирован, поскольку не считался с

разъединяющими людей условностями. Конечно же, в своем молодом задоре он бывал в те времена зачастую невыносим, взять, к примеру, его первую практику здесь, в библиотеке, которая тогда выглядела малопривлекательно (мрачные темно-зеленые и серые стены и мебель, забитые досками окна; свободный доступ читателей к книгам, разумеется, был еще запрещен, хотя кое-что уже видоизменили: старое гофманское задвижное окно переделали в открытый стенд); здесь, где поверхностно обученный начальник намеревался перестроить организм, законы которого еще не познал, кучка бывалых сотрудников сопротивлялась этому, а любознательные практиканты стояли перед моральной дилеммой — перенимать ли щедро предлагаемые знания от людей, которых впоследствии намерены обогнать,— он стал непопулярен у обеих партий, ибо не посчитался с неписаным правилом большого города об абсолютной несовместимости места службы и места жительства. Пропасть между начальником (действительным героем первых лет, Фредом Мантеком, Крач наверняка слышал о нем) и библиотекаршами так огорчала его, что он, исполненный миссионерского усердия, вторгался в домашнюю жизнь, пугал семьи, спутывал вечерние планы, разрушал воскресный отдых, прекращал празднества, говорил, говорил, пока его не выставляли за дверь или не засыпали на его глазах. Достичь чего-либо таким путем он, естественно, не мог, приобретал только врагов, что воистину не входило в его намерения, так как он очень любил этих старых дам, ежечасно учился чему-нибудь у них, еще сегодня он им благодарен, ценил их жизненный опыт, их доброту, образованность, их необъятные знания, их профессиональную страстность, уважал даже их взгляды, которые считал хотя и благородными, но устаревшими, надеялся в один прекрасный воскресный вечер переубедить их. А ведь он так нуждался в друзьях! Ибо с чисто психологической точки зрения (правда, всегда опасной) его яростное стремление обращать всех в свою веру порождено было, пожалуй, в первую очередь, этим проклятым одиночеством большого города. Но раз уж речь зашла о большом городе, то что, собственно, если трезво рассудить, получаешь от пребывания в нем? Разве в Лейпциге, Дрездене, Галле или Ростоке город ощущается меньше, чем в этом фрагменте, в этой части монеты, существующей как целое, в этом уродливом скоплении слившихся друг с другом предместий с разрубленными остатками городского центра, чьи улицы вели в никуда? Что дает тебе этот большой город, если сам живешь в Вильгельмсру, а подруга — в Вильгельмсхагене? Гораздо скорее можно добраться из Альт-Шрадова в Вендиш-Риц или из Галле в Лейпциг. А берлинцы, эта дерзкая порода людей с острым языком и золотым сердцем, которые свое знаменитое остроумие черпают ежедневно из «Берлинер цейтунг»? Трамвайные кондукторы в Дрездене и Эрфурте куда вежливей. Что же касается работы библиотек, то здесь научиться чему-то можно было не больше, чем в других городах, может быть, даже меньше, так как тут не было никакого общения. Здесь все варились в собственном соку, были, пожалуй, более провинциальными, чем в самом маленьком районном городишке, ибо там каждый что-то извлекал из связи с другими городами, с округами, деревнями. Конечно, работа в такой огромной библиотеке имела свои прелести, но больше удовлетворения она приносила в деревне. Ведь не секрет, как неладно там еще было; этого никак нельзя не заметить даже по самым радужным статистическим отчетам. Ну что это были за библиотеки, в Альт-Шрадове, например (других он и не знал в своей берлинской ограниченности). Там, наверное, с тех пор как он, увлеченный литературой ученик садовника, ушел, никто больше и не заботился о полсотне книг, прибывших однажды в ящике в конце сороковых годов и теперь большей частью устаревших. Профес-

сионального библиотекаря там никогда не было, а теперь и вообще никакого нет. Отец его, двадцать лет проучительствовавший в деревне (в сорок пятом его уволили как попутчика, а когда в сорок восьмом предложили вернуться, он не захотел, потому что стал цветоводом), он-то и писал об этом в своих еженедельно присылаемых письмах, таких длинных, какими только и могут быть письма пенсионера. Да, работа в отдаленном районе, вот это было бы делом! Это работа не только с книгами, это прежде всего работа с людьми, ощутимая, результативная работа; словно врезаешься плугом в целину и после каждого поворота окидываешь взором вспаханное. А это ведь именно то, о чем про себя мечтает каждый библиотекарь: зримые результаты, в общем-то обычно отсутствующие. Кто уж видит своими глазами непосредственное воздействие литературы? Прочитаешь об этом в газетах, почешешь в затылке и остаешься при своем мнении. Только тем и можно объяснить, что многие библиотекари с увлечением занимаются статистикой, систематизацией, технологией и легко становятся в глазах посторонних комическими фигурами,— это в первую очередь относится к женщинам, особенно если они не имеют мужа и детей, живут ради классификации ярлыков и каталогов, с ними и старея, как, к примеру, коллега Вестерман, которая в бытность его практикантом была еще вполне привлекательна, самая молодая из дам, отравлявших жизнь Фреду Матеку, и одна из самых агрессивных, не упускавшая случая разоблачением мантековского невежества продемонстрировать варварство новой власти, но отвергнувшая все предложения перейти на работу в Нёйкёльн, Шарлоттенбург или Рейникендорф * (между прочим, ее тогдашнее место жительства), хотя обстановка становилась для нее все отвратительней, позднее она даже перебралась сюда и сегодня еще страдает под его, Карла, руководством, как страдала в свое время под руководством Мантека, но из года в год знакомит практикантов и учеников с техникой библиотечного дела, работает всегда преданно, надежно, точно, она всегда на месте, без нее застопорился бы весь механизм библиотеки, она — столп, так сказать, капитальная стена, невзрачная, замшелая; поколения молодых людей, все знавших лучше всех, презирали ее; выучиваясь у нее, они прошмыгивали мимо, подгоняемые честолюбием, которое у нее отсутствовало, всегда готовые к заявлениям, делать которые она отказывалась,— комическая фигура, прямо-таки для инвентарной описи, человек, отдавший свое сердце одной лишь библиотеке. Странно, кстати, и объяснимо скорее исторически, нежели биологически, что отказ от славы, признания, карьеры, повышенного оклада (эти движущие силы изменяющегося самосознания, которые не следует недооценивать), отсутствие честолюбия, готовность к служению гораздо чаще встречаются среди женщин, чем среди мужчин. Но это не означает, что все женщины таковы, бывают и исключения (коллега Бродер, к примеру), но разве они не подтверждают правило, и разве случайность, что на них лежит странный, не всегда приятный отпечаток мужеподобия? Так говорил Карл, говорил слишком много в своем замешательстве — до самого обеда, как уже сказано,— и испугался, когда заметил, что окольными путями, но все-таки добрался до Бродер, и обрадовался, когда коллега Завацки всунула голову в дверь, чтобы напомнить о еде. На лице Крача за все это время ничто не отразилось.

Крач злился, это было ясно, и Эрпу, конечно, было неприятно видеть, что все его воодушевляющие слова прозвучали впустую, хотя он мог бы утешить себя мыслью, что таким способом приятно сократил себе несколько часов ожидания. Он находил поведение практиканта неслыханным. Даже если Крач считал себя выше коллеги Бродер, то

* Районы, расположенные в Западном Берлине.

есть заходил в своем высокомерии так далеко, что ставил под сомнение правильность совершенно свободного от предвзятости коллективного решения, если он думал, что сам все знает лучше, и поэтому не смог заставить себя хоть единым словом признать дельность такого трудного решения, то можно было бы ожидать по крайней мере выражения понимающей смиренности. Может быть, Эрпу только показалось, будто он увидел насмешливо искривленный рот, когда в третий раз подчеркнул, что как симпатии, так и антипатии абсолютно исключены, но ожесточенное молчание, злой взгляд и словно от гнева вставшие дыбом щетинистые волосы были достаточно красноречивы; наглость в конце беседы, когда Эрп встал, чтобы взять мыло и полотенце, а Крач оставался сидеть, была уже излишней, и без того не оставалось сомнения: этот тип его ненавидел. Крач произнес, подчеркивая первое «вы»: «Почему же вы не отправитесь в деревню, если вы по горло сыты Берлином?» — но, к счастью, не дожидался ответа, а удалился не прощаясь. Фрейлейн Завацки с возмущением утверждала, что в жизни не видела ничего подобного. Эрп испытал некоторое облегчение, указав ей на молодость Крача. Он улыбнулся при этом, но ему было не до смеха. Иметь врагов было для него мучительно. Он привык пользоваться популярностью.

5

Крик раздался в тот момент, когда господин Пашке закрывал окно, и, естественно, он опять сразу же раскрыл его, сунул подушку между животом и подоконником и в надежде на продолжение или по крайней мере на объяснение столь необычных в это время (было только 19 часов) событий снова выставил голову в туман, не обращая внимания на протесты жены и дочери. Но улица была как всегда в это время: такси, мальчишка с пакетом булочек в руке, женщина с детской коляской, мужчина с портфелем и в очках; живя в предместье, в районе новостроек, он, вероятно, вообразил, будто здесь, в этих старых местах, марок за тридцать—сорок можно поразвлечься приключеньицем; все это почти неслышно выныривало из тумана и снова погружалось в него, когда оставался позади белый конус уличного фонаря (старые газовые фонари снесли лишь год назад, чугунные столбы еще валялись на расчищенном от развалин участке), и тому, кто был здесь впервые, все это наверняка казалось призрачным, но вызывало полное разочарование у Пашке, который перегнулся через подоконник, чтобы посмотреть, заперта ли входная дверь (она была заперта) и горел ли свет над воротами (он не горел), потом пронесся через комнату, мимо накрывающей на стол жены, через коридор в уборную, взобрался там на крышку унитаза, чтобы взглянуть в оконце, но ничего не увидел, так как двор и три ряда лестничных окон над входами бокового флигеля были погружены в темноту. Шаркая ногами, он побрел обратно в комнату, где Анита уже сидела и ела; не переставая жевать, она сказала: «То, что на дворе торчит дядька и, задрав башку, пялится на окна, ты мог бы и от меня узнать, папаша!»

Пашке, считавший, что отцовский авторитет терпит урон, если еще не совсем взрослая дочь знает больше его, отметил про себя, что это на нее похоже: уже разузнала что-то про этого мужчину, но не высказался, дабы не вызвать раздражения, а стал выспрашивать подробности, которые девица, продолжая жевать и глотать, охотно выкладывала: когда она несколько минут назад вернулась домой, опоздав на два часа из-за собрания Союза немецкой молодежи (которое Пашке мгновенно перевел про себя как Петер, Али или Джонни), то человек этот без пальто, с ключами от машины в руках («Машина на той стороне, ее

не увидишь сквозь этот молочный суп».) стоял у подъезда и спросил у нее про фрейлейн Бродер, потом вышел во двор, посмотрел вверх на освещенные окна бокового флигеля и дома в глубине двора, будто мог что-нибудь увидеть за занавесками; она указала ему на второй двор и дом с тремя входами и ушла, конечно, только за угол лестницы, потом появилась эта Геринг из подъезда В, с первого этажа, кстати уже лилово-серая, а не рыжая, натолкнулась в темном дворе на этого мужчину и побежала в дом, словно там опять предвиделись преждевременные роды. Значит, кричала эта Геринг. С каких пор она пугалась мужчин? И почему Анита не сказала мужчине, где живет Бродер? («Подумаешь, эта фифа!») Пашке злился, но не на Анигу (ее он в данном случае даже понимал, она завидовала Бродер из-за мужчины с машиной), а на то, что упустил этого типа, не узнал, кто он — родственник, любовник, коллега или должностное лицо, не расспросил его, о Бродер, конечно, так как он мало что нового о ней знал; она, правда, здоровалась, но никогда не задерживалась под его окном, и если он заговаривал с ней, отвечала коротко, на ходу, уклончиво, общими словами, со многими «может быть, посмотрим, обойдется, ничего, подождем», то есть оскорбительно неточно и без улыбки, словно знала про старые истории, которые случились ведь еще до нее и давно были прощены и забыты. Он все еще не мог спокойно приняться за еду, открыл дверь квартиры, спустился, не зажигая света, по нескольким ступенькам к подворотне, прокрался к воротам, уставился в темноту и только потом нажал на кнопку выключателя. Свет упал прямоугольником во двор, позолотил асфальт, заблестел в лужах, откинул на стену тени от мусорных урн. И все. Бросалось в глаза лишь то, что лестничная клетка В теперь была освещена.

Зачем, собственно, нужен Пашке в этой истории? Он отец Аниты, ладно, но ведь сама она здесь лишь побочная фигура, и без нее самой можно бы обойтись. Важным в этой главе является только разговор между Карлом и фрейлейн Бродер, и для него требуется много места. Достаточно было бы нескольких фраз, чтобы ввести его сюда. Примерно таких. Было ровно семь часов, когда Карл наконец нашел этот дом. То был старый доходный дом с двумя дворами и в общей сложности восемью подъездами. «Здесь проживает больше народу, чем в нашей деревне»,— подумал Карл, когда, после нескольких недоразумений с жильцами перепутанного им подъезда во второй раз подымался по крутой лестнице на пятый этаж. При этом сердце его стучало от волнения, и он все еще не знал, что скажет, когда фрейлейн Бродер откроет ему дверь. Перед дверью с латунной дощечкой «В. Бродер» (как так В.?) он несколько минут постоял неподвижно, прежде чем покрутить ручку звонка. Если бы он услышал изнутри голоса, он ушел бы. Но тут она открыла, и разговор, который мы имели в виду, начался.

Кто открыл? Фрейлейн Бродер.

Кто это? Не больше, чем фамилия пока что, к которой требуется еще дополнение (должно же, наверное, быть у нее и имя), для Эрпа, возможно, уже фигура легендарная, прекрасный силуэт, но далеко еще не картина, черно-белая или цветная, не говоря уже о пластичности или еще более того. А ведь в конечном счете все дело в этом «более того» (не в размахе ее бровей, не в объеме бюста или цвете волос), а для этого нужно извлечь все, что когда-то участвовало в формировании целого, для этого нужно завести речь издалека, возможно даже очень издалека, и во времени и в пространстве. Тут недостаточно сказать: старый доходный дом с двумя дворами и в общей сложности восемью подъездами, в котором проживает больше народа, чем в Альт-Шрадове на Шпрее, если идет речь о доме, в котором фрейлейн Бродер родилась (в самом деле, несмотря на близость родильного дома, ибо отец ее был

почему-то против больниц и врачей) и жила до начала учебы и теперь снова живет, правда в качестве гостьи, как берлинская гражданка второй категории, без прописки, допущенная в свой город лишь на время практики. Тут мало также сказать: старый доходный дом в Берлин-Митте или точнее в почтовом районе 104 (ранее Н-4), то есть в местности, граничащей на юге со Шпрее, на востоке с Розенталер- и Брунненштрассе, на западе и севере — со стеной, даже название улицы и номер дома мало скажут, если не начать издалека во времени, то есть не обратиться к прошлому, далекому прошлому, к году 1743 например, когда тринадцатилетний горбатый еврей Моисей Мендельсон, прибыв пешком из Дессау, в пяти минутах ходьбы от вышеупомянутого доходного дома, пройдет через Розенталертор (единственные ворота, открытые тогда для пришлых евреев) в город, чтобы найти учителя, который бесплатно научит его читать, и писать, и думать. И вместе с этим скрюченным юнцом, который потом станет философом и прообразом Натана Мудрого и надгробный камень которого будет расположен так, что по утрам, когда фрейлейн Бродер выглянет в окно, чтобы узнать, какова погода, взгляд ее упадет сперва на камень — через эти ворота пройдет еще один юноша (Прошли: 16 свиней, 7 коров, 2 еврея — записано вечером в караульной книге.), Аарон Вальштейн, который отправится не за мудростью, а за богатством и наймется на улице Клейне Розенталерштрассе к старьевщику, женится с разрешения короля на Мирьям, дочери хозяина, переймет лавку и произведет на свет детей, которые в свою очередь будут иметь детей и так далее, пока в один прекрасный день праправнук или даже прапраправнук, снова Аарон Вальштейн, спустя несколько лет после того, как Берлин станет имперским городом, купит старое помещение рядом с давно бездействующим еврейским кладбищем, снесет его и построит на его месте новое, пятиэтажное, с двумя дворами и в общей сложности четырнадцатью подъездами, чтобы сдавать квартиры, а не жить в нем самому; жить в нем станет лишь его сын Рубен, продавший магазин в подвале за углом на Краузникштрассе, сменивший веру своих отцов и занявшийся банковским делом. Живет Рубен со своей женой Рут в переднем доме, на первом этаже, среди книг, картин, старой мебели, сын его Иоганнес, пишущий в газетах под псевдонимом Ганс Валл, живет в дешевой квартире на пятом этаже, которая опустеет в тот день, когда над Домом техники, возвышающимся впереди, за башней синагоги, взовьется на зимнем ветру красный флаг со свастикой. Двумя неделями позже в жилищном управлении появится почтальон Пашке из подъезда Ж, двор второй, и подаст заявление с просьбой предоставить ему пустующую еврейскую квартиру в переднем доме. В тот самый день в Бергфельде, округ Могильно, Познанское воеводство, Вильгельм Бродер подпишет договор, разом прекращающий десятилетие мытарств на шести гектарах обжитой земли, и вместе с женой, двумя сыновьями, собакой, корзинами, мешками и четырьмя тысячами злотых покинет место, так и не ставшее его родиной, чтобы, следуя больше зову сердца, нежели отечества, вернуться в рейх. Девятилетние близнецы, толкающие ручную тележку, ревут, потому что слышат всхлипывания матери и завывания собаки, впряженных в тележку спереди, отец шагает посередине дороги, чтобы широким жестом указывать путь в объезд семейного экипажа встречным машинам, если таковые попадутся, но так как их не видно, он с надутыми щеками и дрожащими губами трубит, барабанит и насвистывает марш, хохенфридбергерский марш, во все новых и новых вариациях, иной раз даже с подогнанным текстом, звучащим примерно так: кикикимбры и тевтоооооны, лангобарды и вандаааалы, ибо чувствует он себя как при переселении народов, о котором хорошо знает из книги, присланной ему СНЗ—Сою-

зом немцев за границей. В вагоне он чертит маршруты народов на запотевшем оконном стекле и счастлив, что здесь слушателей у него больше и они лучше (потому что трезвей), чем в деревенском трактире в Бергфельде, где всегда воняет водкой, которую он не переносит из-за своего желудка: его он испортил раз и навсегда в 1917 году, пойдя на войну добровольцем. От восторга сообщаемые им сведения становятся все точнее, палец его останавливается на комке грязи в центре окна, у Боденского озера, алеманы совещаются у костра (перебраться ли им на плотах на другой берег, обойти ли большое озеро или повернуть обратно?), и тут одна из женщин, с большой грудью, за спиной корзина с белобрысым малышом, проталкивается в круг вождей и говорит (разумеется, по-алемански, но этого слушатели не понимают, конечно, и поэтому приходится говорить по-немецки): мы уже зашли невесть куда, а о стирке никто и не думает, не хотела бы я увидеть ваши подштанники! И это действует, они остаются у воды и становятся немцами, вследствие чего французы, которые по сути дела неудавшиеся франки, еще сегодня называют нас алеманн, а не вандалами, к примеру, те были более непоседливы и оттого очутились вот здесь, внизу, так сказать, у дверной ручки, в Африке, у негритянок, вот почему иной исследователь в тропическом шлеме восклицает «Ого!» при виде чернокожего с голубыми глазами. Потом на очереди свевы, и англы, и юты, и саксонцы, и восточные готы, и западные готы, и для них стекла уже не хватает, он знает о них решительно все, но ни слова больше по-польски, когда приходит пограничный контроль и справляется о деньгах, и тут приходится заколоть кинжалом Одоакера и похоронить Алариха, ночной порой в Бузенто, как известно, и Карл Мартель одерживает победу над арабами, и Вильгельм Бродер тоже одержит победу в чужой стране, которая не такая уж и чужая, ведь он родился там, в Берлине, в году ноль-ноль и у него есть паспорт (продление которого ежегодно стоило ему свиньи), следовательно, он немец, имперский немец, и его песня это песня о великой Германии, которую он и горланит из окна, когда поезд подходит к Нёйбенчену, где есть кофе в бумажных стаканчиках и реют знамена пробудившейся Германии. Близнецы гордятся своим отцом, только жена еще тихонько плачет, но теперь лишь от страха (ибо она никогда не бывала дальше Могильно), не от боли разлуки и уж конечно не из раскаяния, что когда-то сказала свое «да» этому больному желудком ветрогону. На это она не способна — раскаиваться в чем-либо,— и если бы кто-нибудь спросил ее, она в ответ лишь улыбнулась бы застенчиво, так, как она улыбалась, когда одна родственница из Познани спросила ее, любит ли она этого человека, нуждавшегося в книгах и слушателях, как иные бездельники в пиве и водке. Она не понимает таких вопросов. Она носит его имя, делит с ним постель, рожает ему детей; рукоделие, на которое падают ее слезы, важней, ибо Герман (само собой, херуск) даже в столице рейха родится голым. Так оно и случается, за шесть недель до срока, в приюте на Августштрассе, который теперь официально именуется семейным общежитием Национал-социалистской народной благотворительности, но в народе по-прежнему называется августовской ночлежкой; Герман не пьет, не кричит, живой скелет, но нужен для получения квартиры. Благодаря ему они получают квартиру на верхнем этаже в доме рядом со старым еврейским кладбищем: три комнаты, кухня, ванная, с парадным и черным ходами и подаренной государством мебелью, которую они не сразу могут расставить, так как прежде нужно снести легкого, как перышко, херускского князя на кладбище, за много станций подземки, у Шиллерпарка наверху, куда сегодня уже не проехать, да и зачем, могилы уже давно нет, как и могилы вождя остготов, которую засыпали в год Олимпийских игр. Мать винит во всем

молоко, которое приходилось покупать в магазине, и ее слезы, никогда не иссякающие, падают на чужое грязное белье, в то время как близнецы разносят «Берлинер иллюстрирте» и «Коралле», а Вильгельм Бродер завоевывает Берлин в роли портье гостиницы, агента по распространению игрушки йо-йо, продавца лотерейных билетов, сторожа парка и, наконец, государственного служащего, курьера имперской типографии на Гитшинерштрассе, с перспективой повышения. Слушателей у него теперь предостаточно: по воскресеньям близнецы, в будни сослуживцы в каморке для курьеров, вечерами иногда соседи, но не все, Пашке, например, никогда. Тот, наоборот, взял привычку каждый раз, встречая его в подворотне, шумно втягивать воздух через нос и сплевывать, потому что Бродер, во-первых, перехватил у него квартиру и, во-вторых, якшается с евреями в нижнем этаже, с этими Вальштейнами, которые слишком стары и слишком утомлены, чтобы последовать за сыном в Англию. Бродер действительно часто бывает у них, потому что там есть книги, в том числе и о переселении народов, но они его больше не интересуют, теперь он добрался до греческих богов, потом до тибетцев, до шумеров и до инков. Во всем этом он мало понимает, призывает на помощь воображение, как уже однажды в случае с алеманами у Боденского озера, и намеревается изучать одну из проблем до тех пор, пока не освоит полностью и сможет написать о ней книгу, такую, чтобы все ее поняли, и уже исписывает толстые пачки почтовой бумаги, но незаметно оказывается вблизи китайских императоров и Ивана Грозного, а когда доходит до Фридриха Великого, Вальштейн рассказывает ему (не подозревая, что тем самым творит) о Моисее Мендельсоне, который хотел самую высокую мудрость донести до самого маленького человека и заслужил большой надгробный камень на кладбище тут, рядом. И в то время, как горит синагога, звенят стекла в нижнем этаже, разрушают кладбище, Пашке дает показания в полиции, что видел Ицика Рубена Вальштейна и его жену на Коппенплац без звезды, полиция забирает Вальштейнов, Пашке переезжает на нижний этаж переднего дома, Вильгельма Бродера увольняют из имперской типографии за пропаганду в пользу евреев, перед призывом он впервые после многих лет снова спит с женой, отчисляется из ландштурма по причине желудочного кровотечения, жена производит на свет девочку, один из близнецов гибнет в Африке, все квартиры евреев в районе Хакешенмаркт освобождаются, боковой флигель с шестью входами обрушивается и погребает под собой жену Пашке и его детей, Бродер ввинчивает запалы в гранаты, жена его под артиллерийским обстрелом ходит за водой к колонке на Краусникштрассе, Пашке становится любезным и приветливым, второго близнеца застреливают около биржи и хоронят на еврейском кладбище, Бродер спасает жену и ребенка из затопленного туннеля подземки, пятилетняя девочка выпрашивает у русских махорку и перерывает развалины бокового флигеля в поисках дров,— следовательно, с тридцать девятого до сорок пятого года семь томов сочинений горбатого еврея хранятся на пятом этаже в буфете, потом годами на ночном столике рядом с кроватью, на которой лежит Вильгельм Бродер, читает, исписывает стопки почтовой бумаги и рассказывает, рассказывает, последнему оставшемуся у него слушателю — дочери. Мать в пути, в Магдебург она отправляется, чтобы достать сахару, в Бесков — за картофелем и в Вердер — за фруктами. На подножках и крышах вагонов проделывает она маршруты, которые он придумывает, лежа в кровати, и если ей удается что-нибудь привезти, у него уже готов план, как без особых трудностей все это удвоить, если, например, на черном рынке у Бранденбургских ворот обменять сахар на американские сигареты, поехать в Потсдам (в первые месяцы от Ванзее на пароходе, позже на паровике, с осторож-

ностью добираясь до него по деревянному настилу у Кольхассенбрюка), отдать там сигареты за русский солдатский хлеб, нарезать его ломтями, ломти намазать патокой и у озера Мюггель или Теглерзее продать их купающимся по высоким ценам, летом загодя купить на эти деньги у вокзала Германштрассе (конечная остановка узкоколейки Нёйкёльн — Миттенвальде) дров, зимой обменять их на кремни и фитили, часть которых сбыть возвращающимся на родину солдатам в обмен на самодельные (из гильз) зажигалки, укомплектовать их оставшимися фитилями и кремнями и повезти в магдебургские села, чтобы там обратить в сахар. Мать не возражает против такого пути к благосостоянию, но сокращает его, сдобрив сахаром крупяной суп, потерю сахара сваливает на полицейскую облаву и с последними пододеяльниками отправляется в Пазевальк, чтобы раздобыть картофель. Она рада, когда муж полон идей, читает, говорит, следит за дочерью, и пугается, когда он вдруг умолкает, лишь изредка стонет, не дает ей указаний, а когда он перестает и читать, она бежит, не обращая внимания на его протесты, к врачу, который сразу же забирает его с собой. И опять слезы, которые всегда у нее наготове, капают на чужие ткани. Ради дочери, которую она не хочет брать с собой в деревни или оставлять одну дома, она переняла у фрау Вольф (ранее вход К, после разрушения левого флигеля снимает комнату у Бродеров с выходом на черную лестницу) умение портняжить и теперь шьет для каждого, кто может заплатить талонами на жиры, углем или зерном, также и для новой госпожи Пашке, которая вышла замуж за старого вдовца из-за большой квартиры и спустя несколько лет родила ему ребенка от темнокожего американского сержанта, а теперь рассказывает на пятом этаже, что Пашке все еще боится Бродеров из-за той истории с евреями и постоянно бегает к властям, чтобы примелькаться там и втереться в доверие на случай, если против него имеется материал. Но материала никакого нет, не появится он и тогда, когда Вильгельм Бродер после продолжительного отсутствия вернется из Шарите с четвертью желудка и больным сердцем и сможет медленно прогуливаться и вынашивать идеи. В то время как пенсионер почтового ведомства занимается полезной деятельностью, распределяет продовольственные карточки, проверяет заявки на ремонт печей, собирает средства для народной солидарности, Красного Креста, жертв землетрясений, национальных памятников и заключенных в тюрьмы Западной Германии патриотов, ведет домовые книги, проверяет списки избирателей, вешает над воротами портреты государственных деятелей и потом их снимает, водружает флаги, следит за входящими и выходящими из дома и дает справки, пенсионер по инвалидности Бродер шествует по улицам Берлина, седовласый, исполненный достоинства из-за одышки, и ищет следы знаменитых личностей, подробности о которых должна раздобывать в библиотеке дочь после обеда. Началось все с Мендельсона, верность которому он пронес через все катастрофы. Могила его на соседнем кладбище была разрушена и исчезла, дом его на Шпандауэрштрассе больше не найти, но зато уцелели указания на Лессинга и Николаи, на Кёрнера, Шульце-Делича и Карла Маркса, на Ранке, Цельтера, Ходовецкого, Хуфеланда, Литфаса, Гумбольдта и Гегеля. Список изо дня в день становится все длинней, хорошо бы написать книгу о Берлине и его великих мужах. За эти годы он стал скромней, не надеется уже сам разобраться во всем, вообще интересуется просто жизнью людей, прежде всего их возрастом, и сразу же возникают целые истории с множеством «Вот как?», и «Ага!», и «Тут Лессинг сказал Вольтеру: «Дорогой мой», и пачки почтовой бумаги растут на буфете; девятнадцать пачек по пятьдесят листков, почти тысяча исписанных без полей страниц была готова, когда школьная реформа полностью остановила дефектный

сердечный механизм старого Бродера. Ибо чем начитанней он становится, тем больше растет его преклонение перед людьми, понимающими то, что для него остается недоступным, и, так как дочь благодаря отличному свидетельству с его гордого согласия поступает в старшие классы средней школы, его уважение, после исчезновения старого Вальштейна не нашедшее больше подходящего объекта, принадлежит теперь ей и толкает его, когда дело приближается к аттестату зрелости, к роковому решению освободить ее от участия в деле его жизни и самому переступить порог доныне из-за робкого благоговения избегаемой городской библиотеки. Так как дочь, давно уже de facto перенявшая управление семьей, по необъяснимым причинам не одобряет этого шага, Вильгельм Бродер однажды утром, когда она еще в школе, под предлогом посещения врача надевает костюм, белую рубашку с галстуком, покидает дом и, поскольку Пашке смотрит ему вслед, заворачивает направо, в сторону Шарите, на Ораниенбургерштрассе, делает крюк вокруг острова с музеями и спустя полчаса в полной растерянности стоит перед стеной из ящиков с каталогами, на которую ему указала пожилая библиотекарша в ответ на вопрос о литературе по Шарнхорсту. Чтобы не привлекать к себе внимания, он, следуя примеру остальных, ставит ящик себе на стол и просматривает карточки, без разбора, ибо не знает, где и как ему искать, а когда пытается отгадать, что могут означать цифры (XII, 279 С) и сокращения (расш. изд. с соб. факс. и илл. авт.), он уже и не знает, что, собственно, ищет. Сосредоточенно, словно должен выучить их наизусть, читает он названия издательств, обозначения годов и страниц, сигнатуры и нумерацию поступлений, удивляется количеству имен, которые существуют, пугается, что столько мужчин (и даже женщин) до него уже написали книги, иные даже по две, три, десять разных книг, пытается понять смысл таких названий, как «Швейцарский тезаурус» или «Критика учения о переходе индоевропейских лабиовелярных шумных звуков в германские чистые лабиальные», горит нетерпением узнать что-нибудь о «Надгробных проповедях в Сером монастыре» или о «Гренландских процессах», сидит несколько часов, красный от возбуждения, забыв об обеде и кофе, и пугается, когда молодая библиотекарша, давно наблюдавшая за ним, осведомляется о его пожеланиях. Он обстоятельно объясняет, в чем у него дело: он пенсионер, получает пенсию по инвалидности — желудок, сердце, десять минут ему нужно, чтобы подняться по лестнице,— он много ходит по улицам, полным людей, все они знают, куда идут, но не знают, откуда они, в историческом смысле, они топчут камни мостовых и живут в домах, которые до них топтали и в которых до них жили другие люди, их отцы и деды тоже, без кого их не было бы на свете, но не их он имеет в виду, а скорее знаменитых людей, без которых они были бы другими, не такими, как сейчас, даже если и не знают этого или не желают с этим считаться, взять, к примеру, Лейбница или Либкнехта, и Мендельсона, и Борзига, и Шамиссо, а если они почему-то не хотят верить этому, то пусть же подумают о Марксе, а может быть, даже и о Гитлере — да, и о нем тоже. У библиотечной девицы нет ни желания, ни времени вступать в дискуссию, она поняла и говорит: «Систематический каталог, литература о Берлине, отдел истории, подотдел: берлинские знаменитости», тащит его в соседнее помещение, ставит перед ним ящик с каталогом, потом, видя его беспомощность, передумывает, посылает его в читальный зал и отправляет ему несколько книг. Но это занимает некоторое время (девица должна выписать на карточку шифры, отправить в хранилище, там должны найти эти книги, переправить их в читальный зал, дежурная по читальному залу должна отнести книги к столу Вильгельма Бродера), в течение которого седовласый господин рассматри-

вает книги на полках для свободного доступа читателей, обнаруживает там лексикон, хочет что-то поискать в нем, но не знает, что именно, в голове его теснится такое множество идей, что так скоро не извлечешь оттуда одну из них, и вот таинственная сила выталкивает на свет божий переселение народов, он находит карту, прослеживает путь остготов и вандалов, но сам не знает, для чего это ему, слишком уж оно напоминает Бергфельде, Союз немцев за границей и Нёйбенчен, он только знает, что теперь ежедневно будет приходить сюда и вечером ошеломлять дочь своими познаниями. Но вот книги появляются на столе, целая стопка старых и новых книг о Берлине и его знаменитостях, три стенки книг образуют открытое каре и в отверстии сидит он, нагнувшись вперед, заслоненный стенками, и больше не шевелится, после того как бегло, с дрожащими руками и горящими глазами просмотрел заголовки.

Он спит, этот почтенный старый господин, думает дежурная, уже в пальто и шляпе, и громко щелкает замком сумочки, долго откашливается, гасит верхний свет и только после этого дотрагивается до его плеча. Да, он спит, но даже врач не сможет уже разбудить его, и дочь не сможет, дочь, считающая себя виновной, потому что у нее никогда не хватало мужества сказать ему, что его оригинальные мысли продумало и даже осуществило до него уже множество людей, лучше его подготовленных. Поскольку церковь верит, что мертвым нет больше дела до этого мира, а следовательно, и до разделения этого города на два города (и два мира), или же надеется игнорированием горькой реальности изменить таковую, слезы матери текут опять, как текли при похоронах Германа и Теодериха на кладбище у Шиллерпарка, куда сегодня уже не попасть, да и к чему: дочь должна сдать экзамены на аттестат зрелости, год проработать на электроламповом заводе, стать студенткой в Лейпциге, а у матери под боком есть могила одного из близнецов, который, как нарочно, дал себя убить при защите развалин биржи, и времени остается совсем мало, ибо отсутствие идей Вильгельма, пенсионный покой и сознание, что ее давно самостоятельной дочери больше не нужна ее помощь, вскоре сводят ее в могилу. После этих двух смертей Пашке собирает у старых жильцов из восьми подъездов на венок, который в один прекрасный день появляется на кухонной табуретке в первом дворе рядом с мусорными ящиками, и принимает решение отказаться от некоторых из своих утомительных должностей. На чужом кладбище в районе Пренцлауэрберг дочь не только с грустью, но и некоторым смущением, поскольку она недавно отреклась от церкви, принимает слова соболезнования от пастора, господина Пашке, госпожи Вольф и возвращается в Лейпциг, после чего госпожа Вольф вместе со своим мужем (профессия — кельнер, хобби — разведение почтовых голубей, в начале пятидесятых годов вернулся из плена, занимает всю квартиру на пятом этаже и обещает сохранить для нее заднюю комнату с отдельным выходом на черный ход, из окна которой видно еврейское кладбище, где среди могил апреля и мая сорок пятого снова возвышается надгробный памятник Моисея Мендельсона).

И вот перед этим черным ходом, подъезд Б, и стоял Карл несколько минут неподвижно, пока не решился позвонить.

Но еще не позвонил. Он еще стоял на темном дворе, взволнованный более, чем хотел бы признаться себе, немного испуганный столкновением с завизжавшей госпожой Геринг, несколько забавляясь своей беспомощностью, смахивая немножко на трубадура под балконом владелицы замка, немножко на искателя экзотических приключений, а скорее порядочный буржуа, попавший в район притонов, который, задрав голову, уставился на окна в надежде по шторам или освещению угадать что-либо характерное для фрейлейн Бродер, выбрал наконец (невольно хочется сказать: весьма знаменательно) срединную дорогу, а именно

подъезд В, и наполовину подсознательно пытался уже сочинить для нее описание этих минут (которое позднее завершилось цитатой: «Через несколько лет туристы будут осматривать последние из этих домов, как осматриваем мы сегодня остовы зданий Кведлинбурга, и экскурсоводы будут цитировать Дёблина или Арно Хольца: «До самых звезд вздымалась крыша, а во дворе гудел завод, шарманки нудный голос слышал наемнодомный весь народ, в подвале шебаршили крысы» — и так далее, вы сами знаете». На что фрейлейн Бродер, которая не знала этих строк, а имя Хольца слышала только на уроках литературы, ловким маневром обошла яму своего незнания и рассказала историю своего дома. И лишь несколькими месяцами позже, когда любовь преобразила ее, ей удалось преодолеть стыд подобного рода и признаться в пробелах своего образования). К дверям трех подъездов первого двора вели железные лестницы. В узкой лестничной клетке ни зги не видно было. Эрп обшаривал стены в поисках выключателя, наталкивался на паутину, грязь, обломки штукатурки, ободрал пальцы, ощупью взобрался по ступенькам до первого этажа, снова водил руками по стенам, нашел кнопку, нажал на нее и вызвал шум. Справа затрещал звонок, слева залаяла собака и заскреблась в дверь, справа закричала женщина, слева мужчина. Женщина криком, каким зовут на помощь, требовала объяснения, кто он и что ему надо, мужчина хотел покоя, только покоя и так орал об этом, стуча деревянными сандалиями, что довел собаку до воя, и, распахнув дверь, вырос мясной тушей в пижаме на пороге ярко освещенной кухни, проклиная громкий звонок, лишающий его каждый раз сна после ночной смены, проклиная и госпожу Геринг, которой звонок этот принадлежал, и тех типов, что приводят его в действие,— все это он пересыпал ругательствами, которые Эрп считал уже вымершими, но поднял руку лишь на терьера, рвавшегося со страшно оскаленной пастью, рыча и лая, в коридор, к икрам Эрпа, не сделал ни малейшей паузы, в какую Эрп мог бы втиснуть свои извинения, но и не помешал ему нажать на кнопку выключателя и продолжить свой путь наверх, где бабка Маше и госпожа Пахульке на втором этаже, сестры Тухлер и фрейлейн Ланге на третьем, господин Фойгт на четвертом и санитарка Аннароза на пятом его уже поджидали, в то время как госпожа Геринг, открывшая наконец свою дверь, объясняла мясной туше Кваде и всему расположившемуся по вертикали домовому собранию опасность положения: этот человек притаился во дворе, бог знает как долго наблюдал за всеми окнами, напал на нее, потом под покровом темноты пробрался на лестницу — зачем, спрашивается, наверно, он видел, что Ломаны уехали, а дети Тухлеров одни, и сейчас нужно оповестить полицию. Эрп тем временем поднимался на шестой этаж, которого не существовало, зато на пятом с половиной этаже была запертая, обитая жестью дверь, огромный ключ от которой принесла Аннароза, когда Кваде, дополнив свой костюм купальным халатом, поднялся по лестнице, не удерживая ни на миг своего льющегося потока негодования, и внес предложение свести этого подозрительного субъекта кратчайшим путем к уполномоченному по дому Пашке. Так как арест произошел между четвертым и пятым этажами, то кратчайшим путем был соединяющий все подъезды чердак, неструганые половицы которого скрипели, подымая тучи пыли, под непривычной тяжестью жильцов подъезда В. Тухлеры шли впереди, освещая путь фонариком, Кваде крепко держал лапой Эрпа за плечо, фрейлейн Ланге и госпожа Пахульке поддерживали бабку Маше, которая не желала ничего пропустить, одна лишь Геринг осталась на месте: она беспокоилась о своем платье и свежевыкрашенных волосах, на чердак она подымалась только в рабочем халате и платке. Ибо там наверху новые порядки еще не одержали победы, там все еще царил хаос и беззаконие официально давно приконченного послевоенного времени, там прекращалось

действие всех гигиенических, противопожарных и противовоздушнооборонительных законов, там упорядочивающие атаки коммунального жилищного управления разбивались о грязь и паутину, там (прямо над комнатой фрейлейн Бродер) кельнер Вольф вопреки запрету разводил своих голубей, там за дощатыми, проволочными или картонными перегородками жильцы верхних этажей складывали свой уголь, там ржавели пружинные матрацы и швейные машинки, в роялях и буфетах покойных съемщиков сновали сытые древесные жучки, туман проникал сквозь разбитые стекла слуховых окошек, гирляндоподобная связка телевизионных антенн тянулась от перекрытия к перекрытию. Когда они очутились на лестничной площадке переднего дома и принялись стряхивать с себя паутину, набившаяся всем в ноздри пыль сэкономила им часть спуска, так как вызвала у Кваде приступ чихания, заставивший обладавшего тонким слухом Пашке (вместе с дочерью) выскочить из квартиры и броситься вверх по лестнице, так что недоразумение уладилось уже на третьем этаже, и вся компания, успокоенная и разочарованная, двинулась в обратный путь. Пашке воспользовался спуском вниз, чтобы окольными путями выведать у Эрпа то, что его интересовало. Не следует, мол, сердиться на людей, он, как член партии, должен знать, сколь важна бдительность, в этой местности особенно. В подъезде В произошла кража со взломом, впервые за десятилетия. «Быть настороже!» — сказал лейтенант Моль, участковый полицейский, его хороший приятель. Вот они и стараются; конечно, им недостает знания людей, но, вообще говоря, взломщика по носу тоже не определишь. А что маленькая Бродер снова здесь, вероятно, никто и не знал. Да, видимо, и ненадолго, верно? Вот как! Что ж, это его радует. Если у нее будет прописка, то она, конечно, найдет себе жилье поприличней, а может быть, и замуж выйдет? (Взгляд на руки Эрпа, но они в перчатках.) Отец ее, между прочим, всегда чувствовал себя здесь хорошо. Славный был парень, этот Вильгельм. Вы его знали, господин... господин?.. (Вопрошающий взгляд.) Меня зовут Пашке. Да, почему бы Эрпу не оказаться кем-нибудь из родственников? Ах, коллега, значит, такой же книжный червь, не обижайтесь, я не хотел сказать ничего худого, отец ее тоже был таким. Тогда, может быть, господин Эрп похлопотал бы, чтобы она получила жилье получше, например, в новом доме, ведь интеллигенции оказывается предпочтение. А как он смотрит на стаканчик шнапса? Не повредит после такого переполоха. Нет, нет, не стоит благодарности, понятно, все понятно, он тоже был когда-то молодым, конечно, время летит, когда коротаешь вечерок вдвоем. Но и он — Пашке — со своей стороны пораскинет умишком, что бы сделать для этой девочки. В конце концов, он носил ее на руках еще младенцем, к тому же он знаком кое с кем из здешних партийцев, в квартирном управлении тоже, и это просто его долг по отношению к старому другу Вильгельму. Анита проводит его, а то, чего доброго, он еще раз заплутается. Итак, всего наилучшего, приятного времяпрепровождения вечерком. Он протянул руку, Эрпу волей-неволей пришлось снять перчатку, широкое кольцо, последний крик моды двенадцатилетней давности, блеснуло в свете электричества, и тут Пашке не мог удержаться, он еще раз заговорил о бдительности жильцов, которую Эрп должен правильно понять, хотя бы во имя морали, с каковой в этой местности (наверняка он еще помнит, что собой представляли Штайн-, Мулак- и Акерштрассе) дело обстояло не слишком хорошо. И с этой дурной славой (злосчастным наследием капиталистического прошлого) нужно бороться, тут уж надо глядеть в оба, в особенности приглядывать за старухами, попадаются, например, такие, у которых часок-другой, а то и ночи напролет проводят подозрительные парочки, или за одинокими женщинами, только по вечерам выходящими из дому, тут уж лучше заподозрить одной больше, чем

одной меньше, у нас не любят мужчин, рыскающих по темным лестницам в поисках фрейлейн имярек, мы-то уж знаем этих командировочных с портфелями и простодушным видом, приходится растолковывать им, что здесь живут такие же люди, как у них дома, тут нужен глаз да глаз, ведь нельзя допустить повторения того, что было до сорок пятого и что сейчас творится по ту сторону стены, это наш долг перед новым временем и подрастающим поколением. При этом он с отеческой лаской во взоре поглядел на темнокожую дочь, и она улыбнулась ему в ответ, словно не догадывалась, о чем идет речь. Но когда Анита провожала Эрпа (чтобы он не заблудился), она улыбалась по-иному, а именно как особа, которая отлично знает, что испытывает мужчина, идущий наедине с нею по темному двору, она исполняла свою миссию очень добросовестно, взяла его под руку (чтобы он не заблудился), дала его руке кое-что почувствовать и при этом упомянула, что еще никогда в жизни не ездила на машине. Но Эрп отвечал на все лишь с рассеянной вежливостью, ибо чувства его не реагировали на преждевременно созревшие смуглые прелести: он был настроен на светлые тона и подготовлен к сдержанности. На четвертом этаже ему наконец удалось избавиться от Аниты, но он несколько минут постоял перед дверью, прежде чем позвонить, так как не мог отделаться от ощущения, что Анита все еще ждала на лестнице, чтобы послушать, как он поздоровается с фрейлейн Бродер и как фрейлейн Бродер поздоровается с ним.

Он постоял несколько минут, потому что его сердце сильно билось. С самого утра он предвкушал это мгновение, а теперь вдруг испугался, что одно ее слово, один ее взгляд смогут убить всякую надежду.

Так он об этом не раз потом рассказывал фрейлейн Бродер, не упоминая про Аниту, чего и не мог сделать, ибо вообще умолчал о своем приключении с жильцами соседнего подъезда: это не соответствовало тому образу, в котором он хотел предстать перед ней. Он держался далеко не так мужественно, не так уверенно и хладнокровно, как пытался это изобразить, не сопротивлялся, разрешал делать с собой все что угодно, иногда лишь робко протестовал и со множеством «простите, пожалуйста!» наводил справки, не более одного раза позволил себе легкую иронию («Интересно, за кого вы меня принимаете!»), а на чердаке даже немного трусил, короче, он вел себя не сообразно тому, каким хотел выглядеть, а в соответствии с тем, каким был на самом деле. Но предстать в таком виде перед ней означало бы, как он думал, конец еще до начала, и потому он предпочел скрыть всю эту историю. У них и так было достаточно тем для тех шести часов, которые он сидел перед ней. Оба они были неутомимыми говорунами, рассказчиками, спорщиками (поэтому ради экономии места их беседы всегда будут воспроизводиться здесь не полностью, а лишь в сокращенном виде или в изложении).

6

Поскольку главные действующие лица этой хроники не принимали снотворного, а душевное равновесие всех нарушила утрата кое-каких иллюзий, в три часа ночи никто из троих не спал. Каждый лежал в постели (в собственной) на спине (фрейлейн Бродер на матраце из морской травы, Эрп и Элизабет на матрацах «Шлараффия»*), уставившись в потолок и размышляя о перемене, происшедшей с другим, обвиняя его в том, что он неожиданно оказался непохожим на созданный воображением портрет, причем одна лишь Элизабет имела некоторые основания для подобного обвинения, ибо таким, каким она видела Эрпа, он и был

* Название происходит от слова «Schlaraffenland» — сказочная страна.

в действительности, не ее представление о нем оказалось неверным, а он сам.

Но что, собственно, означает здесь верное или неверное, правота или неправота, вина или невиновность? Карл изменился, это так, но ведь ничто не остается неизменным, неподвижности не существует.

Диалектика как оправдание супружеской неверности?

Но о нарушении супружеской верности на данной стадии еще не могло быть и речи, оно казалось более отдаленным, чем когда-либо. Не верила в измену и Элизабет. Пугала ее не столько его готовность (смутно подозреваемая ею) к нарушению супружеской верности, сколько те сами по себе незначительные перемены, которые она успела заметить в нем ночью за полчаса. В половине третьего она спала, не слышала, как он подъехал, проснулась от звука отворяемой двери, молча приняла его извинение («Я думал, ты еще ждешь меня».), по его просьбе не стала зажигать света и тут же с отвращением почуяла запах водки.

Скажем лучше: не с отвращением, а с досадой, ибо трезвенником в конце концов был он, а не она; в их семье спиртные напитки покупались лишь для того, чтобы не выглядеть смешными в глазах гостей. Поскольку Элизабет иной раз охотно выпила бы рюмочку, можно, пожалуй, понять ее тихое бешенство, когда ее участие в выпивках Эрпа (правда, редких) ограничивалось тем, что ей доставался отравленный водочным перегаром воздух. С неприязнью отметила она также его позднее возвращение (которого он обычно избегал, стараясь соблюдать раз и навсегда установленные часы сна) и необычный порыв немедленно поделиться с ней.

А причиной последнего была потребность Карла в честности. Ведь в течение двенадцати или даже четырнадцати лет он не имел тайн от нее, поскольку она относилась или по крайней мере старалась относиться ко всему с пониманием. А так как все было еще слишком свежо в памяти, ему трудно было отделить важное от неважного. Тем не менее им хватило получаса, ибо супруги легко понимали друг друга: иногда с полуслова, с намека. Вначале он рассказывал в хронологическом порядке: заседание правления, его пробуждение с улыбкой (да, столь откровенным был он!), разговор с Крачем, улица, на которой жила фрейлейн Бродер, дом, ее комната (кухня на площадке, уборная — для всех жильцов — на третьем этаже), обстановка (книжная полка с редким изданием Мендельсона, стол, кресло, кровать), цитата из Хольца: «До самых звезд вздымалась крыша...», побеленные стены, шорохи голубей над головой, кладбищенские деревья перед окном, телевизор, включенный у соседей (телепередача через дверь, загороженную платяным шкафом, воспринималась как радиопостановка с ходульными диалогами); потом он попытался вспомнить темы, которые они затрагивали, но это удавалось уже не так хорошо: Берлин, конечно, и проблемы библиотечного дела, мечты об отпуске, Криста Вольф, культурная политика, катехизис Энценсбергера, лирика Райнера Кунце, немцы, пруссаки, стена, психология читателей, раннее вставание, атомная бомба, мятный чай, спорт и его болельщики, женщина и профессия, мещанство, системы каталогов, «Джонни Уокер», и огородники, и фильмы ДЕФА, и бундесвер — о чем только они не говорили! А вот личное — на это, казалось, было табу. Еще более путаным, хотя и более обстоятельным, был его рассказ о ее своеобразных привычках, например, она постоянно поглаживает брови, когда слушает, не допускает берлинского диалекта, каждую мысль начинает с разбега, заносящего ее не только вдаль, но и вглубь. Не умеет рассказывать анекдоты и все же предпринимает отчаянные попытки рассказать один-другой; у нее необыкновенно детализированные познания в истории, пристрастие к иностранным словам, ко-

торые она выговаривает слишком четко и которыми иногда злоупотребляет (простое латинское pur, например, произносит на французский манер как pür), что, как ни странно, в ее устах не звучит ни смешно, ни чопорно, кто знает почему. Далее следовал вывод — к черту эти бессонные ночи, будь прокляты эти дискуссии, благословенны уютные вечера дома с женой и детьми, с радио и книгами; а если Элизабет еще не все поняла, он повторит еще раз: эта Бродер — самая интеллектуальная и утомительная девушка из всех встречавшихся ему до сих пор, с резкими, иногда чересчур поспешными суждениями, образованная, но лишенная мудрости, нетерпимая по недостатку житейского опыта, образцовый экземпляр поколения, которое мы не совсем понимаем, потому что оно выросло в другом мире, с другими книгами. «Когда она в сорок шестом учила азбуку, за нашими плечами уже была война; наша жизнь для них история, мы стареем, Эли». Он в самом деле был разочарован и раздражен, но Элизабет не выражала сочувствия, тихо лежала в темноте, уже почуяла опасность (но и ощутила в себе силу пойти навстречу опасности) и только один раз, не понимая, к чему ей все эти, столь важные для него, подробности (побеленные стены без украшений, книги и так далее), перебила его, задав вопрос (типичная супруга!) о внешности дамы. А когда он кончил и, разочарованный ее молчаливостью, собрался уйти, она сказала: «Ты, значит, влюбился».

Поток, который полчаса извергался из него, выталкиваемый потребностью в честности, лишь наполовину или на четверть означал правду, а следовательно, неправду; в него влились резво журчащие, а иногда и подспудно струящиеся притоки: обыкновенное стремление к душевному излиянию, потребность в исповеди для очистки совести, забота о растревоженной женской душе, боязнь упреков. Конечно, тут бил (тихонечко) и ключ честности, но ведь не секрет, как с этим обстоит дело у возлюбленных и у супругов. Вначале, в нулевой день, исповедь обширна и правдива, и отпущение грехов обеспечено, ибо все, что было, стало прошлым, случилось в другую эпоху, оно больше не в счет, человек сделался иным, и теперь все, решительно все изменилось; да, изменилось, ибо с первого дня откровенность оборачивается болью для другого, а любимому существу не хочется причинять боли, но лгать тоже не хочется, и если другой говорит: «Я хочу все знать», то и это верно лишь частично, так как этот другой боится боли, причиняемой узнаванием подробностей, вот почему ограничиваются отшлифованной правдой, обтачивают острые углы, которые могли бы поранить, или разрубают правду на части, благодаря чему она кажется менее тяжелой и проглатывается постепенно, с меньшими усилиями. Так, например, на вопрос о внешности соперницы (очень ловкий вопрос со стороны Элизабет, потому что она знала, на какой тип женщин он был наиболее падок, равно как распознавала оттенки его восторга) можно безболезненно, не прибегая ко лжи, вместо «стройная, как тополь», «хрупкая, как фарфоровая статуэтка», «роскошные формы», «пропорциональное, как у женщины с картины Рубенса, сложение» (или другое штампованное определение, которое обычно подсказывается восторгом) сказать «тощая, как жердь», «стандартная сексбомба»; можно сказать «толстуха» или даже сострить: «она держится прямо лишь благодаря вере в свое призвание библиотекаря», или: «чтоб прикрыть такой фасад (причем можно как бы невзначай оговориться и вместо «с» сказать «з»), требуется немало ума». Так далеко Эрп, конечно, не зашел, это было не в его характере, это было бы клеветой, на что он не был способен, даже если бы считал это необходимым, но наждаком и напильником он все-таки ловко воспользовался (топор понадобится позднее), сказал, к примеру, несколько похвально-дружелюбных слов о ее лице, но вставил словечко «чужое» и был при этом честен, так как ужасающе чужим показалось ему ее лицо — вблизи, а именно с расстояния

в 5—10 сантиметров, когда он попытался поцеловать фрейлейн, и она не раздраженно, не гневно, только утомленно и со скукой взглянула на него и тем самым исключила возможность поцелуя — факт, естественно, павший жертвой напильника, равно как и то обстоятельство, что он, сам решив к ней поехать (молчаливо подразумевалось, что то было общественным поручением), купил по дороге шнапс и в девять часов, невзначай хлопнув себя по карману, воскликнул: «О, у меня, оказывается, водка с собой. Можно вам? Не хотите ли?» Да и темы разговора были, само собой, не такими уж безобидными, как следовало заключить по его скупым намекам. Разговор был совершенно деловой (служба есть служба, а водка еще в кармане), когда речь шла о решении руководства, но потом очередь дошла до Берлина, за вопросами последовали ответы (красивый ли город Берлин, вряд ли, но зато предместья, окрестные озера, дачные поселки, знаменитый воздух, вот только зачем эти сараи, а прусское барокко, годы грюндерства, новостройки, нужно ли было сносить замок, жалко ведь, когда-то красный Веддинг *, город четырех секторов, город двух миров, два мировых города), и обо всем этом у нее свое мнение, незаурядная эрудиция, острота суждений, интересно, очень интересно, но важно лишь то, что удается поймать на крючок ловко, словно мимоходом, поставленных вопросов. Значит, в этой квартире она родилась, уже тогда ворковали голуби (а он в это время был в последнем классе, потом год на селе в Восточной Пруссии, потом учеба, не такая уж неслыханная разница в возрасте), и она хочет остаться здесь, не стоит ли за всем этим мужчина — или же? Нет, пожалуй, нет, а, впрочем, почему? Разочарования? Она уклоняется от ответа, личное под запретом, правда только у нее, он же все время возвращается к этому, ему не хотелось бы растить детей здесь, среди обваливающейся штукатурки и на асфальте, да и вообще брак... (ночью в комнате у Элизабет тут опять пускается в ход наждачная бумага). Чем объяснить, что на самых лучших женщинах женятся не в первую очередь? Биологически или исторически обусловлено, что женщины стремятся к супружескому ярму? Возможно ли вообще равноправие в браке? Как это влияло на детей (небольшая заминка): потаскушки на улицах в послевоенное время? У нее на все готов ответ, но она умудряется ничего не сказать о себе и не задает таких вопросов, на которые он охотно бы отвечал, поражение за поражением, и в час ночи, когда бутылка опустела, он вдруг начинает рассказывать о себе, вначале чтобы вызвать ее на разговор, а в сущности потому, что ему доставляет удовольствие поведать ей о своих горестях, кому же еще, кто поймет его, не Элизабет же, эта добрая, всем довольная душа (но об этом он не говорит, Элизабет для него табу). Он рассказывает о своей карьере, о трудностях начала (бывший садовник, солдат, военнопленный на скамье библиотечного училища, она читала «Актовый зал» Канта, так оно и было, именно так, тяжко и прекрасно, прекрасно и тяжко), о своих успехах, о доме, о саде, о машине: все, о чем мечталось, достигнуто,— а дальше что? Фрейлейн Бродер со скучающим видом вертит свою рюмку, и у Эрпа ощущение, будто он сделал что-то не так. Может быть, она не выносит жалующихся мужчин, конечно, она разочарована, что он сам разрушает то представление о себе, которое старается создать, может быть, она чувствует себя обиженной невниманием. И он мгновенно меняет тему и начинает говорить об интеллигентных девушках, о том, как им трудно, потому что мужчины (другие, конечно) не выносят, чтобы существа женского пола были равноценны им, а тем более превосходили их; видимо, есть какие-то законы эротики или секса, они ведь не существуют — или все же существуют? — в чистом виде (он не решается сказать «pür», чтобы не поправлять ее), он плохо раз-

* Ныне относится к Западному Берлину.

бирается в этом, однако знает, как мужчины говорят о таких вещах. Но тут фрейлейн Бродер заговаривает о себе, дает ему ясно понять, что для нее это не проблема, что она (большое спасибо за заботу!) не может пожаловаться на судьбу, и он (идиот!) воспринимает это как поощрение, решает, что его час настал, встает, обходит вокруг стола и приближает свое лицо к ее лицу. Когда он снова сидит на своем месте, она вдруг о чем-то спрашивает его, о чем-то глубоко личном, о чем не следует спрашивать после полуночи и бутылки водки (самой дорогой, импортной), а может, и вообще не следует спрашивать, ну примерно: веришь ли ты в бога? изменял ли ты уже своей жене? за какую партию ты голосовал в 1933 году? Итак, она спрашивает (после шести часов безрезультатного флирта): «Почему вы в партии?» Как хорошо (приток под названием расчетливость), что ночной разговор с супругой должен быть кратким, без подробностей. Ибо сказать правду трудно не только потому, что она причинит боль другому, но и потому, что тогда надо было бы признаться, что ты вел себя как клоун. «Что вы сказали?» Она повторяет вопрос. Он прячется за галантностью: «Ночью, наедине с красивой женщиной — и вдруг такое? Знаете ли вы, как вы хороши?» — «Об этом мне уже говорили, притом более оригинально». И она снова повторяет свой вопрос. В конце концов он начинает с самого начала: война, фальшивые идеалы, внутренний разлад, кажущиеся смехотворными лозунги, которые принимаются всерьез лишь после того, как становятся заметными первые успехи в строительстве нового, антифашистка — руководительница их библиотечной школы, литература, мир, СНМ, Маркс... но она перебивает его, ее интересует, не почему он вступил, а почему остался в партии, почему сегодня в ней. Он чувствует, что его атакуют, и пытается выяснить, что она, собственно, ставит ему в упрек. Его нытье (всего достиг — а дальше что?), сомнительную мораль? Но она ни в чем не упрекает его, лишь деловито интересуется, вообще она оскорбительно деловита. Последняя попытка спасения — взгляд на часы, испуг. Она его не удерживает. Потом, в домашней темноте, он по-честному подвел итоги вечера. Да, он был раздосадован. Но почему? Последние слова Элизабет он с чистым сердцем назвал глупостью. Однако они его успокоили. Любовь простительна. Было бы хуже, если бы она знала правду: что он посетил свою сослуживицу с ненакладывающей никаких обязательств целью нарушить супружескую верность.

Пути любви редко бывают кратчайшим расстоянием между двумя точками; они петляют туда и сюда, вдоль и поперек, развертываются как серпантин, закручиваются в спираль, ведут через горы и долины, сквозь радость и муку, кажутся лабиринтами — в особенности тому, кто по ним идет, ползет или летит. Почему бы им не проходить сквозь чувственность? Но у Карла дело было даже и не в этом, ведь он уже любил ее, с того момента, когда, проснувшись, улыбался (досада его возникла лишь из ощущения, что он сделал что-то не так, и из боязни, что никогда не сумеет завоевать ее), вот почему нет оснований обличать его как мелкого искателя эротических приключений.

Существует поговорка: истинная любовь всегда права! «Подумаешь»,— сказала бы, постучав при этом пальцем по лбу, фрейлейн Бродер, когда была еще маленькой и с тощими крысиными хвостиками за ушами таскала доски с развалин. Спустя годы она бы наверняка (после некоторого раздумья) сказала что-нибудь об этических категориях, которые нельзя выводить из более или менее устойчивых чувств. Но в ту ночь, незадолго до трех часов (обязательные косметические процедуры перед сном отняли у нее еще довольно много времени, но потом она, как наименее пострадавшая, быстрее всех уснула), будь она склонна к разговорам с самой собой, ее вызывавшие такое восхищение губы вряд ли произнесли бы что-нибудь иное, кроме: «Жаль!» или «Слава богу!»

(или что-либо подобное), и это относилось бы не к какой-то поговорке или теоретической банальности, а к мужчине и начальнику Карлу Эрпу, который ее разочаровал.

Потому что он не соответствовал ее представлению о нем.

Конечно, вина ее, можно было бы сказать. Но ведь и она, самая трезвая из всех населяющих эту повесть персонажей,— дитя нашего времени, наших газет, нашей школы, нашей литературы, следовательно, ее учили, что у великих людей не может быть бородавок, они не могут ни проспать, ни ошибиться, некоторое время она пребывала в детском восторге от этих скульптурных образцов, потом стала находить их холодными, и чуждыми, и скучными, а в дальнейшем пережила обычные кризисы: когда на ликах героев обнаружились бородавки, когда оказалось, что жизнь состоит не из великих деяний, а из частично отрадных, частично отвратительных мелочей, когда за верными решениями проглядывали далеко не благородные мотивы, когда выяснилось, что великие люди со страстью коллекционируют марки, а любовь причиняет боль и нуждается в подтирках. Кризисы такого рода она преодолела довольно рано. Монументальный портрет ее ученого отца сжался до размера переводной картинки с изображением надоедливого болтуна, беспрестанно рассуждающего о вещах, которых он не знал, но потом снова вырос в портрет, сделанный в натуральную, соответствующую действительности величину, портрет талантливого человека, трагическим образом никогда не получившего возможности развить свои дарования; ее первая любовь, поэт, с которым она познакомилась благодаря своему восторженному письму, каждый вечер глушил в себе алкоголем старого человека, чтобы воспевать нового; функционер СНМ готов был бежать с ней (от своей семьи, через Болгарию) на Запад; предвкушаемая романтика летних ночей в молодежных лагерях испарилась в единоборстве с комарами; дружбы распадались из-за бессмысленной ревности; образы, без которых, казалось, и жить-то невозможно, через полгода вызывали скуку; неделями подготавливаемые карнавальные вечера оканчивались рвотой; очарование любимых книг рассеивалось; с усердием выученное оказывалось ненужным. Она на самом деле научилась отличать идеал от действительности, искусство от жизни. И тем не менее всегда ожидала от людей больше, чем они могли дать. От Эрпа, например. Но все было не так уж ужасно, то был не кризис, не шок, только небольшое разочарование перед сном, который не пропал из-за этого, так, легкая тень на солнечном ландшафте ее радости: ее приняли на службу, она сможет остаться в Берлине, продолжать работать. Ведь радость от работы и всего с ней связанного — вот что оказалось устойчивым, пронесенным через все разочарования, и так как в конечном счете все (литература, политика, наука, техника и прежде всего люди) связано с ее работой, ее любопытство к людям и вещам осталось неизменным, как и цель, давно намеченная. Еще школьницей, сидя среди многочисленных читателей в городской библиотеке, чтобы удовлетворить отцовскую беспорядочную жажду знаний, она постоянно задавалась вопросом, к чему в конце концов приводит каждого все это чтение. За исключением матери (которая не без основания проклинала книги, ибо считала их виновниками вечной нужды в семье), все люди, когда-либо оказывавшие на нее влияние, считали, что чтение дело хорошее. Сомневаться в этом было такой же бессмыслицей, как относиться скептически к таблице умножения, потому никто и не затруднял себя глубоким размышлением над этим, даже сами библиотекари, которые подобным утверждением и доказывают свою необходимость для общества. Ей же (имеющей перед глазами отца и скрываемые литературой бородавки героев) это не казалось столь очевидным. С помощью научной литературы учились строить мосты и строили их, узнавали о законах развития общества и применяли их в жизни.

Но какое воздействие оказывала художественная литература? (Даже если учитывать только так называемую хорошую?) Что здесь действовало, на кого и как? В самом ли деле изображение нравственного воспитывало нравственность, а изображение зла действовало устрашающе? Можно ли в каждом случае рассчитывать на волю к отождествлению? Кого привлекало неизвестное, кого знакомое? Что вообще воспринималось и как осмысливалось? Какую роль играли опыт, образование, знание? Каков психологический процесс чтения? Учеба была для нее преимущественно поиском ответов на эти вопросы. Она усердно занималась техникой и статистикой библиотечного дела, так как видела в них инструменты, необходимые для будущих исследований. Она не испугалась, когда обнаружила, что многие до нее занимались проблемами подобного рода, читала все и находила столь же неудовлетворительным, как и работы по истории литературы, которые непонятным образом совершенно игнорировали историю оказываемого литературой воздействия. Проходя практику, фрейлейн Бродер засиживалась над статистикой, проводила на свой страх и риск опросы (не ради результатов, а лишь для апробации различных методов) и вскоре поняла, что без специального образования в области психологии и социологии далеко не уйдешь. Но она ведь еще молода и после нескольких лет библиотечной практики поступит в вуз. В специальных журналах прошлых лет она нашла статьи по своей теме, некоторые из них написанные Карлом Эрпом, статьи дельные, свидетельствующие об увлеченности автора своим делом. Она навела справки об Эрпе. Он был известен как хороший специалист, популярен среди коллег; она приложила все старания, чтобы попасть в его библиотеку. На ее вопрос о статьях он едва реагировал. И вот он пришел к ней, мужчина, как и всякий другой, тщеславный, какими в общем-то бывают одни дураки, самонадеянный, впадающий от водки в меланхолию, почти равнодушный к проблемам, которые когда-то очень волновали его, интересующийся главным образом тем, удастся с ней переспать или нет. Это было ей достаточно знакомо и почти ее не удивило, как не удивило замаскированное мнимой мудростью и иронией безразличие, да и о принадлежности к партии она спросила лишь для того, чтобы посмотреть, каков он будет при попытке ответить на этот вопрос (она сочла приятной его беспомощность, ибо ожидала цинизма). Немножко прискорбно, собственно, лишь то, что и он обидел ее, усмотрев в ней только объект сексуальных устремлений. Хорошо еще, что он явился неожиданно, и в ней не успело зародиться предвкушение радости, которое теперь пришлось бы хоронить. Но пора спать, иначе завтра врач заметит, что сердце было лишено ночного покоя. «Надо мне было просто выставить его за дверь, когда он завел эту дурацкую комедию с бутылкой водки»,— подумала она напоследок. И заснула.

Ей не доставляло удовольствия нравиться?

Напротив, но она научилась скрывать это. Она намерена греться в лучах восхищения, пока еще не поздно; из благодарности, жалости (и еще потому, что не так-то просто жить без мужа) она когда-нибудь уступит ему, своему начальнику, мужу другой женщины. А что последует потом, будет ужасно: ложь перед сослуживцами, взгляд на часы из постели, одинокие воскресенья, отговорки в дни рождения его детей. Она не думала об этом прямо, в этом не было необходимости, опыт, дремавший в ней, стал своего рода инстинктом, его не надо было пробуждать, он действовал и так, сковывал чувства, делал ее трезвой, не давал забыть разочарования.

Впоследствии, когда им доставляло радость вспоминать начало их любви, она часто подчеркивала положительное значение своей первоначальной сдержанности. Не похоже ли это на расчетливость?

Как это ни удивительно, всегда считается более благородным идти

на поводу у чувств! Было так: он ей не нравился, потому что она его еще не знала и он еще не проявлял к ней того уважения, которое лежит в основе всякой настоящей любви. А если расчет и был при этом, то это был умный расчет, счет, который сходился. Его любовь имела время для роста и созревания; кто знает, что сталось бы с ней, если бы все пошло так стремительно, как ему хотелось. Покупая в половине седьмого водку, он надеялся на приключение, а в четыре утра еще не мог уснуть и встал, чтобы написать ей письмо — для него все сводилось только (или лучше сказать — уже) к одному: добиться ее расположения. Впрочем, он всегда отрицал ее тезис о преимуществах трудного начала, ибо верил в роковую предначертанность их любви: как бы ни развивалось это чувство, они были предназначены друг для друга и так или иначе оказались бы вместе. Она находила прекрасным и трогательным, что он так думает, но видела все яснее, чем он.

Ведь она принадлежала к другому поколению. Любовь (как и мораль) для нее была проблемой преимущественно практической.

Может быть, дело тут было в поколении, а может быть, лишь в принадлежности к другому полу, который мужчины так охотно считают слабым, не желая признаться, что в действительности (по крайней мере там, где выросла фрейлейн Бродер) он просто более разумный. При некотором знакомстве с семейными отношениями, хотя бы в подъездах от А до К бывшего дома Вальштейна (теперь находящегося под коммунальным управлением), каждый непредвзятый наблюдатель должен был прийти к выводу, что лица мужского пола не только с опозданием (это общеизвестно и бесспорно), но вообще никогда не становились совершенно взрослыми и потому никогда не могли обойтись без игрушек (кодовое название — хобби). И вот (когда восьмичасовая игра во взрослых кончалась) они разводили голубей, хомячков, орхидеи, возились с игрушечными электрическими железными дорогами, коллекционировали подставки для пивных кружек, почтовые марки, спичечные этикетки и бумажные флажки, заполняли футбольные площадки, резались в карты, мастерили самодельные самолеты и (поскольку без этого не приобретешь авторитета среди себе подобных) хлестали водку в кабаках. А женщины, на которых лежала ответственность за пищу, одежду, квартиру и детей, относились к этому с трогательной любовью и снисходительностью взрослых к несовершеннолетним, проявляли даже, чтобы доставить радость, притворный интерес, старались принимать игры всерьез, волокли продолжающих хвастливо лопотать кабачных вояк домой, выхаживали (за счет собственных продовольственных карточек) голубей во время войны, таскали коллекции марок в бомбоубежище и никогда не насмехались над тем, что пришел конец детскому пристрастию к маскарадам со смешными суконными головными уборами и развевающимися лентами, с болтающимися крученными шнурами, галунами, звездами и орденами. Никогда не прерывали они и любовные клятвы, выслушивали их с радостью, но знали им цену. Кипящие чувства выплескивать в потоках слов было делом мужчин, их же дело — прикручивать фитиль, вполне объяснимую боязнь последствий именовать порядочностью и — раз уж чему быть, того не миновать — соблюдать осторожность. Практические проблемы? Конечно, а что же еще, самоконтроль тоже практическая проблема, что тут возразить? Даже Элизабет, у которой было и другое воспитание и иной опыт (любящая жена должна полностью довериться мужу — защитнику и покровителю, и в награду — приспособиться к нему), в эту ночь пришла (пока Эрп продолжал свое безответственное приключение в письменном виде) к такому же, на практике обанкротившемуся образу мыслей, а именно, несмотря на адские душевные муки, думала о последствиях возможного разрыва, о доме, который остался бы ей, о возможностях заработка и устройстве

детей. Даже девушки самого тонкого душевного склада, став хозяйками дома и матерями, учатся рассчитывать; молчание не исключает размышления, и самая терпеливая страдалица может вдруг начать действовать. До сих пор она заботилась о домашнем покое и порядке и считала, что поступает правильно. Возможно, то было ошибкой, возможно, ему нужно было другое. Но этого он и сам точно не знал. И ночью он тоже не думал об этом, его даже не занимал анализ его чувств к Бродер, он старался лишь справиться со своим поражением, придумывая все новые ответы, мимические реакции и контрвопросы, и в конце концов написал письмо № 1 этой истории, очень злое, агитационное письмо партийца к беспартийной, которой (с Луны ли она прибыла или из Бонна) наконец дается возможность узнать, что партия не орден аскетов, социалистическая мораль не требует обета целомудрия и нарушения трудовой морали весомее нарушений в сфере личной жизни, поскольку последние не причиняют вреда обществу. Таким образом он отбивал атаки, которые вовсе не предпринимались, и, не догадываясь об истинной причине разочарования фрейлейн Бродер, объяснял ее сдержанность, а также и заданный ею вопрос о партийной принадлежности только своей попыткой добиться поцелуя, тем самым избавившись от труда подумать о самом себе и признать, что его тщеславие не может примириться с ледяным отказом, раз уж он обременил себя ухаживанием. Письмо получилось резким, глупым, без обращения и подписи, а утром, около семи, оно украсилось (какой ловкий контраст, черт возьми!) следующим постскриптумом: «Сейчас четыре тридцать. Мне хотелось бы, вместо безуспешных попыток уснуть, ехать с тобой (исправлено: «с вами») по туманным шоссейным дорогам в Альт-Шрадов. При первых проблесках зари мы бы уже сидели с моим отцом у пылающего очага и потягивали лучший в мире кофе». Фрейлейн Бродер испугалась, когда по дороге к врачу нашла это письмо (без марки и штемпеля) в своем почтовом ящике. Это свидетельствовало о настойчивости.

7

Карл работал на вечерней выдаче книг; делал он это из рук вон плохо, допускал ошибки, которые годами пытался вытравить у сотрудников и практикантов, сидел с открытой книгой в углу, стоял у окна, смотрел на поваливший к вечеру снег, в то время как читатели блуждали между полками, не зная, что им надо, и не находя того, что искали, нуждались в совете и не решались обратиться к человеку с замкнутым выражением лица. Он все время держался около стойки, то есть около телефона, уставясь на аппарат как гипнотизер, а тот в свою очередь таращился на него циклопьим глазом и безмолвствовал. Так как Эрп ни о чем другом, кроме обещанного звонка, не думал, то через несколько часов ему уже казалось, будто его любовь, его надежда, его будущее зависят от того, позвонит она или не позвонит.

Он действительно вел себя непозволительно — и по положению, и по возрасту. А как он защищал свои права и обязанности перед Хаслером, который по незнанию библиотечной этики предложил облегчить работу заведующего, освободив его от выдачи книг! Отказаться от выдачи книг значило бы потерять почву под ногами, оторваться от базиса, утратить связь с практикой, с людьми, с массами, работать в вакууме, замкнуться в себе, укрыться в тихой каморке, задохнуться в мелком администрировании и пустом теоретизировании — и так далее и тому подобное, пока Хаслер не понял: еженедельная выдача книг для заведующего библиотекой то же, что ежедневное богослужение для епископа, ибо выдача книг (так учили в библиотечном училище) — главное в работе библиотекаря.

Народного библиотекаря.

Здесь речь не идет о библиотекарях из научных, ведомственных, заводских, домовых или учрежденческих библиотек, и поэтому достаточно общего наименования профессии, употребление которого имеет три преимущества. Во-первых, специалист может, если захочет, воспользоваться им во имя уже десятилетиями декларируемой единой системы библиотечного дела, во-вторых, это обозначение дает возможность незаметно намекнуть профану, что библиотекарей не следует путать с продавцами книг (оплачиваемыми хуже), и, в-третьих, можно таким образом избежать предписанного министерством официального наименования народных библиотекарей, использование которого удлинило бы эту книгу круглым счетом на двадцать две с половиной страницы и, таким образом, отняло бы у народного хозяйства (при тираже, надеюсь, в десять тысяч экземпляров) примерно двести двадцать пять тысяч страниц, о чем не подумали отцы (или лучше сказать — крестные) нового понятия: библиотекари общих публичных библиотек. Но о чем они думали, когда в век народной демократии, народной полиции, народных корреспондентов, народной солидарности, а также и народной книжной торговли лишили библиотекаря его традиционного звания? О народных кухнях, которыми старое название все еще попахивает,— вот ответ, содержащий намек на историческое, на Карла Пройскера из Гросенхайна (Саксония) и Фридриха фон Раумера и буржуазные союзы народного образования прошлого века, то есть на традиции, которые существуют, но которые нежелательны и на которых здесь не следует подробно останавливаться, так как для Эрпа они не играют почти никакой, а для фрейлейн Бродер вообще никакой роли и не пойдут на пользу роману, все же имеющему нечто общее с бумажным змеем: он взмывает ввысь, когда натягивают бечевку, взнуздывают его, и падает, низвергается, когда расслабляешь бечевку (метафора принадлежит, правда, Жану Полю,— но кто уж теперь знает его? Да и каждый ведь вешает себе в комнату чужие картины). Почтенный возраст наименования профессии и был его концом, ибо привилегия пользоваться старым названием принадлежит только германской железной дороге — рейхсбан (при упоминании ее Эрпу, между прочим, каждый раз приходил на ум случай из детства, рассказ о котором после восьмикратного повторения Элизабет при всем желании не могла уже слушать с заинтересованной улыбкой, но который был нов для любимой,— как мало задумываются над привлекательностью таких мелочей! Поскольку все, начиная от рейхсбунда многосемейных до рейхспфеннига, называлось именно так, он и застежку-молнию на своей куртке называл рейхсфершлюс вместо рейзфершлюс, а когда понял свою ошибку, тут же переименовал рейхсбан в рейзбан, что сегодня вполне можно было бы подать как рационализаторское предложение: мы бы наконец избавились от рейха и могли бы пользоваться сокращением: ГР—Германская рейзбан). Но натянем снова бечевку. Библиотекарь Эрп пренебрег священной обязанностью, дав буйно разрастись бурьяну своего душевного заболевания (которое он вначале называл досадой, а теперь уже любовью), вместо того чтобы выкорчевать его мотыгой дисциплины. Результатом был скверный сон, отвратительные сновидения, неразговорчивость с женой и детьми, беспричинное рявканье на чувствительную фрейлейн Завацки, неспособность сосредоточиться на работе и нечто вроде мании преследования. Стоило ему войти в помещение, где несколько сотрудниц молча работали, как он уже был уверен, что они только что говорили о нем; Крач, по его мнению, был занят только мыслями о мести; фрейлейн Вестерман, осведомленная обо всем, что происходило в этих стенах вот уже более двух десятилетий, была уже, как ему чудилось, осведомлена и о его любви, а каждое замечание Хаслера казалось ему полным намеков. Но, несмотря на страх и осторожность, он не в

силах был противиться искушению под любым предлогом заговорить о фрейлейн Бродер. Ежедневный крюк через центр и медленная езда мимо ее дома вошли у него в привычку.

Но страдал он как от настоящей болезни. Уже через неделю он предпочел бы скверный исход этим мукам.

Однако из осторожности он не торопил событий. Во внутренних монологах он прибегал к известной со времен войны поговорке: лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но тем не менее избегал всякого риска, поскольку в глубине души все же надеялся, что конец ужаса будет неужасным, жалел себя, давал сорнякам своих чувств разрастаться и заглушать благородное растение трудовой морали (что доказывало бессмысленность тезисов его письма), страдал и из-за этого (очень даже), но всю вину приписывал ей: скажи она в первый вечер «да» и «аминь» — ни он, ни работа не пострадали бы.

Ускорить решение могла бы и она сама, честная, добросовестная, равноправная. Ведь уже после первого письма она знала, что с ним происходит, и когда он в тот же вечер, как будто только для того, чтобы узнать диагноз врача, снова явился, она легко могла бы запретить всякие посещения. Он бы извинился и больше не приходил. А так его надежда все время получала пищу. От флирта фрейлейн Бродер, правда, уклонялась, но приглашала войти, предлагала поужинать и терпела его до полуночи, хотя по указанию врача ей надлежало уже в восемь быть в постели. Десять раз он за время ее болезни приходил к ней, редко возвращался домой раньше двенадцати, и ни разу она не дала ему возможности сказать хоть слово, могущее приблизить развязку. Удивительно ли, что в последний день ее болезни он был невнимателен при выдаче книг, ибо она заставила его ждать обещанного звонка?

Это обещание было плодом его фантазии. Коллега Завацки сказала: «Коллега Эрп, сегодня звонила коллега Бродер. Завтра она выйдет на работу». На что коллега Эрп пожелал узнать, не выразила ли коллега Бродер желания поговорить с ним лично. На это коллега Завацки (не исключено, что с умыслом) несколько туманно ответила, что она сказала коллеге Бродер, что коллегу Эрпа можно застать по телефону до девятнадцати часов на выдаче книг. После чего коллега Эрп больше не решался задавать вопросы, сторожил телефон и в сотый раз размышлял над тем, почему коллега, не проявляя явного неудовольствия, терпела его посещения, если она не имела намерения пойти навстречу его желаниям. К какому-либо результату он, правда, прийти не мог, так как женщин не знал вообще, а таких, как Бродер, и подавно; к тому же он считал отправной точкой себя и исходил из ошибочно поставленного вопроса: нравлюсь я ей или нет? Вместо того, чтобы спросить: что она за человек? В каком она сейчас положении? Что ей нужно и чего она боится? Но ставить так вопрос он не мог, поскольку (вместе с большинством романистов) был убежден, что попытка выяснить причинную обусловленность любви (а значит, исследовать и почву, на которой она произрастает) означает профанацию этого чувства. К тому же сорняки в этом уголке его внутреннего доходного садика настолько заглушили способность к размышлению, что она пожухла, увяла, зачахла. Он не был даже в состоянии уяснить себе, чем ему, собственно, нравится фрейлейн Бродер (помимо фигуры, волос и голоса). Интеллектом, эрудицией, чувством собственного достоинства? Разобраться хотя бы в таких вещах — это было бы еще не все, но уже кое-что и, возможно, скорее побудило бы его перестать обращаться с ней как с девчонкой, которая (не подавая виду) жаждет флирта и мужчин и желала бы восхищаться мужчиной, уверенным в себе, сильным и готовым к любому насилию. А так она оставалась для него загадкой — и он для нее тоже, что возбуждало ее любопытство. Она знала, что он показывается ей в маске, но не догадывалась,

что же за ней скрывается. Она маски не носила, была лишь сдержанной, соблюдала дистанцию, чтобы оставить для себя открытыми все пути. Ей было двадцать два. И она была одна; но, может быть, это и стало благоприятной предпосылкой для тех дел, которые она себе наметила. Она была бы в этом уверена, не будь одного важного обстоятельства, на которое временно можно, правда, и не обращать внимания, но полностью игнорировать его нельзя. Один-ноль в пользу Эрпа! Она охотно видела его, и только поэтому о нем вообще могла идти речь,— но и дюжину других тоже; однако все это было не так просто. Она не раз обжигалась; раны зарубцевались, но не забылись. Встречались ей и такие мужчины, какого сейчас разыгрывал Эрп: герои, которым сам черт не страшен и ад нипочем, циники из страха перед собственной совестью, рабы своего тщеславия, впадающие в меланхолию пьяницы, властелины в дамской спальне; она задохнулась бы под этими грудами своекорыстия и эгоизма, если бы вовремя не отступала. Иллюзия, будто возле такого самоуверенного типа и сама обретешь уверенность, окончательно развеялась, борьба за самоутверждение стоила ей сил, но она стала опытной и осторожной. Ноль-один не в пользу Эрпа! Точнее, не в пользу его маски, ибо каждый раз, когда маска съезжала в сторону, защитная броня фрейлейн Бродер делалась менее непроницаемой. Так было в первый вечер после письма (никем из них не упомянутого), то есть во второй совместный вечер, который (как и последующие девять — без попытки поцеловать и без алкоголя) длился до полуночи и для Эрпа начинался ролью энергического шефа, заскочившего на минутку, чтобы проведать больную сотрудницу, и кончался самовнушением, будто он все испортил и у него не осталось никаких шансов. Они сидят друг против друга за столом и едят, посуды хватает как раз на двоих (все лишнее она после смерти матери раздарила), он пьет черный, как деготь, чай, который, собственно, не выносит, ест белый хлеб, который терпеть не может, хвалит покупной смалец, который обычно ест лишь сдобренным домашними приправами (луком, яблоками и майораном); то, что масло и колбаса (ради экономии времени, которое она неохотно тратит на домашнее хозяйство) лежат на столе в бумаге, не портит ему аппетита, он откладывает вилку, когда видит, что она обходится без таковой, чувствует себя смущенным интимностью совместной трапезы, драпирует смущение веселостью, пока она не заводит разговор о его старых статьях и он, после нескольких плоских острот по поводу юношеских иллюзий, не размякает, выходит из роли, делится восторгом, овладевшим им еще в библиотечном училище более пятнадцати лет назад, когда его только-только подвели к подступам научной проблемы читательского восприятия. Он описывает ей рвение, с каким изучал психологию, историю литературы и культуры, автобиографии, занимался исследованиями, сочинял статьи, надоедал вышестоящим инстанциям своими предложениями, и, наконец, разочарование, когда не удалось четко определить задачи работы, призывы к сотрудничеству остались без отклика, центр долго не отвечал, а потом посоветовал прекратить это дело: в принципе против подобного исследования нет возражений, но предложенные методы подозрительно смахивают на социологию (которая в те времена считалась буржуазной) и, кроме того, их следовало отработать более тщательно. «И вы все бросили?» — «Да» (тоном мученика), с шуточкой, долженствующей намекнуть на мудрую снисходительность, маска снова надета, и ничто из того, что все-таки (непроизвольно) проглядывает сквозь нее и хочет вырваться наружу, не появляется на свет. Как бы он выглядел в ее глазах, если бы рассказал о глубине разочарования (особенно в себе, из-за своей несостоятельности и равнодушия), о боли, вызванной собственной посредственностью, инертностью, трусостью (когда кончилось юношеское опьянение взрывом и взлетом и началась серьезная работа),

о подавлении честолюбия, о стыде по поводу чисто внешнего успеха (который отчасти приходит и потому, что Эрп никогда не бывает неудобным для других), о парализующей пассивности и, в конце концов, отступлении к благополучию, к дому, саду, автомобилю? Все это становится для него особенно ясным, когда он сравнивает себя с нею, чья молодость не знает опьянения, чья энергия направлена на серьезную работу, но разве он может сказать ей об этом? Вопросы ее задевают его самые чувствительные места, однако он не вскрикивает, а, так сказать, стискивает зубы, улыбается, уклоняется от ответа. Но она не отступает, все время пытается извлечь выгоду из его опыта, выведать все, что может быть полезным для ее работы, только это и интересует ее, но для этого ей нужно найти пути к его душе, увидеть его истинное лицо. Флирт здесь не поможет, Эрп будет лишь еще старательнее играть свою роль, она должна завлечь его своим явным интересом к вещам, которые важны для него, заставить его говорить о них, например, о прошлом, о том, что формировало его: детство в деревне, война, период СНМ (тут Элизабет замалчивается). Он постоянно возвращается к этому, если она приходит ему на помощь, а она делает это, ибо плоская картина тех лет становится объемной, к тому же ее всегда интересует историческое; он даже помнит нацистскую литературу, этот пробел, который надо заполнить, если интересуешься историей воздействия литературы на немецкого читателя. Она все время пытается отделить личное в его воспоминаниях от общезначимого, но это не всегда удается сразу, и для нее становится важным все, даже его детский бунт против отцовского авторитета, первые впечатления деревенского жителя в столице, распространение листовок в Западном Берлине, и она быстренько прикидывает, сколько ей было лет, когда он драил пол в казарме, отапливал теплицы или осваивал азы библиотечного дела, и ее удивляет, каким он становится молодым, когда без тщеславия, весело рассказывает истории собственных поражений, например, историю о провале попыток стать донжуаном или о том, сколь роковым оказалось для него нерегулярное чтение газет, из-за чего он, усердствуя в оперативной бригаде министерства культуры, упустил начало новой кампании. Но еще рассказывая, он уже сожалеет об этом, ругает себя идиотом, охотно придумал бы что-нибудь, например, победоносный конец, бешеное возмущение, удары кулаком по столу, жалобу министру, но не в состоянии просто-напросто врать ей, видит, как она смеется, не подозревает, что она думает: до чего же он молод, тот, кого она спрашивает о применяемых им методах, якобы уже позабытых им, поскольку он (снова войдя в роль) норовит произнести фразу: «С вами вместе я бы с удовольствием занялся исследованиями», конечно, в деревне, подальше от жены и детей (которых она хотела бы увидеть, ибо что ярче характеризует мужчину, как не женщина, на которой он женился, дети, которых он воспитал?). Ее сердят замечания подобного рода, так как они доказывают, что он и не думает отказаться от намерений, которые ей чужды, и тем самым исключает дружески-деловые отношения между ними. Да и курит она при нем слишком много, пропускает предписанное врачом время сна, без Эрпа она, возможно, уже выздоровела бы, поэтому не радуется его приходу, не пытается это скрыть и дает себе каждый раз слово в десять часов выставить его вон. Перед врачом она разыгрывает улучшение, чтобы он выписал ее на работу. А то, что ее звонок не застал Эрпа, ей только приятно, так как свое решение отучить его от интимного тона она лучше осуществит в первый день на работе, чем по телефону, который он, взывая к телепатии, напряжением всей силы любви тщетно пытается заставить зазвонить. Ровно в девятнадцать он бросает это занятие, полный решимости не только, как обычно, поехать в город, а и довести наконец дело пусть до ужасного, но конца. Когда он, погасив свет, выпроводил последнего читателя и рассеянно по-

желал техничке доброго вечера, ему пришлось задержаться, потому что его остановила девица в джинсах и пуловере, пожелавшая с ним поговорить. Это была Анита, черная роза из подъезда А, считавшая себя дочерью Пашке. «Совсем случайно я была тут поблизости и вот подумала: пойду-ка я наверх, может господин Эрп прихватит меня, ведь он же каждый день заезжает к нам». Госпожа Айзельт, техничка (она еще стояла в дверях и покрывала искусно причесанную голову непромокаемой косынкой, так как на улице шел мокрый снег), сделала движение, как будто хотела прийти Эрпу на помощь; он же, хоть и нуждался в помощи, всей душой желал лишь одного: чтобы она исчезла прежде, чем будет произнесено имя Бродер, но сказать этого ей он не мог, ибо останься он наедине с молодой красоткой — это дало бы повод к неверным толкованиям, и потому он постарался отвлечь Аниту, спросил (первое пришедшее ему в голову), что́ бы она хотела почитать, но попал пальцем в небо, спровоцировал только легкое возмущение и неясное замечание, что она не такая! Какая не такая? Да такая, с очками и без бюста, чтением убивающая время, вместо того, чтобы работать, или, может быть, такая, как фрейлейн Бродер? Лучше было не отвечать на это и перейти к СНМ, несомненно повинному в том, что Анита попала в этот район. Но она не дала себя отвлечь, движением руки отмахнулась от этой темы и снова вернулась к автомобилям, в которых она якобы еще никогда не ездила, заговорила о мерзостной погоде и дальней дороге к трамваю, при этом непринужденно расхаживала вокруг, перебивая сама себя замечаниями вроде: «Ну и книжищ же тут! Вы их все читали?» Эрп подмигнул госпоже Айзельт, что должно было означать: не беспокойтесь, я сам с ней справлюсь! — со вздохом облегчения увидел, что она взялась за ручку двери, и кивнул ей на прощание. Но как раз в этот момент Анита спросила, где же рабочее место фрейлейн Бродер. Она, правда, назвала ее по имени, но госпожа Айзельт, конечно, знала и его.

А читатель его еще не знает.

Со стороны автора это благородно. Ибо есть имена, незаслуженно бросающие тень на своих владельцев и вызывающие ассоциации, которые во имя истины не следовало бы вызывать. Авторы романов знают это и потому придают большое значение выбору имен для своих героев, знает и читатель, что Вильгельм Мейстер или Маске, Тонио, Бонифаций или Вайхмантель зовутся так не случайно. Назвать ее Клаудией, Катариной, Беттиной или, может быть, лучше Анной было бы выходом из положения, но долг хроникера запрещает такой выход. Поэтому лучше поговорить об Эрпе, который в 19 часов принял решение не только окончательно объясниться, но и купить водку (вначале как тонизирующее, а потом заглушающее боль средство), однако последнее намерение было появлением Аниты поставлено под угрозу, ибо он (ради фрейлейн Бродер) считал невозможным в ее присутствии зайти в винный магазин. И Эрп ответил, что нет, сегодня он не едет в город, но предложил довезти ее до трамвайной остановки, на что она с явным неудовольствием согласилась. На улице Анита злилась, что никто не обращает внимание на то, как элегантно она садится в машину. Она вообще, кажется, много злилась: на своих молодых поклонников, которых называла дураками (что, по-видимому, было синонимом застенчивости), на краткость поездки и молчаливость Эрпа, на его вежливый отказ пойти с ней в ресторан. У трамвайной остановки, когда машина затормозила, она вдруг заинтересовалась техникой, потребовала, чтобы ей объяснили включение, нашла что-то двусмысленно-смешное в названии «сцепление», захотела покрутить руль, мягко прислонилась к Эрпу, который невольно вспомнил про особый, в форме бутылок, сорт груш (Ван Марум, как он вычитал в садоводческом справочнике), росших перед кухонным окном в Альт-Шрадове. Лишь после третьего напоминания Анита, надувшись, вылез-

ла. «Пока, до скорого!» Из ближайшей телефонной будки он позвонил Элизабет. В дежурном магазине у вокзала Фридрихштрассе ему пришлось долго ждать. А когда подошла его очередь, он обнаружил, что нет портфеля. Он забыл его в библиотеке, и пришлось обе бутылки нести в руках. Машину он оставил на площади Монбижу и дальше пошел пешком. В парадном он встретил Аниту. Его извинения звучали жалко. «Ишь ты!» — сказала она только и заперла за ним дверь.

8

Пора активнее ввести в действие и Элизабет.

Но как? Ничего трудней нет во всей этой истории.

Может быть, так: на бабушкиных комодах часто лежат причудливо зазубренные раковины. Стоит приложить отверстие к уху, как слышишь шум. Потрясешь раковину — ничего в ней нет. Посмотришь внутрь — темнота. Но таинственный шум продолжается. Такой была Элизабет.

Так говорил о ней Эрп!

Что-то таинственное было в ней. Если спрашивали людей, знавших ее, красива ли она, они долго медлили с ответом, потом говорили: «Да» — и искали объяснений: своеобразная, скромная, сдержанная, неброская красота. Но каждый, кто видел ее, сразу же чувствовал, думал, знал, говорил: она добра.

Причем оставалось неясным, как люди приходили к такому выводу.

Иные говорили: бесстрастна, один даже сказал: целомудренна. Но, вероятно, разгадка ее тайны заключалась лишь в том, что она более постоянная, чем другие, всегда тиха и приветлива.

Она была замкнутой, как, быть может, никто другой.

Это мало о чем говорит. Замыкать можно полноту и пустоту. И кроме того надо спросить: когда? Двенадцать лет назад, во время этой истории или полгода спустя?

Раньше она писала — стихи, рассказы, нечто эпигонское (подражала Гаусману, Гофмансталю, Рильке, Гессе), и рисовала — листья, цветы, фантастические ландшафты, выполненные тонкими карандашными штрихами, еще и после замужества вечерами, когда Карл работал и не видел, чем она занята, ибо Элизабет боялась его поучений, которым ей нечего было противопоставить. «По совету Карла прочла о проблемах языкознания. Я все понимаю, только не могу уразуметь, зачем мне это надо знать, мне это ничего не дает, так же как «Кавалер Золотой звезды», навевающий на меня лишь скуку; я должна бы прийти в отчаяние от этого. Может, Карл и прав: мое происхождение закрывает мне дорогу к общественно значимым чувствам и мыслям. Но почему же ему не закрывает? И разве это действительно ставит под вопрос нашу любовь, если «Тонио Крёгер» мне важней, чем «Молодая гвардия»?» Это строчки из ее дневника, который в остальном содержит мало важного: лебеди зимой, следовало бы стать медицинской сестрой, еж в саду, осень у моря, книги, мадонна ван Эйка, монастырская церковь в Иерихоне, затаенное торжество любимой, страх из-за войны в Корее, библиотека, покупка мебели, заботы по хозяйству, дети, болезни, Куба, фильмы, изредка строчка, вроде той, что написана в день приезда родителей по специальному пропуску: «Когда я вижу мать рядом с отцом, я всегда спрашиваю себя: разве так должно быть?» А что именно? Об этом ни слова. Она сама была недовольна своим дневником, ведь вечером этого промозглого ноябрьского дня, без Карла, когда дети уже спали, она написала: «Как никчемны эти записки за 14 лет, непригодны даже как подпорки для воспоминаний о том, что действительно произошло, полуправда, оболочка, красота зеленой ряски над болотом, пестрые фасады. Как трудно быть честной с самой собой!» Может быть, она собиралась пи-

сать дальше, но тут раздался звонок, она пошла отворять и больше уже в этот вечер не писала.

Немногим поучительней и эпизод, который Эрп часто рассказывает как легенду (вероятно, правды в нем действительно не больше, чем в легендах). Однажды (еще в доисторический период их любви) его из библиотечного училища послали к ней, чтобы уменьшить ее горе разговорами о радужном будущем; он застал Элизабет в ее (впоследствии его) комнате у окна, приветливой, не в слезах, хотя накануне она узнала о дырке у себя в легких величиной с горошину и для нее уже было забронировано место в лечебнице. Когда он хотел начать со своих заранее приготовленных утешений, она указала на окно, где она (не он) увидела зимородка, возвращения которого (им опять же незамеченного) пришлось молча ожидать тридцать минут, после чего она описала эту быстрокрылую чудо-птицу и, улыбаясь, распрощалась со своим утешителем. «Загадку, которую она тогда мне задала, я не разгадал и по сей день. Обо всем я мог говорить с нею, только не о ней. Я знаю о ней все, кроме главного. Она может настроиться на любого человека, но никому не дает возможности настроиться на нее. Самым подходящим было бы для нее занятие феи: бесплотно творить добро»,— так заканчивал Эрп. Но о чем это говорит? Разве что о нем самом. А именно: что он позволял себе блаженствовать под теплыми лучами ее любви и предпочитал не касаться того, что называл ее загадкой.

Хотела ли она иного? В конце концов, они дюжину лет были по-своему счастливы друг с другом.

Он был доволен ею. Это все, что известно. Ее молчание о собственных чувствах имеет лишь одно объяснение: она не умела с ним говорить. Но она умела это делать с другими, и в описываемый далее ноябрьский вечер тоже, когда раздался звонок и она отложила дневник и пошла отворять; какой-то мужчина спросил Эрпа, без колебаний принял ее предложение подождать, стряхнул снег с пальто, скрипя протезом вошел в комнату, взял «Строитель» Петера (подарок западноберлинских дедушки и бабушки), попросил Элизабет не обращать на него внимания и принялся что-то строить. С этим человеком она умела говорить.

Может быть, потому, что она пила с ним водку?

А разве Эрп не мог когда-нибудь выпить с ней водки? Для него куда важней были его годовой отчет, и новое издание Шолохова, и газон, и мытье машины, а если уж он вечером и сидел с ней, то речь всегда шла лишь о нем.

О том, как ее молчаливое умение слушать располагает к исповеди, узнал и Хаслер.

Но он не удовлетворился этим. Он впервые был наедине с этой женщиной и не мог понять, как случилось, что ее улыбчивый интерес к его игре с кубиками растопил отчужденность между ними, почему он, собственно, начал говорить в то время, как складывал из пластиковых кирпичиков стену и еще одну параллельную к ней — подразумевалось, что это длинные стены, метров по тридцать,— соединял их короткими боковыми стенками, метров по пяти, не более; должно было получиться, таким образом, длиннейшее здание, требующее в продольной стене восемь или девять дверей, но столько их в ящике не было, пришлось ограничиться шестью. За каждой дверью чулан, он же кухня, за ней помещение побольше, это парадная и жилая комната, столовая, спальня, с кроватью для бабушки Хаслер, такой сгорбленной, что в ногах ее может еще уместиться внук, со второй кроватью для мамаши и папаши Хаслер, третьей для двоих маленьких Хаслеров и колыбелью для самого маленького, там же шкаф и стол, и все это повторяется девять раз, над всем этим крыша, разумеется остроконечная, но такой здесь нет, возьмем, стало быть, тетрадь для диктантов, и дом для рабочих в Нёйштриглау готов,

будем надеяться, что поляки снесли его или, по крайней мере, перестроили. Стоило лишь снести эту и ту стены, перенести эту и ту двери, и получились бы прелестные трехкомнатные квартирки для новых хозяев. Как жаль, что не удалось стать архитектором, специалистом по перестройке старых рабочих домов. Конечно, не следует представлять себе стены такими ослепительно-белыми или красными, как вот эти, они были грязно-желтые, собственная продукция помещичьего кирпичного завода, расположенного неподалеку, может быть, там, где сидит сейчас госпожа Эрп. А здесь была водокачка, а здесь нужник, с двойным стульчаком для девяти семей, на противоположной стороне улицы школа, рядом с ней дом священника и церковь, где справлялись обряды: крестины, причастие, конфирмация, венчание, пасха и отпевание, рождество и пышные похороны, церковный служка Тео Хаслер, естественно, всегда при всем присутствовал, еще будучи подручным на кирпичном заводе, мужчин не хватало; он всегда вовремя бил в колокола, опускался на колени, вставал, шел слева направо и справа налево, точно, секунда в секунду, с достоинством носил евангелие и отбарабанивал латынь, словно и в самом деле понимал ее, еще и под Сталинградом знал все назубок, но ногу это ему не спасло. Итак, здесь стояла церковь, где он чувствовал себя лучше, чем дома: она была по меньшей мере вот такой высоты, за колокольный звон кистер расплачивался вечно ценной валютой — леденцами, под куполом жила сова, на чердаке собранные старшими братьями и сестрами в первую войну крапива и ромашка ожидали второй войны. В Варневице же (ударение на втором слоге) церковь была крохотной, во всяком случае выглядела такой, с куполом лишь в намеке, миниатюрная казарма, говорят, что и внутри тоже, но там он никогда не бывал, для новоиспеченного коммуниста то была экстерриториальная земля, да к тому же церковь была протестантской. «Выпьете еще одну? В компании лучше пьется. Между прочим, я всегда думал, что Карл трезвенник благодаря вам. Прошу прощения». Бургомистр? Нет, им он стал потом в Мюзевице, там вообще не было церкви; в Варневице (по неправильному ударению сразу узнавали чужака) он заведовал загсом и был его единственным служащим, регистратором рождений и смертей, а брак ему довелось регистрировать всего полтора раза. Хаслер замолчал, продемонстрировал рабочий дом, нужник, церковь, школу и принялся за новое строительство. Блестящие кирпичики все превращали в современные новостройки, и только для него, на сей раз обходящегося без комментариев, это было домиком на околице с крохотными комнатушками, дровяным сараем и хлевом для двух коз. «Карл говорил, когда придет?» — «Нет. Но почему вы не рассказываете дальше? Что это за здание? Ваш сказочный домик?» Можно и так назвать это, хотя и в ином смысле: дом, в котором он был сказочно счастлив, дом, в котором счастье кончилось, как сон, а именно — пробуждением. В нем жила Гудрун, у нее волосы были как у Рапунцель, только светлые, она выросла в Нёйштриглау, тремя дверьми дальше, из-за нее он переселился в Варневиц, из-за нее и уехал оттуда. 180 марок он зарабатывал тогда, имел рюкзак с бельем, партийный билет и протез, у другого же было золотое дно — мясная лавка; некоторые оправдывали Гудрун, от него этого никто требовать не мог, слишком быстро произошла перемена, в два счета, он узнал об этом, лишь когда был назначен день бракосочетания, у него, для кого недели до оглашения были чистилищем, но не дали ни очищения, ни избавления, а ввергли в ад свадебного торжества, огонь для жаровни он вдобавок должен был сам вздувать торжественной речью, составлением официального акта и поздравлениями. Речь он произнес, говорил гладко и холодно о серьезности испытания, непоколебимости решения, о счастье и о долге, почувствовал, как в нем что-то затеплилось, когда увидел слезы на глазах у Гудрун, неожиданно заговорил о безответственности, недопустимом лег-

комыслии, продажности, вспыхнул, как пламя, отказался от соучастия в этой преступной торговле человеческим телом и покинул контору и местность. Глаза Элизабет увлажнились как всегда, когда речь шла о чужих печалях, но это не было признаком слабости, а лишь признаком активной деятельности слезных желез, которые странным образом вот уже столько лет бездействовали при собственной боли. «Уже одиннадцать,— сказал Хаслер,— надо идти».— «Останьтесь еще. А почему вы, собственно, пришли?» — «Это не срочно».— «Неприятности?» — «Да, но мне не хотелось бы докучать ими вам».— «Конечно, какое жене дело!» Это прозвучало с такой горечью, что Хаслер оторвался от своих игрушек и готов был попросить прощения, но она уже опять вернулась к его делам, к его истории, к девушке с волосами, как у Рапунцель. «Поэтому вы никогда и не женились?» — «Кто знает, что из меня вышло бы, если бы я остался в Варневице?» Этого, правда, никто не знал, и Элизабет тоже, хотя она и задумывалась о незнании подобного рода, могла бы поговорить об этом, не делая исключения и для себя. «Что получилось бы из меня, если бы я не вышла замуж, не училась на библиотекаршу, жила бы не здесь, а в Нёйштриглау или в Мюнхене? Ломать себе голову над воздействием возможных обстоятельств имело бы смысл лишь в том случае, если бы можно было разобраться в существующих, если бы сумма внешних факторов определяла человека в целом. Даже у растений среда, погода и почва определяют еще не все, если не известны в точности свойства семени. А человек ведь не только берет, он и дает, он не только отражает окружающую его обстановку, но и создает ее. Почему Петера оставляет холодным то, что любит Катарина? Почему его привлекает то, что отталкивает ее? Безоблачное детство среди садовых клумб привязало меня к этому месту, и вот я спрашиваю себя — какое влияние это оказывает на мои чувства и мысли и на мой брак, что в свою очередь означает — на Карла. Отчего брачный союз часто ощущаешь как оковы, а иногда почему-то нет? Почему любишь человека, поступаясь даже собственным счастьем? Для всего есть объяснения, но они никогда не объясняют всего. При возможностях, которыми мы располагаем сегодня, необразованность почти позор, но разве не больший позор не разбираться толком в собственном Я? Когда я поучаю детей, то часто спрашиваю себя, на каком основании я то или иное выдаю за истину, навязываю масштаб,— чьим рупором я при этом становлюсь? Думала ли бы, говорила ли бы я то же самое, не выйди я замуж или выйдя за другого? Когда я задумываюсь о многообразии и непредвиденности человеческих судеб, мне становится непонятным, каким образом браки могут длиться десятилетиями. Я знаю, совместное движение вперед — вот патентованный ответ, его изобрели, чтобы избежать неприятных слов. Приспособление и подчинение, наверно, в большинстве случаев тот цемент, что скрепляет стремящиеся в разные стороны половины, а бывает и худшее: взаимная выгода, привычка, боязнь перемен, внешнее давление на внутреннюю пустоту, как в полушариях Герике. Быть всегда лишь половинкой не каждый сумеет, а часто становишься даже и не половинкой, а только (признаться в этом и то уже трудно) спутником, вращающимся вокруг большего светила, вынужденным вращаться, потому что этого требует закон — не природы даже, а любви».

Хаслер возражал против обобщений, вспомнил человека, для которого все англичане были с рыжими бородами, потому что один, которого он знал, имел рыжую бороду, вспомнил отжившие классы, считавшие свой конец концом мира, но спросил (он охотно не касался бы личного, но знал, что уклонение — чаще всего плохая тактика) прямо о браке Эрпов, который он всегда считал удачным, что́ Элизабет с улыбкой и подтвердила, еще раз прибегнув к обобщениям, когда она сказала, что удовлетворенная любовь и счастье могут и исключать друг друга, а потом

(как то и соответствовало ее характеру) просто начала рассказывать, и тут кое-что, хотя далеко не все, стало яснее. Дело обстояло так: Эрп всегда все знал лучше ее, и это действительно так, он был более образованный, более квалифицированный, более подкованный, более опытный, больше учился, больше читал, больше пережил, больше размышлял. И он доказывал ей это каждодневно.

Смахивает на всезнайство и похвальбу. Но это не так. Он помогал ей, где и когда мог. Вначале он иногда пугался ее неведения, но обычно не подавал виду. Да это, собственно, и не мешало ему; как потом он любил в своей дочери ее детские причуды, дурачества и глупости, так он в ту пору любил слабости Элизабет и никогда не тяготился тем, чтобы терпеливо, дружески, любовно приближать ее знания и умение к своим.

Июнь, раннее лето их любви, кроме пуловера и белья ничто не разделяет их сердца, в ее глазах только он (когда он в них глядит), специально для нее солнце расцветило все цветы на берегах Шпрее, и Элизабет благодарна солнцу, в каждом цветке она находит нечто необыкновенное и называет их по именам, неважно, знает она их или нет, она ведь может и придумать названия: виолетта, солнечная пылинка, газелий глаз, дар лугов или мне-не-верь — названия, которые и он находит красивей настоящих, известных ему, и (смеясь над ее страстью к переименованию) называет их по-латыни, как учили в библиотечном училище, что ему кажется забавным, но и немножко импонирует; ибо она знает только два названия: Primula veris и Viola tricolor, потому что они встречаются как названия произведений у Ленау и Шторма, и у него тут же наготове даты и характеристики с указанием их слабостей, как и отличительные приметы болотных и песчаных берез, восхищающих Элизабет лишь своей нежной зеленью. Когда на берегу канала выясняется, что так называемую акацию она считает настоящей акацией и не знает, что речь идет о робинии (Robinia pseudo-acacia), вывезенной (как что еще? картофель, кукуруза, табак?) из Америки, и что родина ее, в отличие от настоящей акации, Африка или Австралия, и что Элизабет ничего не слышала о Фрэнсисе Дрейке и капитане Куке (ведь невольно тут же вспоминаешь их вместе), ее слезные железы вдруг становятся активными, не только источают жидкость, но и давят на голосовые связки, так что испуганному влюбленному приходится долго ждать, пока на свои полные отчаяния вопросы он получает ответ: «Потому что я такая глупая!» — и сам, полуплача, полусмеясь, может заключить в объятия облегчившую свою душу женщину.

Таков эпизод. А вот ее комментарий: «Поверьте, господин Хаслер, самое скверное, что я не знала причины слез, с которыми не могла справиться и которые причиняли ему боль; я любила его таким, каким он был, вызывала его на то, чтобы он был таким; пусть он расстилает передо мной свои знания во всю ширь, чтобы я могла, перенимая их, стать равной ему».

Она пишет свою дипломную работу (с годичным опозданием из-за ТБЦ), с которой он (почти против ее воли) много возится, выясняет неясности, исправляет ошибки, предлагает дополнения, сократовскими вопросами наводит ее на новые идеи; он жертвует драгоценным временем, она внутренне тает от благодарности — и плачет. Ежедневно она возвращается домой из своей маленькой, запущенной библиотеки с вопросами и сомнениями; до поздней ночи сидит он с нею, помогает каталогизировать, систематизировать, проектирует установку книжных полок, просматривает ее списки приобретений и изъятий — и оставляет в ней чувство полной беспомощности: никогда бы ей не удалось без него навести порядок в этой куче книг! Она ловит себя на том, что надеется найти ошибки у него, возражает против его взглядов, которые он ей терпеливо

объясняет (хотя, конечно, про себя считает свои специальные знания доступными всем), терпеливо объясняет, пока ей не приходится признать, что он прав, как всегда, она в конце концов сдается и привыкает к молчанию, которое он замечает лишь годы спустя и злится, так как не может себе объяснить его. К этому времени в ней просыпается желание иметь ребенка. Когда она носит впереди себя свой полный живот, все хорошо: это может только она. «Ну, а теперь, когда дети подрастают?» — спрашивает Хаслер. «Знаете ли вы, собственно, что уже час ночи?» — «Карл говорил, куда он пойдет?» На что она без следа слез, спокойно, с улыбкой отвечает: «Да, он договорился встретиться с товарищем Хаслером». Такова была Элизабет! Хаслер не знал, восхищаться ли ею или побаиваться ее, но почел нужным ответить откровенностью на откровенность, то есть сказать о причине своего посещения (хотя в это время ночи можно было бы и ретироваться) и таким образом вовлечь общественность в назревающую семейную трагедию, как ни непригоден был он, холостяк, для такой роли. (Он не читал даже соответствующей литературы, да и прошли времена, когда можно было сказать, а то и поверить: там вы найдете ответ на все.) Робко пробивающиеся в нем чувства солидарности (разве человека, обладающего таким же документом и теми же половыми признаками, не следует в любом случае покрывать?) были быстро притушены, гневные выпады против Эрпа приглушены и оставлены про запас, и после пробного вопроса, испытывающего ее чувствительность к боли: «Вы знаете, где он?» — Хаслер начал, одновременно складывая из кубиков геометрические фигуры, по чему психолог безусловно определил бы степень его взволнованности, свое сообщение, которое вызвало у Элизабет неожиданную для Хаслера реакцию: «Заседания, встречи, митинги, собрания, конференции, совещания, сессии, конгрессы имеют общее с процессиями, молебнами, паломничествами, литургиями, их истинное значение часто не в них, а вовне, оно обнаруживается на площади перед папертью, в убежищах для паломников, в перерывах между заседаниями. За общими производственными трапезами, где разговариваешь с людьми, которых раньше знал лишь по имени, слышишь новые анекдоты, фольклор наших дней, где монополия профессиональной печати на информацию нарушается и дополняется отделом персональных известий, где кладутся первые кирпичи в фундамент библиотекарских браков и обнажаются оборотные стороны послужных медалей. Вот тут-то и может иной раз случиться, что невольно услышишь, как какой-нибудь выпивоха, справляя свою нужду, обратится к занятому тем же у соседнего писсуара коллеге, который, как известно, намерен перейти из области распространения литературы в область производства ее, и укажет ему на достойные воплощения конфликты: заведующий библиотекой, сорока лет, женатый, любит практикантку, за которой ухаживает практикант, двойной треугольник на фоне библиотечных дел, такого еще не бывало. И начинаются поиски брода — к Бродер. Избраннице. Конечно, начальнику отдела (отвечающему, кроме всего прочего, и за гигиену коллектива) нелегко напасть на след злостного отравителя колодцев; он должен проследить грязный ручеек, добраться до одного из его многочисленных источников, где он наконец натыкается на молодого вихрастого человека, который заявляет ему, что яд уже действует, а он лишь делает его видимым, пуская в ход краситель: красный цвет праздны — как он утверждает, зеленый цвет зависти — как предполагает начальник отдела. Крач — фамилия этого мерзавца, пытающегося всех уверить, что при запланированном вечернем посещении этой чудо-птицы из дома № 4 он нашел гнездо уже занятым этим Эрпом и через дверь услышал всякие двусмысленные разговоры. Красное или зеленое — вот в чем заключается или заключался вопрос». Вопрос для начальника отдела, который за время рассказа покрыл стол красными и белыми пря-

моугольниками и соединял их сейчас в сооружение, напоминающее поле для скачек с головокружительными препятствиями.

А реакция Элизабет?

Она поинтересовалась Крачем, спросила, действительно ли он поглядывает на Бродер и таким образом из-за Эрпа потерял сразу две надежды, попыталась войти в его положение, глаза ее увлажнились при мысли о боли, пережитой им у двери возлюбленной, она наверняка и совсем расплакалась бы, если бы звонок не прервал полет ее сочувственного воображения и не заставил умолкнуть на полуслове. Она подошла к телефону. Хаслер взглянул сначала на часы (было без двадцати три), потом на ее лицо. Неужели этой женщине были незнакомы злость, страх, ярость, ненависть? Или они слишком глубоко скрыты, чтобы выразиться мимически? Или она через все это уже прошла? Растерянности или страха тоже нельзя было обнаружить на ее лице, когда в трубке раздался незнакомый мужской голос: «Говорят из 120-го отделения народной полиции...»

9

Теперь он уже шел сюда почти как домой. Проход под аркой, темный двор, железные ступеньки крыльца подъезда В больше не пугали его, выключатель, слева около двери, он находил сразу, тикание светового автомата, запахи, обшарпанная лестница, на которую он взбегал через три ступеньки,— все это уже не было чужим, пес на втором этаже (в каждом подъезде была по меньшей мере одна собака! Было ли их в Альт-Шрадове больше?) приветствовал его лаем, когда он спешил мимо, окрашенная в небесно-голубой цвет дверь была знаком того, что половину высоты он уже одолел, третий этаж, на четвертом шатались перила, и вот он уже видел перед собой знак финиша — широкую блестящую латунную табличку «В. Бродер» и рядом с ней ручку звонка, который лишь жалко дребезжал и нуждался в подкреплении стуком, если включено радио. Но на сей раз это было не радио, а голос госпожи Вольф, перекрыть который никакой звонок не в силах, а стучать Карл не решился, так как сегодня ему казалось невозможным увидеть фрейлейн Бродер в присутствии третьего лица, он намеревался в первую же минуту сказать ей, чего хочет — решения,— а теперь это приходилось отложить не по собственной вине. Он охотно побродил бы еще часок по раскисшему снегу, полюбовался переливами светофоров у Ораниенбургских ворот или понаблюдал сквозь окно прачечной за бесшумным кружением простынь и сорочек (точно смотришь на реку), но выйти уже не мог, потому что Анита заперла за ним входную дверь. И он поднялся на полэтажа вверх, в темноту, к железной двери на чердак, за которой слышались шорохи, топтание, шуршание, постукивание, царапание, шаркание. Голуби? Или крысы? Он уселся на верхней ступеньке, поставил рядом с собой бутылки с водкой и стал прислушиваться к голосу госпожи Вольф, которая, вероятно, теперь уже стояла в дверях между комнатой и общей кухней и так быстро тараторила, словно торопилась куда-то, что вряд ли соответствовало действительности или о чем она забыла, рассказывая свои истории из времен голода и холода, ведь так приятно вспомнить об этом, когда печка дышит жаром и набит желудок. «Тогда я ведь была еще молодой, понимаешь ты, а муж мой с сорок второго в плену, на Западе, откуда он мог весточку подать, и вот я иной раз отправлялась погулять, но — ничего недозволенного, так, разок в Дом отечества, где на стене можно было увидеть Рейн с пароходами и замками, да вы этого сегодня и не знаете, понимаешь ты, и они устраивали там грозу с громом и молнией, как на самом деле, и темно было, и гребень Лорелей был из чистого золота, и как-то раз я захотела взять с собой домой одного из

солдат, которые туда заходили, Ангальтский вокзал был ведь недалеко, жалко же было солдатиков, но не только поэтому, понимаешь ты, а на мосту Монбижу вдруг объявили тревогу, и в бомбоубежище в парке мы были совсем одни, Эрвином его звали, как сейчас помню, и дураком в этих делах он не был, но тут меня как по сердцу ударило, что Макс дома совсем один; я, значит, рванула, а фельдфебель за мной, кругом грохот, он трясся, но все-таки побежал за мной на чердак, понимаешь ты, но когда потом спустился в подвал, то стал ругаться, и все было кончено, потому что он думал, что Макс это ребенок, ты, наверно, еще помнишь его, и с тех пор, понимаешь ты, я всегда брала его с собой в корзине с крышкой, и он всегда сидел тихонечко, даже у парикмахера, когда мне пришлось с мокрыми волосами и в бигуди бежать в подвал, и я так хохотала над Фрицем, которого побрили только наполовину, и в том, что с ним ничего не вышло, не Макс был виноват, а твоя мать, понимаешь ты, потому что, когда он снял мундир (просто звон стоял от орденов и разных там побрякушек), твоя мать вдруг выросла в дверях, вот здесь, раньше здесь еще не стоял шкаф, и понесла всякую чушь, пока не стало поздно и ему нужно было спешить на поезд для отпускников, и так я всегда оставалась верна своему мужу, но больше всего он обрадовался, что Макс еще жив, понимаешь ты, и ощипай их сразу, это уже полработы, когда они еще теплые, гость к тебе сегодня уже вряд ли придет, в это время он всегда ведь уже приходил, и не забывай о своем сердце, ты же не такая крепкая, как твоя мать, а такое подтачивает, хотя теперь и другие времена, замужем это замужем, а расхлебывать все потом ведь всегда приходится женщине, понимаешь ты, да, собственно, это мой долг перед твоей матерью: как-нибудь зайти и отчитать его, но теперь тут стоит шкаф, да ты и сама достаточно хитра, чтобы тебя не обвел вокруг пальца первый встречный краснобай, вначале все они обещают золотые горы, а потом ужас как спешат, а если еще стрясется что худое, они тут же испаряются в воздухе, как случилось у Пашке с ее сержантом...» И так далее, все дальше, вот уже в кухне, около самых дверей в комнату, потом в комнате, затем на лестничной площадке, палец на выключателе, так что световой автомат не может передохнуть, и, наконец, «Спокойной ночи!», и пожимание рук, и шаги, но не вниз, как следовало ожидать (четыре лестницы вниз, потом через двор, четыре лестницы вверх), а в направлении чердака (через него ближе, да и сухо), то есть прямо на Карла, который сидел в темноте, невидимый, но видящий, и со всей возможной мягкостью проговорил: «Не пугайтесь, пожалуйста!» — но тут же сам испугался крика Вольфши и разгневанного лица фрейлейн Бродер, когда она увидела его (и бутылки с водкой); лишь после его трехкратного запинающегося извинения она его впустила, движением головы указала на привычное кресло, села сама, не прерывала его возобновившихся извинений, но и не проявляла готовности признать ситуацию комичной, какой он натужно пытался ее изобразить, хранила молчание, всячески усложняла положение, затрудняла возможность задать решающий вопрос, но, с другой стороны, прямо-таки толкала на это, игнорируя все его попытки завязать беседу, то есть в совершенстве играла свою якобы презираемую ею роль женщины, позволила ему высказаться, чтобы в конечном счете, хотя она и видела, как мучительно это было для него, не ответить ни да ни нет и оставить в неизвестности, не дала уйти, заговорив сразу же на общие темы, когда так необходимо было говорить о себе. Может быть, ей доставляло удовольствие видеть его скулящим у своих ног, может быть, она и радовалась его посещению; она не прогнала его, а пригласила на жаркое из голубей. Он же настолько уже поддался ей, что принял игру, не настаивал на ответе, не ушел твердо и решительно, а, преодолевая отвращение, взял в руки одного из окровавленных, теплых, обезглавленных голубей, послушно ощипал, по-

могал жарить, был счастлив совместной трапезой и тем, что не была отвергнута его водка, на которую он возлагал надежды, ибо убеждал себя, что причиной ее уклонения от прямых ответов была скованность. Разумеется, алкоголь возымел свое действие: они стали говорить (а именно — о серьезной проблеме развлекательной литературы) так много и так торопливо, словно всю свою жизнь только и делали, что размышляли об этой проблеме, и это была их единственная возможность высказаться по поводу нее; после нескольких выпитых рюмок решение ему казалось уже не таким важным, лишь бы он всегда, всегда мог здесь сидеть и смотреть на нее и слушать ее; она непрестанно поглаживала брови, вставляла (маскируя повторы обилием иностранных слов) одно удачное выражение за другим, наконец не вынесла сидячего положения, подошла, разговаривая, слушая, разговаривая, к печке, чтобы погреть руки, вернулась к креслу, когда Карл захотел погреть спину, снова зашагала по комнате, мягко, бесшумно, разговаривая, когда он опять сел, села снова, когда он опять подошел к печке, встала, обняла печь, приложила щеку, левую щеку, к гладкому коричневому кафелю, не двинулась с места, когда Карл снова подошел и тоже приложил щеку, правую, к печке, чтобы погреться, говорила, говорила, казалось, не замечала всех передвижений по комнате (словно приберегала результат своих размышлений к этому моменту): «Действенной развлекательность становится, вероятно, потому, что все не так уж развлекательно!» — и тут Карл поднял свою руку, левую, коснулся указательным пальцем слегка, совсем слегка кожи над ее пуловером, там, где шея переходит в плечо, правое, сказал при этом: «Совершенно точно!» — и привел примеры из трижды — нет, десятикратно проклятых военных юморесок старо- и новогерманского склада, неотъемлемой чертой которых была лживость и бессодержательность, в то время как она (щекой все еще прижимаясь к кафелю) на секунду закрыла глаза, на три секунды замерла (когда кончик его пальца скользнул выше, вдоль шеи и остановился на затылке, у самых волос), ей потребовалось по крайней мере еще десять секунд, прежде чем вспомнить что-нибудь подходящее о юморе Томаса Манна. Но этого он уже не дослушал, ибо тут был уже ее рот, и ее волосы, и ее грудь.

И ни о чем другом он больше не думал, только потом что-то о блаженстве и трех пунктах (пункт первый: пролог, пункт второй: действие, пункт третий: эпилог). Но не так же было дело! Оба ведь знали, к чему приведет алкоголь; для обоих игра в пятнашки вокруг печки заключала в себе что-то гротескное (как гротескна война: взрослые люди, подкарауливающие друг друга, как герои Карла Мая, ненавидящие друг друга, даже не имея представления один о другом; или же деньги — определяющие существование бумажки; как разумна, достойна человека цель — избавиться от войн и денег!), но оба тем не менее должны были играть в эту игру, она — потому что не могла же она сказать: теперь я жду ваших объятий, правда, я не люблю вас, но алкоголь выпустил на свободу то, что я обычно держу в узде; он — потому что слишком велик был страх сделать что-либо, что вызвало бы недовольство (еще не забыта была неудавшаяся попытка поцелуя); он должен был участвовать в этой немножко унизительной, но очень увлекательной игре, дабы быть уверенным, что его палец на ее коже желанен. А когда его палец коснулся ее кожи, она подумала: боже мой, это больше, чем было когда-либо, и испугалась за свою независимость, он же почувствовал свою власть над ней, но не обрадовался этому, ибо совсем не чувственности он теперь искал. Однако он захотел извлечь из нее пользу. И потому его палец заскользил вверх по ее шее и растрепал ее волосы, и потому он целовал, и обнимал, и ласкал, и увлекал ее к кровати, и лежал рядом с ней, и прижимал ее к себе, и дал ей почувствовать свое желание, желал ее действительно, но понимал, что суть для него уже не в ее губах, ее груди,

ее лоне, не в его вожделении, а в бóльшем, он надеялся на то, что их общая страсть, когда она разрастется, превратится в любовь. И ошибался. Ибо чем настойчивее становилось его желание, тем быстрее она остывала. Прикосновение его пальца опьянило ее, решительное же наступление отрезвило. Теперь он был таким, как все. Каждый раз, когда он хотел быть таким, каким, по его представлению, должен быть мужчина, она внутренне отдалялась от него, превращалась как бы в зрительницу, посмеивающуюся над мужскими повадками, с болью, с разочарованием, но и немножко так, как посмеиваются над умничающими детьми. Неужели он действительно воображает, будто сможет овладеть ею вопреки ее желанию? Она задержала руку, пробирающуюся под ее пуловер, и сказала спокойным голосом: «Который теперь час?» Это не помогло, и она добавила резче: «Пожалуйста, оставим это!» Но он не оставил своих попыток, удвоил силы, причинил боль: потому что не мог отделаться от мысли, будто женщины любят, чтобы их брали силой, потому что он (в последний раз) желал импонировать ей, потому что не хотел понять, что шанс уже упущен, короче, потому что он ее не знал. Его страсть была теперь лишь притворством, его сила — силой отчаяния. А перед отчаянием она устоять не могла. И потому она больше не сопротивлялась, лежала тихо, неподвижно, молча. Тогда он отступил. Они лежали рядом, не касаясь друг друга. Но она считала, что осторожность не помешает (и по отношению к себе). Поэтому она заговорила. «Как все же сомнительны все описания любви и сексуальной жизни»,— начала она издалека и общими фразами, как всегда, когда собиралась возвестить нечто субъективное, и предоставила Эрпу время привести в нормальный ритм сердце и легкие. Ее литературный язык (не выдающий ни ее происхождения, ни среды, ни берлинского воспитания) был и в этом случае безупречен, как всегда, без диалектных примесей, правильный, ясный, без ошибок, очищенный, полированный — искусно взращенный плод, верно, но почему бы и нет? Она высоко ценила искусство и культуру и считала в человеке ценным прежде всего то, что подымало его над природой. (У Эрпа было с ней немало споров по этому поводу, и однажды у нее вырвалось замечание, что любой глиняный черепок в музее для нее дороже соловьев, водяных лилий или горных пейзажей.) Кое-что из этого прозвучало и в том, что она в виде вступления сказала о литературе, любви и чувственности. «Одни удовлетворяются иррационализмом любви, делают вид, будто не замечают другую, не столь однозначно благородную сторону этого явления и пытаются с помощью знакомых условностей — взглядов, слов, жестов — уверить нас: вот двое любят друг друга и могли бы, если бы им никто не помешал, быть беспроблемно счастливыми. Другие ограничиваются инстинктами, которые они либо выдают за отвратительные — какая же скотина человек! — либо превозносят как наивысшее наслаждение». Она всегда строила маленькое теоретическое сооружение вокруг того, что хотела сказать, заводила речь издалека, но уверенно двигалась к своей цели, в данном случае сначала к апостолам чувственных радостей, к новым грекам, людям ренессанса (великанам также и по характеру, но прежде всего по страсти, то есть сексвеликанам), которые хотели освободить, наконец, чувственность и которым после полуночи в подъезде Б был задан вопрос: от чего, собственно, освободить? От чрезмерной щепетильности? А для кого она на самом деле еще служит оковами? Может быть, от культуры, от свойственной людям силы, способной обуздать чувственность? Неужто кричать «ура», когда прорываются плотины и освобожденный поток заливает поля и селения? Не освобождение же от морали, то есть от общественных норм, имеется в виду, когда восхваляется освобожденная чувственность как нечто соответствующее новому обществу! Возникает подозрение, и фрейлейн Бродер высказала его, что под оковами подразуме-

валась реальность или, точнее говоря, реализм. От этого желательно, даже просто необходимо освободиться, если хочешь ликующе провозглашать то, что является фикцией, но в то же время составляет предел мечтаний для многих. Ведь чисто постельных радостей в действительности не существует, и уж менее всего для слегка ожиревших поэтов, которые раз в неделю спят со своими стройными, как тополь, возлюбленными, а потом тщательно элиминируют, удаляют из стиха все, что нарушает картину: ложь для супруги, страх перед ребенком и скандалами, шестидневное одиночество девушки, вечное уклонение от разговора относительно обещанного вначале развода, не говоря уж о возможном недостатке способности к плотскому наслаждению. Они так стараются все это забыть, но удается им это лишь потом — в стихах. Ей это было понятно, она и сама была способна на все это (исключая стихотворство), но только в воспоминаниях, которые всегда питают иллюзии, связанные с будущим,— и тут она наконец добралась до того, что хотела сказать в этом несколько необычном горизонтальном положении. Как-нибудь в ближайшие дни наступит минута, когда она подумает: в следующий раз все позабудется, в том числе и то безобразное, что неизбежно. Но, к счастью, она не сможет пересилить себя и в следующий раз. «Ибо моя чувственность не свободна — от тоски по постоянству, например, от притязаний на монополию. Я слишком высокого мнения о себе, чтобы быть вашей любовницей. Нет, пожалуйста, не говорите пока ничего, я еще не кончила. В начале этого вечера вы говорили о любви, немножко легкомысленно, мне кажется; отвечать на это я воздержусь. Я не знаю ответа, и все во мне восстает против поисков его, может быть, потому, что я боюсь ответственности; ибо нести ее придется мне, если вы и дальше будете поддаваться лишь власти чувств. Сварить кофе?» Но шеф не хотел кофе. Он не хотел больше ни поцелуев, ни решающих слов. И он не хотел больше импонировать, потому и не вскочил, чтобы с героическим жестом вымолвить слова последнего прощания, что выразило бы как его муку, так и присущую мужчине силу ее преодоления, не намекнул, мрачно улыбаясь, что прыжок из окна на этом этаже сделал бы его навсегда свободным, не потребовал даже сигареты, а начал дискутировать, а именно — по поводу первой общей части ее рассуждений. Ее склонность к обобщениям в данном случае, пожалуй, увела ее слишком далеко, конкретно аргументировать ее утверждения было бы трудновато, кого же к каким категориям отнести, пусть она назовет имена и прежде всего пусть станет на историческую точку зрения, это ведь ее область — рассмотрение современности и в историческом аспекте, ведь, в конце концов, несколькими сотнями метров дальше проходит нечто вроде географической границы между двумя эпохами; ему, правда, тоже претят стихоплетствующие сексуальные бахвалы, в еще большей мере — ярые проповедники морали, которым легко трубить во все трубы, потому что для них все кончено, но больше всего ему претят колумбы, которые всегда заново открывают то, что как раз требуется, время от времени также и мораль, что же касается того, что чрезмерной щепетильности теперь не бывает, то такой взгляд на вещи кажется ему смехотворным,— однако он не засмеялся, а, наоборот, стал чрезвычайно серьезным, как и она; отвечая ему, защищаясь, она даже стала резкой, когда он со словами «Но вы же говорили...» прервал ее, неточно процитировал ее слова и, не обращая внимания на ее протесты, что-де для нее дело в правде, а не в морали, продолжал говорить, указал (справедливо) на противоречивость ее аргументов, на что она (справедливо) возразила, а он нашел почти подходящую цитату из Маркса, которая заставила ее со стоном отчаяния объяснить ему, что при помощи цитат можно доказать все что угодно, включая обратное, и в подтверждение этого произнести импровизированную речь о неполноценности женщины, опирающуюся не на Магомета, Шопенгау-

эра или Ницше, а на всегда и повсеместно почитаемого Гете (слова которого: «Приязни бабские и неприязни мы можем одобрить без всякой боязни; зато рассуждения их, да и мнения ввергают порою нас в изумление» она из злости знала наизусть), что все-таки заставило его засмеяться, однако (удивительным образом) тоже вызвало в нем дух противоречия, хотя обычно он сам при каждом удобном случае объявлял войну цитатничеству. Итак, он возражал ей, а она ему, и он ей, и оба выглядели очень сердитыми и, наверное, заорали бы друг на друга, будь они уже женаты. И все это ночью, на ее девичьей кровати, с алкоголем в крови! Странная пара.

Пламень и вода.

Она, естественно, вода! Уж так повелось, что выдержку женщин мужчины называют холодностью, самоуважение — расчетом, ибо в таких сферах тон задают они, в глубине своего широкого сердца убежденные, что законы моногамии действительны только для женщин. Мы, божьей милостью мужчины, эротически опытные, способные также и на душевную теплоту, сим объявляем, что наша программа предусматривает: сделать девицу сожительницей, морганатической супругой, побочной женой, наложницей, временной подругой, возлюбленной, а это значит, что при отсутствии сексуальной холодности с ее стороны ничто не стоит на пути к совместным постельным радостям! А девушки, не желающие прослыть несовременными, жеманными, никудышными, учитывают это, слушаются не своей женской мудрости, повелевающей им (чтобы сохранить возможность нарастания чувств) не начинать с того, что должно стать апогеем, чересчур облегчают мужчине дело, ничего от него не требуют, не подвергают его сомнению, послушно ложатся, с готовностью отдаются его величеству, дабы не разочаровать его, и как раз этим-то и разочаровывают, так как становятся дешевками, сами себя превращают в уцененный товар, вместо того чтобы взять пример с фрейлейн Бродер, чье сопротивление не охладило любовь, а заставило ее разгореться еще больше и из Его Величества Каролуса Магнуса сделало гораздо более симпатичного Карла Эрпа, который, познав границу своей власти, вынужден был признать de facto и de jure соседнего суверена и проявить к нему, наконец, должное уважение.

Они расстались без единого слова примирения!

Разошлись они без компромисса, но с уверенностью, что им еще многое нужно сказать друг другу. Пусть даже в споре.

Это должно было бы заставить его задуматься.

Он и задумался, но пришел к обнадеживающим выводам. Вот это-то и усложняет оценку всей истории: она была находкой — для нее, для него, для всех (может быть — может быть! — исключая детей). Он проснулся от многолетней летаргии. Когда он спускался по лестнице и шел через заснеженный двор, у него возникло ощущение, что ему по плечу те решения, которые ему предстояло принять, все решения, не только те, что непосредственно связаны с фрейлейн Бродер, Элизабет и детьми, но и относящиеся к библиотеке, которую вдруг втянул в себя вихрь его мыслей, втянул попутно, не отклоняясь в сторону, ибо Бродер и библиотека были неразрывны, как Элизабет и сад, ведь ясно, что если с одной он постоянно разговаривал о детях, подстригании изгородей и починке крыши, то вторая будет с ним спорить о всех ранее погребенных проектах, которые он теперь намеревался воскресить: филиал библиотеки в парке, музыкальный раздел, координация с заводскими библиотеками, зал для лекций. Не алкоголь возбудил в нем такую готовность к решениям, а поражение, таившее в себе, казалось, будущие победы, спор с фрейлейн (это, по существу незначительное, разногласие без ясных позиций, которое, возникнув из мужской и в то же время детской жажды мести, должно было завуалировать тягостность ситуации, но которое показало ему

вместе с тем, что он еще умеет это — спорить с равными, что стоит отказаться от удобной позиции непререкаемого авторитета), сознание, что серьезные оборонительные действия с ее стороны не в состоянии убить его чувства. Вот удивится Хаслер, думал он, шагая под оглушительные звуки, вырывавшиеся из транзистора, с которым в открытых дверях стоял парень, до неузнаваемости похожий на двух других рядом с ним, потому что одинаковы были их прически, и куртки, и брюки, и ритмические движения, и прищелкивания, какими они подзадоривали Аниту, с перевитыми руками и согнутыми коленями приводившую в сотрясение зад и роскошный бюст и продолжавшую сотрясаться, когда он проходил мимо и попросил молодых людей пропустить его, а они загородили проход, громче настроили радио и еще громче стали прищелкивать, пока он не уступил своему стремлению к активности и попытался раздвинуть их. Он испытывал (как лишь иногда во сне) большое желание применить свои, может быть, еще не забытые с юных лет боксерские приемы, но не успел, потому что парни уже схватили его, справа, слева, за запястье, за плечо, выволокли на улицу и по всем полицейским правилам повели в участок, Анита за ними, указывая дорогу и тараторя, перемешивая объяснения, успокоения и угрозы, по безлюдным белым улицам, с чьими историческими достопримечательностями (еврейская богадельня, памятник Шамиссо, у которого все еще отсутствовал павший жертвой второй мировой войны нос, развалины синагоги, дом, где жил Гумбольдт, могила Гегеля, дом Борзига) он познакомится лишь позднее и вскоре их опять позабудет. Они отпустили его только в обшарпанном помещении, где усталый народный полицейский охотно согласился подробно заняться этим случаем, докладываемым ему столь многообещающими устами.

Согласно книге дежурств это случилось в час тридцать две минуты.

И еще в течение целого часа Эрп тщетно пытался найти подходящую для себя роль.

Но ведь он дал себе зарок быть только самим собою!

Да, перед фрейлейн Бродер он не играл больше никаких ролей, здесь же он снова считал это необходимым, ибо его Я находилось совершенно в другом месте, и для полицейского участка ему нужно было нечто вроде наместника, которому он мог давать указания, но они почему-то получались какими-то непоследовательными. Резкий протест сменился пониманием положения полицейского, который обязан был сначала выслушать до конца одну сторону; возмущение, выразившееся в заявлении о незаконном лишении свободы, уступило место трудно дававшимся усилиям вынести всю ложь, которую Анита выплескивала на него и его боготворимую; выражение отчаяния на лице, с покачиванием головой, при робкой попытке прервать поток женских слов («Послушайте, пожалуйста, товарищ младший лейтенант...») перешло в улыбку покорности, после чего он подпер усталую голову рукой и окончательно принял положение выжидающего. Исповедуемая газетами мысль, что позиция стороннего созерцателя недостаточна, здесь блестяще подтвердилась: Эрп не произвел на полицейского никакого впечатления, так как сердцем он был не здесь. Но в этом его не следует упрекать, ибо нельзя одновременно быть сердцем и тут, и там, да и в конце концов это связано с особенностями различных характеров; иной больше склонен как раз к созерцательности, в том числе и по отношению к собственному Я, и никто не может перепрыгнуть через собственную тень, даже если и покажется, что это удалось тем, кто не обладает больше тенью, поскольку они продали ее некоему серому господину.

Анита хорошо подготовила свою месть. Одежда ее была скромной, но подчеркивающей формы, речь проста и искренна, обвинение веско и продуманно. Она многому научилась у Пашке: смешанному с едва-едва ощутимой почтительностью к должностному лицу тону чистосер-

дечия, стремлению к деловитости, через неравные промежутки времени захлестываемой моральным негодованием, подчеркиванию своей некомпетентности; и к этому она добавляла то, чего не хватало ее мнимому отцу: соблазнительную фигуру и невинность, которые потому так трогали, что противоречили друг другу, создавали некое несоответствие, о невозможности ликвидировать которое тут же, на месте, сожалел бы каждый мужчина (а, значит, и народный полицейский). Итак, эта перезрелая нетронутость, возвращаясь с веселого вечера в молодежном клубе, увидела, как этот человек, член партии (взгляд на отворот пиджака со значком), женатый (взгляд на правую руку), шатаясь («сильно накачавшись»), направился из дома к машине, сел за руль, включил мотор и поехал бы, если бы трое друзей детства и она решительно не схватили его («сцапали за шиворот») и не привели сюда. Может быть, они не имели на это право. Но сидеть в пьяном виде за рулем («хорошенький душок от него, верно?») — это ли не преступление? И разве не обязан каждый гражданин, в том числе и молодой, предотвращать преступления? «Но дело-то не только в этом!» Тут еще другое, о чем девушке неловко говорить, хотя бы потому, что она не знает подходящих слов, приличных, официально употребительных, а только такие, что слышит дома и на улице, но сказать нужно, полиция уж поймет. Человек этот возвращался от девицы, от барышни, женщины, или как тут сказать, она живет одна, подъезд Б, у Вольфов, и принимает не только этого мужчину, в то время как бедные жены, наверно, дома льют слезы, но до этого полиции нет дела, нарушение супружеской верности ведь не карается законом. Или все-таки?.. Понять этого Анита не может, ведь браки заключает государство, оно и дает развод, если нужно, должно же оно и охранять браки, но это ее и жителей дома не касается, а речь идет об этой грязной твари, то есть о чести дома и улицы, запятнанной в прошлом и еще страдающей от этого, тут уж каждый должен быть бдительным, даже если точно и не знаешь что-то определенное, сигнал никогда не помешает; а если он окажется неправильным—тем лучше. («В таком случае считайте, что я ничего не говорила».) Вот так было дело, и пусть-ка этот человек попробует что-нибудь отрицать; машина все еще стоит там, занесенная снегом, конечно, даже стекла он не протер сначала. Анита скромно отступила на шаг, стала между своими безмолвными спутниками, а рот ее был прелестен даже закрытым, так что порицание за чрезмерное усердие прозвучало очень мягко, и жалкие попытки Карла что-то опровергнуть не возымели никакого действия. То, что о наказании речи не могло быть, поскольку человек, в конце концов, не поехал на машине, Анита понимала; ей было достаточно, что дело запротоколировано. Бродер — фамилия той дамы, ее — Пашке, вот удостоверение! «А теперь — марш в постель! Спокойной ночи!» Анита сделала даже нечто вроде легкого книксена, и тут на ее долю достался еще один неожиданный триумф. У Карла не было при себе удостоверения. Оно осталось в портфеле, забытом им в библиотеке, где его задержала Анита в девятнадцать часов.

В то время как наместник Эрпа внешне реагировал на происходящее, сам он все еще лежал на кровати фрейлейн Бродер и продолжал дискуссию, которая становилась для них обоих все более значительной. Поскольку его аргументы теперь никто не мог опровергнуть, он счел их слишком меткими и драгоценными, чтобы оставить только в голове. И потому он собрал их воедино и вместо того, чтобы спать, через несколько часов (после разговора с Элизабет) изложил в письме, письме № 2, снабженном, правда, датой и подписью, но тоже без обращения и состоявшем лишь из обрывков мыслей, которые он не упорядочил, потому что они не поддавались упорядочению. Выглядело все это так:

«Величайшие события в жизни кратки и однократны: рождение и

смерть. Не означает ли страх перед краткостью и однократностью любви страха перед величием?

Она любит реальности? Опьянение — одна из них, как и отрезвление. Мне кажется, она не любит их, она их боится.

Одно лишь желание неосуществимо: чтобы все осталось таким, как оно есть. Сожаления достоин тот, кто не может видеть накрытый стол, не думая при этом об объедках, грязных тарелках, обглоданных костях и пятнах на скатерти.

Очень редко встречаешь человека, с которым стоит спорить.

Жизнь в собственном, строго-реальном смысле может ведь быть только одним: сознательным существованием в сегодняшнем дне. Живет ли вообще тот, кто не может этого: стоять на грани прошлого и будущего, неустрашимо, без головокружения, забыв об опыте и предвидении?

Бывает ли такое: женщина, слишком умная для любви?

Вернейшее средство против большой любви — поддаваться малейшему искушению.

Событие: когда он осознает, что то, что она говорит, ему было бы интересно даже и в том случае, если бы она не была женщиной.

Правда о спящей красавице: она разбудила принца, который ради собственного спокойствия насадил живую изгородь между собою и миром».

Все это он придумал во время обвинительной речи Аниты, и даже гораздо больше, но кое-что не включил в письмо, например, следующее: каждая попытка совращения построена на лжи. Вероятно, фрейлейн Бродер перевела бы ложь словом «иллюзия» и нашла бы в этом подтверждение своего тезиса о несовершенстве наслаждения, а может быть (что было бы еще хуже), и угадала бы, о чем он при этом думал: об Элизабет. То, что ее имя никогда не произносилось ими, было ложью, ложью посредством умышленного умалчивания. На протяжении их ночного разговора почти не было ни минуты, когда он не вспоминал бы женщину, с которой прожил четырнадцать лет,— для сравнения, доказательства или опровержения.

Он мог сказать о ней только хорошее и чувствовал, что момент для этого был неподходящий.

Это был лучший из всех моментов. Впоследствии его объяснения почти не тормозили ход событий. Он никогда не клеветал на Элизабет, никогда не приписывал ей вины, которой не было за ней, из честности, конечно, но и из тактических соображений (направленных против себя же). Однако в этот вечер главной причиной его умолчания было то, что ее имя стало бы барьером между ним и фрейлейн Бродер. До тех пор, пока он еще мог надеяться на победу, он должен был низвести у нее до минимума чувство неправоты, он не имел права наделять индивидуальными чертами обманутую, он должен был дать обманывающей возможность представлять себе домашнего дракона, мещанку, холодную, как рыба, или же кидающуюся на мужчин, обманывать которую было бы только актом справедливости. И он знал: имя его жены в устах любимой было бы лучшей защитой против него.

А умная девица этого и не подозревала? Почему она никогда не спрашивала о жене, ничего не хотела узнать о детях? Может быть, такая надежная защита ей была вовсе не по душе?

Дальше подступов к этой мысли Эрп не пошел, потому что испуг, вызванный отсутствием документов, вернул его в дежурное помещение и заставил давать объяснения, которые полицейский, выпроводив Аниту и парней, выслушивал, прохаживаясь взад и вперед, и как будто даже верил им, вообще стал доверчивее, предложил Эрпу сигарету, потом сварил кофе и подсел к нему. Он был примерно одного с Эрпом возраста,

богатырь с глазами ребенка и голосом учителя: сперва он указал Эрпу на последствия алкоголя для автотранспорта, показал фотоснимки (радиаторы, врезавшиеся в витрины, детские трупы, расплющенные крылья, раздавленные машины), цитировал параграфы, приводил судебные решения, умудрился найти переход к гоночному спорту, за кофе говорил о Браухиче, Карачиоле, Штуке, называл количество кругов и рекордное время, но вместе с тем незаметно, исподволь, почти смущенно критиковал аморальность Эрпа, печально качал головой: ведь он член партии, к тому же на руководящей работе, и без документов! Что с ним делать? Позвонить кому-нибудь из отдела культуры? В самом деле? Ладно, Хаслеру, его номер был в телефонной книге. Неужто у него такой крепкий сон? Почему, собственно, автогонки сегодня уже не так популярны? Но кто в былые времена знал фамилии велосипедных гонщиков? И напиваться не должны ни те, ни другие, а тем более заводить кого-то на стороне. Нет, там никто не отвечает. Итак, все-таки жене! Но уже половина третьего! Что бы сказал Эрп, если бы его жены в это время еще не было дома? Если он хочет послушать совет: правда — всегда самое лучшее! Покаяться и обещать исправиться! Что уж его может привлекать в такой женщине! Что, она не такая? Ну ладно, и тем не менее или более того: еще хуже, гораздо хуже. Подобные истории на работе — это же пятно. Стоит ему представить себе, что его начальник путается с одной из машинисток, фу ты черт! Любовь? На это младший лейтенант не нашелся что ответить, сделал торжественное лицо и набрал номер, написанный для него Эрпом, только до предпоследней цифры, потом опять положил трубку. «А что же будет дальше?»

Этот народный полицейский, имя которого неизвестно, имел определенное, хотя и не решающее влияние на дальнейший ход событий, однако не в том смысле, который был бы желателен: а именно, что отстаиваемый им этический принцип восторжествовал над аморальностью. Наоборот: указательный палец показывал, правда, верное направление, но это была лишь начертанная в воздухе линия, а не путь следования, так что бездну обойти не удалось, более того — они скорее приблизились к ней. Призывы этого прямодушного, непредвзятого человека к честности, правдивости, прямоте подтолкнули Карла к опрометчивым решениям. Кроме того, он убедился, что описанию его ночных переживаний не поверили. «Скажите мне еще, что вы до глубокой ночи дискутировали о книгах!» — рассердился младший лейтенант; возмущенный, он набрал, наконец, номер Эрпа.

(Окончание следует)

НИЯЗ ХАЙДАР

ЛЕНИН С НАМИ

Он здесь. Он бродит среди нас, в толпе.
Как жизни, нет конца его тропе.
Его судьба — большой любви порыв,
он жил, себя народу подарив.
Идем, и поступь смелая легка,
У нас над головой его рука.
Идем. Над мавзолеем даль светла,
и прям наш путь, как звонкая стрела.

Как манит птиц сиянье вешнего луча,
так нас влечет улыбка Ильича.
Он — вздох рассвета, он — заря сама,
его не победит ночная тьма.
Чем гуще мрак, чем тяжелее гнет,
тем ярче над землей огонь блеснет.
Покинув дом, от родины вдали,
он свет зажег для сыновей земли.
В Россию в грозный час вернулся он,
и красный флаг спалил прогнивший трон.
Он спас птенцов, как яростный орел,
и из огня весенний сад расцвел.
Мессией Ленин был, а не Христос:
он осушил поток кровавых слез,
он алчным пушкам смолкнуть приказал,
и умер гром, и захлебнулся залп.
Он человека приравнял к богам
и землю положил к его ногам.
Он — пульс труда, ручей среди зимы,
горячий луч, пробивший дверь тюрьмы.
Он шахматист: его доска — небесный свод,
движенье звезд — неповторимый ход.
Индиец и араб — его друзья,
и негры для него как сыновья,
и с каждым днем растет его семья!

Перевод с урду НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

ГОЛАМ КУДДУС

ЛЕНИН

Пятнал сердца людей братоубийства грех,
и человек один, подобно урагану,
к отмщению призвал и отомстил за всех,
и пламенный призыв проник в другие страны,

где кровь, как спорый дождь, кропила плоть земли.
В испуге мир молчал, толпа слепцов молчала,
но Ленин видел, знал! И в нем пожар зажгли
любовь и ненависть — великие начала.

И братья мы теперь, мы кровная родня,
и путь у нас один, одно стремленье к высям.
Мы помним, что Ильич — как искру из кремня —
горячую любовь из ненависти высек.
Над Индией — заря, лучи в прозрачной сини...
Дорогу мы нашли и вышли из пустыни.

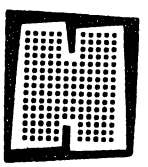
Перевод с бенгали НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

МЛАДЕН ОЛЯЧА

МОЯ МАТЬ

РАССКАЗ

Перевод с сербохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО



а Козаре в маленькой деревеньке живет старушка. Ей уже за семьдесят. Щуплая, седая, с тонкими высохшими руками, с печальными зеленоватыми глазами. Это — моя мать.

По крайней мере раз в год мы встречаемся, и, увидев меня, плача от радости, она восклицает: «Вот он, мой Младенче!» Я для нее все еще Младенче, хоть мне и перевалило за тридцать, все еще Младенче, ее сынок, что некогда в далеком, далеком детстве ходил грязный, с непокрытой кудлатой черной головой, в белой сатиновой рубашке до колен, из-под которой выглядывали ноги, сплошь в ссадинах и в навозе: первые опанки * я надел в двенадцать лет, а до тех пор бегал босиком. Теперь я ношу светлые туфли и нарядный костюм, о которых кое-кто из земляков может только мечтать, но моя мать по-прежнему относится к своему Младенче как к маленькому...

Мы разговариваем обо всем: о посевах, дожде, о боге, молниях, о соседях, праздниках, нечистой силе, о свадьбах, ссорах, кулачных боях и деревенских сплетнях. У нее всегда найдется, что мне сказать — хорошее или плохое, а иногда и то и другое вместе. Она говорит тихо, склонив голову, всегда скромная, справедливая, то веселая, то печальная. Я в основном слушаю. Улыбаюсь, киваю головой, а если с чем-то не соглашаюсь — молчу, потому что не могу учить ее. Да она и сама чувствует, когда я думаю по-другому, угадывает по выражению моего лица, по глазам и, улыбаясь, машет рукой в знак примирения — так люди, умудренные опытом, уходят от спора с несмышлеными детьми...

Мы разговариваем целыми часами, даже целыми днями, если я остаюсь подольше: первый день, второй, третий, четвертый. Вспоминаем и о моем убогом детстве, когда с кнутом в руках я отправлялся пасти овец и коров, а они забирались в чужую кукурузу; мать заставала меня спящим и бегала за мной с прутом по полю, обзывая лентяем и дуралеем. Вспоминаем мое учение в Приедоре, гимназические годы, которые я прожил голодный, без гроша в кармане, ходил в батиных ботинках на

* Обувь югославских крестьян из сыромятной кожи.

резиновой подошве (пятьдесят девять динаров за пару), тщетно мечтая купить в кондитерской у Чамила на полдинара хлеба и на полдинара халвы. Денег не было ни на книги, ни на дорогу, ни на жилье, а тем более на белую булку за полтора динара и белую халву: мне приходилось выносить насмешки хозяйки, бегать по вагонам от кондукторов и опускать глаза, проходя мимо витрин, битком набитых фунтиками с конфетами и шоколадом. Потом вспоминаем о войне и восстании на Козаре, о Козаре во время немецкого наступления 1942 года, когда мы ушли в лес. Здесь погибла наша Джуя, моя сестра (когда я называю ее имя, мать начинает плакать). Здесь, в лесной чаще под открытым небом невестка Босилька родила своего второго ребенка, убежденная в том, что пришел конец — немцы наседали со всех сторон, а с неба лил дождь, он лил, лил днем и ночью, к тому же днем еще одолевали немецкие самолеты и бомбы. А когда мы пробивались из окружения, когда больше сорока дней не имели ни крыши над головой, ни хлеба, ни огня, обречены были на смерть, произошел такой случай: во время ночного боя моя мать вместе с невесткой, которая рожала в телеге, выбиралась из окружения. И тут потерялась телушка. Мать не могла смириться с этой потерей. На рассвете она вернулась обратно к колючей проволоке искать свою телку и нашла ее у самых окопов. Немцы заметили мать и открыли пальбу, пули ломали ветки рядом с ней и рыли землю у нее под ногами, а она упрямо тянула за веревку свою маленькую Буренку. Мать спокойно признавалась, что в ту минуту жизнь ее висела на волоске, но без телушки она тоже жить не могла.

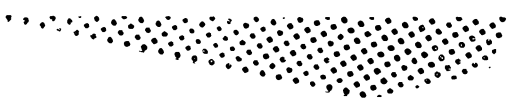
И еще она рассказывает о том, как во время войны тысячи бойцов из разных бригад — козарчане, банийцы, жители Грмеча и Дрвара — находили приют у нее в доме. Они всегда появлялись внезапно и среди бела дня и глубокой ночью: стучат в ворота и просят открыть, а другие даже не просят — шумят, ругаются, требуют хлеба, воды, требуют, чтобы их пустили переночевать на постели или возле теплой печки. Она встанет, зажжет крохотную керосиновую лампочку с закопченным стеклом, вытащит горшок с остатками ужина — горстью вареной фасоли или кислой капустой, с кусочком сала или мяса, а иногда и без них, попотчует горячим, а если покажется мало, зажарит яичницу. И пока она хлопочет у печки, думы ее со мной, ее Младенче, с ее слабым и маленьким сыном, скитающимся где-то по боснийским горам, по ущельям и оврагам, с винтовкой, которая длиннее его самого,— может быть, сын голоден, гол и бос и наверняка завшивел, отчего все его тело горит огнем; потом она представляет себе, как ее Младенче кормит какая-нибудь другая, неизвестная ей старая женщина...

Мать рассказывает, как однажды она оплакала меня, прослышав о том, будто я погиб: поднялась на гору, что над домом, и запричитала во весь голос, так, что по всему селу разнеслось: «Ой, Младенче, яблочко мое зеленое!» Но вскоре пришла весть, что я жив и нахожусь где-то в Грмече, и она сразу пошла меня искать, сотню километров по лесам и селам пешком прошла, пока не обняла меня. Я помню, как это было. Помню мглу, из которой неожиданно появилось ее встревоженное и счастливое лицо в рамке черного платка. Она заплакала, а я хотел держаться героем. Я пытался сдержать слезы, но они катились помимо моей воли...

А когда идем от дома к станции, мы молчим. Я обычно иду впереди, мать — за мной. До станции от деревни восемь километров, неровная дорога сначала ведет по склону, потом по Благайской косе вдоль речушки, потом через буковую и дубовую рощицу. Я чувствую, что мать не отрывает от меня глаз, чувствую и не смею повернуться — боюсь ее слез. И думаю, как тяжелы разлуки, а тяжелее всего, разлука с матерью здесь, на железнодорожной станции у подножия Козары.

Мы приходим в Благай. Я покупаю билет. Мы выходим на перрон. Она молча глядит на меня. У меня разрывается сердце. Я отчаянно призываю свое детство вернуться хотя бы на мгновенье, но тут раздается паровозный гудок. Мать становится строже, пристально на меня смотрит. Я отвечаю ей взглядом, и она грустно улыбается, глотая слезы. Как в лихорадке, я жду минуты, когда смогу подняться в вагон и исчезнуть.

Поезд трогается, грохочет паровоз. Я решаюсь высунуть голову в окно. Вижу черный платок, обрамляющий высохшее лицо матери. Она стоит, замерев на одном месте, опустив руки, взглядом провожая вагоны. Паровоз пыхтит, вагоны стучат. Она неподвижно стоит на перроне, стоит и смотрит. Мать долго так простоит, не сводя глаз с последнего вагона, а когда поезд исчезнет за горою, все будет смотреть в пустынную даль — не покажется ли еще раз лицо ее Младенче, но это невозможно, поезд ушел, и она, тихо вздохнув, сделает первый нерешительный шаг и пойдет вниз, к нашей деревне, теперь уже не скрывая своих слез...



ТАМАРА ХОВИ

Стремления маленькой мошки

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

От переводчика

Имя Тамары Хови неизвестно советскому читателю. Зато известно у нас в стране имя Карла Хови, ее отца,— его книга «Львенок», посвященная Джону Риду, была недавно издана в Москве; о нем в связи с публикацией материалов, относящихся к первым годам революции, не раз упоминалось на страницах нашего журнала.

Собственно, благодаря «Львенку» мы и познакомились с Тамарой Хови, которая лет пять тому назад принесла советским издателям, находившимся тогда в Париже, рукопись своего отца, редактора журнала «Метрополитэн», где в начале двадцатых годов сотрудничал Джон Рид. Американские издатели «не сочли возможным» публиковать такую книгу, и она впервые увидела свет на русском языке *.

Яркая личность Рида, его рассказы о пребывании в молодой Советской стране, о встречах с Лениным произвели большое впечатление на Карла Хови и наложили отпечаток как на его дальнейшую жизнь, так и на жизнь всей его семьи. Этим идеалам осталась верна и его дочь Тамара Хови, искренний друг нашей страны и советских людей.

«Стремления маленькой мошки» — повесть, журнальный вариант которой публикуется ниже,— во многом автобиографична. Тамара Хови провела свою молодость в Голливуде, она работала на киностудии, и карьера ее складывалась успешно (по ее сценариям было поставлено несколько музыкальных комедий и полнометражных художественных фильмов, в том числе фильм «Таманго», демонстрировавшийся в Советском Союзе), но молодая сценаристка не скрывала своих прогрессивных взглядов, и когда Соединенные Штаты захлестнула волна маккартизма, Тамара Хови вместе со своим мужем, прогрессивным сценаристом Ли Голдом, вынуждена была покинуть родину. Сейчас она уже многие годы живет и работает в Париже, но все, что происходит в Соединенных Штатах, глубоко волнует и трогает ее.

Я не раз бывала на авеню де л'Обсерватуар, где живет Тамара Хови, и подолгу беседовала с ней и с ее мужем — об их родине и о нашей стране, где они не раз бывали, о людях, о жизни. И, естественно, о том позорном для американского народа периоде, когда страх и подозрительность разъедали души людей,— о маккартизме, исковеркавшем жизнь писательницы и жизнь ее семьи. Раздумья о том, что привело к возникновению в Соединенных Штатах Америки такого явления, и побудили Тамару Хови написать эту повесть. Мне думается, не случайно фоном для нее писательница выбрала годы второй мировой войны — страшного испытания, выпавшего на долю всего человечества, но почти не затронувшего американского обывателя, да и не только обывателя, а и многих, казалось бы, думающих людей.

Тамара Хови показывает тогдашнюю молодежь, отрешенную от проблем внешнего мира, которая, не понимая сути борьбы с гитлеровской Германией, выступает против участия Америки в войне. Сегодняшние американцы, протестующие против войны во Вьетнаме, ведущие активную борьбу за равноправие негров,— это, конечно, не американцы начала 40-х годов, но в США еще много таких, кто предпочитает жить в своей скорлупе и не желает из нее выбираться.

---

* См. «Иностранную литературу» № 9 за 1962 г.

Тамара Хови знает, к чему могут привести невежество и изоляция, и ей хочется верить, что все большее число ее соотечественников будут осознанно относиться к событиям, которые волнуют большой мир.

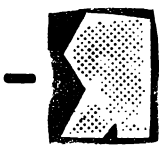
Хотя Тамара Хови живет на чужбине, она пристально следит за всеми перипетиями американской жизни. И пишет. Сейчас она работает над романом. О чем? Конечно, об Америке и американцах.

Почти в каждом человеке живет поэт — он умирает в молодости, а человек продолжает жить.

Сент-Бёв

ЧАСТЬ 1

Глава 1



очень плохо спала эту ночь,— объявила Хоуп Малл и потянулась за горячим жирным пирожком.— Просто извелась от изжоги. И что это Анна положила в жаркое?

Старуха Брунгильда, дремавшая возле буфета, несколько раз лениво ударила хвостом, как бы в подтверждение ее слов; Хоуп (по обыкновению вся в сером, волосы цвета вороненой стали собраны в немыслимый узел на макушке) посмотрела через стол на своего брата и племянницу, уже приступивших к завтраку.

Кристина Малл (в джинсах и футболке, прямые волосы конским хвостом болтаются на спине) жевала кусочек поджаренного хлеба, уткнувшись в латинскую грамматику. Бэкстер Малл (в выцветшем твидовом пиджаке, держится очень прямо, но не напряженно — не одно поколение просидело за обеденными столами Бостона, чтобы выработать такую спину) спокойно поглощал яйца всмятку, читая передовицу в «Лос-Анжелес таймс». Было начало марта 1940 года.

— Как вы думаете, отчего это у меня могла быть изжога? — не отставала от них Хоуп.

Бэкстер Малл отшвырнул в сторону газету.

— Потрясающе интересная тема для беседы.

— Ну, а мне хочется знать, что могло вызвать столь бурное выделение кислоты в желудке.

Кристина продолжала сидеть, уткнувшись в книгу. Рассуждения тетушки, она знала, предназначены не для нее. Хоуп никак не может простить брату того, что он покинул Новую Англию. А Бэкстер еще юношей уехал в Париж, приобщился там к радикальным взглядам и к богеме, отпустил бороду; правда, он давно уже расстался и с радикальными взглядами и с бородой, но сохранил чисто французскую любовь к еде, к женщинам и к наслаждению жизнью, что, по мнению его сестрицы, было изменой заветам отцов. И поскольку прямо атаковать его у нее не хватало духу, она вступала в стычки по мелочам, выводя его из себя.

— Какая-то ты сегодня зеленая,— обратилась она теперь к племяннице, не выпуская, однако, брата из поля зрения.— Ты каждый день посещаешь кабинет задумчивости?

Кристина сказала что-то так тихо, что никто не расслышал.

— Я к тебе обращаюсь, Кристина Малл,— не отступалась тетка.— Ты меня слышишь?

— Я вполне хорошо себя чувствую,— пробормотала Кристина.

— Я не спрашиваю тебя, как себя *чувствуешь*,— возразила Хоуп

Малл, выделяя последнее слово, точно предосудительный иностранный термин.— Я задала тебе вполне определенный вопрос. И хочу знать...

По загорелой стройной шее Бэкстера Малла поползла краснота.

— Хоуп,— ровным голосом прервал он сестру,— есть темы, которые не обсуждают coram populo *.

— А я ничего и не обсуждаю,— заявила Хоуп Малл.— Я просто хочу кое-что выяснить. Очень важно, чтобы кишечник опорожнялся.

Бэкстер Малл придвинул к себе баночку с джемом «Бар-ле-Дюк» и нарочито спокойно принялся открывать ее.

— Взять хотя бы тебя,— продолжала Хоуп,— если хочешь знать, что я на сей счет думаю...

— Я вполне способен,— оборвал он ее,— сам следить за метаболическими процессами в моем организме.

— Что такое? — переспросила сестра, глядя на него посветлевшими от злости глазами.

— Я не спрашиваю твоего мнения на этот счет.— Он со стуком опустил банку на стол.

— Это еще не значит, что я не могу его высказать,— заявила она.

Кристина вздохнула про себя. Снова они сцепились. Неужели тетка будет донимать отца, пока не вызовет взрыва — краткой, но дикой вспышки, которая выпотрашивает всех (и, пожалуй, прежде всего самого отца),— и как раз сегодня, когда Кристине особенно хотелось видеть его спокойным, способным внимательно выслушать ее! Хотя сейчас, пожалуй, еще трудно сказать, как повернется дело. Пока они лишь в ярости смотрели друг на друга — две пары голубых глаз на удлиненных лицах с острыми чертами, столь характерными для бостонских Маллов; вот так же, несколько столетий назад, их предки в серых грубошерстных кафтанах и в башмаках с пряжками смотрели, наверно, друг на друга через деревянный стол в покачивающемся на волнах «Мэйфлауере». Запальчивая перебранка возобновилась, и Кристина стала смотреть в окно.

Прибрежный туман рассеялся, и яркое калифорнийское солнце озаряло усеянные юкками холмы и просторные крыши псевдоитальянских вилл, псевдоиспанских асьенд и псевдонормандских ферм. Гигантская красная стрела (творение некой лос-анжелесской фирмы по продаже недвижимости), словно перст божий, торчала на одном из холмов; ее острие указывало на огромные белые буквы, оповещающие о том, что данное место на планете Земля именуется ГОЛЛИВУД, а вернее — ОЛЛИВУД, ибо прошлогодние дожди смыли Г. Над этими белыми буквами кружил, нырял, петлял, дерзновенно резвился маленький учебный самолет, поблескивая на утреннем солнце серебряными крылышками. Вот за ним и следила Кристина взглядом.

— Я вовсе не желаю распространяться на эту тему, Бэкстер. Я просто хотела сказать, что слишком крепкий желудок ничуть не лучше слабого...— Голос Хоуп стучал по нервам Бэкстера, как дятел по коре.

Кристина снова повернулась к столу, увидела пальцы тетки с прилипшими к ним жирными крошками, чуть перекошенное узкое лицо — искусственные челюсти слегка сместились, вгрызаясь в очередной, намазанный джемом, пирожок. Хоуп всегда ставят ей в пример — не эту женщину, которая сидит сейчас на другом конце стола, а юную девушку, какой она была когда-то — живую, вдумчивую, способную к музыке и рисованию, к латыни и греческому, Кристина на нее так похожа, говорили те, кто ее раньше знал. Но где-то к середине своей жизни Хоуп измельчала, омещанилась, живость ума, некогда отличавшая ее, постепенно иссякла, блестящие глаза потускнели.

---

* На людях *(лат.)*.

И сейчас, глядя на тетушку, Кристина встревожилась, вспомнив, как ей трудно было сегодня утром заставить себя заниматься, да и вообще с каждым днем становилось все труднее придерживаться строгого расписания, которое она приклеивала пластырем к зеркалу туалета и до сих пор так усердно выполняла. Последнее время какая-то лень овладела ею, и ум ее блуждал, словно игрушечный кораблик, влекомый за веревочку то туда, то сюда. Она вдруг замечала, что повторяет на рояле один и тот же пассаж снова и снова, без всякой нужды; или обнаруживала, что, вернувшись домой из школы, за один присест съела полбанки орехового масла без хлеба и вычистила пальцем банку, уставясь невидящим взором куда-то в сад, где, отливая хлористой голубизной, блестела зеркальная поверхность плавательного бассейна... Неужели она тоже измельчает, омещанится и это уже началось, хотя вроде бы еще и рановато?

Как произошло это с Хоуп? Чем она заслужила такое — чтобы жизнь незаметно проскользнула у нее между пальцами? Кристина много раз задавалась этим вопросом и так и не смогла найти на него ответ. Должно быть, где-то на пути ее тетки встретилась волчья яма, капкан, в который она и попала,— вот если б узнать, что это за капкан...

— Извините, дорогие. Я опоздала к завтраку? — В комнату быстро вошла Наоми Малл.

— Мы тут исследовали необычайно интересную проблему деятельности пищеварительного тракта,— заметил ее муж,— но, к сожалению, лишь некоторые из нас считают это подходящей темой для беседы.

Он приподнялся было, чтобы отодвинуть жене стул, но она опередила его и села. Наоми Малл всегда делала все стремительно, не давая себе ни минуты передышки. Глядя на нее, казалось, что весь мир куда-то опаздывает, и люди невольно начинали спешить вместе с нею к некой чрезвычайно важной цели.

— Ну, как, закончила ты свою сцену? — спросил жену Бэкстер Малл. Спасаясь от утренних музыкальных упражнений дочери, он облюбовал себе самую дальнюю комнату наверху, однако сегодня около пяти часов утра его разбудил стук машинки Наоми.

— Да, и, по-моему, получилось удачно,— сказала Наоми, не очень еще придя в себя после треволнений бессонной ночи.— Теперь остается только надеяться, что им она тоже понравится.

— Я в этом убежден,— сказал Бэкстер.

Наоми неуверенно пожала плечами и, только тут заметив дочь за столом, удивленно спросила:

— Почему ты не за роялем, детка?

— Я играла два часа до завтрака,— сказала Кристина и, видя, что это не произвело на мать ни малейшего впечатления, добавила: — И еще два поиграю потом.

Но мысли Наоми Малл уже перескочили на что-то другое, и слова дочери, видимо, не дошли до ее сознания: она ковыряла грейпфрут, сосредоточенно хмурясь, отчего ее смуглое семитское лицо сразу утратило свою привлекательность — у рта появились две резкие линии, глубокая складка залегла между бровями.

С тех пор как Кристина себя помнила, мать вечно была в напряжении. Это было тавро, которым метил людей тот безумный мир, где все называли друг друга по имени и тряслись над целлулоидной пленкой, где бурно кипели страсти, зарабатывались и проматывались миллионы долларов,— мир огромных студий, где протекала подлинная жизнь Наоми Малл, которую знали там как Наоми Барски. А возможно, это было наследие прошлого, о котором Кристина знала очень мало, вернее, не знала совсем,— наследие детства, проведенного в нищих, уродливых доходных домах восточной части Нью-Йорка; тяжелой юности, когда

Наоми днем работала на фабрике, а по ночам писала, пока, наконец, не положила на стол издателя свой первый роман. Бэкстер Малл отклонил роман, но женился на авторе. Через некоторое время издательство его прогорело, и Бэкстер оказался без работы. Тогда вспомнили о написанном Наоми романе, извлекли его на свет божий и решили попытать счастья в Голливуде. Роман приняли к экранизации, и Наоми Малл отправилась на тихоокеанское побережье писать сценарий. Было это в те далекие дни, когда земли испанских грандов только-только разделили и стали строить Лос-Анжелес. Голливудский бульвар был тогда всего лишь проселочной дорогой, и кинорежиссеры ходили в сапогах для верховой езды — удобства ради, а не из подражания моде.

У Кристины было лишь смутное представление о том, как трудно жилось ее родителям в те дни, как тщетно пытался отец хоть что-то заработать пером и терпел провал за провалом, пока не сдался окончательно, замкнувшись в стенах своего кабинета и строя грандиозные, совершенно неосуществимые планы. Зато мать, с тех пор как помнит себя Кристина, всегда упорно работала, а еще Кристина помнит, как она с братьями играла сначала на вытертом ковре в замызганном гостиничном номере, потом — на асфальтовых дорожках возле большого многоквартирного дома, а потом — и в собственном, огороженном саду. Теперь, уже много лет, они жили в этом большом белом особняке в Беверли-Хиллз, солидном, деревянном доме, типичном для Новой Англии, и был у них еще коттедж в Малибу, куда они ездили иногда на уик-энд; братья ее разбрелись кто куда: Квентин женился и преподавал где-то на севере, Эллиот учился в колледже; не изменилась одна только мать — вот она сидит сейчас на другом конце стола в этой просторной, залитой солнцем комнате, жгучая брюнетка с седыми прядями в волосах, и, сосредоточенно сдвинув брови, поглощает грейпфрут: остроконечная серебряная ложечка быстро-быстро мелькает в воздухе, вгрызаясь в сочный плод, словно серебряная дрель.

— У меня сегодня на студии очень важное совещание по сценарию,— произнесла вдруг Наоми Малл.

— Утром? — спросила Кристина.

— Да. А что?

— Мы же хотели сегодня утром поговорить насчет колледжа.

— О господи, опять. Я считал, что мы давно покончили с этой проблемой,— раздраженно вставил Бэкстер.

— Да, я тоже считала, что ты отказалась от мысли поступать в Бреддингтонский институт,— сказала мать,— и остановила свой выбор на колледже Смита или Брин-Мор.

Институт назывался Беннингтонский, а не Бреддингтонский, и Кристина подозревала, что мать знает, но она имела обыкновение коверкать слова, если чего-то не одобряла.

— Нет, в прошлый раз мы ничего окончательно не решили. Ты сказала, что мы еще поговорим об этом сегодня. Мне же надо подавать заявление в этом месяце, если я хочу начать учиться в сентябре, поэтому я не могу больше откладывать.

Наоми взглянула на часы.

— Четверть десятого,— пробормотала она.

Она что-то быстро соображала, видимо взвешивая, что важнее — работа или семья, и, словно жонглер, прикидывала, успеет ли она, выпустив из рук одно, на лету схватить другое.

— Давай уделим ей несколько минут...— заметила она, обращаясь к Бэкстеру.

— Хорошо,— только и сказал Бэкстер, но Кристина видела, что ему не по душе эта семейная дискуссия. Он вообще не очень-то любил что-либо обсуждать в семье, а тем более — за завтраком, когда он еще не

вполне владеет собой и морально не готов к встрече с предстоящим днем. Кристина уже жалела, что затеяла разговор, но мать было не остановить.

— Я знаю, милая Кристина, что тебе хочется поступить в Беннингтонский институт,— сказала она,— но, честное слово, не понимаю почему. Право же, он ничем не примечателен и выпускает специалистов весьма узкого профиля. Боюсь, это будет не очень удачным выбором: ведь заведение-то второсортное.

— Беннингтон вовсе не второсортное заведение,— возразила Кристина.— Они там экспериментируют, учат по новой системе. Много занимаются искусством и преподают творчески, как нигде. Неужели ты не читала? Ведь было столько статей об этом.

— Все это дилетантизм. Немножко того, немножко сего, а в целом — ничего...— Наоми взглянула на дочь и, сама того не желая, заговорила резко, непримиримо: — Спешить, конечно, нечего, и никто тебя ни к чему не принуждает, но если ты не решишь, наконец, кем ты хочешь быть, может случиться, что не успеешь оглянуться, как решать будет поздно. И ничего ты в жизни не достигнешь. Растратишь ее попусту.

Кристина понимала, что это сказано не только в ее адрес: она перехватила колючий взгляд, который отец бросил на мать, заметила, как его пальцы, загоревшие от многочасового пребывания на теннисном корте в Вествуд-Хиллз, нервно забарабанили по хрустальной солонке.

— Но я вовсе не собираюсь разбрасываться — наоборот,— сказала Кристина, от души желая, чтобы на этот раз шпаги остались в ножнах и родители решали ее судьбу вне зависимости от других обстоятельств. И она снова принялась объяснять, почему курс обучения в Беннингтоне устраивает ее, но не успела произнести две-три фразы, как мать взглянула на часы.

— Послушай, моя дорогая, ну будь благоразумна. Если ты окончишь колледж Вассара или Брин-Мор,— она подчеркнула последний,— это же марка: каждому будет ясно, какое ты получила воспитание...

— А я вовсе не хочу быть благовоспитанной девицей,— возразила Кристина.— Я поступаю в колледж, чтобы учиться.

— Колкости не обязательны,— вставил Бэкстер, играя солонкой.

— А я и не говорю колкостей. Я просто хочу изложить свою точку зрения — весьма простую и несложную. И я не понимаю, почему это так трудно уразуметь...

— Грубить тоже не обязательно! — одернул ее Бэкстер.

Кристина в упор посмотрела на отца, но в глубине души испугалась. Она поняла, что позволила себе лишнее. И вдруг почувствовала — хотя и не видела себя в узком венецианском зеркале, висевшем на противоположной стене,— до чего же она нелепа, неуклюжа, угловата, как и все чрезмерно вытянувшиеся подростки.

— Ты, видимо, считаешь, что раз тебе исполнилось шестнадцать, ты уже не обязана быть вежливой с мамой и со мной,— поджимая губы и поглядывая то на дочь, то на мать, произнес Бэкстер Малл.

Ему казалось, что это он направляет лодку, на самом же деле течение несло его вперед куда быстрее, чем весла. Видя, как он закипает, Кристина почувствовала панический страх, который в таких стучаях неизменно сковывал ее.

— Ты очень скоро станешь самостоятельной, моя дорогая,— примирительным тоном вставила Наоми Малл, в свою очередь бросая встревоженный взгляд на мужа.— Годы летят так быстро...

— Может, ты не будешь меня прерывать? — крикнул он, теряя над собой власть.— Думается, я имею право высказать свое мнение!

— Конечно,— поспешила заверить его Наоми.

Трясущейся рукой он изо всей силы стукнул о стол солонкой.

— Вот что я хочу сказать, Наоми: она и так уже задрала нос и воображает, будто умнее всех, а если ты еще позволишь ей учиться в Беннингтоне, где вокруг нее будут такие же эгоистки, занятые только собой, тогда — я это заявляю тебе прямо и сейчас — я умываю руки, и дальнейшая ее судьба меня не касается!

Он стремительно поднялся из-за стола. Стул с грохотом отлетел и ударился о подоконник за его спиной.

— Господи боже мой! — воскликнула Хоуп.

— Надеюсь, ты не расколол стул, Бэкстер? — звенящим от напряжения голосом спросила Наоми Малл и встала.

Бэкстер поднял стул. Кусочек красного дерева упал на ковер. В ярости Бэкстер выскочил из комнаты и через кухню — слышно было, как со скрипом распахнулась наружная дверь,— вылетел из дому. Наоми провела пальцем по поврежденной спинке стула.

— Такая чудесная старинная работа,— пробормотала она.— Чиппендейловской мебели теперь вообще не найдешь.

Она пригнулась к ковру в поисках осколка. Хоуп тотчас пришла ей на помощь. На улице зло взревел мотор — это Бэкстер разогревал «бьюик» жены, напоминая ей о том, что она опаздывает на студию. Однако Наоми словно бы и не слышала. Она нашла отколовшийся кусочек и старательно прилаживала его к стулу. Кусочек не прилаживался, Наоми упорствовала. Не отступалась...

Кристина наблюдала за происходящим и вдруг отчетливо поняла, что во всем виновата она — и в том, что взорвался отец, и что такое расстроенное лицо у матери, и даже в том, что чиппендейловской мебели теперь уже не найдешь.

— Я поеду в Брин-Мор,— вдруг услышала она свой голос.

Наоми даже не взглянула на нее.

— Почему? — спросила она.— Я вовсе не хочу, чтобы ты делала мне одолжение.

— Нет... Я действительно хочу туда поехать.

На этот раз Наоми посмотрела на дочь.

— В самом деле?

Кристина кивнула. Мать требовала полной капитуляции. Ничто другое ее не устраивало.

— Что ж, мне кажется, это хорошее решение,— сказала Наоми. Голос ее, звучавший дотоле слабо, как у выздоравливающей, приобрел снова силу, в нем появилась даже необычная нежность.— Ведь все это происходит потому, что мы очень любим тебя, моя дорогая. И хотим, чтобы ты была счастлива. Ты понимаешь это, правда?

И не дожидаясь ответа, Наоми чмокнула дочь в щеку, взяла чемоданчик и вышла из комнаты. А Хоуп отправилась звонить краснодеревщику, чтобы тот пришел починить чиппендейловский стул. Снаружи взревел мотор, взвизгнули на подъездной аллее шины, скрипнула, закрываясь, дверь гаража, затем раздались твердые шаги Бэкстера — он вошел через парадное крыльцо в дом, поднялся по лестнице к себе в комнату и с треском захлопнул за собой дверь.

Кристина продолжала стоять возле опустевшего стола, на котором, притулившись к сахарнице, по-прежнему торчала латинская грамматика. Не задерживаясь на книге, взгляд ее скользнул мимо, она потянулась и отдернула швейцарские занавески в горошек, висевшие на окне... Но серебряный самолетик, покачав на прощанье крыльями, уже улетел в другие края, постепенно превратившись в крохотную, поблескивавшую в голубых просторах точку. А когда Кристина выглянула на улицу, то и точки этой уже не было видно.

Глава 2

I

Наоми Малл, невзирая на красный свет, выскочила на Уилшайрский бульвар и помчалась в своем канареечном «бьюике» дальше, даже не замечая, что едет по линии, разделяющей два потока машин. Крепко держа в руках руль, она мчалась на студию, но мысли ее были заняты Кристиной. Перед ее глазами стояло лицо дочери за утренним столом — она, конечно, умная, развитая, но до чего же легко ранима, думала Наоми,— а все потому, что ей кажется, будто весь мир к ее услугам и готов безвозмездно дать ей все, чего бы она ни пожелала.

Неужели это она, Наоми, воспитала таких детей, никак не подготовив их к встрече с жизнью,— она, получившая такую закалку, так твердо стоящая обеими ногами на реальной земле? Быть может, она слишком опекала их — сначала своих двух сыновей, а теперь вот и Кристину, хотела, чтоб они не знали неуверенности в завтрашнем дне, омрачавшей ее детство. Она оберегала их от соприкосновения с этим безумным миром больше, чем многие матери, старалась даже не упоминать, что в их жилах течет наполовину еврейская кровь,— Кристина, например, наверняка этого не сознавала. Безупречная родословная Бэкстера, выходца из протестантской Новой Англии, являлась удобной ширмой, прикрывавшей ее детей. Так в чем же она может себя винить?..

И тем не менее урожай она получила плохой. Сыновья ее отнюдь не преуспели в жизни — во всяком случае, не достигли того, на что надеялась Наоми. Старший, отказавшись от превратностей творческой карьеры, посвятил себя преподаванию. Младший учился в колледже и то в одном предмете, то в другом вдруг проявлял блестящие познания, но каждый семестр менял специализацию, и в минуты депрессии Наоми приходила в ужас при мысли о том, что из него может вырасти дилетант — вроде того, которого она так хорошо знала. А теперь еще и дочь — не такая неврастеничка, как мальчишки, и, пожалуй, не такая способная, но такая же наивная мечтательница, парящая в облаках, как они.

«Ну, что такое диплом? — как-то на днях заметила Кристина.— Бумажка — и только».

Машина мчалась вдоль пустынных полей и нефтяных вышек,— Наоми почувствовала, как в ней вспыхнул гнев. Бумажка... А ведь наличие этой бесценной бумажки в свое время означало жизнь или смерть для нее, молоденькой эмигрантки, стремившейся найти свое место под солнцем! Но сама ли Кристина виновата в своей потрясающей наивности? Наоми дала детям редкие возможности для развития их интеллекта, но жить она их не научила! Можно ли теперь это наверстать? Мальчикам перевалило за двадцать, и родительские наставления уже не для них. А скоро и Кристина вступит в этот возраст. Наоми вздохнула. Она выполнила свою миссию, быть может, не наилучшим образом, но так, как сумела. Она сделала все, что могла, сказала она себе, как говорят обычно люди, не слишком в этом уверенные...

Впереди возникли железные ворота студии, и она сбавила скорость. Полицейский, узнав машину, махнул, чтобы она проезжала. Наоми машинально улыбнулась, приветственно махнула ему в ответ и направила машину по узкой въездной дорожке, оставив позади один мир и вступив в другой.

II

Наоми поставила машину возле сценарного отдела и прошла прямо в свой кабинет, чтобы выяснить, не отменили ли совещания, намеченно-

го на этот день. Нет, совещание состоится, сообщила секретарша, но она не может сказать когда, поскольку продюсер еще не пришел. И, сообщив это, секретарша исчезла: над первым вариантом сценария Наоми предпочитала работать в одиночестве.

Она напряженно трудилась весь день, сделав лишь небольшой перерыв, чтобы съесть сандвич. Наконец, пробило пять, и Наоми критически посмотрела на свежеотпечатанные желтые листы, лежавшие, вместе с ранее написанными, в голубой папке, где она хранила свой сценарий: удалось или не удалось, вышло или не вышло? А главное: понравится ли это Кейзи? А Солтеру? А Клэриджу?.. Она сидела за письменным столом, покрытым большим стеклом, в глубине роскошного кабинета, с высокими окнами в стальных рамах и толстым ковром на полу, обставленного новомодной мебелью на металлических ножках,— комочек нервов и напряженных раздумий среди холодного неуютного модерна.

Тим Кейзи — или просто Кейзи, как звали его почти все,— был ее соавтор. Солтер — или Чарли Солтер — директор группы, а Клэридж — коренастый тип с вечной сигарой во рту — продюсер, обладавший властью Нерона над всеми, кто вступал в производственный процесс. Каждый из этих троих должен был одобрить все, что сходило с машинки Наоми Малл, а в особенности ту сцену, которую она только что кончила. Но не их одобрение было сейчас главным предметом ее забот. Были и другие обстоятельства, о которых она позволила себе задуматься, но которые дотоле гнала прочь, чтобы не отвлекаться от дела. Так, например, перед полуднем посыльный принес ей записку от Солтера, который сообщал, что совещание отменяется, однако просил ее и Кейзи не уходить со студии, не повидав его. Наоми понимала: это что-то серьезное, быть может, даже очень серьезное. Людей не станут задерживать для того, чтобы хвалить.

Однако еще больше раздражал и тревожил ее Кейзи — куда он закатился? Он получил телефонограмму — она это проверила через его секретаршу — и тем не менее тотчас исчез. Она, конечно, догадывалась, где он. Оставалось лишь надеяться, что Кейзи не слишком перегрузится и не станет препираться с продюсером — он ведь может разругаться с ним вдрызг.

В коридоре у двери послышались шаги, и, решив, что это Чарли Солтер, их директор, Наоми поспешно взглянула на себя в зеркало, висевшее на стене возле ее письменного стола. Она не казалась усталой, несмотря на тягостный разговор утром по поводу будущего Кристины и тяжелый трудовой день позади. Загорелое тело и живое, подвижное лицо делали ее моложе своих сорока с лишним лет.

Дверь отворилась, но не Чарли Солтер, а Кейзи вошел в кабинет. На нем были рыжеватые брюки из тонкой шерсти и бежевая спортивная куртка; на типично ирландском узком лице устало поблескивали голубые глаза.

— Я пошел домой,— буркнул он и, не снимая шляпы, плюхнулся в кожаное кресло.

— Чарли сейчас явится,— сказала Наоми.— Посмотрим, чего он хочет, и тогда поедем по домам...

Наоми могла не глядеть на Кейзи, она знала, что он выпил, и чутьем угадывала, что он нервничает и злится. На секунду в ней вспыхнула зависть. Даже если б она захотела, она не могла бы напиться, или выругаться, или небрежно одеться. Она женщина, к тому же еврейка, да еще родившаяся в трущобах, и любая ее слабость — она это всегда понимала — будет тотчас обращена против нее, приписана ее полу или происхождению. А вот Кейзи — тот может вести себя как угодно. Он выходец из старинного рода англосаксонской земельной аристократии, в чьих жилах текла и кельтская кровь, и, как бы ни был он одет, в его

манерах всегда присутствовала грация и непринужденность, а речь его, сколько бы он ни сквернословил, всегда выдавала воспитанника колледжа на востоке страны. Даже когда он предельно неопрятен, подумала Наоми, в нем чувствуется порода, словно невидимая печать благородных кровей.

— Вовсе не обязательно, что нас ждут неприятности,— заметила она.— Ведь им же понравился последний кусок.

Но Кейзи лишь буркнул что-то нечленораздельное. Он обнаружил пятно у себя на туфле и, взяв со стола линейку, с безразличным видом принялся его соскабливать. Он был без галстука, воротничок рубашки расстегнут, прядь тонких светлых волос прилипла ко лбу. Лицо у него было красивое, но не мужественное, как у американцев, бледное, тонко очерченное, точно он сошел с картин Блейка. Однако в его тощем теле чувствовалась пружинистая жизненная сила, и при виде его каждая женщина понимала, что это настоящий мужчина. Он остро сознавал все пороки своей среды, не желал жить по ее законам, и лишь алкоголь да некая горькая, желчная философия помогали ему как-то мириться с жизнью.

Наоми искренне жалела Кейзи. Он не принадлежал к числу сценаристов-ветеранов, как она, а был романистом, и если нужда задубила кожу Наоми, покрыв ее броней, без которой невозможно работать в Голливуде, то Кейзи этим не обладал. Не желая поступаться достоинством писателя, он частенько давал волю чувствам. А когда какой-нибудь продюсер безжалостно вычеркивал то, над чем он долго бился, тщательно выписывая образ или подбирая слова для речевой характеристики, он держался так непримиримо, что в любую минуту мог потерять работу. Наоми всеми силами старалась оберечь его. Она восхищалась его талантом и высоко ценила как человека, а потому всегда выступала в роли буфера между «этими типами сверху» и своим ирландским вулканом. Стремясь избежать вспышек его бешеного нрава на сценарных совещаниях, она заранее встречалась с ним и часами терпеливо и мягко старалась втолковать, почему тот или иной кусок в его работе может вызвать возражения. А он, упрямо сжав губы, принимался шагать по кабинету и отстаивал каждую строчку, словно, вырезая ее, у него вырезали кусок тела. Если к тому же он перед этим пропускал немного виски, упрямство его становилось совершенно неодолимым, и у Наоми опускались руки. Но она никогда не предавала его, и даже если он не являлся на совещание, она говорила, что у него страшно болит голова после того, как он всю ночь просидел за столом и написал совершенно блистательную сцену... которую она тут же и вручала им.

Кейзи — Наоми знала это — понимал, что она оберегает его, и, разругавшись с ней вдрызг, испортив ей на несколько дней настроение своей угрюмостью, замкнутостью и упрямством, принимался грызть себя; в итоге к Наоми на дом прибывала корзина от Вандома, поставщика Беверли-Хиллз, с фруктами, икрой, французским сыром, стоимостью в сотню долларов, и при ней — записка, лаконичная, трогательная и такая по-ирландски простодушная, что сердце Наоми растапливалось и она готова была защищать Кейзи еще хоть сто раз.

Так и сейчас, хотя на душе у нее было тревожно, она улыбнулась ему.

— За это нам и платят большие деньги,— сказала она,— не за то, что мы пишем, а за это — за волнения и ожидания.

— Я вовсе не волнуюсь,— сказал Кейзи.— Плевал я на них.— Он передернул плечами.— Что же до денег... если им угодно платить мне по две косых в неделю, это их дело...

— Ты знаешь, что я много лет работала с Кантором Макдональдом,— продолжала Наоми.— Так вот он всегда говорил, что ему нелов-

ко получать такие деньги. А потом как-то раз сел, взял карандаш и бумагу и стал подсчитывать: во столько-то ему обошлись его мигрени, во столько-то — язва, во столько-то — седина... Цифра получилась умопомрачительная: выходило, что он еще должен просить прибавки!

Кейзи даже не улыбнулся. Он продолжал играть линейкой.

— Послушай,— сказал он.— Если Солтер объявит, что меня выставляют за дверь, я его пристрелю. Хотя вообще-то мне и в самом деле пора убираться отсюда. Меня ведь пригласили ради одной-единственной цели, как сказал этот деликатный и чуткий человек, Клэридж, — «состряпать любовную историю». Я ее состряпал. И считаю мою миссию оконченной. Пора обратно в Нью-Йорк.

— Нет, Клэридж не выставит тебя за дверь,— сказала Наоми...— Не может он этого сделать после того, как ты написал для сценария столько великолепных сцен.

— Ты просто ненормальная,— фыркнул Кейзи.— Откуда ты взяла, что он понимает, какая сцена хорошо написана, а какая — плохо? Он и читать-то не умеет! Бьюсь об заклад, что он даже не видел ни одной написанной нами страницы.

— Солтер сказал, что он вполне доволен нашей работой,— заметила Наоми, уклоняясь от прямого ответа, так как и сама не была уверена, прочел ли их рукопись Клэридж.

В глазах Кейзи было все то же насмешливое выражение повидавшего жизнь мудреца.

— Еще бы не доволен, когда есть за кем ухлестнуть на съемочной площадке,— сказал он, распаляясь и повышая голос.— Конечно, он доволен, когда ублажено его жеребячье нутро. Да ведь он...

Наоми тихонько поднялась, чтобы прикрыть дверь. Все на студии знали, что их продюсер, которому перевалило за шестьдесят, связался с «восходящей звездой», восемнадцатилетней девчонкой, сыгравшей роль сладенькой жеманной девицы в музыкальной комедии, но Наоми вовсе не хотела, чтобы Кейзи расплачивался потом за то, что он своим звонким тенором лишний раз поведает об этом миру. Не успела она дойти до двери, как услышала чьи-то шаги.

— Ставлю сто против одного,— сказал Кейзи,— что ему взбрело в голову снимать именно *ее* в нашей картине и об этом-то и пойдет у нас речь.

— Привет, Наоми,— коротко бросил Солтер, появляясь в дверях. И кивнул Кейзи.— Привет, Кейзи...

Толстый, лысеющий, обычно багрово-красный Солтер сейчас был бледен и казался даже осунувшимся, несмотря на весь свой жир. Он о чем-то сосредоточенно думал и явно не слышал Кейзи. Чувствовалось, что он в панике. Короткими пальцами с тщательно наманикюренными ногтями он ткнул в пепельницу, где лежали скрепки, сигарету и повернулся к ним.

— Времени у меня мало: меня ждет Клэридж. Я только пришел сказать вам, что дело худо: ему не нравится сценарий.

Молчание. У Наоми все перевернулось внутри. Она опустилась на стул, напряженно ожидая пояснений.

— А мне казалось, что он доволен сценарием,— заметил Кейзи с улыбкой, которая, однако, тронула лишь его губы, но не глаза.— Мне казалось, что он просто счастлив. Вы же говорили...

— Что сейчас об этом вспоминать — вода под мостом никогда не стоит на месте,— буркнул Солтер. Жестом отчаявшегося человека он достал из маленькой коробочки таблетку и сунул в рот. Наоми вдруг вспомнила, что еще во время ленча, когда она кивнула Солтеру в столовой, у него был такой энергичный, решительный вид, тогда как сей-

час он словно постарел на десять лет — весь как-то обмяк, выглядел жалким и несчастным.

— Словом, не прерывайте меня,— продолжал он.— У меня страшный насморк, и мне трудно дышать.

Кейзи передернул плечами и снова принялся разглядывать пятнышко у себя на туфле. Если бы не красная полоса у корней волос, он казался бы вполне спокойным. Наоми сидела за столом с напряженным, сосредоточенным лицом — она чувствовала себя сейчас так, как в юности на швейной фабрике, когда мастер, обладавший правом нанимать и увольнять работниц, появлялся в проходе и останавливался у нее за спиной.

— Учтите, сюжет, как таковой, Клэриджу нравится,— сказал Солтер.— Он ему все время нравился. А вот героиня никуда не годится.— Солтер опустился на ручку кресла, в котором сидел Кейзи, и продолжал: — Слишком уж она у вас стерва. Продувная бестия. А ему хотелось бы молоденькую простушку. Этакую...— Он умолк, подыскивая слово.

— Девственницу,— подсказал Кейзи.

— Вот именно... совершенно верно. То самое слово,— сказал Солтер, с несчастным видом разгрызая белую таблетку.

— Но ведь именно такая была у нас героиня в первом варианте,— возмутилась Наоми.

— Более или менее,— вынужден был согласиться Солтер. Он-то знал, что именно так оно и было. Однако если они вернутся к отвергнутому варианту, значит все деньги, истраченные с тех пор, выброшены на ветер и ему придется отвечать за это.— Но раз у нас уже *была* такая героиня,— попробовал он найти выход из положения,— наверно, не трудно будет вставить ее в новый вариант.

— Опять новый вариант? — повторила Наоми, не в силах скрыть, какой это для нее удар.— Но ведь мы уже проделали две трети работы, и Клэридж хочет начать съемки через полтора месяца!

— Милая моя, дорогая, знаю я это, знаю,— сказал Солтер, который сейчас думал лишь о том, сумеет ли он сохранить свое место: работа шла уже девять месяцев, и вот теперь извольте начинать все сначала.— Но тут ничего не поделаешь! — Он соскользнул с ручки кресла, как морской лев соскальзывает со скалы, и в бессильной ярости зашагал по комнате, выплескивая все, что в нем бурлило.— Клэридж связался с этой девкой: он хочет всунуть ее в картину. Да потом еще «Колумбия» выдала ленту с девицей вроде нашей, говорят, настоящая кассовая бомба — Клэридж только что получил сведения. Так вот теперь он считает, что нам нужна картина более патриархальная — вроде «У нас в штате ярмарка»,— и хочет повернуть соответственно сюжет.— Солтер вдруг весь напрягся, подобрался, словно кто-то его дернул за веревочку и весь лишний жир ушел.— Вот чего он хочет. Вот что ему нужно.— Он перестал мерить комнату и остановился перед столом Наоми.— И теперь я вас спрашиваю: можете вы это сделать? Можете повернуть сюжет?

Наоми нахмурилась, обдумывая ответ: решение было явно нелегким.

— Пожалуй, да,— сказала она наконец.

Солтер облегченно вздохнул.

— Я так и думал,— вырвалось у него.

За этим-то он и пришел к Наоми — чтобы увидеть это сосредоточенно нахмуренное лицо, услышать тщательно взвешенный утвердительный ответ, почувствовать твердую почву под ногами, выбраться из кошмара. Из всех людей, работавших на студии, одна она способна была

на такое, хотя он никому не признался бы в этом. Он старался относиться к женщинам так, как относились к ним «эти типы сверху», считавшие всех женщин проститутками и подстилками: ему казалось, что, лишь подражая «шишкам», он сможет совершить последний прыжок и из директора группы стать полновесным продюсером,— так в языческом культе вновь посвященный подражает старцам. И Солтер очень старался: он одевался, как «эти типы сверху», пил и играл с ними в покер, прожигал жизнь и заводил мимолетные связи с начинающими «звездами» — блондинками. И хотя ему удалось заглушить в себе то чистое и хорошее, что отличало его в молодости, ему не нравилась жизнь, которую он вел. Чрезмерные возлияния не доставляли ему удовольствия, и, если бы как следует его прижать, он, пожалуй, не без стыда признался бы, что больше всего любит сидеть дома, с женой и детьми...

— Не думай, что я не понимаю, чем это для тебя оборачивается,— продолжал он, обойдя стол и снова глядя в лицо Наоми.— У меня душа за тебя болит. Я знаю, сколько ты вложила в это труда... Да и Кейзи тоже,— добавил он, внезапно вспомнив, что Кейзи находится тут же, в комнате.

Кейзи поднялся и стоял сейчас у окна, спиной к ним. Он понимал, что от сценария ничего не остается, а значит вся его работа — коту под хвост. И подобно тому, как ограбленный человек истязает себя воспоминаниями об утраченных ценностях, так и он перебирал в памяти сцены, отточенные диалоги, оттенки настроений, которые ему удалось найти,— эти крошечные вехи бессмертия, помогавшие ему оправдывать свои слабости и компромиссы. И вот эти только что воздвигнутые вехи бессмертия вдруг разрушает какой-то кретин, который и читать-то толком не умеет, а на его, Кейзи, долю остаются лишь деньги да сознание бессмысленно затраченного труда. Он весь дрожал от бессильной ярости и страха, рожденного сознанием своей недолговечности, но сказать об этом у него не хватало мужества — он мог лишь вопреки общепринятым правилам вежливости стоять у окна, повернувшись к своим коллегам спиной.

— Ты сам, Чарли, вложил в это дело столько труда,— сказала Наоми, желая оберечь Кейзи и отвлечь от него внимание Солтера.

— Что поделаешь,— сказал Солтер, и в голосе его снова зазвучал страх.— Придется на это плюнуть, лишь бы теперь вылезти. Но тут вы должны мне помочь — вы оба,— добавил он, глядя на ничего не выражающую спину Кейзи.— Так как же, Кейзи?..

Кейзи нехотя повернулся, но не произнес ни слова.

— Да что с вами? — раздраженно сказал Солтер.— Вы что, разучились говорить?

— А что вы хотите от меня услышать?

— Можно ли это сделать — я же об этом вас спрашиваю!

— Конечно.— Но в тоне Кейзи не было того, что жаждал услышать Солтер.

— Вы хотите сказать, что если это и можно сделать, то все равно ничего хорошего не получится. Я верно вас понял?

Кейзи рассмеялся резким, сухим смехом.

— Вы в самом деле хотите знать мое мнение?

— По-моему, вам хорошо платят за то, чтобы вы не скупились на слова,— сказал Солтер. Обычно он не был таким ершистым в присутствии драматургов и вел себя осторожнее, но сейчас он дошел до отчаяния и не слишком заботился о том, куда бьет.

Удар, нанесенный им, больно задел Кейзи, но он сказал лишь:

— По-моему, это будет, мягко выражаясь, самоубийство.

— Ну, а я считаю, что нет,— не повышая тона, сказал Солтер.—

Наоми, которая, черт побери, работает в кино немножко больше вас, видимо, считает, что требование Клэриджа можно выполнить, и я тоже так думаю. Вполне возможно, что, если мы изменим интригу в нужном духе, у нас даже получится нечто более интересное, чем сейчас.

Кейзи что-то буркнул.

— Что такое? — встрепенулся Солтер.

Но что бы это ни означало, Кейзи не стал уточнять.

— Послушайте, Кейзи,— начал Солтер, стараясь говорить возможно более ровным тоном.— Я понимаю, как трудно писать заново, когда ты уже выжал из себя все, что мог. Человеческий мозг — не машина. Его нельзя по желанию включать и выключать. И если вы чувствуете, что не в состоянии взяться за новый вариант,— я пойму. Более того: если в сценарном отделе найдется что-то вам предложить, я постараюсь избавить вас от этого контракта и дать вам другой. Так что, если вы не в состоянии...

Кейзи повернулся к Солтеру, бледный как полотно. В сценарном отделе не было для него работы, и Солтер прекрасно это знал. Кейзи все понял. Наоми показалось, что он сейчас ударит Солтера. И она поспешила вмешаться.

— Я полагаю, нам с Кейзи удастся что-нибудь придумать,— сказала Наоми.— Я просто убеждена в этом,— продолжала она, ибо ее проворный ум уже зацепился за одну идею.— Как раз на днях Кейзи рассказывал мне об одной знакомой девушке и очень подробно ее описал — и, представьте себе, она как две капли воды похожа на героиню, которую хочет видеть в фильме Клэридж. Помнишь, Кейзи? Ну, а если это не совсем то,— поспешила добавить она, не обращая внимания на протест Кейзи,— дай нам с Кейзи возможность кое-что обговорить, подумать, развить...

Она умолкла, просительно глядя на Солтера.

— Всего лишь несколько дней, хорошо, Чарли? Я убеждена: мы что-нибудь придумаем.

Солтер медлил. Он посмотрел на Кейзи, словно собираясь что-то сказать, потом передумал и отвел глаза.

— Ладно, даю вам два-три дня,— сказал он.

Затем он звучно высморкался, взял со стола коробочку с таблетками, сунул ее в карман и поспешно вышел из комнаты.

Когда тяжелая дверь бесшумно закрылась за ним, Кейзи повернулся и с изысканной вежливостью произнес вслед:

— До свидания.

Наоми же продолжала неподвижно сидеть, уставившись в пустоту, словно перед ней был туннель, который оканчивался тупиком. Немного погодя она перевела взгляд на Кейзи. Он не спеша застегивал воротничок рубашки.

— Кейзи, милый,— начала Наоми, стараясь говорить обычным, непринужденным тоном,— почему бы тебе не поехать сегодня к нам на дачу? Если ты с кем-нибудь обедаешь, приезжай потом. Завтра воскресенье — мы могли бы побродить по берегу и потолковать...

Кейзи достал из кармана галстук, тщательно его повязал и засунул нижний конец между пуговицами рубашки. На лице его появилась усталая, чуть кривая усмешка. Ни слова не говоря, он наклонился к Наоми, поцеловал ее в макушку и вышел из комнаты.

Дверь закрылась за ним. «Неужели он ушел совсем?» — подумала Наоми. Неясно. Но в общем-то это не имело значения: искать выход, как всегда, придется ей. И еще прежде чем шаги Кейзи заглохли в коридоре, она перестала о нем думать и принялась, словно кто-то этого требовал, тщательно прибирать свой стол. Под ложечкой у нее неприятно посасывало; ей было знакомо это чувство, которое не прошло с года-

ми, несмотря на то, что у нее всегда была работа и она знала успех,— чувство страха перед тем, что придется снова проделать уже пройденный путь, только в обратном направлении: из дома в Беверли-Хиллз переехать в дом на двоих хозяев, из дома на двоих хозяев — в квартиру, из квартиры — в меблированные комнаты, назад, назад к тем временам, когда еще не было на свете ее троих детей и она не знала Бэкстера, когда она жила на шестом этаже без лифта, в прокопченном доме на берегу Ист-Ривер, маслянистые воды которой неторопливо несли в океан всякий хлам.

Этот путь назад, как грозная реальность, всегда маячил перед Наоми. Сколько сотен раз за эти двадцать лет видела она, как ее коллеги по кино теряли почву под ногами! Лица в коридорах непрерывно менялись, фамилии на дверях зачеркивались, вписывались новые. Какое имеет значение то, что имя твое выведено на двери золотыми буквами, а на столе стоит дорогое пресс-папье или изящная серебряная чернильница? Ты живешь на краю пропасти, и, хотя тебе доступны все мирские блага, тебя окружает море страха, которое мешает тебе ими наслаждаться.

Зазвонил телефон. Наоми сняла трубку и услышала голос девушки из приемной:

— Мисс Барски, ваша семья ждет вас внизу. Они просили передать, чтоб вы не торопились, просто сказать, что они здесь.

Была суббота, а по субботам Наоми иногда оставляла свою машину на студии и в семейной машине, вместе со всеми, уезжала на побережье. Наоми восприняла сообщение о прибытии своего семейства так, точно оно было адресовано не ей, а некой Наоми Малл, живущей на другой планете и не имеющей никакого отношения к женщине, которая стояла сейчас в кабинете с телефонной трубкой в руке. Но ощущение реальности мгновенно вернулось к ней: Наоми поблагодарила девушку и попросила передать, что она сейчас спустится.

Собираясь в путь, Наоми вспомнила, с каким нетерпением в течение тяжелой рабочей недели ждала она обычно этих уик-эндов на берегу. И всякий раз, когда наступала суббота, какая-то сцена была еще не окончена, или интрига не складывалась, или что-то не клеилось, и работа, на которую ушла целая неделя, оказывалась либо незавершенной, либо перечеркнутой. И ты чувствовал себя как мелкий лавочник, который за весь день ничего не продал и к вечеру не положил ни цента в кассовый ящик. Мог ли он после этого наслаждаться ночным отдыхом?

Наоми вздохнула и сунула рукопись в портфель. Вот так всегда — ни один сценарий не проходит гладко. Неужели ей никогда не удастся понаслаждаться жизнью? Всякий раз она говорила Бэкстеру: «Вот кончу сценарий и отдохну». И всякий раз под конец нервы не выдерживали, и, боясь остаться без работы, она хватала очередной контракт.

Повернувшись к зеркалу, чтобы надеть шляпу, Наоми почувствовала, как где-то в глубине ее существа глухо зашевелился протест: не должна она позволять студии так эксплуатировать себя. И уж во всяком случае не позволять портить ей свободные дни. А сейчас надо постараться забыть про сценарий и посвятить себя семье — провести вместе с дочерью и мужем эти два дня в их прелестном домике у моря. В воскресенье приедут гости, и надо их принять, не думая о том, как это отразится на ее работе на другой день. Хорошо бы посидеть с хорошей книжкой, почитать, сделать выписки, заняться настоящим творчеством, которое способно принести ей радость и где она сама будет себе хозяином. А если и волноваться о чем-то, так только о семье, о детях, которым она все еще нужна, хотя они, быть может, и не сознают этого, да о Бэкстере, с его несложившейся жизнью, которым она частенько пренебре-

гала, а порой и вовсе забывала об его существовании. Есть у нее и другие заботы: надо обновить свой гардероб, просмотреть и пополнить картотеку, посоветоваться с художником-декоратором, чем обсадить подъездную аллею — кипарисами или лиственными деревьями...

Но сколько бы Наоми ни убеждала себя, мысль ее невольно работала в привычном направлении, и, когда она наконец приколола шляпу к прическе двумя длинными булавками с янтарными головками, мозг ее был уже всецело занят тем, как превратить драму больших страстей в сентиментальную историю, а немолодую героиню-вамп — в милую наивную девственницу.

Глава 3

I

Днем Кейзи выпил всего две рюмки, но когда он выходил из сценарного отдела после разговора с Солтером и Наоми, он чувствовал себя, как после тяжелого похмелья. Белый камень здания — даже в неярком свете предзакатного солнца — слепил глаза. Само здание, холодно современное, по-тюремному уродливое, в другие дни казалось ему вполне терпимым, но сейчас оскорбляло его эстетическое чувство. Да и вообще все вокруг раздражало его в сто раз больше обычного. И уж совсем взбесили его юные коллекционеры автографов, толпившиеся у ворот,— в большинстве своем девицы в высоких носках, с пустыми глазами и чрезмерно намалеванным ртом, которые с наглой бесцеремонностью сначала впились в него взглядом, а через миг уже потеряли к нему всякий интерес, обнаружив, что он не кинозвезда. Не желая проходить мимо них, он свернул на узкую дорожку, шедшую вдоль ограды с внутренней стороны. Куда он так шагал — неважно, лишь бы не забрести в такое место, где можно напиться, ибо только способность сдержать себя в критические минуты жизни, когда его особенно тянуло к вину, служила Кейзи доказательством, что он еще не совсем алкоголик. Дорожка вывела его на асфальтированную аллею. Кейзи пошел по ней, все дальше углубляясь в недра студии.

Когда он проходил мимо студий звукозаписи — огромных бетонных коробок с глухими стенами, однообразие которых лишь кое-где нарушали мигающие красные огни да световые надписи «не входить»,— навстречу ему вдруг высыпала толпа: устало брели дублеры в оранжевом гриме и мятых костюмах, рабочие тащили оборудование со съемочной площадки на склад, озабоченные молоденькие ассистенты режиссера и директора картин с растрепанными сценариями под мышкой взволнованно и многословно обсуждали возникшие за день проблемы... Но Кейзи шел мимо, не глядя на них. Сегодня это зрелище не занимало и не интересовало его. Все эти люди, которые, переговариваясь и жестикулируя, с ошалелым видом вечно спешили куда-то, сейчас только вызывали у него раздражение. Еще совсем недавно он сам вот так же горел, поглощенный одной-единственной целью, а сейчас мог сказать им, что все это, право же, суета. И ничего нет удивительного в том, что он чувствует себя будто с похмелья. Ведь он и в самом деле как бы приходит в себя после затянувшегося кутежа, длительного запоя, каким в конечном счете была для него работа в Голливуде.

Шагая по студии, начинавшей уже пустеть, под темнеющим небом, на котором показались тяжелые дождевые облака, Кейзи перебирал в уме этапы этого своеобразного духовного рабства, постепенно скручивающего человека.

Все начинается с того момента, когда ваш агент в Нью-Йорке говорит, что у него есть для вас предложение из Голливуда. Вы только что

закончили книгу, над которой долго работали, и с деньгами дело у вас обстоит не так уж хорошо, а потому вы решаете хотя бы выслушать агента — вреда ведь от этого не будет. Вам предлагают поработать над одним из произведений, приобретенных Голливудом, еще не решено, над каким именно, но вознаграждение высокое — астрономическое в представлении любого другого работодателя и хорошее даже для Голливуда; и вот, не успев опомниться, вы уже подписываете предварительное соглашение и получаете бесплатный билет на Западное побережье.

Паря над облаками и глядя из окна туда, где за кромкой крыла в розоватом тумане садится солнце, вы начинаете мечтать о том, какие вы создадите фильмы. И в этом далеком, оторванном от земли мире вы вспоминаете об Эйзенштейне и Пудовкине, Пабсте и фон Штрогейме, Мурнау и О'Флаэрти. Вы уже представляете себя наследником их великих традиций, создающим если не шедевр, то во всяком случае нечто долговечное и стоящее. Вот это, подумал Кейзи, было первым пьянящим глотком, первой иллюзией. За ней последовали другие...

После первого же сценарного совещания в Голливуде ваше представление о том, что вы напишете нечто вроде «Потомка Чингисхана» или «Метрополиса», неожиданно и бесповоротно рушится. Но тут вы получаете свой первый чек с вознаграждением, и это помогает вам довольно быстро примириться с тем, что от вас требуется всего лишь пошленькая история — чтоб в ней была жестокость и знойная любовь — и что вы, только вы, по словам ваших работодателей, способны построить острый, захватывающий сюжет.

Вначале вас предоставляют самому себе, и, засучив рукава, вы принимаетесь за работу. Вам приходит в голову один занятный поворот, идея эта всецело завладевает вами, и вы беретесь за перо, развиваете ее на бумаге, снабжаете чисто кинематографическими чертами, сдабриваете социальной сатирой... Второй удар воспринимается вами уже более болезненно: вас просят показать еще не законченный сценарий и с ходу отвергают его.

Вы потрясены: неужели они не увидели в нем ничего хорошего? Они даже не поняли вашего «занятного поворота»; вы принимаетесь тщательно объяснять, после чего сценарий им еще меньше нравится. Вы сдерживаетесь и говорите себе, что перед вами просто идиоты: надо стребовать с них свои денежки и откланяться. Во всяком случае вы уверены, что теперь вас выставят за дверь. Но ничего подобного не происходит. А происходит нечто худшее: вам дают соавтора. Человека, который должен работать с вами над новым вариантом. Человек этот знает, как строить сценарий, многие годы связан с кино. Для Кейзи таким человеком была Наоми.

Вам с самого начала ненавистен новый вариант. Что бы ни предлагала Наоми — все выглядит штампом, кажется давно известным, сентиментальным. Вас раздражает готовность, с какой она охотно отбрасывает не понравившуюся вам идею и тотчас преподносит новую, которая, по-вашему, не лучше предыдущей и, уж во всяком случае, куда менее интересна, чем ваши собственные. Но Наоми льстит вам и обращается с вами как с драгоценным хрупким хрусталем. Вам это нравится, и с каждым днем вы становитесь все более хрупким — просто, чтобы потешить оскорбленную гордость. А потом вам начинает надоедать эта поза, которую вы сами же приняли, проходят недели, и вам становится стыдно за то, что вы получаете такие деньги и ничего не делаете, тогда как эта женщина работает точно лошадь. Вы решаете вложить свою лепту.

И тут происходит нечто странное. Вам начинает нравиться то, что вы оба делаете. Идеи Наоми уже не кажутся такими банальными, как вначале,— они представляются нередко забавными или трогательными.

Вам начинает нравиться и то, что вы сами делаете, и вообще вы смотрите на интригу уже другими глазами. Будь на то ваша воля, вы, очевидно, не выбрали бы такого ребенка, но он ваш, и вы начинаете любить его. Вас вновь охватывает творческий экстаз. Вы сидите за столом, окутанный клубами сигаретного дыма, рядом, под рукой, в стакане с виски тает потихоньку лед, и отстукиваете на машинке очередную сцену. Вы не можете просто ее написать — вы должны ее «отстукать» как можно быстрее, потому что истерия, по вашему представлению, является неотъемлемым атрибутом вдохновения, показателем того, что ваша энергия идет на создание чего-то стоящего.

Но создал ли он здесь что-то стоящее — не сейчас, а вообще, подумал Кейзи.

Он шел по дорожке позади просмотровых залов: из одной раскрытой двери неслись звуки арии с колокольчиками из «Лакме», из другой — визг автомобильных шин и выстрелы.

...В вашем сценарии были отличные куски, но, как ни странно, это не имело значения. Вы строили пряничный домик. Какая разница, хорошо или плохо он будет построен? Все равно вы не сможете в нем жить, даже не сможете жить им, потому что он — сплошной сахар и патока, и хотя сладкое приятно есть, после еды остается неудовлетворенность и пустота в желудке, и вам хочется чего-то более основательного. Так что же, хорошие фильмы вообще перестали создавать? Кейзи знал коллег по перу — серьезных людей в роговых очках,— которые с жаром утверждали, что есть такие фильмы, но когда Кейзи припирал их к стенке, из сотен и сотен фильмов они могли набрать не более жалкой горстки действительно стоящих. Кейзи считал, что их защита голливудской продукции столь же несостоятельна, как попытка доказать, что замужняя женщина, хоть она и стала проституткой, остается чистой и добродетельной, если она два-три раза в год спит с законным мужем.

Но человек не думает о таких вещах, когда он работает не покладая рук и дело уже движется к концу. Наоборот: в этот момент вами всецело владеет иллюзия, что все будет хорошо. В лихорадочном возбуждении, искренне веря в успех, вы заканчиваете сценарий и сдаете его.

То, что происходит затем, застает вас врасплох: вот уж этого вы никак не ожидали. Вам говорят, что сценарий ваш не нужен — и не потому, что он плохо написан, вовсе нет, и не потому, что в нем есть слабые стороны, которые вы тщательно постарались замаскировать, а по причине весьма тонкой и никак не связанной с его достоинствами,— вот, например, у Клэриджа появилась девица, которую он непременно хочет снимать, а потому будьте любезны перевернуть всю интригу и начинайте сначала!

Тут вы пробуждаетесь от своих иллюзий и понимаете, что игра проиграна. Вам, правда, дают возможность продлить запой, если вы согласны, и даже наливают очередную рюмку. Но как бы вы ни были опьянены, вы вынуждены отказаться: нет сил. Вы уже и так перебрали, и слабый голос еще оставшегося у вас чувства собственного достоинства говорит, что пора домой.

— Домой! — с горечью повторил Кейзи.

Только тут ему пришло в голову, что когда Солтер явился к ним со своим известием, надо было встать и выйти, хлопнув дверью. Почему он этого не сделал? Объяснить это, подумал Кейзи, в общем не так уж сложно. За последние месяцы он не только продал свой талант, но и распродал по кусочкам всего себя — он даже сам не знает, что от него осталось. И хватит ли у него силы воли отказаться от работы, которая может принести такую сумму, что это позволит ему спокойно прожить года три и написать книгу, осуществить давнюю свою мечту? Хватит

ли у него силы воли выслушивать упреки жены, когда он вернется в Нью-Йорк, порвав контракт, примирившись с провалом? Хватит ли силы воли даже на то, чтобы завтра войти в кабинет редактора и сказать всего два слова: «Я уезжаю»?

Кейзи остановился. Здесь кончались студии озвучивания. К этому времени облака надвинулись с горизонта и заморосил дождь. Но Кейзи даже не почувствовал этого — так остро было в нем желание утишить боль, удержаться, не дать себе погрузиться в отчаяние. Красный сигнал на двери, возле которой он стоял, мигнул и потух, и он вдруг очнулся: заметил и потухший сигнал, и дождь, понял, как важно на этот раз не сдаться.

Дверь огромного бетонного здания открылась и закрылась за ним; Кейзи сделал шаг и замер у задников, наполовину закрывавших от него большой высокий помост, дожидаясь, чтобы глаза привыкли к темноте. В нос ударил знакомый запах древесной стружки, пыли, осевшей на еще горячих прожекторах, резиновой покрышки электрических кабелей, извивавшихся по полу, словно сеть миниатюрных железнодорожных путей. Он услышал голоса и увидел в отдалении свет — там шла репетиция, и Кейзи, подойдя поближе, вдруг очутился в Севилье.

В неправдоподобно зеленом садике, окружающем розовый испанский домик, под зарешеченным окошком девичьей спальни стояла актриса, исполнявшая роль испанской сеньориты, и внимательно слушала указания режиссера. На ней был иссиня-черный парик и кружевная мантилья, затканная красными розами,— Кейзи знал эту будущую звезду, с которой как-то раз видел Солтера в ресторане студии. Ему рассказывали тогда, что она была избрана королевой красоты в каком-то среднезападном штате, где ее и подобрал Голливуд. Никто ее пока что не снимал, и она с нетерпением ждала хоть какой-нибудь роли. В тот день, сидя за ресторанным столиком, он подумал, что если у себя дома она и могла пленять бесхитростной природной красотой, то от всего этого ничего не осталось — перед ним был стереотип с фальшивыми ресницами, крашеными светлыми волосами и ярко намазанным ртом, и ему стало жаль эту женщину, которая по неопытности явно считала себя красавицей, и к тому же очень везучей. Продюсеры без зазрения совести издевались над ней, и, желая прийти ей на помощь, Кейзи отвлек от нее внимание. Ему показалось тогда, что она с благодарностью на него посмотрела, но очень скоро забыла и о нем, и об оказанной ей услуге.

Сейчас Кейзи решил подойти поближе и посмотреть репетицию. Будущая звезда отошла от режиссера и стала позади зарешеченного окна, а молодой актер в узких черных брюках и испанской шляпе с помпонами встал возле кудрявого дерева. На съемочной площадке все пришло в движение — осветители кинулись устанавливать свет, направляя его на девицу, которую, судя по всему, только еще пробовали на эту роль. Пока рабочие, обливаясь потом, возились у прожекторов, молодые актеры — неуверенный в себе, нелепый юнец и девица, типичная американка, невзирая на парик и костюм испанской сеньориты,— отрабатывали текст. Кейзи стало тошно смотреть на эту бездарь, и он направился было к выходу, но в эту минуту его увидел режиссер.

— Эй, Кейзи...

Звали его Хэммер. Высокий, нервный, с изрытым морщинами лбом и печальными глазами человека, постоянно страдающего несварением желудка, он был режиссером, а не помощником, и, видно, эта проба имела для него большое значение, раз он сам ее проводил.

— Я задержу вас на минутку, идет? Мне бы хотелось знать ваше мнение об этой крошке,— сказал он.

Кейзи пожал плечами и остался; осветители продолжали устанавливать свет, и казалось, этому не будет конца. А в общем-то, подумал

Кейзи, не все ли равно, где болтаться, лишь бы отвлечься и успокоиться. Но он знал, что это ненадолго. На дворе было уже почти темно. Съемки скоро закончатся. Ворота студии запрут. Куда он тогда пойдет?

— Ну-с, все готовы? — спросил Хэммер.

— По местам! — без всякой надобности выкрикнул помощник режиссера, хотя все и так уже были на местах.— Тишина!

— Мотор! — рявкнул Хэммер.

Актриса задвигалась, словно механическая кукла под действием невидимого мотора, актер же продолжал недвижно стоять у дерева. Она подошла к окну и выглянула, ища глазами возлюбленного. Сначала на лице ее отразилась надежда, потом разочарование, потом грусть, и взгляд ее устремился вдаль, на груду декораций за киноаппаратом, как велел Хэммер.

Внезапно лицо ее оживилось. Герой-любовник вышел из-за дерева и, как зачарованный, двинулся к ней. Но то, что делал он, не имело значения — он лишь подыгрывал актрисе, и аппарат был нацелен на нее. А она была такая заурядная, такая банальная, такая стереотипная. Кейзи стало жаль ее. Он понимал, что она ничего не может из себя выжать, хоть и старательно повторяет все, что ей велели делать, и отчаянно хочет преуспеть.

Хэммер бросил взгляд на Кейзи.

— А, чего там,— опережая его оценку, сказал он.— Это же всего лишь ерундовая музыкальная комедия.

— Да ваша премьерша не так уж и плоха,— заметил Кейзи.

— Отнюдь,— подтвердил Хэммер.

Значит, и Хэммеру нелегко живется, подумал Кейзи, так как он хорошо знал этого человека и, естественно, не мог поверить сейчас в его искренность. Он впервые встретился с Хэммером еще в ту пору, когда тот изучал актерское мастерство в Нью-Йорке под руководством Михаила Чехова и очень серьезно относился к театру. И Хэммер — в этом Кейзи был уверен — прекрасно понимал, что эта девица неплоха по стандартам Голливуда, неплоха для своего возраста, неплоха для этой роли — относительно неплоха, но по большому счету она ноль. Однако Хэммеру в конце года, должно быть, надо возобновлять контракт и потому надо срочно выпустить кассовую картину, но без «звезд», чтобы не взорвать бюджет.

Тут Кейзи вдруг услышал рядом чье-то шумное дыхание и, повернувшись, увидел Роджера Констейбла. Роджер, молодой человек лет двадцати с небольшим, с наивно-глупыми глазами навыкате, был сыном главы студии. Он явно забрел на съемочную площадку, спасаясь от дождя, так как его белая рубашка была вся мокрая.

— Послушайте,— шепнул он, обращаясь к Кейзи,— кто эта девица?

— Ее зовут Райна Редклиф,— сказал Кейзи.

Роджер кивнул и замер, впившись взглядом в актеров. Это не удивило Кейзи: стереотипность Райны как раз и привела в восторг Роджера. Она была типичная кинозвезда, стандартный «идеал женщины» — тридцать шесть дюймов бюст, двадцать два дюйма талия, намалеванная, с крашеными волосами. И стандарт показался Роджеру идеалом.

— Хотите познакомиться с ней? — спросил Кейзи, когда съемка кончилась и режиссер с помощниками подошел к девице, поздравляя ее с удачей. Роджер передернул плечами, не желая показывать чрезмерную заинтересованность.

— У нее уже есть кто-нибудь?

Кейзи внутренне усмехнулся.. Неужели по тому, какими блестящими глазами смотрит Райна на всех окружающих мужчин, Роджеру не ясно, что она готова принадлежать любому и всякому?

— Насколько мне известно, заявки на нее никто не подавал,— сказал Кейзи.

Он подвел Роджера к Райне, представил и сказал несколько добрых слов об ее одаренности и удачном исполнении роли. Фамилия Констейбл мгновенно подействовала, и глаза Райны вспыхнули.

— Мне, право же, очень приятно познакомиться с вами, мистер Констейбл,— сказала она и улыбнулась Кейзи, молча благодаря его за добрые слова, в то время как Роджер уже тянул ее в сторону выкурить сигарету.

Кейзи усмехнулся: до чего прямолинейно действует Констейбл, и подумал, что мог бы изрядно разозлить Роджера, уведя Райну у него из-под носа. По тому, как Райна посмотрела на него, он понял, что она его запомнила еще с того, первого, вечера и теперь благодарна ему вдвойне. И готова расплатиться. Надо только подождать, пока уйдет Констейбл, а потом пригласить Райну в «Рыжий котелок» и, угостив хорошим ужином, проявив немножко понимания, чуточку поднажав...

Но вместо того, чтобы дожидаться ухода Констейбла, Кейзи кивком головы попрощался с Хэммером и направился к выходу. Дойдя до двери и открыв ее, он обнаружил, что проклятый калифорнийский дождь все еще льет. Он остановился на пороге и закурил сигарету в надежде, что ливень рано или поздно прекратится.

Глубоко вдыхая в себя дым, Кейзи вдруг осознал, что ему хочется вовсе не вина, а чего-то совсем другого. И больше всего на свете ему хочется поговорить с женой. Прийти и рассказать ей все, что с ним произошло.

Он улыбнулся, представив себе, как они с Эйлин обсуждали бы это в их излюбленном стиле, а они с самого начала взяли себе за правило говорить обо всем легко, иронично, так, что любое неприятное событие не перерастало в трагедию. Эйлин обладала в этом смысле удивительным даром, и он знал, что если бы он мог сейчас прийти к ней со своими бедами, она, конечно, не решила бы проблемы и даже, наверно, не сняла бы всей боли, но рана стала бы зарубцовываться.

Кейзи слегка вздохнул, швырнул сигарету на пол и растер ее каблуком. Дождь перестал. Можно идти — но куда? Куда?.. Боль стала совсем нестерпимой, ибо теперь он знал, что ему ничто не поможет, кроме Эйлин. Пока он медлил, к выходу подошла Райна вместе со всей группой.

— Мы идем пить кофе, Кейзи,— сказала она, указав на Роджера и Хэммера.— Хотите пойти с нами?

— Нет, благодарю,— сказал Кейзи.

Она немного задержалась и, дав пройти остальным, положила руку на локоть Кейзи.

— Это у нас недолго займет — пока устанавливают аппаратуру для съемки последней сцены. Может, все-таки пойдете?

Она смотрела на него искренне, просительно, и он понял, что ею движет не просто благодарность. Он ей в самом деле нравится. Ее тянет к нему, и она этого не скрывает. И ее желание отдаться ему, о чем он догадывался, приобретало теперь совсем другой смысл. Он посмотрел на нее — хорошенькая, молодая, свежая, даже сценический грим не мог скрыть безыскусной прелести ее миловидного лица. В другое время, а вернее, будь он другим человеком, ему нетрудно было бы сказать «да». Сейчас же он лишь сказал со всею теплотой и добротой, на какую был способен, так как не мог огорчить ее, просто не мог:

— Мне очень жаль, дружок. Честное слово, не могу.— И добавил, отнюдь не кривя душой, так как вдруг понял, что это единственный выход: — Я улетаю...

II

Кейзи приземлился на аэродроме Ла-Гардия и, взяв такси, поехал к себе на Пятьдесят шестую улицу. Когда лифт остановился на его этаже, он вдруг заволновался, почувствовал, что сгорает от нетерпения, однако постарался взять себя в руки и сделать вид, будто это обычное возвращение домой. В эту минуту ему пришли на память слова Шелли: «Трудно придумать институт, более изощренно враждебный человеческому счастью, чем брак»,— и он подивился, как это им с Эйлин удалось избежать общей участи.

Закрыв за собой дверь лифта, он пересек площадку. Интересно, знает ли Эйлин, какой она обладает над ним властью? Правда, он ни разу ни единым словом не выдал себя, но, может быть, она все-таки знает. Еще случая не было, чтобы она проявила к нему недоверие. Она отпускала его одного в Голливуд на многие месяцы, а когда он возвращался в Нью-Йорк, никогда не расспрашивала о новых знакомствах, не подлавливала, не уточняла. Она, конечно, не удержалась бы от искушения, если бы в глубине души не была твердо уверена в том, что он всецело принадлежит ей и никому больше.

Кейзи вставил ключ в замок и повернул. В прихожей было темно. Он включил свет и повесил пальто. Он понимал, что Эйлин могло не оказаться дома, и все же, пройдя по квартире — сначала через гостиную с ее встроенными в стены диванами и датской мебелью, а потом через примыкающую к ней небольшую спальню,— почувствовал разочарование. Но постепенно знакомая обстановка возымела на него свое действие: мягкие тона, ткани ручной работы, красный цветок в штойбеновской хрустальной вазе — все напоминало об Эйлин; разочарование его начало рассеиваться, уступая место ожиданию, и он уже представлял себе, как Эйлин придет домой и как она будет поражена, увидев его.

Он огляделся: изменилось ли что-нибудь за время его отсутствия? Нет, ничего не изменилось. Эйлин все такая же плохая хозяйка — ее интересует лишь эстетическая сторона жизни, но никак не практическая. Его пижама, которую он снял четыре месяца тому назад, так и висит, вся мятая, на крючке в стенном шкафу. На кухоньке — гора грязных тарелок и пустых консервных банок. Он взглянул на этикетки — оливки, красный перец, шампиньоны — и решил, что, очевидно, Эйлин готовила одно из своих любимых заморских блюд для некоего друга, пригласившего ее сегодня в театр. Он принялся искать газету, в которую можно было бы завернуть весь этот мусор,— нет, надо будет все-таки убедить Эйлин, что чистота и порядок имеют самое прямое отношение к эстетике.

Обнаружив под раковиной кипу «Дейли миррор», он свалил в один из номеров мусор и выбросил. Что это Эйлин вдруг вздумалось читать «Дейли миррор», подивился Кейзи, обнаружив в гостиной на столике у дивана еще один номер. Очевидно, чтобы быть в курсе войны в Европе, решил он, заметив на первой странице мутную фотографию, изображающую французских солдат в дозоре на линии Мажино. Возможно, они теперь лучше стали освещать события.

Он сел и окинул взглядом комнату, ища глазами сигареты. На столике лежала коробка, но в ней оказались папиросы фирмы «Бенсон и Хеджес». Интересно, кто из приятелей Эйлин, подвизающихся на Бродвее, принес их, подумал Кейзи. Он швырнул коробку на стол и полез в ящик, где обычно хранились сигареты. Там тоже были только папиросы. Видимо, Эйлин изменила своим привычкам,— неужели ей нравятся эти длинные белые мундштуки и пахучий табак? Папиросы курят только русские, но чтобы молодая особа, выросшая в Бронксе, пристрастилась к такому куреву — это как-то странно. Он прошел в прихожую, нашел в

кармане пальто уже вскрытую пачку «Честерфилда», закурил и вернулся в гостиную. Он начинал терять терпение. Но ведь часы показывали только час ночи, а он знал, что если Эйлин пошла в театр и потом еще куда-нибудь, значит, она едва ли вернется раньше двух. Он подошел к бару, где они держали напитки, и поискал виски. Четыре месяца тому назад, уезжая в Калифорнию, он купил два ящика шотландского виски, но теперь от его припасов, как видно, не осталось ни бутылки. В баре он обнаружил лишь немного американского виски да непочатую бутылку джина. Кейзи разобрала досада. Кого это Эйлин накачивала виски? Но и тут он ничего не заподозрил. Просто решил, что она, должно быть, спрятала куда-то бутылки и, так и не налив себе ничего, вернулся к дивану. На нем валялась книга — сборник рассказов Тарбера, первоначально опубликованных в «Нью-Йоркере». Он раскрыл книжку, начал читать и где-то посредине первого же абзаца вдруг все понял. Кровь отхлынула от его лица, и он медленно закрыл книгу...

Кейзи долго сидел так, не шевелясь. Случайным движением локтя он задел пепельницу, стоявшую на краю дивана, и она полетела на пол вместе с дымящейся сигаретой. Но Кейзи даже не шевельнулся. Он продолжал сидеть, тупо глядя перед собой, пока в нос ему не ударил запах горящего ковра. Он заморгал, как человек, возвращающийся из другого мира и, бережно отложив в сторону книгу, встал и каблуком затушил окурок. Затем не спеша взял пепельницу и выбросил ее содержимое в камин. Возвращаясь к дивану, он увидел папиросы в открытом ящике стола. Медленно сгреб их, подошел к окну, поднял нижнюю половину и выбросил папиросы во двор. Потом пошел на кухоньку, взял номера «Дейли миррор» и выбросил их следом за папиросами. Наконец он зашел в спальню, снял с крючка в стенном шкафу мятую пижаму и тоже вышвырнул ее в окно. Затем опустил раму и, вернувшись к столику, сел в кресло.

Кейзи был бледен как полотно, руки у него дрожали,— сможет ли он заговорить с Эйлин, когда она войдет, не откажет ли ему голос? Как ни странно, ему, собственно, почти нечего было ей сказать. Он был обманут, унижен, предан, но ведь не станешь же говорить об этом, во всяком случае, не в двадцатом веке и не в тех кругах, в которых они вращаются и где супружеская верность не считается вопросом жизни и смерти. Он был зол, но об этом тоже не станешь говорить, так как зол он был не на нее, а на себя,— зол за то, что не скрывал от нее самых сокровенных своих чувств, она же этого явно не оценила, иначе не поступила бы так. И о том, что он сейчас чувствовал, Кейзи тоже не мог бы с ней говорить, потому что сам не понимал, что же это такое. Ему было грустно — впрочем, нет, это была не грусть, скорее глубокое разочарование и не только в Эйлин, а во всем роде человеческом, который, несмотря ни на что, неуклонно продолжает деградировать.

У него было такое чувство, точно вокруг свирепствует чума и кто-то очень близкий и дорогой вдруг пал ее жертвой. Кто-то, кого он считал очень сильным, не способным поддаться болезни, пал ее жертвой, как и все вокруг. Почему он вообразил, что Эйлин избежит общей участи? Если бы она была наивной девчонкой, идеалисткой-мечтательницей, он ни за что не оставил бы ее одну в Нью-Йорке — даже на два месяца, даже на один день! Но ведь Эйлин знала всю изнанку бродвейской жизни. Она сама рассказывала ему тысячи остроумных историй на этот счет.

Французские часы на камине серебристо звякнули. Он поднял глаза. Стрелки показывали два часа. Ему вдруг пришло в голову, что хоть он-то и понял все, Эйлин ведь еще не знает об этом. Скоро она вернется домой — *они* вернутся. Он представил себе ее спутника — некое безликое существо в смокинге, окруженное еле уловимым ароматом дорогого одеколона и папирос. Он, конечно, хлыщ — это подсказывала Кейзи не

ревность, а логика. Как мужчина, Кейзи вполне удовлетворял Эйлин, он это знал, но раз она решила завести себе кого-то, значит, ей требовалось нечто другое, и Кейзи догадывался, что именно. Он слишком хорошо знал Эйлин. Ей стукнуло сорок, и смириться с этим она не могла. Она понимала, что теперь ей уже не стать актрисой, о чем она бесплодно и тщетно мечтала всю жизнь, но отказаться от этой мечты у нее не было сил.

Была ли у безликого незнакомца машина с опускающимся верхом, с обтянутыми английской кожей сиденьями и встроенным в панель приемником с хромированной шкалой? Целовались ли они в этой машине под негромкие звуки джаза? Ходили ли они в ночные кабачки, танцевали ли там щека к щеке, а потом пили и мечтали? Наверно, да. И в мечтах у них все происходило легче и было ярче, чем в действительности. Кейзи сам был не чужд таких мечтаний, он не знал только, как претворить их в жизнь.

Изо всей силы ткнув сигаретой в пепельницу, он раздавил ее, вскочил и принялся шагать по комнате. Часы пробили четверть. Им овладело нетерпение, желание поскорее покончить со всем. Он знал, что много времени на это не потребуется. Эйлин сначала побелеет, потом очень скоро возьмет себя в руки. Ее безликий спутник залопочет что-то бессвязное, потом примет высокомерный вид и станет обороняться. Кейзи представлял себе его не иначе, как слабовольным тюфяком. Ну, почему, почему Эйлин выбрала такого человека? Как ни странно, Кейзи возмущало не столько главное, сколько детали. Ну, например, этот тип выхлестал все виски и даже не подумал возместить выпитое. Он разбросал повсюду свои пахучие папиросы. Приличия ради он мог бы принести свою пижаму, а не пользоваться пижамой Кейзи... И потом, что же это за любовник, который спит в пижаме?!

Внезапно Кейзи вскочил. Не хочет он видеть этого человека! Не хочет он знать его. Даже Эйлин — и ту не хочет видеть. Придя к этому неожиданному решению, он шагнул к двери и задвинул засов. И вовремя. Не успел он снова сесть в свое кресло у камина, как услышал звук лифта...

Хлопнула дверь, послышались голоса: так говорят люди, возвращающиеся поздно ночью из театра — устало и в то же время возбужденно, интимно, доверительно. Кейзи узнал голос Эйлин. Она, видимо, отпустила какую-то остроту, потому что спутник ее рассмеялся и сказал, что это неповторимо. Фальшивый тон сразу выдал его с головой, а оборот речи показал, из какого он мира,— словом, джентльмен оказался еще хуже, чем Кейзи воображал.

Он почувствовал, как пот выступил у него на лбу при звуке ключа, вставляемого в скважину. Потом он услышал шепот. Эйлин явно пыталась вспомнить, задвинула ли она засов, вспомнила, что не задвигала, поняла, что кто-то в квартире есть, а мог там быть лишь один человек на свете. Шепот прекратился. Кейзи напряг слух. Казалось, прошла вечность, потом он услышал легкие шаги, удаляющиеся в направлении лифта. Дверь, отпущенная дрожащей рукой, с грохотом захлопнулась, и лифт заурчал, спускаясь вниз. Кейзи ждал, пока звук не растаял в ночи и не наступила тишина. Тогда он встал, достал стакан из бара и медленно наполнил его.

Глава 4

I

День стоял теплый, и двойные двери гостиной были распахнуты в сад. Кристина и ее брат Эллиот сидели за двумя черными стейнвеевскими роялями, на фоне больших французских окон, и играли «Овцы

могут пастись спокойно». Гости внимали им в почтительном молчании, и нарастающие каденции Баха летели ввысь, к вершинам тополей в саду. Стоял конец июня, было воскресенье, и Наоми Малл давала один из своих знаменитых приемов.

В конце комнаты был устроен буфет: на столе высились горы горячих пышек, пирог с корицей, тонкое, как бумага, английское печенье из дорогой кондитерской на Беверли-драйв. Рядом с этими творениями англосаксонской кухни стояли блюда с селедкой под сметанным соусом, украшенной луком, печеночный паштет, черный русский хлеб... В дверях застыла горничная в наколке с большим серебряным подносом в руках,— поднос, уставленный чашками, весил немало, а горничная страдала расширением вен, но войти не решалась.

Кристина взглянула поверх подставки для нот из красного дерева в дальний угол комнаты, где у книжных полок, в стороне от всех, стоял Саймон Брэнд. Не слушая музыки, он углубился в какую-то книгу и лишь время от времени переворачивал страницы длинными нервными пальцами. Кристина только взглянула и тотчас опустила глаза на клавиши, заметив гневный взгляд брата. Она отвлеклась всего на секунду— и вот уже прозевала повтор. Она взглядом попросила у Эллиота прощения и, насупившись, сосредоточилась на музыке. Сегодня нельзя играть кое-как. Ведь ее слушают профессионалы.

И в самом деле: среди тех, кого пригласила к себе Наоми, было немало профессионалов, и не просто профессионалов, а знаменитых артистов. В Голливуде их всегда можно найти. Вот уже много лет, словно Эльдорадо двадцатого века, Голливуд притягивал к себе писателей, музыкантов, художников со всего света, стекавшихся сюда в поисках богатства и славы. В последнее время к ним прибавились еще и беженцы из нацистской Германии. Все эти люди довольно быстро находили дорогу к милому просторному деревянному дому в Беверли-Хиллз. Они с удовольствием шли к Наоми Малл, хотя неизменно отказывались от приглашений на коктейли в кирпичные особняки голливудских знаменитостей, где сочетание стекла, хрома и вульгарной роскоши только лишний раз подчеркивало, какую грязную сделку заключили хозяева со своей музой. Дом же Наоми Малл являлся для этих людей олицетворением всего, что не было Голливудом,— в нем оживали воспоминания о Европе, и, глядя на старинную мебель, голландский фарфор, венецианское стекло в обставленных на европейский манер комнатах, откуда из окон открывался вид на просторную лужайку, и тополя, и небо, казалось, что ты находишься в Ломбардии. И в то же время в доме Наоми Малл было все, что этим людям успело понравиться в Америке,— был холодильник, из которого, словно по мановению волшебной палочки, появлялись холодные индейки и жареные окорока, был встроенный в стену бар с неограниченными запасами льда, было пять ванных комнат... А кроме того, в доме Наоми Малл вас спокойно, без фанфар, оценивали по достоинству. Оценивали — и оставляли в покое. Вы могли вести себя как вам заблагорассудится — могли болтать, если хочется, или же могли молчать. Никто не требовал, чтобы вы вели себя благопристойно или соблюдали правила вежливости. Вы могли уединиться с книгой в библиотеке, или слушать пластинки, или же просто отправиться спать в одну из спален на втором этаже. Любое проявление эксцентричности, любой каприз — все было оправдано, вы могли быть уверены, что вас всегда поймут. Понимали хозяева. Понимали дети. Понимали даже слуги. В атмосфере этого дома сказывалось наследие, полученное Наоми Малл от ее предков-раввинов, выходцев из старой России, проведших жизнь в изучении древних текстов и твердо веривших в то, что нет на свете ничего выше, ничего достойнее культурного, «ученого» человека.

В этот день Наоми Малл пригласила к себе Евгения Тесслера, при-

ехавшего дать несколько симфонических концертов в «Голливудской Чаше» и одарить отсталый в культурном отношении город Лос-Анжелес присутствием музыкального гения. Он стоял сейчас у окна, высокий человек с аскетическим лицом святого, внешне чуждый и далекий этой светской суете, что не мешало ему, однако, поглядывать на соблазнительно округлую даму в черном, сидевшую неподалеку от него на диване. Наоми позвала к себе также Иоганна Якоба Хаффнера, занимавшего второе после Шёнберга место в атональной школе современной музыки. Близорукий, с львиной гривой, он сидел на козетке — был здесь и в то же время не был: внимание его, как всегда, было наполовину поглощено сложными, изощренными мелодиями, которые звучали в его мозгу и которые сейчас он один слышал. Рядом восседала его соотечественница Ильза Фридлендер, дебелая Rheinemaiden *, которую всегда можно было уговорить выйти к роялю и пронзительным голосом, с какой-то агрессивной атональностью пропеть подряд все Lieder ** Хаффнера.

Ну, а кроме того, были тут еще и писатели. Кантор Макдональд — драматург, примерно раз в год поставлявший Бродвею какую-нибудь веселую и в то же время заумную комедию, а в промежутках походя и с превеликим презрением писавший для Голливуда за две с половиной тысячи долларов в неделю,— возлежал на диване и усиленно думал, что бы такое умное сказать после того, как кончится музыка. Прислонясь к книжным полкам и поигрывая шнурами своего слухового аппарата, стоял Ян Брэнд, английский романист, недавно перебравшийся из Лондона в Америку, спасаясь от войны. Брэнд был глухим, но явно на нервной почве. Возможно, вначале он прикидывался глухим, чтобы оградить себя от неблагожелательной критики, изничтожавшей его ранние произведения, пока к нему не пришла слава, или же чтобы отгородиться от людей, которых в массе своей он считал скучными и малопривлекательными,— но это знал только он, да и то неизвестно, знал ли.

Были тут, по обыкновению, и университетские профессора, киноделтели, поэты... и их поклонники. Единственным, кто не принадлежал к числу обычных гостей, был Тим Кейзи. Он впервые был в доме Маллов, и Наоми, несмотря на их тесное сотрудничество, долго раздумывала, прежде чем его пригласить. В конце концов она это сделала — хотя бы для того, чтобы показать, что не сердится на него за внезапное исчезновение три месяца тому назад, когда он взял и уехал, предоставив ей в одиночку доканчивать сценарий. Она с тем большей охотой простила его, что со сценарием все более или менее уладилось (она уже с головой погрузилась в новый), а кроме того, она слышала, что у него нелады с женой, которую Наоми всегда считала женщиной легкомысленной,— теперь, как она узнала, эта женщина покинула Кейзи и ушла к другому. Ей не известно было, расстались ли они окончательно или нет, но так или иначе Кейзи вернулся в Голливуд с новым контрактом, предусматривавшим более высокое вознаграждение,— не потому, что у Голливуда, как прекрасно понимала Наоми, доброе сердце, а потому, что последний роман Кейзи снова попал в список бестселлеров. Сейчас Кейзи стоял, прислонясь к камину, держа бокал с виски в опущенной руке; голубизну его глаз подчеркивал ярко-голубой галстук, который он надел с летним серебристо-серым костюмом. Красивое лицо его выглядело усталым.

Концерт подходил к концу. В комнате стояла абсолютная тишина. Даже тех, кто вначале был не слишком внимателен, захватило общее настроение, атмосфера этой комнаты, где прозрачную безмятежность прелюдии к баховскому хоралу так приятно дополняла мягкая роскошь

* Рейнская дева *(нем.)*.
** Песни *(нем.)*.

глубоких диванов, золотистый отсвет кленовых панелей на стенах, аромат дорогих сортов трубочного табака и предвкушение вкусной еды. У горничной, стоявшей в дверях с тяжелым серебряным подносом, начали затекать руки. Одна из рук дрогнула, и звякнула поехавшая по блюдцу чашка. Кто-то шикнул. И горничная поспешно отступила в глубину темного коридора, решив дождаться там, пока смолкнет музыка.

Но вот прозвучал последний аккорд, раздались дружные аплодисменты. И, когда снова загудели голоса, Кристина повернулась к брату.

— Если не считать того повтора,— сказала она,— неплохо сошло, правда?

Эллиот, когда нервничал, всегда смотрел сквозь очки куда-то поверх головы собеседника. Вот так же посмотрел он сейчас, а затем прошел мимо, даже не удостоив сестру ответом. Кристина не стала его задерживать, тем более что ее ждали многочисленные обязанности, выпадавшие на ее долю во время таких приемов...

— Я, наверно, еще не успел вам сообщить,— говорил Кантор, обращаясь к небольшой группе, образовавшейся вокруг чайного стола, когда Кристина подошла к ним с коробочкой марципанов,— что снимаю с себя обязанности отца и подаю в отставку?

Наоми Малл, разливавшая чай из серебряного чайника, улыбнулась, как бы предлагая ему развить свою мысль.

— Почему же это, дорогой Кантор?

— Боюсь, что эта роль мне не по плечу,— сказал Кантор.— О, я вполне с ней справлялся, пока дети росли, хотя многое в них меня не устраивало. А сейчас, когда, казалось бы, они наконец достигли возраста, допускающего наличие общих интересов, они даже говорить со мной не хотят.

Кристина услышала сочувственный шепот: присутствующие заинтересовались. И подогреваемый их интересом, Кантор продолжал:

— Положение родителя — самое незавидное. Куда хуже, чем у любого нацменьшинства. В лучшем случае дети смотрят на тебя снисходительно, словно ты умственно неполноценный субъект, которому власти только лишь из чрезмерного человеколюбия позволяют разгуливать на свободе...

Кристина со своими марципанами отошла от этой группы, голос Кантора потонул в общем гуле.

Она направилась в дальний угол комнаты, где Ян Брэнд, длинный, тощий англичанин с отсутствующим взглядом человека, живущего в своем собственном замкнутом мирке, разглагольствовал об «Упанишадах». Рядом с ним восседал индус-брамин, новое увлечение Брэнда, а сбоку, за тесным кольцом очарованных слушателей,— его сын Саймон, восемнадцатилетний студент-математик, подававший большие надежды. У Саймона были красивые, глубоко посаженные серые глаза, густые, вечно всклоченные, светлые волосы, тонкий орлиный нос и манера смотреть на мир с бесконечным высокомерием и презрением.

— Саймон...

При звуке ее голоса Саймон обернулся и, слегка вздрогнув, как это бывает с англичанами, когда они вдруг выходят из своего летаргического состояния, вежливо поздоровался.

— А, здравствуй,— сказал он.— Как приятно тебя видеть.

Они обменялись рукопожатием — на европейский манер. Саймон воспитывался в Англии и во Франции, и все повадки у него были чужеземные, как и его английский акцент. Кристина протянула ему коробку с марципанами.

— Не желаешь ли немножко $C_{12}H_{22}O_{11}$, слегка сдобренного «Старовенским»? — спросила она, тщательно отработав фразу, пока шла к нему через комнату.

— Пожалуй, нет, во всяком случае не сейчас,— вежливо отказался Саймон.

Она поставила коробку и тотчас снова повернулась к нему.

— Осенью ты снова поедешь учиться на восток? — спросила она. Саймон посещал квакерский колледж где-то в Пенсильвании.

— Да,— ответил он.— Скорей всего.

— А я еду в Брин-Мор.

Он никак на это не отреагировал.

— В колледж Брин-Мор,— уже безо всякой бравады повторила она.— Ты о таком слыхал?

— Конечно,— сказал он, и губы его искривила легкая гримаска презрения, часто появлявшаяся у него без всяких причин.

— Хочу совершенствоваться в древнегреческом,— сказала она.

Саймон кивнул: эта тема явно не слишком интересовала его. Наступило молчание. Кристина чувствовала, что лучше отойти, и тем не менее заговорила снова: она принялась рассказывать ему, почему решила изучать греческий и почему так важно читать в оригинале произведения Эсхила, Софокла, Еврипида...

— Но ты наверняка их знаешь,— неуклюже оборвала она сама себя.

— Да, конечно,— сказал он таким тоном, точно это подразумевалось само собой, и в ней шевельнулась зависть. Саймон стоял уже на том берегу широкой реки еще неведомых ей знаний.

Рядом с ними закипел спор, и он повернулся к спорившим.

— Может, послушаем?..

Кристина кивнула. Возле нее стоял свободный стул, но она примостилась на узеньком подоконнике, предоставив стул Саймону.

Ручка высокого французского окна упиралась ей в бок, ноги затекли, но она этого не замечала, и когда кто-то, взглянув на нее, шепнул: «Вам не очень там неудобно, детка?» — она ответила: «Что вы, отлично...» И была вполне искренна.

II

Когда Бэкстер спросил Кейзи, не хочет ли он чего-нибудь более соответствующего мужскому вкусу, чем чай, Кейзи, невзирая на повторное предупреждение врача, который всего две недели тому назад сказал, что дело может плохо кончиться, если он будет пить,— не отказался. Позади был тяжелый день, и ему не хотелось сейчас в чем-то себя сдерживать. Он присел возле группы, в центре которой разглагольствовал Ян Брэнд, и, держа в руке стакан виски с содовой, попытался понять, о чем идет речь.

— Вот тут я с вами едва ли буду согласен,— произнес в это время Брэнд, обращаясь к поэтессе Дафне Клор, которая сначала слушала его как завороженная, а потом вдруг заявила, что христианство и учение йогов — это в общем одно и то же, все равно что смотреть на бога «из разных окон».— Между монодеизмом и идеей о присутствии духовного начала в каждой клеточке природы — большая теологическая разница.

Кейзи пытался следить за ходом спора, но ему это было вовсе неинтересно. Он пересел сюда лишь затем, чтобы избежать поздравлений по поводу успеха его последнего романа или вопросов о том, что он собирается делать для Голливуда. Он глотнул виски и, прищурившись, казалось, погрузился в размышления над услышанным, тогда как в действительности прикидывал, когда удобно будет сбежать.

Кейзи и не думал идти к Наоми Малл. Он собирался работать. Но в какую-то минуту ему стало невмоготу сидеть в своем уютном номере в «Саду Аллаха». Утром он услышал по радио, что немецкие армии под-

ходят к Парижу, и когда потом сел за машинку, то просто не в состоянии был связать двух слов для игривого диалога влюбленных на Таити... А потом, немного позже, зазвонил телефон — его вызывал Нью-Йорк, и звонкий голос Эйлин, резавший по сердцу своей веселостью и дружеским участием, лишь усилил ощущение ирреальности окружающего мира. Как она могла, спрашивал он себя, после этих бесконечных, длившихся неделями, душераздирающих объяснений, после истерик, которые она устраивала, заявляя, что она женщина и хочет жить, после вспышек гнева с его стороны, когда в нем говорил отвергнутый мужчина, после того, как они прошли через формальности, связанные с бесстрастными юристами и банками, и Эйлин отправилась в Рено *, а он — в Голливуд, чтобы суметь заплатить за эту ее поездку,— как она могла после одиннадцати лет супружества так заговорить с ним, расспрашивать его о жизни, будто ничего не случилось? Кейзи не мог заставить себя поверить, что любовь приходит и уходит так легко. Значит, у них была не любовь, а что-то совсем другое. Во всяком случае — у нее, потому что в его чувствах... Но Кейзи даже думать не хотелось о том, что он чувствовал. Дело было не в нем, а в Эйлин. Эйлин же не раз говорила ему, что мужчина не имеет права требовать постоянства от женщины и не должен принуждать ее жить с ним, если ее чувства изменились. Более того: это вполне естественно, говорила она, и если женщина, разлюбив одного, полюбила другого — это не преступление и не порок.

Разумом он был с этим согласен, но где-то в глубине его души гнездился страх, с которым он ничего не мог поделать: ему казалось, что, как только он расстанется с Эйлин, что-то в нем умрет.

И тем не менее он старался выбросить ее из головы. Успех его романа, собственно, даже не романа, а большой сатирической повести о нравах мещан — двух семейств, решивших отправиться отдыхать на барже,— удивил и на какое-то время приободрил его, но он все равно не мог забыть Эйлин. Правда, он пытался вытеснить ее из своих мыслей и все больше и больше думал о войне в Европе. Пока он жил в Нью-Йорке, он проводил долгие вечера в беседах со своим другом Гиббоном, австралийским журналистом, весьма любопытным молодым человеком, который с крайним ожесточением и цинизмом относился к существующей системе и пылко верил в народ, являющийся жертвой этой системы. Они говорили об Америке и об изоляционизме, о том, не может ли Гитлер повернуть против России, невзирая на пакт о ненападении, и что будет, если Россия выступит на стороне союзников и они даже объединенными усилиями не смогут сдержать нацистские орды.

Гиббон сказал ему как-то, что в информационном агентстве, где он работает, есть место с хорошим окладом — работа интересная, за границей. В присутствии Гиббона Кейзи воодушевлялся, ему казалось, что ни один мужчина не может не принять участия в войне, его так и подмывало сказать «да». Но когда он вернулся домой, интеллигентская закваска одержала в нем верх, и он заколебался. Гиббон — человек целеустремленный, посвятивший всю жизнь политике. Вполне естественно, что его место — в гуще событий, иначе и быть не могло. А вот почему у него, Кейзи, вдруг возникло желание принять участие в происходящем? Потому, что он искренне уверовал в правоту дела союзников, как он сказал себе, когда беседовал с Гиббоном? Так ли? Или же это объяснялось желанием бежать от чего-то — от какой-то другой, более серьезной ответственности, которую он еще ни разу не брал на себя и от которой, по-видимому, заранее отказывался?

Ответа на эти вопросы он не находил, но так или иначе сочинять в такое время остроумный диалог двух влюбленных болванов на тропиче-

---

* Город в США, где можно сравнительно быстро оформить развод.

ском острове мог только человек не в своем уме, и, хотя Кейзи не слишком любил сборища, оставаться в номере он был не в состоянии. И сейчас, когда виски, налитое Бэкстером Маллом, побежало по его жилам, обтачивая острые шипы застенчивости, которые неизменно вылезали, стоило ему очутиться среди незнакомых, он попытался убедить себя, что хорошо быть на людях, даже когда тебя окружает такая разношерстная толпа интеллектуалов. От философии йогов разговор перешел на вещи более повседневные, и кто-то спросил Яна Брэнда:

— А что вы думаете о событиях в Европе?

— Вы имеете в виду войну? — вопросом на вопрос ответил Брэнд, слегка повернув диск на слуховом аппарате, чтобы усилить звук.

— Да, конечно.

Кейзи еще раз глотнул из стакана и стал слушать. Это, по крайней мере, интересовало его.

— Налицо насущная необходимость положить конец ретроградному влиянию нацизма,— начал Брэнд, прислонясь к шератоновскому буфету.— Это, конечно, жизненно важно. Но мне кажется, что во время любого крупного социального катаклизма появляется тенденция, которая имеет место и сейчас,— забывать об индивидууме и о том, что любой социальный конфликт является au fond * следствием многократно умноженного психоза одной человеческой единицы.

Кейзи машинально поболтал лед в стакане и подумал: интересно, а что сказал бы на это Гиббон. Он отчетливо представил его себе — вот он сидит, высокий, очень худой, и категорично изрекает: «Чепуха!»

— Вопрос, конечно, состоит в том, как покончить с этим психозом,— продолжал Брэнд,— где найти для него настоящее лекарство. Правильно, Рамананда? — спросил он, посмотрев на стоявшего рядом индуса.

— Человек жаждет постоянства,— произнес индус высоким, тонким голосом, и на губах его промелькнула улыбка,— символом его является собственность. И он цепляется за то, что имеет, из страха потерять это и вечно гонится за тем, чего не имеет, в тщетном стремлении обрести стабильность...

— Я что-то не понимаю,— раздался чей-то голос.

Кейзи посмотрел в том направлении и увидел молоденькую девушку в вечернем платье из темной материи, усеянной красными цветами. В начале вечера она играла на рояле, а сейчас сидела, скрючившись, на узком подоконнике по другую сторону группы. Кейзи понятия не имел, кто она.

— Если человек видит, что он на ложном пути,— продолжала она,— зачем же он упорствует? Почему не ищет другого?

— Дело в том, что стремление к постоянству само по себе есть следствие невежества,— сказал индус.— Только поняв, что в жизни нет ничего стабильного, что все изменчиво, человек может обрести душевный покой.

— Но как? — спросила девушка.— Что для этого нужно сделать?

— Вот в этом-то и состоит парадокс, Кристина,— заявил Брэнд.— Ничего. Для этого ничего не надо делать. Только предельная обостренность чувств может привести к пониманию мира.

Тут Кейзи прорвало.

— А как в таком случае быть с Гитлером? — спросил он.— Никакая обостренность чувств тут не поможет. Надо действовать, что-то предпринимать, правда?

— До тех пор пока людям будет свойственно честолюбие и стремление к постоянству,— сказал Брэнд,— будут существовать и психически неуравновешенные индивидуумы, стремящиеся прибрать к рукам

---

* В конечном счете *(франц.)*.

целый народ или даже весь мир. Конечно, надо остановить Гитлера, но этим не исчерпывается проблема. Необходимо излечить людей от алчности.

— Ну, а Генри Форд? — спросил Кейзи.— Вы полагаете, его можно излечить от привычки получать доход в несколько миллионов долларов?

— Генри Форд такой же человек, как и все мы,— непререкаемым тоном объявил индус.— Он тоже может научиться жертвовать собой.

— Я уверен, что он вполне может пожертвовать собой,— буркнул Кейзи,— лишь бы ему не пришлось жертвовать своим состоянием...

— А я всегда стараюсь рассмотреть проблему со всех сторон,— заметила дама в платье из ткани ручной выделки, с серебряными украшениями чеканной работы.— Ведь только так можно быть объективной, не правда ли?

— Полную и всестороннюю объективность дает лишь обостренность чувств,— донесся до Кейзи голос индуса.

Вся эта дискуссия показалась ему вдруг необычайно пустой и нудной. Но он был не в настроении затевать сейчас спор, особенно с таким человеком, как этот англичанин, который так тверд в своих взглядах, тогда как в мыслях и чувствах его, Кейзи, царит полнейший сумбур. Ведь он же пришел сюда за тем, чтобы забыться, а не за тем, чтобы бередить душу.

Он вышел в пустынный холл, где лишь груда пальто на диване указывала на присутствие в доме гостей. Напротив оказалась другая гостиная, где тоже было полно народу,— гости болтали и смеялись, в то время как некая дама под аккомпанемент спинета, за которым сидел бородатый человек, исполняла немецкие Lieder, перекрывая, словно непобедимая Валькирия, своим звучным сопрано гул голосов. Кейзи послушал немного, потом подошел к одной группе, к другой. Это была пустая светская болтовня, которую не трудно вести, скользя по поверхности, не впуская посторонних к себе в душу.

Через некоторое время принесли еду и расставили на столе у окна. Должно быть, дискуссия об индивидууме и войне в другой комнате закончилась, потому что молодежь, прислушивавшаяся к ней — Кристина и Эллиот, Саймон Брэнд и еще один юноша, сын художника,— появилась теперь тут; они набросились, словно саранча, на накрытый стол, основательно его прочесали и, не переставая оживленно болтать, исчезли в саду.

Потом опять началась музыка,— Кейзи выскользнул в холл и осмотрелся. Ему вдруг неудержимо захотелось послушать вести с фронта, и он решил пойти поискать приемник. Немного помедлив, он вышел в коридор — теперь уже и там стояли люди — и, пробравшись среди болтающих гостей, поднялся по устланной ковром лестнице.

На площадке второго этажа Кейзи приостановился и открыл ближайшую дверь. Это оказалась библиотека. В ней стоял «комбайн», но возле него сидел Хаффнер, венский композитор, и, припав к самому проигрывателю, всклоченный, с блуждающим взглядом, слушал свою собственную симфонию.

— Schneller, schneller,*— бормотал он, обращаясь к черному диску и как бы подгоняя скрипки.

Кейзи тихонько прикрыл дверь и пошел дальше. Дойдя до следующей комнаты, он услышал храп и, заглянув в приоткрытую дверь, увидел человека, спавшего в одежде на кровати. Просунув голову в следующую дверь, он увидел небольшую комнатку с яркими занавесками, уставленную книгами. На письменном столе стояли машинка и приемник. Кейзи вошел и закрыл за собой дверь.

---

* Быстрее, быстрее *(нем.)*.

III

Он тщетно пытался настроить приемник, из которого неслись то бессвязные обрывки речи, то музыка, какую обычно дают между программами, когда дверь вдруг отворилась.

— Извините,— сказала Кристина.— Можно мне зайти на минутку?

Кейзи поднял глаза и увидел девушку в темном платье красными цветами, которая сидела на подоконнике внизу и слушала разглагольствования Брэнда.

— Конечно.

Не глядя на него, она подошла к полкам, взяла какую-то книгу и принялась ее листать. Кейзи заметил ее смущение и понял, что перед ним существо из породы дичков. Хотя никто их не знакомил, он теперь догадался, кто она. Высокий лоб и длинное худое лицо несомненно указывали на принадлежность к семейству Маллов.

— Простите, я не знал, что это ваша комната,— извинился Кейзи и мысленно пожалел, что девушка не унаследовала красоты матери.

— Ничего, ничего...— Кристина продолжала листать книгу.— Видите ли, мой брат говорит, что это Блейк написал «Тигр, о тигр, светло горящий»*, а Саймон Брэнд говорит, что это написал Томас Гуд. Я почти убеждена, что Саймон прав, но все же мне хотелось проверить.

— Это написал Блейк,— небрежно обронил Кейзи.

Она подняла на него удивленные глаза.

— Вы уверены? Но ведь Саймон знает английскую поэзию чуть ли не наизусть.

— В таком случае, естественно, что иногда он может что-то и перепутать,— сказал Кейзи и снова пригнулся к радио. Она продолжала стоять. Он помедлил.— Надеюсь, вы не будете возражать, если я посижу здесь еще несколько минут?

Она покачала головой и закрыла книгу.

— Нет, но я должна предупредить вас, что музыка по этому приемнику звучит ужасно.

Он обернулся. Не так-то легко взрослеть, а когда к тому же хочешь стать интеллектуалом... У него было побуждение сказать ей, что надо щадить себя.

— А я и не собираюсь слушать музыку. Меня интересуют последние известия.

— Ах, известия,— протянула она.

— Неужели вы никогда их не слушаете? — спросил он, заинтересовавшись.

— Нет, я и газет почти не читаю.

— Почему же?

— Мой брат говорит, что журналистика полна клише и с литературной точки зрения ничему хорошему тут не научишься.

— А я читаю газеты не для того, чтобы учиться стилю,— сказал Кейзи,— и, мне думается, не слишком умен ваш брат, если он сводит все только к этому. Ведь вы оба молоды. Жизнь ваша только начинается. Неужели вам все равно, в каком мире вы будете жить?

Кристина передернула плечами

— Каждый живет в своем собственном мире,— сказала она,— независимо от того, что происходит вокруг.

— Неужели?

Она повернулась и с такой силой принялась втискивать книгу на полку, что та сорвалась с петель и рухнула на кровать вместе со всем содержимым. Кейзи привстал.

---

* Из стихотворения У. Блейка «Тигр», перевод С. Маршака.

— Разрешите я помогу вам.

— Нет, спасибо, я сама справлюсь, — поспешила отказаться она, засовывая книги на место. Она пихала их кое-как, но Кейзи решил больше не вмешиваться и, отвернувшись от нее, принялся крутить радио.

— Это чья? — спросил, показывая на машинку, когда девушка уже собралась уходить.

— Моя.

— Что же вы на ней делаете?

— Пишу,— сказала она, взявшись за ручку двери. Теперь разговор продолжила она:— А вы, случайно, не писатель?

Он кивнул.

— Что же вы пишете? — спросила она.

— Романы, сценарии...

— Сценарии? — повторила она, и ему показалось, что в голосе ее послышалось разочарование.

— Но в общем больше романы,— сказал он.

— Понятно.

Кейзи знал, что агрессивность у молодежи является своеобразной формой самозащиты, и все-таки его раздражали эти бесцеремонные расспросы, когда вопрошающий выуживает из собеседника то, что ему хочется знать, и пропускает мимо ушей все остальное.

— Меня зовут Тим Кейзи,— сказал он.— И если бы вы читали газеты, вы могли бы заметить, что моя книга стоит в списке бестселлеров за последнюю неделю.

Кейзи сам удивился, как это у него вырвалось: он в общем-то не отличался хвастовством. Но еще больше удивился он, обнаружив, что его сообщение не произвело никакого впечатления на девушку; она лишь пробормотала:

— А-а.

Кейзи был поражен.

— Вы считаете, что это плохо?

Она смущенно пожала плечами.

— Да нет. Я ведь не читала вашей книги. Как я могу сказать, хороша она или плоха?

— И все же вы, видимо, не очень-то высокого мнения о бестселлерах,— не отступался он, усиленно стараясь показать, что это лишь занимает, но не раздражает его. Он заметил, что ее запальчивость исчезла так же внезапно, как и возникла, что она хочет лишь поскорее уйти, но он решил не отпускать ее.— Что же вас тут не устраивает? Скажите, мне в самом деле интересно это знать.

Она помедлила.

— Видите ли, вот Эллиот говорит, что когда человек пишет с таким расчетом, чтобы всем нравилось,— это его, конечно, дело, но это не настоящее творчество. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Нет, не понимаю,— сказал Кейзи, чувствуя, как в нем нарастает раздражение против девушки. Он старался не поддаваться этому чувству, сосредоточив все внимание на ее трепещущих длинных ресницах — как видно, единственном, что она унаследовала от матери. За этими ресницами скрывались глаза. Но увидеть их было не так-то просто, потому что она всегда смотрела вниз — на пол, на уголок покрывала, на что угодно, только не на собеседника.— Честно говоря, ваш брат Эллиот производит впечатление настоящего кретина. Вместо того чтобы цитировать его или какого-нибудь другого оракула, не мешало бы вам иметь собственное мнение. Неужели его у вас нет?

Вот тут уже отступать было некуда.

— Я считаю, что надо писать правду,— сказала она,— не заботясь

о популярности. Надо писать о том, что действительно думаешь. Только об этом — и ни о чем другом.

Кейзи внимательно посмотрел на нее.

— Это ваше мнение?

Она кивнула.

Кейзи улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь? — спросила она.

— Хорошо быть идеалисткой,— сказал он и обвел взглядом комнату,— и легко ею быть, когда живешь в Беверли-Хиллз, в таком вот доме, в собственной комнате и даже имеешь свою машинку...

Она помолчала.

— Если человек не голодает,— сказала она,— это еще не значит, что он говорит ерунду.

И при этом она наконец посмотрела на него. Он увидел, что глаза у нее синие. И вдруг понял, до чего она ранима.

— Нет, конечно,— сказал он, смягчаясь, и отвернулся, давая понять, что хочет остаться один.

Кристина ушла, но чувство вины у Кейзи не проходило. Лет двадцать тому назад ему было столько же лет, сколько сейчас Кристине,— он тоже воспринимал тогда все всерьез и не любил, когда над ним смеялись. В раннюю пору своей жизни люди относятся с презрительным пренебрежением к кумирам, которых почитает мир,— к деньгам, успеху или... бестселлерам. Но философия эта быстро испаряется, он уже успел забыть, что и сам придерживался когда-то таких же взглядов, и стал разыгрывать перед девушкой этакого умудренного жизнью человека, стараясь, как это часто делают взрослые, показать ей, что она еще ребенок,— а все из-за внезапного прилива тщеславия, от которого, казалось, он давно излечился. Надо будет загладить свою вину перед ней, решил он, и сказать ей что-нибудь приятное. Приняв это решение, он тут же перестал о ней думать и снова повернулся к радио.

В эфире гремели помехи, звучала музыка, речь. Он нетерпеливо крутил диск настройки, пытаясь поймать последние известия. Разговор с этой девушкой почему-то вызвал в нем желание действовать. Чего он ждет? Гиббон ведь сказал, что его возьмут в любое время. Неужели ему не хочется пробудить спящую совесть Америки, которой очень нужна хорошая встряска? Разве это не самое благородное, чем он может сейчас заняться? А делать что-то надо, он это понимал, если он хочет оставить после себя какой-то след — хотя бы затем, чтоб доказать, что он жил на этой земле, а вернее, доказать, что жил недаром.

Внезапно сквозь многоголосицу звуков пробился голос, ровный голос диктора:

«Два дня тому назад французское правительство, сочтя Париж недостаточно безопасным местом для своего пребывания, решило перебраться в Тур, где оно и находится со вчерашнего дня. Сегодня утром стало известно, что генерал Денц, военный губернатор Парижа, объявил столицу открытым городом...»

Кейзи вскочил и со стаканом в руке зашагал из угла в угол,— а радио продолжало передавать подробности декларации и условий, выдвинутых немцами. Подробностей этих было, однако, немного, и вскоре диктор перешел к внутренним новостям, а потом к спорту и погоде. Кейзи уже не слушал — он продолжал шагать и думал, думал. Он думал о Париже, который объявили открытым городом. Думал о том, как немцы, печатая шаг, идут по Елисейским Полям. И сделав большой глоток виски, снова подумал о Гиббоне.

— А, черт,— вслух пробормотал он. Через несколько месяцев он напишет то, что требует от него Голливуд, и тогда явится к Гиббону и

отдастся на его милость, как преступник отдается на милость правосудия. Да, наверно, именно так он и поступит...

Он все ходил по комнате, давя причудливые узоры, которые солнце, пробиваясь сквозь листву высокого тополя, вырисовывало на ковре. Внизу, в саду, молодежь сидела в плетеных креслах вокруг стола, заставленного пустыми бутылками из-под кока-колы и остатками сластей от чая, и болтала о чем-то. Кейзи посмотрел на юношей — нескладные, долговязые, с еще не установившимися чертами лица — и перевел взгляд на Кристину Малл, напряженно вслушивавшуюся в разговор.

Да, все они привыкли спать на чистых простынях, молиться на ночь, думал Кейзи. Что будет с ними, когда жизнь ударит их — а это скоро может случиться. И тогда останется ли хоть что-то от их наивных, чистых идеалов? Но почему, собственно, они должны сохранить свои идеалы, тогда как все — и он сам, и Эйлин, и все, кто живет сейчас или кто жил до него,— утратили их безвозвратно; лишь немногие избегли общей участи, одни при этом сошли с ума, как Ван-Гог, а другие умерли молодыми, как Китс!..

Молодежь под окном рассмеялась какой-то шутке. Кейзи смотрел на них, и ему очень хотелось, чтобы они остались такими. Но так надеется врач, рассматривая рентгеновский снимок обреченного пациента,—надеется, что пациент выживет, невзирая на неопровержимое медицинское свидетельство, каким является еще мокрый негатив, доказывающий, что уже ничто не в силах его спасти.

Внизу открыли балконную дверь, и до Кейзи донеслись голоса гостей — они болтали, болтали ни о чем. Кейзи смутно сознавал, что надо сойти вниз и присоединиться к ним. И все же продолжал стоять, пристально глядя из окна на молодых людей, чей оживленный разговор сплетался с гулом голосов из гостиной и пронзительными немецкими Lieder, которые неутомимо продолжала выводить певица.

(Окончание следует)

ПОЛЬ ЭЛЮАР

...По ступеням необозримой лестницы надежды

Стихи разных лет

Перевод с французского и вступление
МОРИСА ВАКСМАХЕРА

В преддверии 25-летия разгрома германского фашизма опять и опять вспоминают славные дела и трудные дни антифашистского Сопротивления в Европе. Одно из первых имен, встающих в памяти,— Поль Элюар, поэт-коммунист, солдат Сопротивления и его певец и глашатай, национальная гордость Франции.

В этой подборке стихов мне хотелось показать Элюара «разным» и цельным, представить читателям нежного лирика, вдумчивого исследователя жизни, темпераментного пропагандиста, страстного борца — и во всех этих творческих ипостасях увидеть поэта доброго, мудрого, человечного, поэта, чей приход в Сопротивление был органичен и закономерен. В суровую пору войны, оккупации, подполья Элюар подхватил и развил главные темы своей лирики десятых, двадцатых, тридцатых годов. Он пел — защищал! — родной край, и его людей, и природу Франции, и любовь к женщине, любовь порой печальную, порой трагическую, порой счастливую («жизнь, разделенную поровну»). Он защищал память о солдатской дружбе в окопах первой мировой войны; он укреплялся в своей непреклонной ненависти к «царству буржуев, шпиков и попов». Поэзия Сопротивления была для Поля Элюара и логическим продолжением той песни интернационального пролетарского братства, которую он начал в середине тридцатых годов, прежде всего стихами о бойцах республиканской Испании.

В тяжкое, в самое, казалось, беспросветное время национальной беды (1942) Элюар говорит о слабости палачей. Он поет счастливый человеческий смех, струящийся «под смертными снегами». Сила всегда на стороне жизни, а не смерти; путь человека и человечества — бескрайняя лестница надежды... Эта убежденность помогала Элюару всегда.

Иные из стихотворений, предлагаемых сегодня вниманию читателя «Иностранной литературы» и, возможно, знакомых ему по другим переводам, прочтены мною заново. Некоторые стихи («Симметричная гордость...», «Чуть измененная», «Пасмурная толпа...», «Я зверь лесной») публикуются на русском языке впервые.

■ ■ ■

Ну что ж, старина, ложиться пора.
Наше дело дневное. Распустим ремни.
Наше дело такое.
Хоть жалко ребят,
Что долгую ночку с винтовкой стоят,
Так ведь днем отоспались они!

До утра, старина, по дороге ночной
Никто не пройдет, и шиповник утонет
В темноте, и к окопам протянет ладони,
Окропленные ясной луной,
И шипами солдата не тронет.

Ну так что ж, старина, ложиться пора.
Вино надоело, обрыдла игра.
Скинем винтовки, ремни расстегнем.
Да развернем-ка с тобой до утра
Одеяла, набитые злющим зверьем.

1916

■ ■ ■

Симметричная гордость жизнь разделенная поровну
Между старостью улиц
И молодостью облаков
Закрытые ставни руки дрожащие
Как на солнце листва
Руки ручьями струящиеся
И укрощенная голова.

1929

Чуть измененная

Прощай печаль
Здравствуй печаль
Ты вписана в линии потолка
Ты в любимых глазах
Но не буду звать тебя горем
Ибо самые жалкие в мире уста
Ты отмечаешь
Улыбкой
Здравствуй печаль
Любовь податливых тел
Неотвратимость любви
Ласка твоя возникает нежданно
Чудищем бестелесным
Головой удрученной печаль
Прекрасная ликом
Печаль.

1932

Критика поэзии

Разумеется я ненавижу царство буржуев
Царство шпиков и попов
Но сильнее стократ я ненавижу людей которые не
ненавидят его
Так же как я
Всей душой.

Я плюю в лицо ничтожнейшему пигмею
Который всем стихам моим не предпочтет
Эту «Критику поэзии».

1932

■ ■ ■

Пасмурная толпа медленно катится вспять
Погружается в мягкую землю лопата
Точно прохладная девушка в теплые простыни
Затоплена ночь луной
Но сила по-прежнему на стороне торжествующей
жизни.

1936

Ноябрь 1936

Смотрите как работают строители развалин
Размеренные цепкие богатые тупые
Как злобно эти нелюди изводят все живое
Как метко и старательно оплевывают душу
Как в прах втоптать торопятся беспечные дворцы.

* * *

Ко всему привыкаешь
Только не к этим свинцовым птицам
Только не к злобе с какою они затмевают солнце
Только не к мысли что надо им уступить.

* * *

Говорите про небо очистилось небо
Неважно что осень сейчас на дворе
Хозяева злятся
Мы забыли про осень
Мы про хозяев сумеем забыть.

* * *

Убывающий город океан вырастающий
Из единственной капли спасенной воды
Из единственного алмаза отшлифованного зарей
Мадрид город привычный для тех кто страдал
Страдал от жуткого благоденствия которое нам
ненавистно
Для тех кто страдал
От нищеты без которой немыслимо было
благоденствие это.

* * *

Пусть рот к своей вернется правде
Дыханье и улыбка звенья вечной цепи
Пусть человек отринет прошлого нелепость
И к братьям обратит свое лицо как равный

И разуму даст вольных два крыла.

1938

Кричать

Все стало сразу проще
Я опрокинул странные пейзажи лжи
Я опрокинул жесты стертые и дни пустые
Я зашвырнул за край земли расхожих мнений
жвачку
Я стал кричать
А до меня все говорили тихо все говорили и писали
Слишком тихо

Я широко раздвинул границы крика

Все стало проще

Я отобрал у смерти взгляд на жизнь
И горизонт передо мной раскрылся

Один лишь крик

И сразу столько призраков исчезло
Что никогда отныне не исчезнет
То что достойно жить

Теперь я твердо знаю пламенное лето
Всегда поет под сводами мороза
Я знаю под доспехами вражды
Бурлят и в сердце отзываются моем
Весна и осень лето и зима
И люди и созвездья
И радостно трепещут осознав свое родство
И крик мой обнаженный шагает по ступеням
Необозримой лестницы надежды

И пламя обнаженное не жжет
А силу нежную в меня вливает

Вот зреет яблоко опалено морозом
И ледяной овеяно жарой
Вот на просторе щедром
Спят безмятежным сном мечтатели одни мечтатели
И небо ясно и могучий крик летит в простор
Чтобы мечтателям спокойнее спалось
На мягких травах слов
Могучих слов дающих ясность небу

Я убежден что каждую секунду
Дитя и предок всей моей любви
Моей надежды
Счастье
Фонтаном бьет из крика моего

К зениту в поисках другого зова
Чьим отголоском верным хочет стать мой зов.

1940

■ ■ ■

Этот жалкий мирок убийц
Над безвинным занес кулак
Вырывает хлеб изо рта
Предает огню его дом
Срывает одежду с него
Отнимает детей

Этот жалкий мирок убийц
И убитых бьет и живых
Обеляет грязь возвышает мразь
Трескотней заменяет слова

Полночь спасибо
Двенадцать винтовок
Безвинному мир вернут
И люди земле предадут
Его окровавленный прах его непроглядное небо
Люди увидят
Слабость его убийц

1942

Я зверь лесной

Я вам твержу кричу я вам пою об этом
Струится смех под смертными снегами
Рассвет и смех и радость жить на свете
И в зеркале плодов себя цветы увидят

До срока спят под смертными снегами
Мои друзья чье трепетное сердце
Готовит лето землю будоражит
Чтоб в день урочный лето воцарилось

И сотни солнц струятся под морозом
И сотни ласк под холодом таятся
Я не умру я просто зачеркну
То время краткое что прожил я на свете

Водовороты неуемной крови.

1942

Е. РЯУЗОВА

«ВРЕМЯ ЗЕЛЕНОГО МЫСА НАСТАЛО!»

(О креольской литературе острова Зеленого Мыса)

Единым стремлением, единой надеждой охвачены сейчас народы португальских колоний Африки. Перед ними стоит общая цель — сбросить цепи колониализма, сковывающие их вот уже пять столетий. Ненавистью к угнетателям дышат произведения писателей Анголы и островов Зеленого Мыса, Мозамбика и Сан-Томе.

Лет пятнадцать-двадцать назад преобладающей темой в литературе этих стран были горестные раздумья о «крестном пути» ангольцев, мозамбикцев, зеленомысцев. Тема трагическая, обличающая равнодушие власть имущих:

Народ в мученьях умирал,
В тюрьме, в цепях... Никто не плакал.

(Агиналду Фонсека. «Поэт и народ». Перевод Ф. Кельина)

Тема, передающая обостренное ощущение национальной трагедии «униженного, безвестного жителя» африканской земли; заинтересованное, сочувственное внимание к нему поэта.

О судьба твоя!
О судьба
твоя!
Среди нестерпимого зноя
спину гнуть над землею,
над нашей землею,
жаждой палимой,
неблагодарной,
любимой!

(Жоржи Барбоза. «Брат». Перевод М. Самаева)

Но если прежде редко кому из писателей португальских колоний удавалось подняться до ясного осознания причин и истоков трагедии, омрачившей жизнь десятков поколений, то теперь, наряду с темами народного горя, обездоленности, в литературе этих стран зазвучали иные, жизнеутверждающие мотивы — вера в грядущее торжество справедливости, призыв дать отпор колонизаторам, стремление поднять африканцев на борьбу с угнетателями. Как естественное и единственно возможное разрешение трагедии порабощенного народа вырастают из нее надежда и оптимизм. И еще — верность героическим традициям прошлого, непрекращающееся сопротивление чужеземным захватчикам, борьба неравная, отчаянная, ожесточенная, борьба не на жизнь, а на смерть, нередко приводящая к гибели, к физическому уничтожению героев. Не мрачное отчаяние, а протест, желание идти на бой, как бы тяжко потом ни пришлось, гневное обличение, язвительная насмешка над угнетателями звучат в творчестве ангольцев Агостиньу Нету, Косты Андради, Арналдо Сантоса, мозамбикцев Марселино дос Сантоса, Ноэмьи де Соузы, Жозе Кравериньи, зеленомысцев Овидиу Мартиншу и Габриэла Мариану Сила современной поэзии так называемой «португальской» Африки в том, что она злободневна, в том, что, сочетая проникновенный лиризм с боевым, наступательным духом, с высокой гражданственностью, она отражает насущные проблемы сегодняшнего дня.

Новые интонации, вызванные ощущением мощи восставшего народа, появляются в стихах поэтов африканского континента:

Еще вы можете нас унижать,
увечить, истязать, уничтожать
и непосильным изнурять трудом.
Ну, а потом,
потом не говорите нам,
что мы вас не предупреждали.

(О. Мартиншу. «Предупреждение». Перевод М. Самаева)

Ни в какой другой литературе Африки не встретишь, пожалуй, такого количества писателей и поэтов, сменивших перо на винтов-

ку, стольких литераторов-революционеров, разделивших с народом его трагическую судьбу.

Поэты островов Зеленого Мыса, как и их собратья в Мозамбике и Анголе, слагают стихи в честь борцов, воспевают их стойкость, пробуждая у своих соотечественников волю к победе. Эта поэзия родится в огне, ее авторам грозит неволя, а нередко и смерть, но «голос восстанья, голос свободы» слышится все громче.

Время Зеленого Мыса настало!
Теперь говорит черный! —

провозглашает в стихотворении «Черный с островов Зеленого Мыса» молодой крестьянский поэт Кабвердиану Дамбара.

■

Мы еще мало знаем о креолоязычной литературе островов Зеленого Мыса. Между тем даже в общей панораме африканских литератур, отличающихся редким своеобразием, литература островов Зеленого Мыса занимает особое место, обусловленное самой историей формирования креольского общества.

Становление культуры на архипелаге Зеленого Мыса протекало при совершенно иных обстоятельствах, чем в Анголе и Мозамбике. Если в материковой части Африки португальские колонизаторы столкнулись с уже сложившейся местной цивилизацией (империя Мономотапа, королевство Конго), то острова Зеленого Мыса были до прибытия туда европейцев необитаемыми. В 1460 году португальские мореплаватели Диого Гомес и Антонио де Ноли, возвращавшиеся на родину после обследования Гвинейского побережья, встретили на своем пути никому не известный архипелаг, названный впоследствии Кабо Верде (Зеленый Мыс). Высадившись на берег, они увидели там лишь множество диких птиц, не боявшихся человека.

С XV века на островах стали оседать люди разных национальностей и рас — португальцы, испанцы, французы, голландцы, арабы, индусы, африканцы,— вывезенные работорговцами из Гвинеи. Так возник этнический, социальный и культурный зеленомысский комплекс. В него входят негроафриканские — гвинейские и суданские — культуры, португальская культура и отдельные элементы американских — бразильской и вест-индской культур.

Вся эта разнородная смесь традиций и влияний плавилась в одном тигле, постепенно приобретая органическое единство.

Историки португальского колониализма утверждают, что креолы — это «африканский продукт *португальской культуры*» (подчеркнуто нами.— *Е. Р.)* и что «высокий уровень умственного развития островитян Зеленого Мыса служит одним из самых убедительных доказательств превосходства португальской колонизации и нашей цивилизаторской способности».

Хотя интеллектуальная элита архипелага жадно впитывала все доходившие из метрополии культурные веяния, усиленно подражая чужеземным образцам, достижения португальской цивилизации являются всего-навсего одной, пусть наиболее значительной, частью креольской культуры. Впоследствии влияние зеленомысского сплава культур оказалось столь могущественным, что на отдельных островах, например на острове Брава, вновь прибывшие португальцы сами ассимилировались, сливались с местным населением, перенимая его нравы, обычаи, язык.

Если вклад европейской цивилизации в создание креольской культуры архипелага оценен исследователями по достоинству, а иногда и чересчур высоко, то роль и место африканского субстрата еще предстоит установить. Изучить эту интереснейшую проблему более конкретно пока еще очень трудно из-за почти полного отсутствия фольклорных записей; памятников изобразительного искусства и материальной культуры также сохранилось немного, почти все они сосредоточены в музее города Бисау («португальская» Гвинея). На пренебрежительное отношение португальских правителей к культурному наследию его родины сетовал в начале 30-х годов XX столетия видный креольский поэт Эуженио Таварес:

«Фольклор... островов не удостоился в прежние времена чести быть записанным. Можно смело сказать, не боясь ошибиться, что литература архипелага... никогда не привлекала внимания людей, вознесенных на бюрократические высоты... тех, кто относится к себе с глубочайшим уважением и держится гордо и надменно, тщательно избегая какого-либо контакта с вульгарными сочинителями стихов».

Если обратиться непосредственно к самой креольской культуре, то она могла возникнуть лишь благодаря двум характерным для нее факторам: образованию креольской народности, во многом приближающейся к национальной общности, и существованию общенародного креольского языка, произошедшего от смешения архаического португальского языка с африканскими языками группы банту.

Креольскую народность отличает свойственный только ей образ жизни, характерные для креолов обычаи и привычки, некоторые, ставшие уже стабильными «особые приметы» национального характера. Португальцы считают отличительной чертой креолов мягкость, приветливость (по-креольски — morabeza). Именно так озаглавил сборник своих рассказов о зеленомысцах португальский писатель Мануэл Феррейра.

Однако кажущаяся мягкость и податливость удивительным образом сочетаются у жителей архипелага с совершенно иными качествами и, прежде всего, с большой нравственной силой и способностью к сопротивлению. Неприятие цивилизаторской деятельности португальцев, желание создать свою национальную культуру способствовали прогрессу креольского общества Зеленого Мы-

са. О том, как пробуждалось в жителях островов чувство собственного достоинства и национальной гордости, можно судить по тому, что писал Эужения Таварес в 1931 году в предисловии к сборнику «Морны. Креольские песни».

Таварес пока еще не представляет себе зеленомысцев как обособленную от Португалии национальную общность. Напротив, ставя превыше всего «интересы дружбы», он наивно мечтает о «единой и неделимой» родине: «Может быть, как раз в обычаях и характерах жителей архипелага наиболее укоренились среди колоний славные традиции *нашей* нации» (подчеркнуто мною.— *Е. Р.).*

По вполне понятным соображениям тон рассуждений Эужения Тавареса мягок, хотя в нем нет ни тени подобострастия. Его обращение к португальцам метрополии приобретает порой оттенок просьбы: «Было бы справедливо, если бы национальное сознание обратилось к нам и занялось нами с материнским вниманием». Но, несмотря на сдержанность, у Тавареса иногда вдруг прорываются полные горечи жалобы на предубеждение португальцев против его соотечественников: «Мы были, можно сказать, изгнаны из национальной общности. Мы переживали, можно сказать, кризис пренебрежения. Те, кто приезжал к нам с миссией изучить нас, выслушивали... наш живот. Вы голодны? Значит, вы страдаете комплексом неполноценности. Нас оскорбляли то унизительным состраданием, то грубыми насмешками».

Но потом все эти трогательные своей непосредственностью «можно сказать» исчезают, и, отбросив осторожность, поэт в полный голос протестует против пренебрежительного отношения «португальцев из Португалии» к его землякам, против «поспешных суждений» тех, у кого «нет времени» ознакомиться с их жизнью, и возмущается «кампанией недоверия», которая «набрасывает нам на плечи дырявый плащ голодных и нищих, дав любимой земле, где мы родились, презрительное название архипелага голода».

«Ирония,— заключает Таварес,— плохой бинокль для наблюдения и изучения братьев».

В таком контексте несколько странно звучат расточаемые Таваресом похвалы тогдашнему «просвещенному губернатору» Зеленого Мыса Гедесу Вазу. Поэт, видимо, пытался усовестить таким образом тех, кто поверхностно судит об архипелаге и о нравах его обитателей.

Возможно сам того не желая, Эужения Таварес раскрывает всю несостоятельность утверждений португальцев о «превосходстве» их колониальной системы управления, об их «цивилизаторской способности». Призывая португальцев «беспристрастно приглядеться к моральным законам и интеллектуальному уровню» жителей островов, Таварес впервые в истории португальских колоний заявляет от лица соотечественников о том, что все они — равноправные члены общества и «не хуже португальцев из метрополии могут способствовать прогрессу нации».

Именно по незнанию особенностей культурной жизни архипелага креольский язык (или диалект, как его до сих пор именуют в метрополии) долгое время считали видоизмененным, «испорченным» вариантом португальского. Однако в последнее время некоторые португальские и зеленомысские ученые стали склоняться к мысли о том, что криольо — не диалект, а самостоятельный язык португальского происхождения, отличающийся от него сильнее, чем, например, португальский язык Бразилии. Для португальцев почти не составляет труда чтение бразильских поэтов Мануэла Бандейры или Жоржи де Лимы, несмотря на то что язык их произведений, построенных на фольклорной основе, с использованием просторечных оборотов, существенно отклоняется от литературных норм, принятых в метрополии; в то же время воспринять на слух креольские морны Эужения Тавареса оказалось для них невозможным.

Подавляющее большинство населения Зеленого Мыса говорит по-креольски. По словам выдающегося зеленомысского романиста Мануэла Лопеса, креолы—«двуязычный народ, объясняющийся каждодневно и по-португальски, и по-креольски. Португальский — официальный язык всех португальских провинций Африки и в то же время — средство общения с большой аудиторией. Португальский называют языком школ, а креольский — языком колыбели, он обладает по сравнению с португальским тем важным преимуществом, что это язык народа».

Несмотря на довольно сильные диалектные расхождения, этот язык вполне удовлетворяет потребность жителей различных островов в общении. Как «pequeno português» в Мозамбике (дословно «маленький португальский», то есть язык, приспособленный к нуждам местного населения) или народный вариант португальского в Анголе, креольский язык островов Зеленого Мыса объединяет различные племена. Распространившись за пределы архипелага, он превратился в своего рода lingua franca * «португальской» Гвинеи и соседних с ней территорий.

Зеленомысские деятели культуры отстаивают состоятельность криольо как литературного языка. Стремясь доказать, что на нем можно писать не хуже, чем на португальском, Э. Таварес перевел на креольский надгробный плач Луиса Камоэнса «Барбара, прекрасная рабыня» и стихотворение лирического поэта Португалии XIX века Жоана де Деуса «Подкидыш». Молодой поэт и критик архипелага Онезимо Силвейра рассказывает в своей брошюре «Рост самосознания в зеленомысской литературе», что выдающийся лингвист, автор первого научного исследования о креольском языке архипелага Балтазар Лопес наглядно продемонстрировал достоинства этого

* Буквально «свободный язык» *(итал.),* то есть язык-посредник.

«вполне самостоятельного, обладающего всеми необходимыми качествами языка». О. Силвейра приводит такое высказывание Балтазара Лопеса:

«Все мы, преподающие португальский язык в лицее, давно убедились в том, что креольский уже сейчас предоставляет учащимся возможность выразить все, что угодно. Выходя из аудитории после занятий математикой или философией, я не раз слышал, как ученики рассуждают о сложнейших проблемах на креольском языке».

Особая языковая ситуация, сложившаяся на архипелаге, придала его литературе новое качество, отсутствующее в литературах Анголы и Мозамбика, а именно — двуязычие: на островах Зеленого Мыса параллельно сосуществуют две письменные литературы, португало- и креолоязычная.

■

Первое художественное произведение на криольо — книга Шавьера да Куньи «Горести любви» была напечатана в 1893 году, так что зеленомысская литература обладает относительно давней для Западной Африки письменной традицией.

Наряду с общими для многих африканских литератур особенностями — ускоренным развитием, огромной ролью зарубежных влияний и фольклорных традиций — креольская литература островов Зеленого Мыса обладает отличительными, только ей присущими свойствами.

Быть может, самая важная черта литературы Зеленого Мыса на креольском языке — это ее отчетливо выраженный народный характер: она опиралась на такие мощные факторы, как «свой» общенародный язык и близость к фольклорным традициям, к устным формам народного творчества — песням-танцам морне, финасону, манжаке, ритуальному танцу батуке. Для того чтобы полнее раскрыть особенности креолоязычной поэзии архипелага, остановимся на характеристике морны, одного из самых выразительных образцов народного творчества зеленомысцев. Хотя на островах Зеленого Мыса встречаются и другие виды фольклора, именно в морне сосредоточены художественные устремления народа, и с помощью морны доносит он до слушателя свои эмоции. Морна — одновременно танец в ритме вальса или польки и песня, слова которой неотделимы от музыки.

Диапазон выраженных в ней чувств широк — любовь и нежность, тоска по неведомым землям, надежда и печаль, добродушная ирония и злая насмешка. По единодушному мнению островитян и всех тех, кто близко знаком с их культурой, морна наиболее полно и многогранно выражает «душу народа», особенности его психологического облика, его этнического стереотипа.

«В морне отражена беспощадная борьба жителя островов Зеленого Мыса с неблагодарной природой и с самим обществом, сложившимся в ходе этой борьбы... Народ с драматической историей и пылким воображением, глубоко ощущающий и умеющий выразить одиночество на опоясанных морем островах... зеленомысцы страдают от неблагодарности сухой и неподатливой земли так же, как от людской неблагодарности»,— утверждает Франсиску Жозе Тенрейру.

К сожалению, невозможно по достоинству оценить красоту морн, видя их напечатанными на бумаге, как невозможно судить об искусстве танцовщицы по фотографии. Чтобы ощутить всю прелесть поэтичных креольских песен, надо присутствовать при их исполнении. Воспользуемся единственно доступным средством «побывать» на национальных праздниках или танцах зеленомысцев — воспроизведем отрывок из описания очевидца: «...в небольшом зале... с побеленными стенами, при свете керосиновой лампы * танцуют десятки пар, тесно прижавшись друг к другу. Девушки-мулатки, смуглые или белокожие... простоволосые или в платках, одетые в розовое, небесно-голубое, желтое, босиком или в шелковых чулках и лаковых туфельках, склоняют голову на плечо партнера и поют под музыку гармоничными голосами. Мелодия очень медленная, печальная и чувственная, слегка напоминающая аргентинское танго или бразильские песни. Оркестр состоит из музыкантов-любителей, играющих по слуху на флейте, скрипке или шестиструнной гитаре».

■

Почва для становления национальной креольской литературы на архипелаге Зеленого Мыса была подготовлена творчеством уже упоминавшегося Эужению Тавареса (1867—1930), снискавшего славу «креольского трубадура».

Творчество Э. Тавареса пронизано романтикой, впрочем, если верить легендам, само обращение его к поэзии было вызвано романтическими обстоятельствами:

«Однажды к острову Брава причалила яхта богатого американца, путешествовавшего вместе с дочерью. Эужению, красивый юноша с белой кожей, бедняк, уроженец Зеленого Мыса, полюбил девушку, и та ответила ему взаимностью. Как только американскому миллионеру стало известно об увлечении дочери, яхта подняла якорь и исчезла на горизонте, так что юный креол не успел даже попрощаться с любимой. Тогда же Эужению Таварес написал на свою музыку «Песнь к морю», которую и сейчас поют на всех островах под названием «О, вечное море!»... Исполнение этой морны проникнуто безысходной тоской, зеленомысцы не только сочувствуют любовной драме, но и глубоко ощущают, что для них, островитян, море — это тюрьма, отделяющая их от большого мира».

Подобно многим зеленомысцам, Э. Таварес эмигрировал в Соединенные Штаты, од-

* Отметим любопытную деталь: на островах Зеленого Мыса танцы часто происходят не на открытом воздухе, как принято в Африке, а в помещении.

нако, разочаровавшись в американском образе жизни, он возвращается на родину, где и проводит остаток дней.

Поэт-самоучка, Тавареc был широко образованным для своего времени и среды человеком, что с одинаковой очевидностью проявляется и в его поэзии, и в его статьях. Он отлично знал европейскую, особенно французскую и португальскую, поэзию, переводил на креольский Камоэнса и Жоана де Деуса, мелодичные, построенные на фольклорной основе стихи которого восхищали его.

Эужению Таварес писал и по-португальски. С 1894 года он публиковал свои стихи на португальском языке в ежегоднике, издаваемом семинарией Сан-Николау под названием «Лузо* — африканский альманах». Однако произведения эти, в большинстве своем подражательные, не представляют большого интереса.

Оригинальны и самобытны креольские стихотворения Тавареса, первого подлинно народного поэта островов Зеленого Мыса. Для творческой манеры Тавареса характерно следование фольклорным традициям, что проявилось в обращении его к жанру морны, реже манижас (рифмованные куплеты-четверостишья). По своей интонации и образности, по самому своему духу поэзия Тавареса близка народному творчеству.

Специфика жанра в значительной мере повлияла на художественный строй стихов Тавареса. То, что они исполняются под музыку, побуждает автора искать выразительность в простоте форм, в четкой ритмической организации стиха, полной конечной рифме. Поэзия Э. Тавареса свободна от внешней красивости и «возвышенного» стиля; скупой, лишенный поэтических прикрас, стих его богато аранжирован в ритмическом и звуковом отношении и удивительно емок.

Основная тема его творчества — прославление истинной любви, по-креольски crecheu, ее восторгов и мучений, которые поэт не променял бы ни на какие блага в мире; одна из морн так и называется «Сочувствие тем, кто не любит».

Небольшое стихотворение «Quel pessoa», которое для зеленомысцев стало одним из любимых примеров любовной лирики, привлекает искренностью тона и необычностью: вместо того чтобы возвеличивать любимую громкими, восторженными славословиями, не скупясь на похвалы, Таварес заимствует сравнения у самых простых, обыденных вещей, не опасаясь «принизить» тем самым образ возлюбленной:

Ночные тени
Глаз твоих черней,
Туман июньский
Все ж белее кожи...
И плод лесной
Румяней губ твоих...
Но если бог не даст мне их коснуться,
Пусть жизнь возьмет—зачем она тогда!**

Когда Таварес затрагивает проблемы, выходящие за пределы чисто любовной лирики, он скорее ощущает их эмоциональную, а не социальную сущность. Так пишет Эужению Таварес об эмиграции, пагубном явлении для островов Зеленого Мыса. Поэт с большой глубиной воспроизводит печаль навеки расстающихся с родиной островитян, тоску и горе оставшихся на берегу, которые пристально смотрят вслед кораблю, увозящему их близких в чужие страны («Прощальная морна», «Расставание», «Час разлуки»).

Наиболее сильная сторона поэзии Тавареса заключается в том, что впервые в истории зеленомысской культуры ему удалось выразить настроения и чаяния обитателей архипелага, максимально приблизить письменную литературу к народу. Смерть его была воспринята как национальное бедствие. Знаменательны слова одной девушки с острова Брава, взятые португальским поэтом Аугусто Казимиро в качестве эпиграфа к одному из стихотворений: «Когда сеньор Эужению умер, я решила, что острову Брава пришел конец».

Эужению Таварес не был одинок в творческих поисках. Одновременно с ним на островах Зеленого Мыса создавали морны два других креолоязычных поэта — Педро Кардозо и Шавьер да Круз, писавший под псевдонимом Б. Леза.

«Кардозо и Круз — два Катулла, которые писали и сами исполняли под аккомпанемент шестиструнной гитары трогательные стихи о любви, об островах и о жажде пострaнствовать по свету»,— так характеризовал этих креольских поэтов Франсиску Жозе Тенрейру.

Однако Шавьер да Круз и особенно Педро Кардозо не ограничивались сочинением морн на традиционно фольклорные сюжеты. Окружающая действительность властно побуждала их расширять сферу креольской поэзии. Педро Кардозо, расцвет творческой активности которого относится к 20—30-м годам нашего века, впервые в зеленомысской литературе обратился к социальным проблемам. Правда, под влиянием традиций классицизма, навеянных отчасти «Лузиадами» Камоэнса, он изображает современный мир под архаической оболочкой старины, маскируя (возможно, и по цензурным соображениям) насущные проблемы архипелага обращением к мифологии, к книжно-риторическому стилю (книги «Сад Гесперид» и «Дети земли»).

Как и Таварес, Педро Кардозо стремился освободить земляков от комплекса неполноценности, убедить их в непреходящем значении их культуры, но в отличие от Эужению Тавареса, человека более умеренных взглядов, воспитанного к тому же на культуре метрополии, Кардозо всячески подчеркивал в своих произведениях неразрывную внутреннюю связь островов Зеленого Мыса и Африки.

Педро Кардозо был одним из первых зеленомысцев, попытавшихся собрать и осмыслить наиболее интересные образцы отечественного фольклора. Его сборник «Фольклор Зеленого Мыса» не утратил значения и по сей день, хотя поэту удалось

* От Лузитания (старинное название Португалии).

** Здесь и далее перевод автора статьи.

записать примеры устного народного творчества всего лишь трех островов из наименее европеизированной группы Сотавенто — своего родного Фого и соседних с ним Сантьяго и Брава.

Та же социальная направленность, то же стремление ощутить себя африканцем присущи творчеству Шавьера да Круза, популярного в свое время автора многочисленных морн.

■

Современную креольскую интеллигенцию привлекает в поэзии Кардозо и Круза обращение к африканским корням, использование родного языка, что в условиях колониального режима было своеобразным протестом против подавления национальной самобытности «детей зеленомысской земли».

На креольском писали и продолжают писать многие португалоязычные литераторы островов Зеленого Мыса, в том числе поэт Жоржи Барбоза (род. в 1902 г.) и романист Мануэл Лопес (род. в 1907 г.). В рассказе «Колокол Розы Молчальницы» (сборник «Петух пропел в бухте», 1959) Мануэл Лопес вкладывает в уста вымышленного персонажа Жоана Безумного песню на креольском языке, чтобы, по словам автора, «придать особую поэтическую окраску полному драматизма пейзажу острова Санто-Антао», где происходит действие. Любопытно, что даже некоторые португальцы, живущие на островах, пробуют силы в креольском, сочиняя морны.

Билингвизм получает все более широкое распространение среди молодых поэтов. «Двуязычен», например, Жоржи Педро (род. в 1933), сын Жоржи Барбозы; в поэзии Жоржи Педро, созданной на португальском и на креольском островов Сотавенто, преобладают фольклорные мотивы. Нередко обращаются к креольскому языку представители радикального крыла зеленомысской интеллигенции Габриэл Мариано и Овидиу Мартинш.

Креольскую поэзию островов Зеленого Мыса новейшего периода — 50—60-е годы XX века — отличает активность, боевой, наступательный дух, революционные настроения, присущие ей не в меньшей мере, чем современной португалоязычной поэзии архипелага.

Показательно в этом отношении творчество молодых поэтов, участников национально-освободительной борьбы Кабвердиану Дамбары и Кабвердиану Куноти (их псевдонимы означают: зеленомысец Дамбара и зеленомысец Куноти). Книга Кабвердиану Дамбары «Ночь» издана департаментом информации и пропаганды центрального комитета ПАИГК (Африканской партии независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса). Символично оформление этой книги: черно-белая обложка с горящим факелом. Стихи Кабвердиану Куноти распространяются пока в рукописи, хотя некоторые из них уже переведены на итальянский язык поэтессой Джойс Луссу.

Автор предисловия к книге Дамбары Йоти Кунта пишет:

«К молодому поколению... глубоко убежденному в том, что наше будущее среди африканцев, относится и Кабвердиану Дамбара. Поэзия Дамбары является, на мой взгляд, одной из самых действенных и злободневных, какие когда-либо создавались на креольском языке. В ней народ с его страданием, с его отчаянием, с его протестом, с его борьбой. Поэзия Дамбары — голос островов Зеленого Мыса на пороге новой эры».

Сам Кабвердиану Дамбара следующим образом определяет цели и задачи своей поэзии:

Поэзия — кровь и страдания народа,
Голодного, угнетенного, нищего
Народа-раба...
Но поэзия — это также голос восстанья
И голос свободы!

(Сб. «Здесь и трава родится красной». Перевод Л. Некрасовой)

В этих двух направлениях — «страдания угнетенного народа» и «голос восстанья, голос свободы» — и развивается основное содержание его поэзии.

Дамбара любит свою многострадальную землю, где

Каждый звук — боль,
Каждая нота — страданье,
Каждый напев — печаль
На струнах моей души.

Поэту дороги национальные обряды, огненные пляски батуке при свете костра. Он посвящает батуке проникновенные слова:

Оно высоко — как небо,
Глубоко — как море,
Вечно — как скалы...
Батуке — это наша душа!

(Сб. «Здесь и трава родится красной». Перевод Л. Некрасовой)

Холодно и неуютно изгнаннику-африканцу в чужой, равнодушной к нему Европе — тема не новая для литературы Африки, достаточно вспомнить «Нью-Йорк» Л. С. Сенгора или стихи нигерийских поэтов Дж. П. Кларка, Г. Окары, поэмы Ноэмьи де Соузы и Жозе Краверинья (Мозамбик), стихотворение «Африка в сердце» Франсиску Жозе Тенрейру (Сан-Томе).

Лирический герой Кабвердиану Дамбары тоскует о родине. Слезы туманят ему глаза при воспоминании об отчем доме. Вся история островов, не та, фальсифицированная, «гладкие фразы, ловко придуманная ложь», что изучается в школе, а та, что «знакома черному Куноти в рваной рубашке», история восстаний и мятежей, когда мужчины брались за топоры, а женщины вооружались камнями, проходит перед его взором («Тоска по моей родине»).

Кабвердиану Дамбара по-новому трактует народные образы. Ему не понадобилось, подобно представителям интеллектуальной элиты, «приближаться» к своим зем-

лякам, проникать в их психологию, становиться «вровень» с ними. Он сам — человек из народа, и о его отношении к островитянам красноречиво свидетельствует хотя бы такая, незначительная на первый взгляд художественная деталь: говоря о юношах и девушках родной деревни, поэт сравнивает их лица с изображениями святых («Тоска по моей родине»). Переосмыслив библейский образ, Дамбара описывает не мадонну, а простую черную крестьянку, которой тоже приходится отдавать сына на смерть и на муки: ведь ему суждено весь век надрываться от непосильной работы, обогащая «белых», ненавидящих «дикость черного мира».

Зоркое видение социального зла, осмысление важнейших общественных проблем характеризуют поэзию Кабвердиану Дамбары. Тема расового антагонизма перерастает у него в социальный протест. К своему соотечественнику, «подъяремному волу» Бернайли, который

Копает в воскресенье,
Роет в понедельник,
Сажает во вторник,
Сеет в среду — и так всю жизнь,

Дамбара обращается с такими словами:

Бернайли, черный с островов Зеленого
Мыса!
Не почитай белый цвет кожи.
Белый швыряет тебя в трюм, а сам
обогащается,
Он продает тебя и покупает автомобиль.

В стихотворении «Белый» поэт гневно обличает «морских пиратов» — португальских конкистадоров:

Наших вождей вы сделали рабами,
Наши обычаи вы называете варварскими...
Наша земля не может больше терпеть
вас!

Кабвердиану Дамбара призывает зеленомысцев отбросить долготерпение:

Мужество Бадиу *, где ты?
Куда ты спряталось? Выходи!
Смело ступай по земле!
Горе нам, если ты спишь!

Кабвердиану Дамбара также обращается к морне, вкладывая в нее, однако, совершенно иное содержание, чем Эужению Таварес, Шавьер да Круз или Педро Кардозо, в чем легко можно убедиться на приведенных выше примерах. Старая поэтическая форма преобразуется в его творчестве под влиянием нового мировосприятия. Не только в идейном отношении, но и по манере письма морны Дамбары — прямая противоположность изящным, тщательно отшлифованным морнам Тавареса.

Стихи молодого повстанца словно вырублены из грубого камня, он стремится воздействовать не только на чувства, но и на общественное сознание читателя или слушателя. Его морны лишены рифм, лишь кое-где в них встречается ассонанс, им свойственна подчеркнутая экспрессия, динамика ритма и интонаций, необычность и контрастность образной системы.

Большинство стихов Кабвердиану Куноти, по всей вероятности, создано в самый разгар борьбы гвинейского народа против португальских колонизаторов. Написанные на злобу дня, часто с агитационной целью и сохранившие всю непосредственность и безыскусность народной речи, стихи его напоминают куплеты или частушки. Поэзии Кабвердиану Куноти, проникнутой духом народной борьбы, свойственны особая художественная выразительность и специфические изобразительные приемы, смелая и оригинальная образность:

Глаза у девушки черны,
Как кайуа,
А рот красней
Снаряда ПАИ *.
(«Песни партизан»)

Черты индивидуального художественного своеобразия отчетливо проступают в таких стихотворениях Куноти, как «Ритм ожидания»:

Ночь превратится в ад
Для их** легких,
Звезда — в снаряд
Прямо в сердце.
Тогда, о море,
Выйди из берегов,
Ну что тебе стоит!
Тогда, о ветер,
Смети их с лица земли,
Ну что тебе стоит!
И португальцы,
Оказавшись в аду,
Захотят спастись,
Но будет уже поздно.

На современном этапе креолоязычная литература обретает новое содержание Кабвердиану Дамбара и Кабвердиану Куноти обогатили ее, создавая образы бунтарей, не желающих мириться с несправедливостью. Указывая на корни и истоки социального зла и на конкретные способы борьбы с ним, они способствуют углублению самосознания своего народа, помогают ему в его нелегкой борьбе.

* Распространенное крестьянское имя.

* Африканская партия независимости.
** Речь идет о португальских карателях.

ПЕТЕР ЮХАС

К ЯСНОСТИ ВЗГЛЯДА

(Заметки о современной венгерской новелле)

Если считать, что искусство, как и наука, ставит перед собой определенные задачи и что выдающихся результатов достигают те художники, которые первыми дают в своих произведениях ответ на большие, фундаментальные вопросы, возникающие перед человечеством,— если принять этот тезис, то можно с уверенностью утверждать, что венгерская литература никогда еще не была в более благоприятном положении, чем в период после Освобождения. Венгерской литературе, вставшей в авангарде общественного прогресса, впервые — после утопленных в крови революций 1848 и 1919 годов — представилась реальная возможность ответить на главные вопросы современности и войти на равных правах в мировую литературу.

Энтузиазм, порожденный Освобождением и творческим трудом, надежды на счастливое будущее, казавшееся совсем близким, оказали огромное революционизирующее влияние на всю прогрессивную венгерскую литературу, стали для нее таким глубоким переживанием, какого она не знала со времени революции 1848 года. Вместе с осуждением фашистского варварства и критическим изображением режима Хорти получили выражение радостное ощущение свободы, героический энтузиазм народа, быстро поднимающего страну из развалин.

И все же литература Венгрии отставала от темпов развития общества.

Имре Шаркади, один из самых крупных и талантливых писателей, пришедших в литературу после Освобождения, еще в конце 1953 года сделал вывод, что «венгерская литература после Освобождения даже в приблизительной степени не изображала свою эпоху с таким мастерством, как литература прошлых лет — эпоху капитализма». Хотя мы отлично понимаем, что первые, еще неуверенные попытки литературы изобразить совершенно новую, стремительно меняющуюся общественную обстановку не могут измеряться той же мерой, что и шедевры критического реализма, у которого был огромный опыт,— тем не менее выраженное Шаркади чувство неудовлетворенности кажется нам справедливым. Венгерская литература после Освобождения реализовала лишь незначительную часть своих возможностей.

И здесь, несомненно, сыграл роль догматизм, свойственный тогдашней культурной политике. Люди, ее осуществлявшие, забывали, что социалистическое искусство завоевывает свои позиции в борьбе. Янош Кадар отметил, что в то время существовало неправильное мнение, будто «марксизм у нас является единственным господствующим мировоззрением... С подобными иллюзиями следует распроститься,— говорил Я. Кадар,—и поставить реальную цель: добиваться укрепления гегемонии марксизма, обеспечивать рост влияния марксизма в идеологии. Мы теперь знаем, что для этого нужны не только партийные постановления и правительственные декреты, но и активная идеологическая работа, что марксизм лишь в результате длительной борьбы, убеждения, споров будет распространять свое влияние на все более значительную часть общества» *.

Большой вред приносило неверное понимание принципа доступности литературы, приведшее к появлению такой эстетической концепции, согласно которой догматически упрощенный Петёфи противопоставлялся крупнейшему венгерскому социалистическому поэту Атилле Йожефу. Обеднение традиций не могло быть компенсировано даже опытом советской литературы:

* "Népszabadsàg", 9, VI, 1968.

этому препятствовало некритическое отношение к некоторым слабым ее произведениям.

Как это сказалось на жанре новеллы в венгерской литературе? В период между двумя мировыми войнами намечался сдвиг в сторону ее интеллектуализации, обещавший вывести венгерскую новеллу из-под влияния «анекдотизма»; произведения Дюлы Круди, Дежё Костолани, Фридеша Каринти, Лайоша Надя, Андора Эндре Геллери и Ласло Немета были близки большой европейской литературе XX века. После 1949 года венгерская проза возвратилась к более традиционной эпической манере, связанной с именем Жигмонда Морица. Она представлялась самой подходящей писателям 50-х годов, для которых марксизм осветил казавшиеся ранее смутными, непостижимыми общественные закономерности и которые, считая отношения между людьми прямым их проявлением, часто изображали эти отношения предельно простыми и ясными. Взаимодействие общественных сил они тоже выражали главным образом через поступки героев и поэтому почти во всем полагались на логику движения сюжета. Однако первенствующая роль действия, стремление к жизнеподобию в повествовании и описании нарушили строгую композицию, свойственную новелле, как жанру, ее замкнутую форму. Подробная разработка сюжетных линий расширяла ее почти до размеров повести, лишая жанрового своеобразия.

Многие писатели в те дни считали, что, стремясь внести в изображение жизни как можно более светлые перспективы, они добросовестно выполняют высокий гражданский долг. И, даже узнавая действительность лучше и видя, что она развивается не во всем так, как хотелось, они умалчивали о своих впечатлениях и рисовали в своих произведениях из рабочей или крестьянской жизни картины счастливого социалистического будущего. Так они нарушали соотношение между жизнью и ее художественным воплощением: шли к нему не от жизни, а от готовой идеи, от заранее придуманных формул и схем. Стали появляться странные — далекие от жизни и равнодушные к личности — книги. Правдивость в изображении жизненных явлений отсутствовала у нас точно так же, как то неповторимое своеобразие писательского взгляда и выражения, без которого невозможно искусство.

Воздействие схематизма на венгерскую литературу имело в начале 50-х годов различные последствия. Были писатели, которые утратили веру в социализм; в их произведениях обращение к жизни выражалось в одностороннем показе ошибок и недостатков. Другие же попытались как-то разрешить противоречие между могучим всенародным подъемом после Освобождения и ошибками, допущенными при строительстве социализма в Венгрии. Усилившееся внимание к проблемам личности дало писателям право на бо́льшую непосредственность выражения. Субъективность, до того времени подавляемая, вышла теперь на первый план, даже начала звучать преувеличенно. Литература стала замыкаться в личных наблюдениях и впечатлениях.

Изображавшиеся в венгерской литературе конфликты, нередко трактуемые трагически,— между революцией и моралью, национальной свободой и прогрессом — на первых порах сумела разрешить только поэзия. Новеллы «Знаменитый вор Мандарин» Дёрдя Молдовы, «Зимнее цветение» Ференца Шанты, а также примерно в то же время написанная новелла Эндре Фейеша «Врун» — это почти стихотворения в прозе. Главное в них — не содержание, а напряженная атмосфера, общее настроение. Лиричны и более сдержанные по тону рассказы Иштвана Сабо, Ласло Камонди, Кароя Сакони, Дюлы Гернади. Эти авторы тоже создают вокруг подмеченных в жизни явлений лирическую атмосферу. Однако позже, придя к выводу, что лирический тон не передает до конца уроки пережитого, они попытались воспротивиться перерождению новеллы в лирическую прозу. Самые личные свои проблемы они старались передать отвлеченно от своего «я», стиль сделать сугубо объективным. Даже тематика их произведений говорит о стремлении отдалиться от своих непосредственных переживаний. Ференц Шанта так писал об этом: «Мне пришлось преградить путь свободному наплыву чувств, который таил в себе опасность сентиментальности. Пришлось отказаться от таких тем, силу и красоту которых могла выявить только лирическая проза... До тех пор темы моих произведений все без исключения рождались из действительности, из — пусть косвенно — пережитых мною событий; отсюда я шел к идее, к идейному содержанию. Теперь же мне нужно было попытаться придумать для моих умозаключений ситуации и образы, которые лучше передавали бы то, что я хочу сказать».

Хотя попытки Ференца Шанты, бесспорно, были успешны и писателю удалось найти искомое соответствие между чувством и мыслью, тем не менее можно показать, что и отвлеченная дилемма «Пятой печати», и усложненная символика в новелле «Смерть смерти» питаются у него все той же лирической стихией, которая господствует и в его ранних рассказах. В повелле «Смерть смерти» писателю важен не столько сюжет, сколько выражаемая в нем и с его помощью философская мысль. Существование двух приговоренных к смерти узников, спасающих своего палача,— это «бытие вообще»; в их поступках и беседах, изобилующих парадоксами и мудрыми сентенциями, не только воссоздается действительность, но и живет собственной литературной жизнью философская концепция. Шанта не фиксирует своих героев во времени и пространстве, тем самым как бы подчеркивая, что рассказ направлен не только против фашизма, но и как бы против любого проявления бесчеловечности. Однако идея, подсказываемая новеллой — победа над тиранией и смертью,— оттого,

на наш взгляд, так убедительна и глубоко справедлива, что фон, на котором происходит действие, исторически конкретен и правдоподобен.

Эндре Фейеш стремился своеобразную поэтическую стихию своих рассказов перебороть с помощью постепенного снижения, заземления внешнего и внутреннего мира героев, с помощью изображения обыденной, «серой», лишенной всякой «литературщины» жизни. Этой цели служили и языковые неологизмы, новые приемы в стиле и технике повествования: короткие предложения, сухо констатирующие факт, простой синтаксический строй, внимание к случайным, как в жизни, событиям, кинематографический монтаж скупых и сжатых эпизодов и главное — общий характер рассказа, сближающий его с репортажем. Лучшей иллюстрацией этого метода служит, пожалуй, его новелла «Игнац Воно». Иштван Сабо борется против лирической стихии с помощью реализма «микродеталей», бесконечно тонких наблюдений — это можно видеть, в частности, в его новелле «Все по-прежнему». Лиризм же Дёрдя Молдовы многообразен, он преобразился в ироническую игру понятиями, гротескное пародирование, символическое преувеличение. В рассказах («Человек, который похоронил покойников», «Штразницкий, венгерский отец», «Слон — участник войны» и др.), сюжет характеризуется напряженной философичностью. Что же касается социального пафоса, то он доносится главным образом через гротеск и иносказание. В его нашумевшем сатирическом рассказе «Непобедимая команда» писатель Йожеф Лендел усматривает свифтовские традиции.

Более тонкими, условными формами иронического заострения и гротеска все чаще пользуются и писатели старшего поколения: Тибор Дери — в притчах «Мучной червь», «Решительный лев», «Мистер Джо Смит спасается бегством»; Иштван Эркень — в последних своих «двухминутных» новеллах. Видимо, они находят, что в таких формах можно поставить вопросы острее, чем с помощью привычных образов и ситуаций. Однако их символы в большинстве случаев оказываются загадками. Они слишком многозначны, чтобы означать что-либо определенное.

В поисках новых идей и форм венгерская новеллистика все чаще начинает отходить от непосредственного изображения действительности. Авторов все меньше увлекают сами по себе описания пережитого, подведение итогов, назидательно высказанный приговор. Они охотнее берутся за анализ новой действительности, утвердить которую еще предстоит и нашему обществу, и нашей литературе. Но аналитический подход — плохая почва для патетики: здесь не эпика переплетается с пафосом, а мысль наполняет и просвечивает структуру и детали рассказа. Отвлеченные идеи выражаются не в философских отступлениях, а в предметных образах.

Среди писателей этого направления первым надо назвать рано и трагически погибшего Имре Шаркади. Рассказы Шаркади «Три игры» и особенно «Трусливая» стоят у истоков аналитического направления, а рассказ Кароя Сакони «Человеческий привет» представляет собой уже его вершину и вместе с тем вершину венгерской новеллистики в настоящее время. Доискиваясь причин, почему существуют люди-неудачники, люди оступившиеся, рисуя трагедию вышедшего из низших слоев общества и отвергнутого или не принятого этим обществом героя, Сакони затрагивает одну из самых сложных проблем недавнего прошлого. Больше всего занимает его преодоление одиночества, а также мещанское равнодушие, которое убивает все возвышенное, благородное.

На проблеме человеческого одиночества, разрушения нормальных человеческих связей сосредоточил свое внимание также Иван Манди. Его произведения проникнуты глубоким сочувствием к незаметным, обездоленным людям, к мятущимся, неприкаянным душам. Но он не только сочувствует выбитым из жизненной колеи — он ужасается, видя симптомы обесчеловечения, и выносит им свой приговор. Разумеется, не произнося громких обличительных речей, а правдиво и точно изображая человеческое горе. Он хочет предупредить и воспитать читателя — но, к сожалению, и в его произведениях отсутствует желание утвердить веру человека в свои силы.

Дюла Гернади тоже черпает свои темы из жизни простых, «маленьких» людей, с большим мастерством изображая за грубой оболочкой обыденности человеческое достоинство и стойкость. Он тоже любит рисовать чудаков, вытесненных из жизни людей, в которых умеет почувствовать человечность, чистоту, жаждущее тепла и любви сердце. Погружаясь в поисках новых тем в глубины человеческой психики, Гернади исследует сложные соотношения между смертью и бессмертием, чувством одиночества и коллективизма, между пессимизмом отдельной личности и экономическим процветанием общества. Однако он, как и Миклош Месёй, большей частью сознательно обособляет своих героев от общества, так как его цель — не столько описание людских судеб, зависящих от объективных общественных условий, сколько «вечные» вопросы, общие проблемы бытия, с которыми он лицом к лицу сталкивает своих героев. Беспомощные, не находящие себе места, «ушибленные» жизнью, они не могут разобраться в ее смысле и законах, и это непонимание наполняет их слепым страхом.

Ни Гернади, ни Месёй не довольствуются выражением горечи, которую оставляет сознание бессилия человека перед загадками бытия. Раздумья, поступки их героев как бы говорят, что метафизический страх можно перебороть разумным действием. И все-таки их позиция, на наш взгляд,— это уход

ПЕТЕР ЮХАС
К ЯСНОСТИ ВЗГЛЯДА

от ответа на важнейшие проблемы эпохи, своего рода «непротивленчество». Ведь даже экзистенциалист Сартр предупреждал: «Мир объят мраком. Мы — животные, проклятые от рождения. Но в один прекрасный день до меня вдруг дошло, что отчуждение, эксплуатация человека человеком, голод оттесняют на задний план метафизическое зло, делают его «предметом роскоши». Голод же — это зло элементарное». Странно видеть, как Сартр отдаляется от экзистенциализма и как некоторые венгерские писатели, наоборот, идут к экзистенциализму.

Среди последних рассказов Ференца Каринти — много свежих, блестящих вещей. Большая удача писателя, например,— образ поэта в «Татуированной женщине». И все же большинство рассказов Ференца Каринти написаны ниже его возможностей, так как он сознательно избегает постановки глубоких проблем. Правда, в конечном счете и эти рассказы являются отрицанием мещанской идиллии, осуждают людей, не признающих гражданского долга, не ставящих перед собой больших целей. Однако Каринти не исследует причин, делающих возможной такую жизненную позицию. Он показывает читателю картины мещанского существования, не освещая его корней, вновь и вновь избегая ответа на упрямо напрашивающийся вопрос — почему? Вследствие этого рассказы его, несмотря на изобразительную виртуозность, едва ли представляют собой что-либо большее, чем живо, занимательно, «с настроением» написанные истории.

Конечно, и эти, рукой мастера написанные истории служат цели, к которой стремится вся венгерская новеллистика: исследованию действительности. Вот уже несколько лет, как венгерские писатели словно бы решили выполнять задачи, которые в двадцатые годы ставил перед литературой первый нарком просвещения Советского государства А. В. Луначарский, говоривший, что в то время страна больше, чем когда-либо, нуждалась в литературе, в поэзии, которая выполняла бы роль разведчика, суммировала бы противоречия, порожденные ускоренным подъемом общества. Иногда начинает казаться, что место революционной романтики в венгерской литературе как будто снова стал занимать критический реализм. Мир самых лучших наших новелл населен — и очень часто — несчастными героями. Это отброшенные на обочину жизни, неприкаянные люди, которые сделали в свое время неверный шаг и все больше запутываются в его последствиях. Утратив вместе с иллюзиями и веру, они не способны на разумные действия, нет в них даже и просто упрямства, желания выжить наперекор всему. Остались лишь безнадежность, неспособность действовать, экзистенциалистское ощущение одиночества. Если у них и сохраняется влечение к добру, то это влечение людей сломленных, униженных. Подобный, нарочито односторонний показ действительности ведет, к сожалению, не к новому взгляду на вещи, а всего лишь к отречению от разума и морали.

Иштван Чурка, например, сознательно выбирает своих героев из числа разочарованных во всем нигилистов («Рулевой на посту»). Себя он тоже изображает человеком, лишенным каких бы то ни было иллюзий. Отвечая интервьюеру еженедельника «Элет эш иродалом» на вопрос по поводу его драмы «Кто будет хозяйкой бала?», он ясно заявил: «Тон пьесы — горький, разочарованный. Даже весьма. Но ведь нельзя игнорировать горечь нашего поколения. Я, по крайней мере, не могу беззаботно ухмыляться, если мне разбили нос».

Конечно, как ни модны сейчас в венгерской новеллистике разочарование и горечь, было бы ошибкой отождествлять нравственный нигилизм многих ее персонажей с моральной позицией самих авторов. Склонность к неприкрашенно правдивому изображению свидетельствует о поисках устойчивых ценностей, о стремлении к светлому и возвышенному. Однако писатели подчас не противопоставляют критике уродств и искривлений те позитивные явления, которыми так богата наша жизнь. Их общественный диагноз, установленный на основе правдивых, но односторонне подбираемых фактов, не дает указаний, как лечить болезнь, и порождает поэтому у читателя пессимистические настроения, безнадежность.

Персонажи Иштвана Чурки инстинктивно восстают против гнетущего одиночества, против бессильной пассивности. Один выражает свой бунт против серого, однообразного существования тем, что разбивает люстры; другой — циничными замечаниями провоцирует ссору с окружающими. Художественное изображение такого рода бунтарства по-своему правдиво и жизненно, но в большинстве случаев его герои не умеют воспользоваться даже минутным результатом своего порыва. Так что тут даже речи не может быть о разумном действии. После безуспешных попыток вырваться из своего одиночества герои Чурки впадают в еще более глубокую пассивность.

Новеллы Иштвана Чурки, Ивана Манди, Миклоша Месёя и Ференца Каринти подтверждают известную истину, которая гласит, что из незначительного не создашь ничего значительного. Разумеется, нельзя сразу делать вывод, будто достаточно лишь обратиться к кардинальным вопросам эпохи, чтобы автоматически создать непреходящие ценности. Но все-таки творческий путь Ференца Шанты, Кароя Сакони, Шандора Чоори, Эржебет Галгоци и Йожефа Лендела доказывает, что условием больших художественных достижений являются и большие задачи, поставленные перед собой художником.

Йожеф Лендел с беспощадной искренностью пишет о нездоровых явлениях прошлого, однако для его творческого метода характерно стремление к объективности, желание быть выше личных обид и разочарований. Основная мысль Лендела заключается в том, что в самых бесчеловечных условиях сохранит человеческие качества

тот, кто не останется в одиночестве, кто окажется под защитой возникшего вокруг него человеческого коллектива и всеми силами души будет стараться отвечать на поддержку и теплоту. Свой личный, трагический опыт Йожеф Лендел, благодаря высокому мастерству этического и философского обобщения, поднимает до степени поучительнейших художественно-исторических документов времени.

Несомненным достоинством произведений Имре Добози и Лайоша Мештерхази также является активная гражданская позиция, занятая в борьбе за социализм, и сознательное обращение к социально-экономическим проблемам наших дней. Имре Добози — в первую очередь знаток деревни, Лайош Мештерхази — жизни будапештской интеллигенции. Рассказы их в духе партийности, с правдивостью репортажа показывают как повседневные события, так и переломные моменты истории. Индивидуальные судьбы героев тесно переплетаются с политической борьбой. Поведение поставленного в центре рассказа положительного героя помогает выяснить меру личной ответственности и самоотверженности. Ярче всего, пожалуй, чувство ответственности, возросшее у писателей, которых многому научили последствия культа личности и трагические события контрреволюции, выражается в новелле Имре Добози «Маленький человек — большой человек».

«Репортаж из башни» Шандора Чоори, «Минус» Эржебет Галгоци, принадлежащие к наиболее удачным из их новых произведений, а также другие, более короткие их вещи отражают специфические, но вместе с тем определяющие будущее всего общества, всего народа проблемы одного из самых значительных социальных слоев Венгрии — крестьянства. Они ищут решения острых и важных вопросов; и взволнованные их ответы характеризуются глубоким сознанием ответственности, внутренней заинтересованностью в общем деле. Оба писателя прочными нитями связаны со своими героями, хорошо знают их, живут с ними одной жизнью, и это отождествление себя с простыми тружениками, с народом позволяет обоим встать выше личных разочарований. Поэтому они никогда не отделяют своих героев от общества; поэтому и не производит гнетущего, обескураживающего впечатления то, что они беспощадно бичуют различные человеческие уродства и недостатки жизни, мешающие героям включиться в общее поступательное движение нашего общества.

Подобно Чоори и Галгоци, Лайош Барат — хотя и не на таком высоком художественном уровне — изображает людей трудной судьбы, которым приходится браться за самые тяжелые дела, чтобы облегчить жизнь остальных. Тяжелый, упорный труд, суровый мир шахт не вызывают у читателя жалости и уныния, так как и сами герои рассказов сильны духом и видят перспективу своей жизни.

За последние годы венгерская новеллистика проделала путь больший, чем за предшествующие четверть века. Она наполнила обедненный человеческий образ живым, конкретным содержанием. Можно сказать, что она открыла для себя личность. Предпринятая писателями попытка возвысить жизненные, социально-характерные явления до уровня философского обобщения, а политику ввести в литературу тоньше, превратив ее в личное дело человека, помогла рождению многих прекрасных произведений.

Однако кроме положительных результатов эта попытка привела и к некоторым тревожным явлениям. Так, главное достоинство венгерской новеллы — ее философичность и связанная с ней высокая степень обобщения, интеллектуальной насыщенности — сейчас грозит подорвать самое себя. Перемещение акцента на сферу морали у некоторых писателей ведет к ослаблению социальной детерминированности личности.

Думается, однако, что несомненную даровитость наших молодых новеллистов дополнит со временем и ясность взгляда, вкус к постановке общественных проблем. Тогда, сохраняя все завоевания прошлых лет, они смогут в то же время избежать указанной выше опасности.

В этом кратком обзоре я попытался наметить те основные идейные и художественные направления, которые сегодня характеризуют развитие венгерской новеллистики. У меня не было намерения давать исчерпывающий анализ *всей* новеллистики недавнего прошлого, стремиться к библиографической полноте; не хотел я делать и какие-то окончательные выводы. Для первой задачи рамки статьи слишком малы, для второй — еще не пришло время, так как процесс становления венгерской новеллы на данном, сегодняшнем этапе развития нашей литературы еще не завершился.

г. Будапешт

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

Писатель и время

ДЖОЗЕФ НОРТ

ВОКРУГ ТРИДЦАТЫХ

Копаясь в истории радикальных движений прошлого, исследователи не обнаружили почти ничего, кроме осколков и руин. И все-таки движение, в котором приняло участие так много умных и великодушных людей, мужчин и женщин, никак не могло быть бессмысленным... Нельзя не считаться с тем сильным воздействием, какое оказала идея построения коммунизма даже на тех писателей, которые ее не принимали. Столь значительно было живительное влияние левой интеллигенции, которая затевала дискуссии, открывала новых романистов и драматургов, которая привлекла внимание к никому до той поры не интересным областям американской жизни и смела барьеры, отделявшие многих писателей от великих вопросов нашей эпохи.. Мы, дотянувшие до шестидесятых, можем с сожалением отметить слабости и неудачи людей того времени, их романтические иллюзии и склонность к самообману, их самоуверенность и нетерпимость. Но сколько бы ошибок они ни наделали, не так-то просто с презрением отвергнуть их попытку изменить мир.

Джек Конрой, зима 1965 года

Кое-кого из тех, что принимали участие в левом движении, о котором пойдет здесь речь, позднее посетило «откровение», и они принялись отрекаться, твердя, что это движение было частью разветвленного подпольного «заговора» с целью «околпачить» писателей и ученых, а затем использовать их в пропагандистских целях, чтобы большевикам легче было прибрать к рукам американский народ. Я самым категорическим образом протестую против подобных измышлений. Я не могу вспомнить решительно ничего, что имело хотя бы самое отдаленное сходство с заговором.

Мэтью Джозефсон. «Неверный в храме»

Америка освободи Тома Муни
Америка спаси республиканцев Испании
Америка Сакко и Ванцетти не должны умереть
*Америка я парень из Скоттсборо *.*

Аллен Гинзберг. «Америка»

В сороковые годы начали переписывать историю тридцатых, и, как это почти неизбежно случается, когда берутся усовершенствовать историю, как это случалось ну хотя бы с тех времен, как римские историки принялись писать о Спартаке, герои лишились ореола; все хорошее превратилось в свою противоположность; глянец добропорядочности и благопристойности навели на все, чего в сороковые годы уже не собирались терпеть. В итоге новое поколение составило себе о тридцатых представление, весьма далекое от того, какое осталось

* В 1931 году в городе Скоттсборо состоялся знаменитый процесс над девятью негритянскими юношами, ложно обвиненными в насилии над двумя белыми женщинами. Подсудимым был вынесен смертный приговор, однако под давлением мировой общественности приговор был заменен длительным заключением.

об этих годах у нас, переживших их. Я все еще диву даюсь, читая про тридцатые годы у Грэнвилла Хикса, да и у других, кто помнит те времена, когда начал выходить «Нью мэссиз», но впоследствии откликнулся на призыв иного — и более ортодоксального — барабанщика.

Может быть, всего лучше сравнить историю освещения тридцатых годов с историей истолкования периода реконструкции *. С тех пор, как появились новаторские труды доктора Уильяма Дюбуа и других историков, например, Джеймса С. Аллена, где о реконструкции впервые была сказана правда, об этом времени написано немало; я понял, что это десятилетие было одним из наиболее продуктивных в американской истории. Но боже мой, что писалось о реконструкции в двадцатые годы, когда я впервые узнал о ней в Пенсильванском университете! Сплошной ужас; реконструкция выглядела даже хуже, чем измена входивших в Конфедерацию штатов. И такая интерпретация сохранилась до наших дней; к глубочайшему моему сожалению, я наткнулся в третьем, вышедшем в сентябре 1964 года издании настольной энциклопедии, «составленной и отредактированной Колумбийским университетом» и опубликованной «Викинг-пресс», на следующий пассаж, дающий, так сказать, определение реконструкции: «Юг находился в состоянии деградации; правительства штатов состояли из «ковровщиков»** и беспутных людей. При помощи бюро по делам освобожденных и клубов Союзной лиги *** они бесстыдно подтасовывали голоса негров на выборах и наводили ужас на города и поселения негритянскими полками. Были районы, где все подчинилось законам анархии и преступления; появился ку-клукс-клан. Созданная «ковровщиками» система управления рухнула из-за внутренней коррупции...» Такое изображение дела вполне согласуется с представлениями куклускласновцев, но ведь книга подготовлена Колумбийским университетом, этим храмом науки, на взгляд многих, первым университетом страны!

Сбоку от меня висит солидная полка, заставленная книгами о тридцатых годах, а также о той роли, которую сыграл в то время еженедельник «Нью мэссиз». Я был одним из основателей и редакторов «Нью мэссиз» на протяжении почти всей его истории — с 1934 по 1949 год. Естественно, мне интересно, что пишут об этом журнале. Я прочел «Часть правды» Грэнвилла Хикса, «Голый бог» Говарда Фаста, «Сразу за углом» Роберта Бендайнера и многое другое; я мог бы продолжить этот список. У всех этих книг есть нечто общее. Авторы ощущают, что им необходимо как-то оправдаться, изготовить собственную версию, объяснить, почему они пересекли линию фронта и оказались с теми, против кого когда-то боролись. Путь ренегатства—трудный путь, он никогда не приносит удовлетворения. Отступник может убедить свою аудиторию, но ему почти никогда не удается убедить самого себя. Проницательный читатель уловит, что автор что-то уж слишком распротестовался.

Да, это история не новая и не веселая — во всяком случае, для меня, и я знаю, что и для многих других, кто нашел свое место в те времена. Но здесь мне хочется дать *мою* версию тридцатых, мою версию «Нью мэссиз» — журнала, который был тогда, смею утверждать, совестью литературного мира. И рассказывать об этом я буду тоже по-своему — иными словами, беря в свидетели писателей той эпохи и их книги. А судит пусть читатель.

В обвинении, предъявленном нам — левым интеллигентам, марксистам, коммунистам той эпохи, бунтарям, которые примкнули к нам и с которыми мы шли вместе,— основной пункт гласит: вы стремились наложить свою грязную лапу на тогдашнюю литературу и культуру и испортить их. Мы были развратителями. Согласно обвинению, нам не было никакого дела до литературы, до правды, до красоты, мы действовали, побуждаемые слепой, фанатичной преданностью чуждой Америке философской доктрине — марксизму и коммунизму. Мы считали, что цель оправдывает средства. А наша цель была не больше не меньше как овладеть командными высотами американской культуры и, укрепившись на этих бастионах, пропагандировать столь милые нам иноземные идеи. Нас представляют лазутчиками. Нас представляют антиамериканцами. Если верить обвинению, мы выдавали премии за все, что соответствовало «нашей линии» и подходило под нашу доктрину; какими бы примитивными и беспомощными с художественной стороны ни выглядели такие произведения, мы все равно расхваливали их до небес и сбывали публике, как фальшивые банкноты. Всю эту клевету я слушаю не первый год, но мое терпение не безгранично. Я смотрю на вещи по-иному, вот почему я счел своей обязанностью составить литературно-художественную антологию по материалам «Нью мэссиз».

Итак, я расскажу эту историю по-своему. В тридцатые я вступил горячим поклонником Майка Голда. Когда в своем почтовом ящике в одном из городов Пенсильвании я находил свежий номер «Нью мэссиз», у меня едва хватало терпения распечатать бандероль. Всего больше мне нравилась полоса, которую вел Майк. Она дышала правдой времени. Я был тогда еще совсем юнцом,

---

* Периодом реконструкции принято называть десятилетие, последовавшее за окончанием гражданской войны.

** «Ковровщики» — прозвище северян, появившихся на Юге после окончания гражданской войны и за бесценок скупавших поместья офицеров армии Конфедерации.

*** Бюро по делам освобожденных были созданы на Юге после окончания гражданской войны; их целью было трудоустройство массы бывших рабов и борьба с экономической разрухой. Союзная лига Америки — организация, созданная в 1862 году для борьбы с антиправительственными настроениями и поддержания морального единства нации в годы гражданской войны.

что-то около двадцати, и едва начал работать в одной пенсильванской газете. Благодаря своим журналистским обязанностям я познакомился кое с кем из левых (об этом можно подробнее прочитать в моей автобиографии «Нет чужих среди людей»). Я был захвачен их энтузиазмом, их ощущением цели, преданностью интересам простого человека. Как раз к этому я инстинктивно тянулся всем моим существом, это как раз согласовывалось с моим пониманием жизни. Я принадлежал к тому классу, перед которым преклонялся Майк Голд. Мой отец был кузнецом, он так и не научился ни читать, ни писать по-английски; моя мать, швея, выучилась грамоте самостоятельно; сам я делил время между книгами и работой в доке, где я вгонял заклепки в корабельную обшивку. Майк Голд был для меня как пророк Исайя. Я вспоминаю толстую, желтоватую бумагу, на которой печатался «Нью мэссиз», помню все — даже черные строки отбивки, отделявшие на полосе стихи от прозы, помню смелые, резкие линии карикатур, помню их авторов — Билла Гроппера, Лозовика, Эллиса, помню не особенно складные стихи, в которых говорилось о турбинах, станках, подъемных кранах, грузовиках-тяжеловозах и прочих приметах индустриального века. Все это было знакомо мне по собственному опыту, и я видел, что все описывается правильно. И еще я видел, что журнал обращается к душе тех, кто заставляет машины работать, хранит простые мечты этих людей о свободе.

Я могу понять, почему люди, выросшие в иной среде, не разглядели этой правды или остались к ней равнодушны. Такая жизнь была непривычна тем, чей опыт и строй мышления соответствовали — ну, хотя бы опыту и строю мышления Генри Джеймса, или, позднее, Синклера Льюиса и Шервуда Андерсона (который пытался, но не сумел рассказать о жизни рабочих в романе «В ногу!»), или Скотта Фицджеральда, или даже Эрнеста Хемингуэя, или Теодора Драйзера — пусть последний и вступил в коммунистическую партию. Правда, эту жизнь смог понять Джек Лондон, в молодости сам бывший рабочим и немало поскитавшийся по тихоокеанским берегам; но вплоть до тридцатых такие случаи были большой редкостью. Ибо только в тридцатые Майк Голд и люди, с которыми он был близок, побудили нас, детей рабочего класса, бросить наши лачуги. Его призыв «Молодые, налево!» вызывал в нас дрожь, подобно тому как, наверно, приводил в исступление наших сверстников лет семьдесят назад призыв Горейса Грили * «На Запад!».

Я понял, что делали, во всяком случае, что старались делать многие печатавшиеся в «Нью мэссиз» писатели: они хотели описать жизнь рабочих. До них это никому не удавалось — пробовали, но не получалось. Получилось разве что у Эптона Синклера в образе Юргена из «Джунглей» — в какой-то мере. Но не существовало литературы, посвященной этому аспекту. Аспекту? Нет, этой *сущности* американской жизни, тому, как живет самый многочисленный класс Америки — пролетариат. Ее не было ни в Америке, ни за ее пределами. Не было нигде. Да что там, не найти было, пожалуй, даже соответствующего истине рассказа о жизни хоть отдельного рабочего, промышленного пролетария, о том, как он относится к своей работе и к своим товарищам. Я-то ощущал это, потому что мне довелось уже испытать в жизни нечто такое, чему я и по сей день не могу подобрать сравнения, а ведь мне грех жаловаться на то, что у меня была однообразная жизнь. Я на себе узнал, что это значит — быть рабочим, какая нечеловеческая выдержка нужна для того, чтобы хоть день побыть шахтером, лежащим на холодной сырой земле под пластами угля, которые могут на него в любую минуту рухнуть; или машинистом, от чьего умения и хладнокровия зависит жизнь тысячи сидящих в поезде людей; или ткачом, чей станок грохочет день напролет, до бесконечности повторяя один и тот же ритм. Я никогда не забуду, как в пятнадцать лет я провел однажды жаркий июльский день в прокоптившемся трюме корабля; с десяток клепальных молотков вгрызались в твердую сталь, ржавчина разлеталась, словно огненные снежинки, огонь лился рекой, темно-красная пыль стояла в спертом воздухе, затрудняя дыхание, набиваясь в легкие, въедаясь в кожу вместе с потом,— а сквозь дыры, которыми изрешетили сталь сверла, сочился дневной свет и, точно на экране телескопа, возникал уменьшенный и взятый в рамку пейзаж за бортом: спокойная река, кружащиеся над водой чайки; казалось, кто-то решил зло посмеяться над реальностью, той реальностью, что превращала день рабочего в кромешный ад и сжимала рабочих тисками, пока не звучал гудок, возвещавший о конце смены. Я никогда не забуду вопля внезапно наступившей тишины, когда кончался рабочий день. И никто этого не понимал. Все это оставалось тайной, ведомой только рабочим. Но «Нью мэссиз», который я читал, пытался понять. Его сотрудники, его писатели и художники знали, что существует и такая жизнь. Ничего подобного я не находил ни в «Нью рипаблик», ни в «Нейшн», ни в каком-нибудь еще современном журнале.

И я стал работать для «Нью мэссиз».

Я послал им мою первую статью, где описал жизнь в джунглях, в гетто моего промышленного города, и когда пришел ответ от Майка Голда, моя жизнь переменилась. В письме стояло: «Вы можете писать. Это так же точно, как то, что бог сотворил большие красные яблоки». Я не чуял под собой ног. Я дышал полной грудью, и из меня выходила забившая мои легкие ржавчина.

А потом меня пригласили в Нью-Йорк на совет, собранный для того, чтобы спасти «Нью мэссиз». Я был среди тех, кто считал, что необходимо перевести журнал на еженедельное издание (во время кризиса «Нью мэссиз» был ежемесячником и, хотя и с трудом, продержался). Что и говорить, куда

* Горейс Грили (1811—1877), американский журналист и политический деятель, один из инициаторов «золотой лихорадки».

более умные люди считали наш проект сумасшествием. Но мы настаивали и взяли верх. После того как «Нью мэссиз» стал еженедельником, он выходил еще пятнадцать лет. И было это прежде всего потому, что мы уловили дух времени, потому что мы победили отчуждение и мрачные настроения человеческой никчемности, всеобщего опустошения, вечного одиночества. Мы протянули руку тем, кто переживал состояние оторванности от жизни, и указали им, где искать цель существования. У нас была цель. Мы изображали жизнь и работали ради цели — марксистской, социалистической цели. Мы делали это своей прозой и поэзией, критикой, живописью, и мы *не нарушали* эстетических критериев, художественных стандартов и вкусов людей той эпохи. (Кто бы посмел утверждать подобное в те дни! Это восприняли бы как бессмыслицу — для таких обвинений потребовалась другая эпоха.) Я не считаю, что нам удалось дать глубокую и верную картину времени; ее нет и по сей день, и нужен гений Данте, чтобы она появилась. Голод. Пришедшие в упадок дома. Семьи, живущие на городских мостовых. Старуха с высохшими глазами: она сидит в кресле-качалке на тротуаре. Дождь. Безнадежность. Кричит ребенок. Охваченная тревогой, во что-то вглядывающаяся мать. Пристыженный, обозленный отец — все это в каком-нибудь промозглом гувервилле. Отбросы жизни на окраинах всех городов. Мусор, помойка; люди, выброшенные на свалку. Я повторяю: голод. Целый континент умирающих от истощения. 17 миллионов безработных. А в реки выливают молоко — точно общество у всех на глазах занялось онанизмом. Сжигают апельсины, сжигают пшеницу... чтобы росли цены. Как рассказать об этом, чтобы поколение, которое не пережило, не изведало этого, поверило? Это — как на войне: только солдат, который прошел через шквал огня, знает, что такое фронт. И никто другой.

Тридцатые годы начались холодным адом голода, беспрецедентной волной материальных лишений. А потом поднялась беспрецедентная волна протеста. Она-то и приводила в бешенство власть имущих — потом, в сороковые, а особенно в пятидесятые, в эпоху нарождавшегося американского гитлеризма, в эру сенатора Джо Маккарти. В тридцатых было что-то такое, что делало их исторически непохожими на другие эпохи массового голода в Америке, а эти эпохи наступали с трагической регулярностью, совпадая с полосами экономических депрессий, так называемыми «годами паники» — 1837, 1857, 1877, 1893, 1907 и, наконец, с 1929, годом самой глубокой депрессии из всех. Тридцатые породили движение против голода, которое по своим масштабам, по своей глубине уже нельзя было назвать только *вспышкой гнева;* в те годы движение приобрело размах, отвагу, одухотворенность; оно приобрело программу, да, оно обрело лидерство, чего лишены были все подобные движения в другие времена. Тридцатые были временем красных, временем марксистов, временем коммунистической идеи, которая в октябре 1917 года произвела революцию, потрясшую мир.

Моя история вполне типична для человека тех лет. Я был тогда еще очень молод; я был обычный парень с окраины, из глухой провинции, но марксизм дал мне такое острое чувство цели, которой я должен посвятить свою жизнь, что среди левых литераторов того времени, пожалуй, мало кто мог со мной в этом отношении поспорить. Я читал все о марксизме, что выходило на английском языке. Я прочел все, что написали Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин. Я был захвачен. Потом я прочел Горького... Шолохова... Уитмена... Драйзера... Джека Лондона... раннего Эптона Синклера — они стали моими богами. Я читал «Дейли уоркер». Потом я начал писать для этой газеты. Если у нее были слабости, то это были и мои собственные слабости. А о ее силе я знал и был убежден, что рано или поздно эти сильные стороны возьмут верх над слабыми. И что бы ни происходило, и в те годы и сейчас я жил и живу сознанием, что дело народа обязательно победит. В тридцатые эта вера воодушевляла и многих других, позднее разочаровавшихся и отошедших от нас по причинам, о которых я могу только жалеть; кто-то понял, что расходился с нами, и ушел, потому что был честен, другими владели лишь заботы о собственной безопасности, о благах для самих себя, третьим не хватило мужества остаться с нами, когда мы оказались в меньшинстве и должны были защищаться в одиночку,— этим нужна была безопасность, даруемая огромным стэдом, спокойствие, обретаемое в рядах большинства.

Я стал редактором еженедельника «Нью мэссиз». Куда бы мы ни переезжали, из наших окон, кажется, всегда открывалась панорама нью-йоркских крыш; обычно мы помещались где-нибудь на окраинах Ист-Сайда — отличное место для работы. Одно время мы расположились в старинном Байблхаус, напротив здания Куперовского союза*, где выступал Эйб Линкольн. Наша редакция ничем не напоминала старинный английский особняк, который занимал «Нью рипаблик»; несколько ветхих, потемневших столов, большие незанавешенные окна, дощатый пол, но все это оживляли расклеенные повсюду карикатуры того времени, знаменитые работы Майнора, Эллиса, Гроппера, Арта Янга, Геллерта, Редфилда, первые рисунки Бака, Рихтера, Эда Рейнгарда, Неда Хилтона, Гарднера Ри — целое созвездие блестящих карикатуристов, людей,

* Куперовский союз прогресса науки и искусства — филантропическая организация, созданная в 1859 году в Нью-Йорке промышленным магнатом Питером Купером. 27 февраля 1860 года в здании Куперовского союза выступил со знаменитой речью только что избранный президентом США Авраам Линкольн, в этой речи он провозгласил, что целью его политики будет уничтожение рабства.

умевших оглушительно хохотать, создававших вещи, которые дышали огнем и талантом.

И к нам стали приходить новые писатели: одни застенчиво, другие без церемоний; все это были новички, и хотя одни это скрывали, а другие нет, чувствовалось, что они были не слишком уверены в приеме, который их ждет, в том, что их вещи прочтут, а если прочтут, то еще неизвестно, похвалят ли или же презрительно укажут на дверь. Все они были похожи друг на друга; не очень-то веривше в себя как художников, они нередко напускали на себя петушиную воинственность, эту защитную маску юности, стараясь внушить, что им уже все ведомо. Такими приходили к нам и некоторые лучшие писатели того времени. Среди них был Эдвин Ролф, которому не исполнилось еще и двадцати двух,— тощий парень с локтями, торчащими, как растопыренные крылышки воробья, худое, вытянутое лицо придавало ему сходство с изголодавшимся ястребом. Я любил их всех; я как-то научился угадывать, что их яростная беззащитность—следствие их неискушенности и неуверенности. Ролф, как мне тогда казалось, был самым содержательным, самым лучшим поэтом эпохи; в его стихах, проникнутых воинственным, точно направленным пафосом, чувствовалось влияние классики; иногда в них слышалась несколько суховатая назидательность — Ролф тянулся к тому жанру, который я для себя определил как передовицу в стихах, к поэзии, отвечавшей духу того времени, когда реальность выступила без прикрас, когда голод можно было пощупать руками, как можно пощупать скелет, положенный для исследования на проволочный стол лаборатории. Я не отшатывался от такой поэзии; я чувствовал, что в ней живет дух Уитмена, дух Мильтона — создателя «Ареопагитики», дух Блейка. Я всегда любил и много читал греков и римлян; и раз Лукреций, описывая времена года, жизнь, как он ее понимал, и мысли ученых своего времени, сумел быть дидактическим поэтом, почему же отказывать в праве быть дидактичными поэтам-борцам, моим современникам? Поэт — это ведь и рупор идей.

Итак, как-то осенью 1934 года я сидел в редакции, когда пришел Ролф и принес свое стихотворение «Эти люди зовутся Революцией», которое появилось у нас в номере от 10 сентября. Мысли, заключенные в этом стихотворении, глубоко запали в душу Ролфа и людей, которым оно оказалось созвучно; через два года Ролф был уже в Интернациональной бригаде и дрался в Испании — этот хрупкий, глядевший на мир широко раскрытыми глазами тощий поэт, должно быть, вскакивавший в тревоге, когда взор ловил его собственную тень. Я встретил его в Мадриде, в штабе; берет цвета хаки нависал над его костлявым лицом, брюки болтались на костлявом теле, а сбоку висел в кобуре крохотный пистолет— точно томик стихов в походной сумке. В Испании, стране Дон Кихота, особенно раскрылась его главная черта — несуетливая твердость духа. В том первом его появившемся в «Нью мэссиз» стихотворении говорилось:

Я рабочих зову — батрака, кузнеца.
Вышли мы в путь и пойдем до конца,
Не страшась ни штыков, ни суда,
ни тюрьмы.
Пусть боссы боятся, но только не мы.
День придет, когда вновь мы покой обретем,
Когда дома с друзьями мы сможем
собраться,
Когда плуг, а не ружья мы в руки возьмем,
Когда кончится бой,— но сейчас надо
драться.

В этом стихотворении есть предвидение (и довольно острое) судьбы всего поколения Ролфа: почти три с половиной тысячи его сверстников покинули Америку — незаконно, как объявило наше правительство, и перебрались через снежные Пиренеи в солнечные долины Испании, неся оружие — плохое, устаревшее, неэффективное оружие — Республике. И из них почти тысяча двести не вернулись. Ролф был среди возвратившихся, но жить ему оставалось недолго — испытания войны оказались слишком сильными для его сердца, и вскоре он умер, не раскрыв своего большого таланта: нам суждено было только ощутить, как одарен был этот человек, а потом он стал поэтом-солдатом, сражавшимся на войне, которая была, по словам Камю, болью в сердце его поколения.

Тогда я еще плохо знал Маяковского— одно-два стихотворения, не больше; но в тех стихах, которые нам присылали и которые мы печатали, чувствовалась перекличка с этим советским поэтом; в них тоже было ощущение громадности жизни, по-юношески страстный интерес к ней и полное приятие, нет, горячая преданность Революции и простым людям. Все это было и в поэзии Ролфа, хотя он, как и большинство молодых поэтов, читал Т. С. Элиота, испытал влияние его поэтической техники (в чем отдавал себе отчет), а также отчасти (уже бессознательно) проникся настроением и воспринял общую тональность творчества этого мистика. У молодых поэтов чувствовалась и общность с Уитменом, нашим святым-покровителем; но, пожалуй, не найти было и следов холодной размеренности Эмерсона, музыкальности Лонгфелло или разговорного стиля Уиттьера — этих трех великих поэтов-аболиционистов. Мы были верны Уитмену, отчасти Элиоту, в большой мере — Маяковскому.

Среди тех, кто горел Революцией, был и Сол Фунарофф. Это был своего рода американский Маяковский. В его глубоко запавших глазах сверкало пламя; высокий, худой, негнущийся, он входил в наше обшарпанное помещение и всем своим обликом производил впечатление угловатости, решительности, готовности в любую минуту сцепиться с поэтами, воспевавшими любовь, надежду и призвание. Он был нелегкий человек, но я привязался к нему, быть может, больше, чем ко всем другим, ибо на лице его честность проступала так же ясно, как почтовый штемпель на конверте. Как и Ролф, он был готов выполнить «любое по-

ручение», любую задачу, которую поставила бы перед ним его партийная ячейка, и найти в этой работе поэзию; для него было лирикой продавать «Дейли уоркер», агитировать людей, чтобы они шли на митинги советов безработных или на массовые митинги, требовавшие от правительства снять эмбарго на торговлю с республиканской Испанией. Время, в которое мы сейчас живем, кое в чем напоминает ту эпоху, и вы сможете понять и оценить эту самоотверженность, смелость, эту отрешенную преданность делу. Поверьте, эта работа не приносила ни денег, ни прочих благ — ну, может быть, некоторую известность, если человек печатался в «Нью мэссиз»; тогда на него смотрели с уважением, но, впрочем, люди повсюду в мире с уважением смотрят на литератора, писателя, поэта.

Я считал и считаю, что наш журнал был рупором эпохи и привлекал людей подлинно смелых, умных, неудовлетворенных. Однажды на пороге нашей двери возникла высокая, загадочная фигура сероглазого Максуэлла Боденхейма, к тому времени достигшего если не славы, то во всяком случае признания: он был известен и как поэт, и как романист (книгой «Джессика Возрождающая»), его уже пригласили в Голливуд. Не в пример своему лучшему приятелю Бену Хегту, составившему себе в Голливуде состояние, Боденхейм не вынес царившего там духа неискренности и фальши. Боденхейм поверил в пролетариат и пришел к нам; он стоял взъерошенный, непокорный, длинноволосый, пахнущий спиртным.

Он сравнил два мира: мир богатых, к которому он раньше принадлежал, и мир обездоленных, в котором теперь очутился. И из этого сравнения родилась его ода девушке из рабочего класса, как он ее увидел; мы напечатали его стихотворение в номере от 3 апреля 1934 года, напечатали, хотя Боденхейм, подобно многим в ту эпоху, принадлежал к категории людей, которых я называл «суперреволюционерами», людей, видевших в жизни только черное и белое, или, говоря современным языком, воспринимавших жизнь так, точно она была заснята на слишком чувствительную цветную пленку. Вот что он написал в стихотворении о Девушке-Революционерке, какой он ее увидел:

Нам не нужна романтика; теперь
Настали времена, когда она
Напоминает кинорай сусальный
На фоне грязи и отбросов; а слова,
Звучащие красиво, выдают
В произносящих их не красоту, а глупость...

Он смотрел вперед; обращаясь к Девушке-Революционерке, он поднимал тост «за времена, когда ты расцветешь, как фиалка» и т. д. Но несмотря на эти проблески надежды, отчаяние его все усиливалось, и он кончил свою жизнь бродягой на Бауэри *, погиб в пьяной драке; в этом есть нечто общее с судьбой его предшественника, поэта, тоже жившего в бурную эпоху,— Франсуа Вийона.

И вот они один за другим переступали порог нашей редакции в Байбл-хаус или на Четвертой авеню — сыновья иммигрантов или сыновья янки, белые и черные (одним из первых среди них был Ричард Райт), мужчины и женщины; к нам пришла Джозефина Хербст; когда потребовалось, она верхом на коне отправилась искать среди кубинских гор место для Реаланго 18 — первой коммунистической фермы в Западном полушарии, как мы ее себе представляли. Были такие, что задерживались у нас ненадолго; их имен не стоило бы называть — они и так прославили себя на весь мир, их вопли раскаяния разносились по всей Америке; я имею в виду Гренвилла Хикса, Ричарда О'Ровера, Клиффорда Одетса и прочих, кто был радикалом только до тех пор, пока этому благоприятствовал политический климат. Но стоило в кругах, из которых они вышли, пройти моде на радикализм, стоило доллару стабилизироваться, и они бросились бежать — кто прикрываясь фразами, а кто и просто бежать наутек, назад, в лагерь своих отцов, публично сокрушаясь и недоумевая, с чего это они вдруг захотели искать путь из Египта в землю обетованную.

Но люди переступали порог нашей двери, молодые и старые, знаменитые и никому не известные, и на наших страницах появлялись имена все новых и новых поэтов, романистов, эссеистов, критиков, художников, бесшабашных журналистов вроде Джона Л. Спивака, не устрашившегося проникнуть в гнездо доморощенных фашистов и, образно говоря, вернувшегося с их скальпом в руке. Хотя среди нас были свои брамины, находившие, что Спивак — лазутчик, подосланный к нам «Дейли ньюс», его разоблачительные статьи заинтересовали многих, и мы приобрели новых подписчиков. А наша борьба против фашизма — отечественного и европейского — привлекла в журнал новых авторов: Дороти Паркер, для которой бомбы, падавшие на Мадрид, стали предвестием близящейся эпохи фашизма и которая призывала писателей покинуть башни из слоновой кости, поскольку в этих башнях, писала она, только одна лестница и ее ступени ведут к фашизму; ученого Дж. Б. С. Холдейна, Шона О'Кейси, Бертольта Брехта, Генриха Манна, Максима Горького, Лэнгстона Хьюза, Илью Эренбурга. И еще многих, многих других. Самые талантливые, самые смелые писатели того времени печатались у нас.

Потом к нам стали приходить знаменитости, те, чьи имена сияли в ореоле славы. Хемингуэй, Томас Вулф, Теодор Драйзер... Хемингуэй, давний бунтарь, как-то говорил мне с типичной его усмешкой сильного парня, признанного главы банды, что о журнале, называвшемся «Нью мэссиз», он узнал однажды поздней ночью и прихватил номер домой. Джозеф Фримен потом рассказывал, что свою первую вещь Хемингуэй написал для «Нью мэссиз», это было стихотворение

* Бауэри — район Нью-Йорка.

в прозе, которое Хемингуэй по каким-то причинам так и не опубликовал. Быть может, Джозеф что-то напутал; Хемингуэй, с которым я подружился еще в 1937 году в Мадриде, наверняка как-нибудь упомянул бы об этом стихотворении. В Мадриде, как мне кажется, Хемингуэй следил за шпионами фалангистов, которые могли бы легко перебраться на нашу сторону возле университетского городка, где окопы выгибались дугой. Однажды в страшно темную ночь мы шли втроем по улице — Марта Гелхорн, он и я,— и Хемингуэй сказал, что существуют два сорта людей: одни перетаскивают пулеметы и собирают их на линии огня, другие ведут стрельбу и купаются в славе. Первые, сказал он, должны бы делить эту славу, потому что без них нельзя было бы вести огонь — пулеметчик мог бы тогда с равным успехом нажимать на пробку от бутылки шотландского. Я знаю про все эти истории, изображающие Хемингуэя эгоистом, знаю, как высокомерно обращался он с равными себе, и все-таки я верю, что это был человек простой, человек большого сердца. Да, просто человек большого сердца. И лучшее тому доказательство — знаменитая фотография, на которой он ведет совершенно серьезный разговор с вождем африканского племени пигмеев, который Эрнесту всего-то по пояс; они болтают, словно два старых приятеля, встретившихся в баре. И таким я помню его. Таким я видел его в Испании, таким вспоминают его в рыбацкой деревушке Карденас на Кубе, где он писал «Старика и море». Я говорил там со многими рыбаками, и каждый, не колеблясь, утверждал, что Старик — это он.

Так вот, я получил от Хемингуэя материал для «Нью мэссиз» после урагана 1934 года, но ради этого мне пришлось потратиться на телеграмму. Во время урагана погибло почти 400 ветеранов первой мировой войны, оставшихся без работы и посланных по правительственной программе борьбы с безработицей во Флориду. О несчастье я узнал из сообщения «Нью-Йорк таймс»; там же говорилось, что Хемингуэй живет где-то неподалеку от места катастрофы. В то время касса нашего журнала была пуста, не на что было даже отправить телеграмму. Я помню, как выпускающий редактор допытывался, почему это я счел возможным сорить деньгами. С какой стати будет Хемингуэй писать для нас, когда «Колльерс» не постоит за ценой? Но я уже тогда верил в политику дальнего прицела, как верю в нее и сейчас, и я побирался у всех штатных сотрудников, пока не сколотил нужную сумму. Через три дня, как раз когда номер сдавался в набор, я с восторгом разглядывал только что полученный толстый длинный конверт, на котором стояло «Ки-Уэст, Флорида». Так мы познакомились. Хемингуэй читал наш журнал и как-то мимоходом заметил, что он ему нравится. В 1939 году я попросил его написать статью к годовщине Линкольновской бригады, сражавшейся в Испании. Он прислал очень трогательную статью, настоящую элегию «Сегодня мертвые спят спокойно», которая появилась у нас в номере от 9 сентября 1939 года. Он сообщил, что работал над ней пять дней. Теперь ее текст записан на пластинку и звучит во всех уголках мира, где Испания — священное слово.

Смущенно посмеиваясь, Хемингуэй однажды сказал мне, что никогда не смог бы быть марксистом; это просто не отвечает его образу мышления и жизни, он слишком индивидуалист. Но он сказал, что уважает марксистов как борцов, он видел, какую смелость проявляют они в бою. Однако Маркса он принять не мог и шутил, что просто не способен читать старого Мавра (не представляю, откуда он узнал, что это прозвище Маркс носил в семье). «Нет, я не могу читать Мавра,— говорил Хемингуэй,— он только испортит мой стиль. Оглянуться не успеешь, как я начну употреблять такие слова, как прибавочная стоимость, абсолютное и относительное обнищание пролетариата, отчуждение, диктатура пролетариата». Он говорил, что каждый писатель по-своему переделывает читателя, это цена, которую платишь, покупая книгу. И Хемингуэй боялся, что могучий Мавр повлияет на его лексику, а этого он никак не желал, избави боже. Он признавал, что ведет свою родословную от «Геккльберри Финна» и некоторых вещей Гертруды Стайн. Много лет спустя, уже когда произошла революция, я побывал в его доме на Кубе, который он завещал народу. Я бродил по его библиотеке, самой большой в округе. На самом почетном месте стояли потрепанные издания Флобера и Стендаля. Их кристальный стиль, а также пересыпанный идиомами и разговорными словечками, такой земной и неповторимый стиль Марка Твена, передававший гуманизм этого писателя,— вот откуда, наверно, произошел «тощий» стиль Хемингуэя.

Иногда воспоминания подступают, как волны. В моей памяти как живой стоит Хемингуэй, а рядом с ним Драйзер — может быть, из всех писателей, с которыми я встречался, он произвел на меня самое большое впечатление. Высокий, крепкий, с широко расставленными глазами и массивной, упрямой головой на плечах, это был думающий, неторопливый человек; он напоминал свою прозу. Но Драйзер откликался на все токи времени, обнаруживая и в своей медлительной манере изучая их в людях, с которыми он сталкивался. В книге «Нет чужих среди людей» я уже рассказывал, как он явился в «Нью мэссиз», чтобы защититься от обвинений в антисемитизме. Мы доказали ему, что он ошибочно назвал двух жульничавших издателей евреями. Да и стал ли бы он подчеркивать их национальность, если бы они были шведы или французы, принадлежали к католикам или методистам? Один из нас предложил ему том Ленина, где была статья об антисемитизме. Он взял книгу с собой, прочел ее и на следующий день прислал нам извиняющееся письмо, где признавал свою ошибку. В этом человеке было величие: его простота и честность служили ему оружием, а для тех многочисленных стрел, которые в него ме-

тали, он оставался совершенно неуязвимым.

Я не могу закончить мой далеко не полный и весьма отрывочный рассказ о людях, бывавших в «Нью мэссиз», не назвав этого мученика, этого, по характеристике Луи Арагона, «средиземноморского принца», французского журналиста Габриеля Пери. Схваченный фашистами за участие в Сопротивлении, этот марксист, который был депутатом парламента и входил во французскую Комиссию по иностранным делам, написал накануне расстрела завещание. И в тюрьме, за несколько часов до того, как его повели на казнь, Пери, вспоминая те факты своей жизни, которыми он мог гордиться, назвал и статью, написанную им «для американского журнала «Нью мэссиз».

Он говорил об этом с гордостью. Какая противоположность тем в США, да и не только в США, кто остаток жизни посвятил отречению от своего прошлого, тем, кого я уже называл, и другим, ну хотя бы Джону Стрейчи, который печатал кое-что на наших страницах, а потом ушел от нас и стал британским министром обороны. Не в пример Пери, Стрейчи умер в собственной постели.

Подчас приходится слышать, что, поскольку мы руководствовались марксизмом, мы якобы считаем себя великим журналом. Нет, я никогда не утверждал ничего подобного. Мне случалось читать американские журналы, печатавшие более совершенные произведения, чем мы,— хотя бы «Атлантик мансли» той поры, когда его возглавлял Уильям Дин Хоуэллс *. Тогда это был ведущий журнал эпохи. Он привлек к себе самых лучших писателей и, естественно, добился очень высокого уровня. (Кстати, Хоуэллс, этот старый, закадычный друг Марка Твена, был первым писателем в США, соединившим свою судьбу с социализмом.) Мы же никогда не притязали на то, что достигли такого же уровня. Но я убежден, что в свое время, особенно в тридцатые, мы представляли самый чистый голос в хоре американской литературной периодики. Я верю, что для того, чтобы понять, какой была тогда Америка, историки будут обращаться к нам больше, чем к современным нам журналам. Я верю, что мы нащупали пульс на той артерии времени, которая вела прямо к сердцу. Я верю, что это чувствовало большинство наших читателей. И я знаю, что большинство наших авторов это ощущало.

Вот почему мы оказались в состоянии выпускать журнал, не располагая ни специальными фондами, ни могучими покровителями, ни какого бы то ни было рода субсидиями (остается только гадать, каким образом мы бы воспользовались тем московским золотом, которое проницательно обнаруживали в нашей кассе авторы враждебных нам передовиц). Я знаю, что читатели любили нас — при всех наших недостатках, ляпсусах, ошибках и пр. Да, мы тоже делали ошибки, но по своему характеру это было совсем не то, что ошибки современных нам журналов и наших противников. «Нью мэссиз» часто заблуждался — не буду спорить. Мы иногда печатали «сырые» вещи, потому что искали новые таланты, особенно среди рабочих, среди тех, кто не получил образования. Если в произведении была правда, если оно доходило до сердца, я сам стоял за то, чтобы его напечатать. Что ж, я не собираюсь этого скрывать; да, в этом есть моя вина. Мы делали таким авторам поблажки; не так-то легко было просить людей, влачивших полуголодное существование и работавших от зари до зари ради куска хлеба, шлифовать их произведения до тех пор, пока они не будут отвечать нашим эстетическим критериям. Тем более что мы никогда не платили гонорара. Были писатели, с которыми мы спорили из-за качества их произведений. Другие в достаточной мере ощущали свою ответственность за эстетическую сторону предлагаемых ими вещей.

Скажу еще раз: я отнюдь не считал напечатанное нами первое стихотворение неизвестного молодого негритянского автора равным по своему уровню стихам Лэнгстона Хьюза, или Роберта Фроста, или Карла Сэндберга. Заглавие стихотворения было «Чернорабочие», его автора звали Ричард Райт. И я напечатал это стихотворение, чтобы поощрить автора, кем бы он ни был. Думаю, у меня достаточно причин полагать, что в моей редакторской нетребовательности была и своя мудрость.

Для меня непостижимо, чтобы человек, который взялся бы вынести объективное суждение о «Нью мэссиз», мог читать этот журнал бесстрастно. Мне кажется, необходимо принимать в расчет характер той эпохи, специфические обстоятельства, в которых выходил журнал, цели, которые он перед собой ставил.

Но если меня спросят, считаю ли я, что нам удалось выразить суть той эпохи, я отвечу — да, мне кажется, что удалось. Я верю, что она, эта суть, отразилась на наших страницах ярче, чем на полосах любого другого современного нам издания. На этом я стою.

Было еще одно учение, которому я следовал,— толстовское. Учитель говорил: вера в победу добра дает человечеству силы жить; когда человек и знает и верит, в нем появляется чувство, что он живет ради созидания, ради цели, и страхи, одолевавшие его, бегут прочь. Я жил этим, когда редактировал «Нью мэссиз», видя в этом цель. Это относится и ко всем сотрудникам журнала, которые сохранили ему верность.

Перевод с английского А. ЗВЕРЕВА

* У. Д. Хоуэллс возглавлял «Атлантик мансли» с конца 90-х годов до своей смерти в 1920 году.

г. Нью Йорк

ПУБЛИЦИСТИКА

ГИЛЬЕРМО ГАРСИА ПОНСЕ

ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ САН-КАРЛОС

Перевод с испанского В. КРЫЛОВОЙ

В начале нынешнего года Венесуэльская ассоциация журналистов опубликовала в своем ежемесячном органе «Периодиста» список членов, билеты которым не были выданы из-за того, что они не представили свои фотоснимки. В списке, в частности, указаны имена Гильермо Гарсиа Понсе и Помпейо Маркеса. Можно понять, насколько уважительны были причины непредставления фотографий этими двумя общественно-политическими деятелями и публицистами: оба они находились в ту пору в глубоком подполье, их повсюду разыскивали ищейки тайной полиции... Кстати, на обложке этого же номера «Периодиста» был помещен «Меморандум» руководства Ассоциации, направленный избранному на последних выборах президенту республики, и в этом документе наряду с требованием освободить политических заключенных выдвигалось требование прекратить судебное преследование Гильермо Гарсиа Понсе и Помпейо Маркеса.

Венесуэльская полиция буквально сбилась с ног, пытаясь разыскать коммунистов Гильермо Гарсиа Понсе, Помпейо Маркеса, а также Теодоро Петкова, совершивших сенсационный побег из старинной крепости — военной тюрьмы Сан-Карлос, уже давно снискавшей себе мрачную славу в истории государства. Однако попытки полицейских ищеек найти всех отважных смельчаков неизменно оканчивались неудачей (лишь Теодоро Петков был снова арестован в марте нынешнего года): народ Венесуэлы бережно охранял своих героев, работавших в подполье. Несколько месяцев назад венесуэльские власти под нажимом народных масс были вынуждены прекратить судебный процесс против руководящих деятелей Коммунистической партии Венесуэлы Помпейо Маркеса и Гильермо Гарсиа Понсе, освободить из тюрьмы Теодоро Петкова, объявить амнистию многим другим патриотам. Коммунистическая партия была легализована, ее представители впервые после многих лет избраны в палату депутатов и сенат Венесуэлы.

Этой победе венесуэльских коммунистов предшествовали долгие годы необычайно тяжелой, чрезвычайно сложной борьбы против реакционных режимов, находившихся у власти в стране и поддерживавшихся империализмом Соединенных Штатов. О многом говорит тот факт, что созданная в 1931 году Коммунистическая партия Венесуэлы лишь каких-нибудь шесть лет существовала легально,— все остальное время ей, последовательно отстаивающей интересы народа, приходилось действовать в полулегальных условиях или в глубоком подполье. Борьба против антинародных диктатур, сменявших одна другую, выливалась и в открытые вооруженные выступления. В марте 1961 года III национальный съезд коммунистической партии принял курс на вооруженную борьбу против режима террора и репрессий, залившего кровью страну. В ноябре того же года началось партизанское движение. В партизанских отрядах, действовавших в горах и населенных пунктах, в том числе в столице,— почти на половине территории страны,— ядро составляли главным образом студенты, мелкобуржуазные элементы, а также эмигранты из других латиноамериканских стран. Вспыхивали восстания и в воинских частях. 4 мая 1962 года восстали военные моряки базы Карупано, спустя месяц — моряки Пуэрто Кабельо. Однако эти выступления были жестоко подавлены, поскольку партия еще не овладела искусством вооруженного восстания. «Поддержка партизан местным населением,— как позднее (в апреле 1967 года) отмечалось в решении VIII пленума ЦК компартии Венесуэлы,— носила ограниченный характер».

Еще в своем труде «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Владимир Ильич Ленин писал: «...революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса. Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих (или во всяком случае большинство сознательных, мыслящих, политически активных рабочих) вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть ради него; во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы... обессиливает правительство и делает возможным для революционеров быстрое свержение его».*

Без массовой поддержки, несмотря на исключительный героизм борцов-коммунистов и многие жертвы, партизанская борьба не привела к победе. Революционные силы оказались в известной изоляции.

По решению VIII пленума ЦК КПВ, проанализировавшего итоги пятилетней вооруженной борьбы, была пересмотрена тактическая линия партии, взят курс на активизацию деятельности в массах, на развитие широкого движения за удовлетворение главных экономических требований, против террора и репрессий, за освобождение политзаключенных, за легализацию КПВ и партии Левое революционное движение **, за демократические свободы, хотя было подчеркнуто, что положение III съезда партии «о немирном характере венесуэльского пути к национальному освобождению и социализму» в целом в перспективе сохраняет свою силу. Пленум отметил, что «вооруженное движение в настоящее время не в состоянии сыграть решающую роль вследствие застоя, характерного для нынешнего положения на партизанских фронтах и для развития вооруженной борьбы в целом».

Вниманию наших читателей мы предлагаем документ борьбы венесуэльских коммунистов — дневник члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Венесуэлы Гильермо Гарсиа Понсе. Этот дневник, печатаемый с небольшими сокращениями,— не просто повествование о смелом побеге из военной тюрьмы автора дневника и его товарищей, других руководителей венесуэльской компартии. Эта книга, как отмечала венесуэльская печать, «имеет великую документальную ценность, являясь исключительно важным свидетельством эпохи». В целях сохранения конспирации имена участников этой невероятной эпопеи в течение некоторого времени не сообщались. Ныне венесуэльцам и читателям этого документа в других странах стали известны имена героев. Этот дневник — песнь о подвиге коммунистов Венесуэлы, замечательных патриотов, неразрывно связанных с народом, непоколебимо борющихся за дело народа.

Д. ЮРЬЕВ

Хосе Фелипе, Нельсону Лопесу, Неэмету Чахину Симону и Карлосу Саморе — руководителям и строителям тоннеля Сан-Карлос.

30 сентября 1963 г.

Министр обороны дал указание военному судье первой постоянной инстанции Каракаса начать судебное дело против группы сенаторов и депутатов конгресса — членов Коммунистической партии Венесуэлы и партии Левое революционное движение.

1 октября 1963 г.

Председатель палаты депутатов доктор Игнасио Луис Аркайа рассказал журналистам, как в его присутствии и невзирая на его протест был арестован вице-председатель палаты доктор Хесус Мариа Касаль. Аркайа заявил, что действия правительства представляют собой открытое и вопиющее нарушение конституции. Статья 143, сказал Аркайа, гласит: «Сенаторы и депутаты конгресса пользуются неприкосновенностью с момента их избрания вплоть до истечения законного срока их полномочий и еще двадцать дней сверх этого, вследствие чего не могут быть арестованы, задержаны, ущемлены в правах, равно как преданы суду, подвергнуты обыску они сами и их жилище и вообще ограничены в исполнении своих гражданских функций. Представители власти, нарушившие эту неприкосновенность, несут судебную ответственность и наказание в соответствии с законом».

---

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 70.

** Партия, выступающая за проведение независимой внутренней и внешней политики и против империализма США, создана в 1960 г. значительной группировкой интеллигенции и студенчества, отколовшейся от тогда правившей буржуазной партии «Демократическое действие».

10 октября 1963 г.

Я был задержан в доме 17, улица Н., район Пинар, Эль Параисо, в 5.30 вечера. В 6.45 меня уже доставили из Дихеполя — Главного полицейского управления — в казематы Сан-Карлоса.

11 октября 1963 г.

Эта старинная крепость, превращенная теперь в тюрьму, мне знакома издавна. В каких-нибудь ста метрах стоит дом, где я родился. Мальчишкой я любил сидеть верхом на древней пушке, обращенной жерлом на Пантеон, а на казарменном плацу, где муштровали новобранцев, учился играть в бейсбол. Обожал воскресные церемонии подъема флага — под звуки военного оркестра, исполнявшего пасодобли, вальсы и креольские напевы. Даже сквозь стены дома эта старая крепость подавала мне голос: пронзительный пересвист часовых на вышках.

Чем только не была крепость Сан-Карлос, построенная испанцами в конце XVIII века. И казармой, и лазаретом, и арсеналом, и даже монастырем. Правительство Ромуло Бетанкура сделало ее тюрьмой для своих политических врагов.

Древнему строению здорово досталось от времени. Что ж, тем больше оно подходит для тюрьмы, если учесть то, как толкуют это понятие у нас в Венесуэле. Вопиющая антисанитария, плохая вентиляция, мрачный нежилой вид, множество крыс и насекомых. К тому же казарма Сан-Карлос вполне оправдывает нынешнее свое назначение: нет места надежнее для изоляции неугодных.

— Отсюда не удерешь! — говорит начальник следственного отдела, подписывая очередной приказ о заточении.

17 октября 1963 г.

Крепость разделена внутри на сектора — это облегчает контроль над заключенными. Каждый сектор отбит от соседнего специальными перегородками и цепью часовых с автоматами. Узников стерегут три сотни солдат и офицеров: военная полиция, жандармерия, морская пехота и другие рода войск. Все эти люди окончили шестимесячные курсы, где обучают специальным методам службы в военных тюрьмах, приемам разведки и контрразведки, личной обороны и борьбы с коммунизмом.

Внешняя стена тюрьмы достигает местами толщины 1,6 м. Многочисленные сторожевые вышки вздымаются над камерами в стратегически важных местах. В коридорах не пройдешь и десяти метров, чтобы не встретить вооруженного до зубов часового. У фасада и позади здания стоят наготове бронемашины, а мостовая пересечена поперечными цементными валами, дабы посторонняя машина не проскочила мимо на большой скорости. Сколько водителей поплатились здесь жизнью, изрешеченные пулями, за то, что вовремя не заметили этого предупредительного знака!

Служба слежки в округе поставлена столь же основательно, как и в самой тюрьме. Ее осуществляет целая армия осведомителей, навербованная из мелких собственников, домовладельцев, продавцов газет и просто местных жителей. Зеленщик из лавочки на углу, аптекарь, бармен, который ежедневно угощает вас пивом, могут быть из G-2. Регулярно они сообщают туда о любом подозрительном движении вблизи тюрьмы, следят за родственниками заключенных, подслушивают разговоры, ловят слухи, собирают отрывочные сведения. Большинство из них имеют дело даже не с СИФА *, а непосредственно с военным командованием.

СИФА раскинула свои сети и в самой тюрьме Сан-Карлос, и в них нередко попадают сами охранники.

Постоянно ведется строжайший учет поступков и действий жителей в соседних с тюрьмой кварталах. Переезды, вечеринки, дружеские встречи, визиты, занятия — все под контролем. Прилегающие к тюрьме улицы закрыты для транспорта. Все, живущие в домах между углами Хабонериа и Амакуро, входят в свои подъезды и выходят из них по специальному пропуску. С крыш за ними следят в бинокли часовые с автоматами.

18 октября 1963 г.

Нас поставили в известность, что на свидания допускаются лишь ближайшие родственники: родители, супруга, дети. Все передачи тщательно просматриваются. В комнате свиданий за каждым твоим шагом следит специальный наблюдатель. При малейшем подозрении свидание прерывается и следует обыск. Впрочем, и без того нас обыскивают с ног до головы после каждой встречи с близкими.

19 октября 1963 г.

Сегодня мы опротестовали заявление военного суда в связи с началом процесса по нашему делу, где нас обвиняют «в подстрекательстве к военному мятежу». Мы настаиваем на передаче нашего дела единственно компетентному в этом случае органу — Национальному конгрессу. Мы также отказались признать назначенных властями адвокатов. Учитывая ход процесса, мы не допустим, чтобы кто-то взял на себя нашу защиту.

21 октября 1963 г.

Утром к нам в камеры вломился целый взвод солдат под командованием двух сержантов. Ищут «оружие» и «средства для побега».

---

* СИФА — (Servicio de información de Fuerzas armadas) — «Информационная служба вооруженных сил», военная разведка.

23 октября 1963 г.

Наши камеры находятся в секторе, прозванном «Дымовой пещерой». Это карцеры, где обычно отбывают наказание штрафники из военного персонала. Узкие, мрачные каменные ящики, куда не проникают луч солнца и дуновение воздуха; здесь не на чем остановить взгляд, кроме грязных стен.

Камер три. В самой большой — Густаво и Эдуардо Мачадо, Хесус Вильависенсио * и я. В средней — Хесус Мариа Касаль и Хосе Саласар Хименес. Наконец, последняя — там сидит Хесус Фариа **.

Ближайший к нам сектор — тоже из трех камер — носит название «Птичья клетка». Он расположен над солдатскими уборными. Подальше — обширный сектор F-1 и F-2. Между ними — маленький патио — внутренний дворик, где заключенные могут, по разрешению, побыть на солнце.

В правом крыле на втором этаже находятся секторы A и B. Здесь содержатся офицеры вооруженных сил, находящиеся под следствием.

Когда заключенных набирается слишком много, их рассовывают в подсобные помещения и даже в медпункт.

30 октября 1963 г.

Прежде чем попасть в Сан-Карлос, большинство задержанных проходят через застенки СИФА в так называемом Белом дворце, что напротив президентской резиденции Мирафлорес. Если от подследственного хотят особых показаний, его препровождают в «Сосуд» — герметически закрывающееся помещение, откуда не слышны крики жертв.

СИФА располагает аппаратом тренированных истязателей — бывших боксеров, знающих наиболее чувствительные места на теле человека. Подследственного раздевают донага, стягивают за спиной руки наручниками и усаживают на стул. Избиение длится иногда по нескольку суток, пока жертва не «запоет» или палачи не сочтут себя побежденными. У них всегда под рукой средства для приведения человека в чувство.

Бывает, и нередко, что подследственного передают «комиссии». Тогда его, избитого и окровавленного, бросают в машину и везут в глухое место. Если есть приказ ликвидировать человека, то по дороге машина останавливается и разыгрывается фарс. «Трибунал» из трех сопровождающих «рассматривает дело» и в пять минут выносит приговор. Как правило, это расстрел, и осужденный, прошитый автоматной очередью, падает на обочине дороги. Или его доставляют в расположение ближайшего карательного отряда, и спустя некоторое время он оказывается убитым «в перестрелке между военным патрулем и группой партизанских головорезов», как будет сказано в официальной сводке министерства обороны.

Показания, полученные под пыткой, имеют силу достоверных улик.

31 октября 1963 г.

Сенаторы и депутаты от оппозиции сделали сегодня публичное заявление, где протестуют против нашего ареста, отказываются присутствовать на заседаниях и призывают законодательные ассамблеи, муниципалитеты, профессиональные коллегии, рабочие и крестьянские организации заклеймить действия исполнительных властей. Документ подписали 11 сенаторов и 56 депутатов.

2 ноября 1963 г.

Мы объявили голодовку в знак протеста против нашего заточения в тюрьму. В 2.30 нас перевели из «Дымовой пещеры» в «Погреб» — пустую галерею рядом с F-1, темную, холодную, заброшенную еще с колониальных времен. Здесь мы в полной изоляции.

5 ноября 1963 г.

Продолжаем голодовку. Приходил медперсонал из военного госпиталя.

7 ноября 1963 г.

Нас перевели в лазарет. Приходили с визитом председатель и вице-председатель палаты депутатов.

9 ноября 1963 г.

Прекратили голодовку. Нас вернули в «Дымовую пещеру».

2 декабря 1963 г.

По случаю выборов нас опять изолировали. Вчера был повальный обыск.

7 декабря 1963 г.

Получил «почту» от Альберто Ловеры. Крошечная бумажка, вложенная в сигарету. Альберто спрашивает, что я думаю о возможности побега. Я ответил: — Единственная возможность убежать отсюда — подкоп.

1 февраля 1964 г.

Мы тщательно взвесили шансы. Все ранее предпринятые попытки убежать из Сан-Карлоса через тоннель проваливались. Успех нашего предприятия будет зависеть от того, насколько мы учтем чужие ошибки.

Подкоп — не новость для охраны

* Видные деятели Коммунистической партии Венесуэлы.

** Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Венесуэлы.

тюрьмы. На нижнем этаже в F-2 до сих пор видны следы последнего из них: новая плита из гранитной крошки в полу одной из камер.

Почти непреодолимое препятствие — это обыски. Чем замаскировать люк? Звуки еще можно заглушить, землю, измельчив, спускать понемногу в унитазы. Но люк? Во время обысков солдаты перерывают и перетряхивают все, что есть в камере, метр за метром простукивают пол.

Другая проблема — охранники. Они следят с вышек за каждым нашим движением и обо всем докладывают по телефону начальству.

10 февраля 1964 г.

Решение принято. План побега основан на строительстве тоннеля, но не из тюрьмы на улицу, а наоборот, из ближайшего к тюрьме дома до камеры, где в F-2 сидит Помпейо Маркес.

Для осуществления плана понадобится на воле группа товарищей — людей бесстрашных, спокойных и осторожных.

5 марта 1964 г.

Альберто Ловера, возглавивший по решению секретариата ЦК операцию освобождения нас из тюрьмы, переслал записку. Самое важное в осуществлении плана — это человек, который возьмет на себя трудную и опасную задачу маскировать строительство тоннеля. Ему предстоит обвести вокруг пальца тюремное начальство Сан-Карлоса, ищеек СИФА и Дихеполя; перехитрить тех, кто будет делать обыски; безупречной «благонадежностью», как завесой, прикрыть место, откуда начнется подкоп.

Эту миссию партия доверила человеку по имени Неэмет Чахин Симон.

Неэмет родился 23 марта 1936 года в бедной деревушке на берегу Средиземного моря, в краю оливковых рощ и плантаций земляного ореха. Неэмет — старший из пяти сыновей. Еда в семье — неизменная чечевичная похлебка и лепешка. С детства он познал изнурительный труд и беспросветную нужду.

Два события детских лет навсегда отпечатались в памяти Неэмета. Первое — падение Берлина 2 мая 1945 года. Ликующие сирийцы высыпали на улицу, приветствуя победу Советской Армии. Конец нацизма означал и для сирийцев начало свободы и независимости. Неэмету было всего девять лет, но он вместе со всеми восторженно размахивал красным флагом.

Второе событие — манифестации и народные празднества в апреле 1947 года по случаю ухода с сирийской земли последнего французского солдата.

Кончив начальную школу у себя в деревне, Неэмет поступил в лицей. Деревенский мальчишка очень быстро приспособился к городской обстановке. Отлично учился, дружил со сверстниками, среди которых было много детей из семейств, связанных с движением Сопротивления. В классах нередко появлялись листовки сирийской компартии.

На каникулы Неэмет приехал в деревню. Здесь крестьяне живо интересовались политикой, и вокруг молодого лицеиста собиралась толпа жадных слушателей. Неэмет отвечал на вопросы односельчан, читал им революционные газеты, которые присылали ему его новые друзья из лицея. Он заметил вскоре, как под влиянием этих чтений растет сознательность крестьян.

Рабочие плантаций и складов ореха объявили забастовку и благодаря своей стойкости выиграли ее: хозяин, испугавшись, что может потерять весь урожай, пошел на уступки бастующим.

В воскресенье рабочие попросили Неэмета выступить с речью на митинге. Ему было четырнадцать лет. Он не сказал ничего особенного, да этого и не требовалось. Сама борьба учила этих людей. Как и его товарищи, Неэмет впервые воочию убедился, что самое сильное оружие угнетенных — боевое единство и организованность.

После столь бурных каникул Неэмет вернулся в лицей. В конце 1950 г. он вступает в Союз молодых коммунистов. На собрании его спросили, подтверждает ли он свое решение стать комсомольцем. Он ответил торжественно: «Я привык держать раз данное слово».

Марксистская литература находилась под строжайшим запретом. Иметь у себя советскую книгу означало вызов властям. Сирийские комсомольцы создали подпольные кружки, где читали и обсуждали «Мать», «Как закалялась сталь», «Молодую гвардию». Один из таких кружков возглавлял Неэмет.

В начале 1951 года в стране произошел военный переворот, власть взяла реакционная, профашистская клика военных. По призыву компартии и других революционных организаций начались грандиозные манифестации против диктатуры. В одной из уличных стычек полиции со студентами Неэмет был ранен, арестован и брошен в тюрьму. На этот раз заключение было недолгим. Боясь народного возмущения, хунта освободила арестованных.

Компартия и Союз молодых коммунистов перегруппировали силы, готовясь к борьбе в новых условиях. Неэмет доставлял на фабрики подпольную партийную газету. По ночам писал на стенах лозунги: «Долой фашизм!», «Да здравствует компартия!» Разбрасывал листовки в кварталах бедноты, навещал семьи политзаключенных. При всем этом надо было выкраивать время для учебы.

Трудна жизнь коммуниста в нелегальных условиях. За тобой постоянно охотится полиция, тебя подстерегают фашистские головорезы. В любую минуту тебя могут вздернуть на фонаре в глухом пе-

реулке — излюбленный способ расправы тайной полиции с коммунистами. Такая жизнь требует мужества и безграничной преданности делу.

Неэмет был страстным борцом. В начале 1952 года он сам попросился на опаснейший участок работы — в отдел пропаганды. Раз в неделю выезжал он с грузом подпольных газет в различные области страны, иногда в очень отдаленные, куда ведут лишь пастушьи тропы. Неэмет ехал верхом, под видом контрабандиста, перевозящего табак. Необычайное самообладание, выдержка и упорство, приобретенные в тайной войне с полицией, не раз помогали ему в самых трудных ситуациях. Но вот в один прекрасный день...

Он едва спешился у хижины пасечника, передававшего груз по эстафете, как на него набросились пятеро полицейских. В Дамаске, во II отделе, знаменитом антикоммунистическими расследованиями, допрос вел офицер с испитым лицом и мутным тяжелым взглядом. Пнув подследственного, он сказал: «Слушай, парень! Здесь ты все равно скажешь все, что тебе известно. Кто дал тебе эти газеты, кто твои начальники, где находится ваша типография?».

Неэмет смолчал, только втянул голову в плечи да напряг мускулы, отчего натянулись опутывавшие его веревки. Ему было шестнадцать лет. Сильный — широкая спина, тяжелые кулаки, мускулистые торс и руки. Он знал, что его будут бить, но он не скажет ни слова...

Он очнулся в камере. Сколько же дней его пытали? Он лежал голый на полу. Все тело кровоточило. Лоб рассечен, левое ухо разорвано. Он пробыл в камере 121 день и узнал новую жизнь — жизнь коммуниста в застенке.

В 1953 г. новое правительство объявило амнистию политзаключенным, и Неэмет вышел на свободу. Короткая поездка к родителям, и снова работа в Союзе молодых коммунистов. Его избирают секретарем по агитации и пропаганде районного комитета. Неэмет изо всех сил старался продолжить учебу в лицее, зарабатывая на пропитание случайным трудом. Во время летних каникул он—в деревне, чтобы помочь родителям. Расходы на себя он сокращает до минимума: ест один раз в день. В 1956 г. он заканчивает лицей, получает диплом бакалавра. Всю жизнь он мечтал стать врачом и теперь поступает в университет в Дамаске.

В стране свирепствует безработица, дела семьи приходят в упадок. Мать тяжело больна. Родным, которые отказывали себе в хлебе насущном, чтобы только старший сын мог учиться, грозит нищета.

Неэмет так и не смог начать курс в университете: не было приличного костюма, не на что было купить учебники. Тщетно искал он хоть какой-нибудь заработок. Отчаявшись помочь семье и прокормить себя, Неэмет принимает решение, которое принимали в то время тысячи молодых сирийцев: искать работу за границей. Много разговоров ходило о Венесуэле — там нужны рабочие руки. Руководство компартии разрешило Неэмету эмигрировать. Это не было дезертирством, просто не существовало иного выхода. Товарищи рекомендовали Неэмету не порывать связи с родиной, быть всегда честным и мужественным, как и подобает коммунисту, не забывать революционных традиций арабского народа.

В августе 1956 г. Неэмет уговорил деревенского лавочника дать ему под залог отцовского дома денег на билет через океан. 5 октября Неэмет прибыл в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Ему было двадцать лет.

У Неэмета Чахина Симона сжалось горло, когда он увидел себя одиноким, нищим и чужим на незнакомом берегу.

10 марта 1964 г.

Ловера сообщает нам о разговоре с Симоном. Сириец уже более семи лет в Венесуэле. Как и большинство иммигрантов, хлебнул горя. Торговал вразнос, ютился в бедняцком квартале у площади Капуцинов. В первые же месяцы пребывания на чужбине создал в колонии сирийцев организацию по поддержанию национального революционного духа. В 1958 г. вступил в компартию Венесуэлы. Вскоре вошел в местный партийный комитет в Пуэрто Ла-Крус. В поездках по городам распространял газету «Трибуна популар», вел беседы о социализме. В 1959 г. вернулся в Каракас, снова занялся торговлей вразнос. Регулярно посылает деньги родителям в Сирию.

Три дня назад Альберто Ловера вызвал Симона на конфиденциальную беседу и сказал, что компартия хочет дать ему важное поручение. Симон сообщил руководству своей партийной организации, где он нес обязанности казначея, что на время отходит от политической борьбы, так как намерен заняться «личными делами». Товарищи решили, что Симон испугался волны репрессий, и не стали его удерживать.

20 марта 1964 г.

«Почта» доносит: наши подыскивают дом вблизи казармы Сан-Карлос. Это первый этап плана.

25 марта 1964 г.

Густаво Мачадо начал писать свои «Мемуары», хотя и шутит, что еще слишком молод для этого жанра. Я при нем секретарем.

Какое же удовольствие и какая поль-

за — слушать историю этой удивительной жизни! Пятьдесят лет, отданные революционной борьбе. Вдохновенный протест против диктатуры Гомеса. В 16 лет первые в жизни кандалы в мрачной тюрьме Ротунда. Студентом — участие в заговоре 1919 года. Борьба бок о бок с рабочими сигарных фабрик в Гаване и незабываемая дружба с Хулио Антонио Мелья *. Посильный вклад в создание Коммунистической партии Кубы в середине 20-х годов и столкновение с диктатурой Херардо Мачадо. Захват острова Кюрасао и бои с солдатами генерала Лакле. Героические походы с Аугусто Сесарем Сандино **. Долгие годы упорной борьбы против разграбления родины империалистами и самоотверженного труда, целью которого было создать компартию в Венесуэле, сохранить ее марксистскую чистоту и уберечь от влияния мелкобуржуазной демократии.

16 мая 1964 г.

Дошли слухи о бесчинствах полиции в университетском городке. Заняты все учебные и прочие помещения. Общежития студентов разграблены. В помещении студенческой федерации учинен погром. Здание ректората изрешечено пулями.

Ждем пополнения.

7 июня 1964 г.

Симон арендовал помещение в доме между углами Хабонерия и Амакуро. Как раз там, где нам желательно. Симон откроет там бакалейную лавку.

15 июня 1964 г.

Вчера лавка «Сан-Симон» гостеприимно распахнула свои двери. Симон, как коммерсант и как добрый сосед, предложил свои услуги офицерам и солдатам казармы Сан-Карлос.

После тщательного допроса хозяина и осмотра лавки Симону выдали пропуск для хождения в «военной зоне» и разрешили парковать машину у задней стены казармы.

Первый шаг сделан.

17 июня 1964 г.

Вчера в одну из камер «Дымовой пещеры» доставили Теодоро Петкова. Не прошло и года с тех пор, как он бежал из военного госпиталя, куда был переведен из тюрьмы Сан-Карлос при забавных, чтобы не сказать анекдотических, обстоятельствах.

Из госпиталя бежать легче, поэтому Теодоро сделал все возможное и невозможное, чтобы попасть туда.

27 августа 1963 г. он ухитрился достать пол-литра крови. Выпив ее и приняв таблетки, понижающие кровяное давление, Теодоро в три часа дня начал представление. Он катался по тюремной койке и кричал, изображая «прободение язвы желудка». Заключенные всполошились, требуя немедленно врача «для тяжелобольного».

К досаде Теодоро, ему никак не удавалось вызвать у себя рвоту с кровью — непременный признак прободения язвы. Наконец, постаравшись, он извергнул небольшую порцию, которой, однако, хватило, чтобы запачкать простыни, а главное, в тот момент, когда в камеру входили охранники. Теодоро, всклокоченный, с вылезшими из орбит глазами, еще отчаяннее заметался на койке под крики товарищей, требовавших срочной помощи теперь уже «умирающему».

На носилках его доставили в медпункт. Дежурный врач дал ему сильную дозу успокаивающего, сказав, что пока этого достаточно.

Над планом побега нависла угроза. Но едва солдаты взялись за носилки, чтобы вернуть «больного» в камеру, как он отчаянным усилием изрыгнул столь обильную струю крови, что окатил врача с ног до головы. Тут уж врач сам потребовал от тюремного начальства госпитализации заключенного.

Вид окровавленного Теодоро, лежащего на носилках, бездыханного, с бессильно повисшими руками, был до такой степени впечатляющим, что, когда охранники хотели надеть на него наручники, офицер сказал:

— Зачем? Разве не видите — он уже не жилец на белом свете.

В госпитале, в пункте скорой помощи, Теодоро подстерегала новая опасность. Лабораторные анализы показали полное отсутствие внутреннего кровотечения. К счастью, врачей так сильно потрясли явные внешние признаки болезни, обильная кровавая рвота, что они просто не придали значения результатам анализов.

Тюремное начальство настаивало на возвращении «опасного преступника» в Сан-Карлос, врачи — на госпитализации. Ночью о происходящем доложили военным властям. Для Теодоро ожидание казалось бесконечным. И вот: оставить в госпитале на два дня — среду и четверг.

Теодоро поместили в палату на седьмом этаже. С утра в среду госпиталь наводнили солдаты. Вдвое была усилена внутренняя и внешняя охрана. У лифтов и во всех углах стояли военные полицейские, увешанные оружием. Пальцем не двинешь, чтобы не заметили десятки глаз. Для побега оставались лишь ночь и день четверга.

В шесть часов вечера в четверг Теодоро вместе с товарищем по палате, капитаном, заранее подготовившим все необходимое для побега, подпилили решетку окна. На это ушло полтора часа, гораздо

---

* Основатель Коммунистической партии Кубы, убит агентами диктатуры Мачадо в 1929 году.

** Руководитель вооруженной борьбы патриотов Никарагуа против оккупационных сил США.

больше, чем предполагалось. Нижние концы прутьев уже некогда было подпиливать, прутья просто загнули книзу. Теодоро и капитан выбились из сил. Предстояло еще вынуть металлическую раму.

Было уже 8.15, когда Теодоро сбрил свою пышную бороду и сменил больничную пижаму на элегантный костюм. В 8.26 по закрепленной за водопроводную трубу толстой нейлоновой веревке Теодоро начал спускаться в больничный сад. Он спускался с тридцатиметровой высоты, как раз напротив здания министерства социального страхования, куда в этот момент входили и выходили многочисленные посетители. Из окна шестого этажа его заметили больные. Он выразительно посмотрел в чьи-то глаза, прося и приказывая молчать, и скользнул дальше. Через несколько секунд его ноги коснулись земли. Теодоро постоял, успокаивая одышку, и, приняв беззаботный, чуть рассеянный вид, направился к выходу, ведущему к министерству страхования.

Вот и первый часовой. Изображая то ли врача, то ли посетителя, Теодоро непринужденно поприветствовал военного полицейского, тот ответил: «Добрый вечер!» — и распахнул дверь. Теодоро очутился в патио, битком набитом военными. Его видели, но никому и в голову не пришло, что этот изысканно одетый сеньор, спокойно идущий мимо них,— беглец, только что спустившийся с седьмого этажа по веревке.

Решив сократить путь, Теодоро свернул в сторону и вскоре обнаружил, что заблудился в проходах и коридорах. Подавив охвативший его страх, он решил идти ва-банк и зашагал прямо к полицейскому посту. В ответ на его просьбу солдат вежливо проводил его к автостоянке. Здесь Теодоро сел в ожидавшую его машину. Оставалось проскочить главные ворота. Машина мягко подкатила к проходной, где стояли четверо солдат с автоматами. Внутренность машины осмотрели очень внимательно, зато по удостоверению лишь скользнули взглядом. Двое солдат опустили цепь, и машина не спеша двинулась по улице к центру Каракаса... И вот Теодоро снова в тюрьме Сан-Карлос. Его выдал агент СИФА, просочившийся в партизанское движение. Скоро Теодоро узнает о том, что замышляем здесь мы с Помпейо Маркесом.

24 июля 1964 г.

Нас постигла тяжелая утрата. В секторе А умер капитан первого ранга Мануэль Понте Родригес *, осужденный на тридцать лет тюремного заключения. Он страдал тяжелой болезнью сердца. В первые дни июля он почувствовал себя хуже, чем обычно. Болезнь прогрессировала.

Сегодня в 2 часа дня, не в силах больше терпеть боль, он пожаловался соседу по камере. Тот немедленно сообщил о беде обитателям других камер. Заключенные стали громко требовать врача. Дежурный офицер и мысли не допускал о переводе в госпиталь. Коменданта тюрьмы не оказалось на месте. В 2.15 боли в груди усилились. Врача нет. «Смочите мне грудь одеколоном»,— попросил Мануэль. Заключенные, прильнув к решеткам своих камер, с бессильным гневом и скорбью наблюдали, как погибает их товарищ.

Боль с каждой минутой становилась нестерпимее. Успокаивающие таблетки и ампула сибальхина — единственное, что нашлось в медпункте,— не сняли боли. «Мне очень холодно!» — жаловался Мануэль. Товарищи по камере делали все, что могли. Растерли одеколоном лоб, грудь и ноги больного, укутали его в одеяла, приложили к ступням нагретую тарелку.

«Теперь мне лучше,— капитан слабо пожал руки друзьям.— Борьба продолжается...» В 3.15 капитан приподнялся на подушках, словно искал кого-то глазами, словно хотел сказать что-то очень важное: «Сейчас... минутку, одну минутку...» И тут же, схватившись за грудь: «О, боже мой, как больно!..»

В 3.20 капитана первого ранга Мануэля Понте Родригеса не стало. Час с четвертью продолжался сердечный приступ. Ни врача, ни кислородной подушки, никакой эффективной помощи.

Это тоже убийство.

27 июля 1964 г.

Помпейо получил в передаче компас. Его очень ловко замаскировали, вложив в жареную курицу.

Этот прибор должен служить нам для ориентации по отношению к тоннелю. Я, по правде говоря, не очень-то разбираюсь в столь сложной технике. Но Помпейо ликует. Он не расстается с компасом. Носит его в кружке или прячет под арестантскую шапочку. И все что-то прикидывает глазом, высчитывает. Ориентиром ему служит центральная вышка, самая высокая, нависшая над комнатой для свиданий.

3 августа 1964 г.

С воли сообщают: Симон просит дать ему время войти в доверие к соседям. Хотя бы несколько недель, чтобы застраховать себя от подозрений шпиков и осведомителей, гнездящихся в округе, и расположить к себе тюремное начальство.

---

* Активный участник революционного выступления в воинских частях.

7 августа 1964 г.

Лавка «Сан-Симон» открывается в 6.30 утра и торгует до 8 вечера. Хозяин охотно оказывает клиентам мелкие услуги: где снизит цену, где отпустит в кредит. Покупатели благодарны. Внешностью Симон похож на португальца, а всем известно, как безобиден «португес»-иммигрант.

Солдаты то и дело забегают в лавку купить сигарет или выпить кока-колы. С этим народом Симон особенно приветлив. Ссужает деньгами до жалованья, в холодные ночи угощает часовых стопочкой рома, а если идешь в увольниловку, то в лавке можно переодеться, сменить униформу на штатское.

12 августа 1964 г.

«Почта» сообщает: к землеройным работам намечено приступить в конце октября. Считают, что к этому времени Симон полностью «акклиматизируется».

17 августа 1964 г.

После девяти месяцев борьбы против невыносимых условий существования объявили голодовку заключенные на острове Такаригуа. Мы не можем не поддержать их, хотя ставим под угрозу собственные планы.

16 октября 1964 г.

Строительство тоннеля не придется начать в этом месяце, и вот почему: 10 октября партизанами был похищен подполковник Смолен из военной миссии США. Целью этой акции было заявить протест против открытого вмешательства миссии во внутренние дела Венесуэлы, и особенно в сферу политических репрессий. Главе миссии, полковнику Ли, удалось скрыться. В нижнем белье он перемахнул через стену и спрятался в соседнем доме. Отводя удар от Смолена, посол США в Сайгоне генерал Тейлор приказал отсрочить казнь Нгуен Ван Чоя. Тем временем венесуэльская полиция лихорадочно искала «преступников», хватая всех, кто возбуждал хоть малейшее подозрение. Сотни людей арестованы, только в Каракасе произведено более 500 погромных обысков. Через три дня Смолена пришлось выпустить на свободу. Однако волна полицейских репрессий не утихла. Компартия и Союз молодых коммунистов понесли огромный урон, и теперь потребуется время и время, чтобы залечить раны и восстановить связи.

21 октября 1964 г.

Закончил книгу «Оружие в войне за независимость». Думаю, пока есть время, продолжить тему в следующей части — «Оружие в федеральной войне».

17 ноября 1964 г.

Начали поступать в F-1 арестованные по делу Смолена. Их со следами жестоких пыток доставляют к нам из подземелий Дихеполя.

16 декабря 1964 г.

Всех нас потрясло известие о трагической и нелепой гибели Архимиро Габальдона *. На привале в партизанском отряде случайно выстрелило ружье, и пуля пробила грудь стоявшему рядом Архимиро.

Его отец генерал Хосе Рафаэль Габальдон произнес на могиле речь, исполненную мужества и благородства:

— Архимиро, я не плачу. Я благословляю тебя. Я доволен своим сыном. Оставляю тебя здесь, рядом с твоей матерью, источником добродетели, которая помогла мне взрастить в сердцах моих детей уважение к слову и чувство долга. В последнем письме, где еще свежи чернила, ты писал: «Я горжусь тем, что я твой сын и революционер». Благословляю тебя, мой мальчик!

28 декабря 1964 г.

Нас перевели в «Птичью клетку». Здесь хоть вентиляция приличная. Да и небо видно, и даже часть горной цепи Авила. До чего красивы наши горы!

Сквозь решетку мы наблюдаем, как ведут на свидание с родственниками заключенных из F-1. Напротив нас, в F-2, сидит Помпейо Маркес.

Последние сообщения от Симона: укрепляются его связи с офицерами охраны Сан-Карлоса и соседями по кварталу. Он уже запросто входит внутрь тюрьмы, солдаты видят в нем «своего парня».

Симон считает, что рыть тоннель нужно в углу гаража, который он устроил в недавно прикупленном помещении, смежном с лавкой. Людей, которым предстоит рыть тоннель, он доставит тайно в своем пикапе. Спать и есть они будут здесь же, в гараже. Раз в полмесяца, опять же тайно, он будет вывозить их в город для короткого отдыха.

31 декабря 1964 г.

С Новым годом! Пусть он будет счастливым! В январе начинается строительство тоннеля.

8 января 1965 г.

Приятная новость! Ответственным за тоннель политбюро назначило Хосе Фелипе. Он возглавляет группу, в состав которой входят: Симон — легальное прикрытие; Карлос — руководитель земляных работ; Ибрагим — официальный помощник Симона в лавке.

4 февраля 1965 г.

Карлос начал дробить долотом гранитный пол в гараже. Удары молотка осто-

* Активный участник партизанской борьбы.

рожные, с большими паузами. Применяют также пилу для распиловки камня. В лавке не выключается радиоприемник. Предстоит сделать квадратное отверстие со стороной 0,65 см, с абсолютно ровными краями, чтобы ни щели, ни трещинки не было видно, когда его закроют крышкой — такой же гранитной плитой.

21 февраля 1965 г.

Отверстие готово. Пятнадцать дней ушло на эту работу, но сделана она отлично. Крышка люка обита снизу изоляционным материалом, так что простукивание при обыске ничего не даст. Малейшие щербинки и царапинки зашпаклеваны специальной мастикой. Хосе Фелипе — надо думать, с каким пристрастием осматривал он работу,— остался доволен.

1 марта 1965 г.

Началось рытье тоннеля. И тут обнаружили, что под полом идет еще слой бетона. Значит, опять принимайся за долото. Симон и Ибрагим пускаются на всякие хитрости, лишь бы заглушить стук долота по камню,— ведь солдаты всегда рядом.

2 апреля 1965 г.

Сегодня 50 тысяч студентов университетов страны объявили забастовку против зверств полицейских и в защиту арестованных студентов.

27 апреля 1965 г.

Наши в лавке пробились, наконец, через бетонный слой. Пошел мягкий грунт. Предстоит вырыть яму пятиметровой глубины.

28 апреля 1965 г.

Землю в яме насыпают в брезентовые мешки, обтянутые сверху пластиком, чтобы их не пробила изнутри пыль. Ежедневно, загнав машину в гараж и прикрыв дверь, Симон грузит мешки в кузов, на них бросает пустые ящики, картонки и прочую тару. Тщательно снимает с машины следы пыли, влажной тряпкой протирает пол и стены гаража. После этого выезжает «на рынок за товаром для лавки». Километрах в 20—30 от Каракаса на безлюдной горной дороге он высыпает землю в пропасть.

Только яма дала 80 мешков земли. Тяжелое бремя легло на ваши плечи, дорогие товарищи!

2 мая 1965 г.

Работа идет медленно. Самое трудное — поднимать из тоннеля на пятиметровую высоту мешки с землей. В каждом из них — 50—60 кг.

5 мая 1965 г.

Военное вторжение морской пехоты США в Доминиканскую Республику вызвало бурю протеста по всей Венесуэле. Мы подписали обращение ко всем политическим, профсоюзным и общественным организациям с призывом заклеймить наглую агрессию.

Вот уже в третий раз Доминиканская Республика подвергается оккупации войсками США.

11 мая 1965 г.

Карлос начал сдавать. Смелый и решительный человек, но физические его силы на исходе.

17 мая 1965 г.

По мере того как тоннель уходит вглубь, жара становится непереносимой. «Почта» докладывает, что Карлос жалуется на отсутствие вентиляции. Воздух в тоннеле тяжелый, спертый, пропитан гнилью. От него кружится голова, тошнит, клонит ко сну, болят легкие. Пот заливает глаза, мокрая одежда липнет к телу. После часа работы в этой атмосфере, да еще в неудобной позе, ноет все тело.

24 мая 1965 г.

Нас очень беспокоит здоровье Карлоса, и мы запросили подробности у Хосе Фелипе.

Поработав в тоннеле час, Карлос выходит на 20 минут на поверхность. Но если в лавке есть посторонние, то он, естественно, должен остаться под землей, иногда на 2—3 часа. Симон дает ему сигнал: нажимает под прилавком кнопку, отчего в тоннеле вспыхивает красная лампочка. Не раз после такой отсидки Карлоса вытаскивали без сознания.

27 мая 1965 г.

Здоровье Карлоса ухудшается. Находясь в гараже, он должен все время думать о том, как бы не выдать своего присутствия. Передвигаться бесшумно, не кашлять, не говорить, есть, только лишь когда закроется лавка. В гараже всего одна кровать, так что Симон и Карлос спят на ней по очереди, другой в это время довольствуется тощим матрацем на полу. Такие условия, понятно, не способствуют здоровью.

Тоннель имеет 80 см в ширину и 120 см в высоту. Кверху он сужается, чтобы не случилось обвала. Работать можно, лишь стоя на коленях или сидя на корточках. Землю долбят ломом, он весит 15 кг, или киркой с укороченной ручкой. Если натыкаются на большой камень, его обходят. Камни поменьше приподнимают гидравлическим домкратом и осторожно выковыривают.

ГИЛЬЕРМО ГАРСИА ПОНСЕ
ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ САН-КАРЛОС

3 июня 1965 г.

Карлос не может продолжать работу. Его мучают кашель, боли в спине и в шее. За последние недели он похудел на 14 кг. Хосе Фелипе ищет среди комсомольцев крепкого парня, надежного настолько, чтобы ему можно было доверить все, что касается тоннеля.

27 июня 1965 г.

Мало нам других забот, так вот еще одна. Сегодня утром в лавку явился наряд уголовной полиции. Ибрагим, стоявший за прилавком, сперва не придал значения этому визиту: полицейские чины самых разных ведомств — частые гости Симона. Но эти вели себя необычно. Официальным тоном потребовали Неэмета Чахина Симона. Ибрагим побледнел. Детективы, предъявив ордер на арест, препроводили Симона в свою машину и увезли.

Ибрагим в панике.

28 июня 1965 г.

Хосе Фелипе решил не прикрывать лавку. Пусть будет так, словно ничего не случилось. Но в тоннеле пока не работать. Симона держат в уголовной полиции — никто не знает почему. Возможно, это провал.

3 июля 1965 г.

Надо искать другие пути для бегства. Не вернуться ли к одному из старых вариантов? Подпилить решетку на окне, из окна перемахнуть на крышу, затем с тюремной стены на улицу. Все это пришлось бы делать на виду у стражников. Часовые на трех вышках прямо у нас над головой, часовые и патрули на улице. В 8 вечера улицу перекрывают: один танк встает у стены, как раз в том месте, где ее пришлось бы перелезать, два других — на ближайших углах. Невероятно, чтобы не заметили.

Правда, был такой случай. В 1962 году, дождливой, ненастной ночью, из Сан-Карлоса бежали четверо офицеров-заключенных. Три месяца по ночам пробивали они брешь в потолке, по чердаку проложили коридор вплоть до внешней стены и там по веревке — на улицу. Но им необыкновенно повезло. Тогда не было такой слежки, такой строжайшей охраны тюрьмы. И тогда в камерах были потолки. Первое, что сделало тюремное начальство после этого побега,— разрушило в «Птичьей клетке» потолки. Теперь над нами голая крыша.

Те бежали по чердаку, нам пришлось бы — по открытой для обозрения крыше.

5 июля 1965 г.

От Симона никаких известий. Мы разрабатываем новый план побега. Достали подробное расписание смены караулов и внешней охраны. Совершенно ясно: для побега нам потребовалась бы вооруженная поддержка извне.

12 июля 1965 г.

Есть один обнадеживающий симптом: до сих пор в лавке не было обыска. Наши пригласили адвоката — выяснить в уголовной полиции, за что же арестован Симон. Строительство тоннеля полностью парализовано.

23 июля 1965 г.

Наше стремление бежать из тюрьмы, не считаясь с риском, продиктовано чувством ответственности перед партией в трудный для революционного движения в стране момент.

Сейчас для нас ясно, что начиная с 1963 года происходит неблагоприятный сдвиг в соотношении сил на политической арене. Повстанческое движение пошло на убыль. С одной стороны, из-за неверного понимания целей вооруженной борьбы, что отталкивает от авангарда важных союзников. С другой — по причине чисто военных неудач и ослабления сил Вооруженного фронта национального освобождения.

Когда политика правительства Ромуло Бетанкура приняла агрессивный, полицейский характер, путь вооруженной борьбы был оправдан. Революционный авангард, в котором важную роль играла компартия, был в состоянии, не упуская из виду ясную стратегическую цель, посредством гибкой тактики продвигаться вперед, осуществляя свою программу этап за этапом. Но произошло иначе. С самого начала движение приняло форму и содержание, соответствующие, скорее, конечной цели: национальное освобождение и социализм — по образу и подобию схем, примененных в некоторых других странах.

Военные неудачи происходили от искаженного представления о том, какие силы нужно считать главными в таком движении и какие формы борьбы следует применять. Расчет делался не на всеобщее народное восстание, поддержанное городским населением и военными, и не на внезапный и мощный удар по врагу, а на партизанские отряды, действующие продолжительное время в сельской местности. В стране, где именно город и рабочие поселения — центр революционных масс, средоточие главных социальных и политических противоречий, ставка на партизанскую борьбу с опорой на отсталую деревню неизбежно должна была привести и привела к постепенному истощению сил.

Сразу после выборов 1963 года мы заявили о необходимости срочного отступления в сфере военных действий. Такая тактика позволила бы в короткий срок оправиться от понесенных ударов, перегруппироваться с учетом допущенных

ошибок и затем продолжать наступление в более благоприятных политических и военных условиях. Эта политика получила название «linea de repliegue» — «линия тактического отступления» и позднее была точно отражена в документах VIII пленума ЦК КПВ.

Основная забота была отступить вовремя и в образцовом порядке, сохраняя мужество, решимость и строгую дисциплину. Мы понимали, что неизбежна временная потеря престижа среди ультралевых, и готовы были встретить эти последствия лицом к лицу. Иной возможности спасти революцию в Венесуэле от полного поражения не существовало.

Однако к июню 1965 года далеко не все в партии понимали правильность такого тактического шага. В свое время на гребне революционного подъема в ряды партии пришло много мелкобуржуазных и деклассированных элементов. В политическом и моральном плане это были неплохие люди, но их идеологический уровень был крайне низок. Они-то и служили питательной средой для ошибочных концепций, далеких от истинного марксизма-ленинизма, и вносили раскол в партийные ряды.

Пришло время дать им решительный бой. Вот почему мы считаем себя обязанными вырваться на свободу во что бы то ни стало, и чем скорее, тем лучше.

24 нюля 1965 г.

Помпейо перевели в военный госпиталь. Он страдает от головокружений, у него немеют правая рука и нога. Появились и другие тревожные симптомы нарушения кровообращения. Безусловно, это следствие чрезмерной умственной и нервной нагрузки. За последнее время он написал десять брошюр, полемизируя с леваками. Не все они публикуются, но это не останавливает Помпейо в его напряженном, страстном труде.

19 августа 1965 г.

Наконец-то добрые вести! Выпустили Симона. Хосе Фелипе нашел для Карлоса помощника. Нельсон Рамон Лопес, член ЦК Союза молодых коммунистов, недавно вышел из тюрьмы в Маракайбо. Работы в тоннеле возобновились.

25 августа 1965 г.

С воли пишут: Нельсон с трудом привыкает к работе в тоннеле. Тошнотворный запах гнили парализует дыхание. Но парень уверяет, что выдержит, привыкнет.

26 августа 1965 г.

История с Симоном такова. Месяц назад он сторговал у одного офицера из тюремной охраны автомобиль. Оказалось, машина краденая. Симон доказал свою непричастность к этой грязной махинации, но все же пришлось оставить в уголовной полиции поручительство. Никаких «политических осложнений». В лавке полный порядок. Правда, теперь в квартал то и дело наведываются детективы.

— Чтобы я еще когда-нибудь пошел на сделку с этими мародерами! — негодует Симон. — Да катись они к...!

1 сентября 1965 г.

Наша «почта» действует безотказно, невзирая на обыски, досмотры передач и дьявольскую бдительность охранников. Мы поддерживаем постоянную связь с Политбюро партии и с другими организациями и даже с заключенными Такаригуа, Ла Модело и тюрьмы в Маракайбо.

16 сентября 1965 г.

Сегодня нашему комсомолу исполнилось 18 лет. С 10 утра в F-1 гремят революционные гимны и молодежные песни. Мы чтим память героев-комсомольцев, погибших в борьбе.

17 сентября 1965 г.

Эдуардо Мачадо читает мне главы из книги «Политика и нефть», над которой он сейчас работает. Два часа в день я записываю под диктовку эпизоды из его жизни. В Соединенных Штатах его едва не повесили за революционную деятельность. С генералом Доротео Флоресом он готовил свержение тирана Гомеса *. В отрядах генерала Кальеса он сражался с бандитами «кристерос» в Мексике. 18 октября 1945 года 7 тысяч крестьян Ла-Виктории ждали его приказа, чтобы выступить на защиту президента Исайаса Медины Ангариты **.

Эдуардо Мачадо, без сомнения, самый острый полемист и самый блестящий оратор в партии. Но наиболее привлекательная его черта — презрение к доктринерству, к оторванности от практики. Это — и теоретик, и человек действия.

19 сентября 1965 г.

Кара за празднование Дня комсомола не заставила себя ждать. Многих из F-1 переводят в концлагерь Такаригуа. Сегодня на рассвете мы проснулись от громкого пения. В F-1 опять гремели революционные песни: отъезжающие прощались с товарищами.

15 октября 1965 г.

В лавке чуть не стряслась беда. Карлос и Нельсон вылезли из тоннели передохнуть. Закрыли крышкой люк и при-

* Диктатор Венесуэлы.

** Президент Венесуэлы, свергнутый проимпериалистическими силами.

легли в гараже на пустых ящиках. За прилавком Симон обслуживал покупателей. Вдруг в гараже вспыхнул сигнал тревоги. Карлос и Нельсон нырнули за ящики, так как спуститься в тоннель уже не было времени. Тут же из лавки в гараж вошел солдат, направляясь в уборную — караульные частенько пользуются уборной лавки.

Через минуту солдат вышел из гаража, оставив открытой дверь, ведущую в лавку. Карлос и Нельсон покинули свое укрытие, к ним уже спешил Симон. Не успел Симон притворить за собой дверь, как в лавке снова возник солдат. Удивленно глядя сквозь дверной проем на двух неизвестно откуда взявшихся людей, утомленных, испачканных в земле, он объяснил Симону свое возвращение: забыл купить сигарет. Симон и глазом не моргнул. Сделал вид, будто продолжает с «малярами» прерванный разговор:

—...заштукатурите пятна на стене и все покрасите маслом...

Солдат, не сказав ни слова, ушел. Что у него на уме? Если он что-то заподозрил, то через пять минут сюда ворвется отряд полицейских и перевернет лавку вверх дном. Симон сохранял невозмутимый вид. Только выдержка могла сейчас спасти их всех. Время шло, никто не появлялся. Видно, солдат, действительно, поверил, что столкнулся с малярами, а как они вошли, он просто не заметил.

1 ноября 1965 г.

Солдат вернулся в лавку неделю спустя. По его поведению Симон понял, что он и думать забыл о том случае. И все же на собрании группы Хосе Фелипе рекомендовал как меру предосторожности прекращение работ на несколько дней. Их возобновят 7 ноября. Так ребята отпразднуют 48-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Мы в застенках тоже отметим эту славную дату.

12 ноября 1965 г.

Симон и Ибрагим воспользовались перерывом, чтобы уточнить размеры и направление тоннеля. В дождливый день, когда часовые на вышках и патрульные укрывались кто как мог от тропического ливня, Симон вышел из лавки и стал набирать бегущую ручьем у края тротуара воду. Незаметно он пустил по течению щепочку с привязанной к ней ниткой. Ибрагим, стоявший в том месте, где тоннель должен повернуть, чтобы идти дальше поперек улицы, поймал щепку и дал знак Симону задержать нитку.

В воскресенье измерили расстояние от поворота до тюремной стены. Симон затеял с соседскими мальчишками игру в футбол прямо перед входом в лавку. Пока солдаты следили за увлекательным зрелищем, Симон точно по прямой пересек улицу. К ноге его была привязана тончайшая бечевка. Как только Симон коснулся тюремной стены, Ибрагим, сидевший на тротуаре в нужном месте, оборвал бечевку.

Так получили размеры. От устья тоннеля до края тротуара — 6,2 м. Дальше вдоль тротуара до точки поворота напротив сектора F-2 — 28 м. От поворота до стены — 12 м. Прибавили еще 3 м — под стеной и под зданием до камеры. В общей сложности получилось 49,2 м.

14 ноября 1965 г.

Карлос, бедняга, совсем сдал. Долгое пребывание в тоннеле, изнуряющий труд, разреженный, зловонный воздух, постоянное нервное напряжение вконец истощили его силы. На днях он потерял сознание в тоннеле, и Симон волоком поднял его наружу. Передохнув, Карлос опять спустился под землю. На следующий день обморок повторился. Симон повез его к врачу. Тот, едва взглянув на больного, воскликнул:

— Чем он довел себя до такого состояния?

15 ноября 1965 г.

Карлос выбыл из игры. В тоннеле теперь один Нельсон. Пройдено всего 10 метров. Впереди долгий и тяжкий путь.

17 ноября 1965 г.

В группе Симона перемены. Ибрагим потерял веру в успешное завершение плана. Просит перевести его на любой другой участок партийной работы. Его место займет Макс, комсомольский активист из районного комитета Сан-Хосе.

20 ноября 1965 г.

Уже год я жалуюсь на варикоз, прошу обследования в военном госпитале. Боясь, что я убегу оттуда, тюремные власти наотрез отказали мне в лечении. Хватит и того, что переводят в F-2, где немного просторнее и можно выходить в патио. Если бы они знали, что именно из F-2 намечен наш побег!

21 ноября 1965 г.

Теперь мы с Теодоро Петковым в одной камере. Она мала: две койки и крохотный столик, за которым я смогу работать. Помпейо Маркес — в соседней камере.

24 ноября 1965 г.

Нечаянное счастливое открытие решило трудную проблему вентиляции воздуха в тоннеле. Орудуя киркой, Нельсон наткнулся на что-то твердое. Оказалось, каменная плита, прикрывавшая вход в сводчатую пещеру с кирпичными стенами. Из пещеры тянуло свежим воздухом. Нельсон осветил ее карманным фонариком. В глубине виднелся узкий, едва

можно протиснуться, ход, уводивший в сторону. У кирпичной стены лежал истлевший человеческий скелет.

Посоветовавшись, Нельсон, Симон и Хосе Фелипе решили не исследовать дальше этот склеп: направления его хода и тоннеля не совпадали. Спасибо и за то, что это загадочное древнее сооружение может служить, хотя бы на время, отличным источником свежего воздуха.

15 декабря 1965 г.

Убийство супруги депутата Мартина Антонио Ранхеля, совершенное у нее в доме, было с легкостью необыкновенной подхвачено правительством как предлог для антикоммунистической истерии. Не затрудняя себя расследованием, даже не допросив обвиняемых, взвалили вину на КПВ и партию Левое революционное движение.

Ненависть не знает границ. Агенты Дихеполя оккупировали квартиру, где живет моя семья — жена и шестеро малолетних детей,— и пять дней никого не выпускали, даже за продуктами.

16 декабря 1965 г.

Хосе Фелипе сообщает: работа в тоннеле спорится. Нельсон держит слово. Он неутомим. С 7 утра он в тоннеле. Ежедневно продвигается на 70 см.

17 декабря 1965 г.

Хосе Фелипе сообщает: «Издание книги» — под таким шифром идет у нас строительство тоннеля — закончится к концу этого месяца. Просят назначить день побега. Мы взяли 1 января 1966 года. Может быть, этот новый год будет счастливым?..

19 декабря 1965 г.

Сегодня мы узнали о расстреле Донато Кармоны, рабочего-штукатура, старого профсоюзного деятеля, члена КПВ с тридцатилетним стажем, члена ЦК.

Агенты СИФА, привезя его и еще одного товарища на место казни, приказали им рыть себе могилу.

— Пусть мою могилу роет тот, кто будет меня расстреливать,— сказал Кармона.— Я работаю бесплатно только для партии.

И, положив руку на плечо товарища:

— Пришел наш смертный час, дружище. Но мы, коммунисты, не унизимся перед этими ублюдками.

Донато Кармоне было 58 лет. Это был благородный человек, скромный труженик и преданный коммунист.

23 декабря 1965 г.

Новые напасти! Два дня назад лавку посетил судебный исполнитель и наложил арест на все имущество. Оказывается, Симон задолжал арендную плату владельцу дома, и тот пожаловался в суд. Нам объясняют, что нет денег. Все равно нельзя было допускать этого.

26 декабря 1965 г.

Денег достали, Симон уладил тяжбу с домовладельцем. Лавка и тоннель снова действуют. Но побег не состоится 1 января. А ведь уже были подготовлены для нас и средства транспортировки, и «раковины» — подпольные квартиры. Теперь разве что в феврале. Новый год придется встречать в Сан-Карлосе.

3 января 1966 г.

Нельсон вылез из тоннеля поесть. Симон уже поджидал его.

— Что там происходит?— спросил Нельсон, глядя в щель гаражной двери на улицу.

Четверо солдат во главе с сержантом простукивали палками асфальт. Охрана вокруг тюрьмы удвоена. Вдоль улицы и на крышах домов маячат фигуры солдат. Грузовик, набитый жандармами, остановился у входа в лавку.

Симон пошел на улицу выяснить, в чем дело. Нельсон и Макс, прикрыв люк тоннеля плитой, принялись чистить пол.

Напряжение на улице росло. Взад-вперед сновали патрули.

— Ищут тоннель,— сообщил Симон, вернувшись.— Сейчас в квартале начнутся обыски. Все кончено, мы попались!

Нельсон предложил:

— Подождем немного, а потом я и Макс попытаемся уйти.

Пришла соседка с новостями. Обшаривают дом за домом. Все вокруг занято солдатами. Выходы из улицы блокированы.

В 3.45 отряд военных вламывается в соседний с лавкой дом. Нельсон, стоя у прилавка, потягивает кока-колу. Макс отпускает товары. Симон стоит в дверях.

В 4.10 отряд появляется в лавке. 10 человек — морская пехота и жандармерия — под командованием двух офицеров. Часть идет в гараж, другие начинают обыск в торговом зале. Тщательно простукивают пол. Симон предлагает солдатам выпить прохладительного.

В 4.30 обыск заканчивается. Отряд продвигается по улице к углу Хабонериа. Перед лавкой все еще полно вооруженных солдат.

В 5.15 в лавку заходит патруль — купить сигарет и кока-колы. Болтают: СИФА ищет тоннель, через который готовятся бежать заключенные, но пока ничего не обнаружили.

В 7.15 Нельсон выходит из лавки в направлении угла Амакуро. Часовой его останавливает, смотрит удостоверение личности.

ГИЛЬЕРМО ГАРСИА ПОНСЕ
ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ САН-КАРЛОС

— Проходите!

В 8.30 обыски прекращаются. Солдаты возвращаются в казарму.

4 января 1966 г.

Сегодня обыски прошли в нашем секторе и в F-1. Первый начался в 9 утра. Искали не бумаги, не оружие, как обычно. Искали тоннель. В нашей камере простукали каждый сантиметр пола и стен. В час дня пришли снова, теперь с заместителем коменданта тюрьмы. Осмотрели каждую щель, простукали пол и стены.

В 6.30 вечера опять пришли. И уже не солдаты, а сержанты и офицеры. Долго и пристально исследовали весь сектор. Совершенно очевидно: власти что-то пронюхали.

5 января 1966 г.

Снова обыски. Солдаты сдвигают койки и стулья. Один стучит в пол, другой в это время, приложив ухо к полу, вслушивается.

— Что случилось?— спросил один из нас сержанта.

— Ничего особенного,— сержант хитро прищурился.

8 января 1966 г.

Мы уже думали, пронесло, так нет, сегодня опять четыре раза обыскивали.

Нсчь мы провели под прожекторами.

13 января 1966 г.

Мы рекомендовали Хосе Фелипе прекратить на время работу в тоннеле. Не мешает обсудить состояние дел, поискать, не совершен ли где-то промах, усилить меры предосторожности, подождать, пока не прекратятся обыски и вообще вся эта возня в районе тюрьмы.

Симон того мнения, что Нельсон и Макс не должны возвращаться в лавку, так как СИФА знает о тоннеле и готовит нам ловушку. Нельсон же убежден, что достаточно приостановить работы на две недели. Хосе Фелипе решил: тоннель на время прикрыть, Симону разузнать, что можно, в казарме у офицеров.

Лавка торгует как обычно.

3 февраля 1966 г.

Симон устроил в лавке вечеринку для «друзей»-офицеров. Цель — выведать у них за бутылкой кое-какие сведения. В гараже прибрал, накрыл стол, не поскупился на хорошее вино и сандвичи. Гостей было много. Сам капитан Рада снизошел до визита. Симон усадил его на стул, поставленный точнехонько на крышку люка. Вечер прошел в сердечных разговорах.

Все идет как по маслу. На следующей неделе возобновятся работы в тоннеле.

15 февраля 1966 г.

Нас очень трогает солидарность с борьбой за наше освобождение, которая проявляется как внутри страны, так и за границей. В Советском Союзе недавно закончилась широкая кампания с участием общественных и молодежных организаций, политических деятелей и ученых. То же самое в других социалистических странах. В прошлом году в Риме прошла представительная конференция с требованием амнистии политзаключенным в Венесуэле. Во всем мире люди известные, с именем требуют нашего освобождения.

17 февраля 1966 г.

У Нельсона появился помощник — А. Б., старый каменщик, член партии. Ворчит, жалуется, требует, чтобы его выпускали из тоннеля, когда ему захочется, недоволен едой. Однако работает. Тоннель подвигается медленно. Измерили: пройдено 25 метров, осталось 24.

16 марта 1966 г.

Хесус Фариа, Доминго Альберто Ранхель и Хесус Мариа Касаль высланы из страны. Под усиленной военной охраной их везли из военного госпиталя до аэропорта Майкетиа. С 1963 года это первая группа сенаторов и депутатов, выпущенных из Сан-Карлоса.

Восемь лет провел Хесус Фариа в тюрьме при диктаторе Пересе Хименесе, да теперь три. И всегда в этом человеке ясной политической мысли, несгибаемой воли и высочайшей партийной морали заключенные видели образец революционной доблести.

1 апреля 1966 г.

Сижу на диете. Тоннель будет узкий, не хочется застрять в нем. По прибытии в Сан-Карлос я весил 92 кг, теперь — 70. Думаю, пролезу без труда. По совету Хосе Фелипе мы организовали в патио игру в настольный теннис. Густаво и Эдуардо Мачадо рвутся в чемпионы. Хорошо бы, говорит Хосе Фелипе, вам еще научиться ползать по-пластунски. Забавно! Что подумали бы охранники, увидев нас ползающими в патио или в камерах?

16 апреля 1966 г.

Хосе Фелипе не без волнения сообщает: осталось несколько метров, однадве недели работы. Начинают подъем к бетонному полу в камере, где Теодоро и я. Нельсон говорит, что земля стала горячей, слышен шум, даже шаги. Это сообщение нас насторожило. Звуки, шаги — это понятно, тюрьма полна людей. Но горячая земля? Казалось бы, наоборот! Под зданием, в тени земля должна быть холодной и сырой.

29 апреля 1966 г.

Нельсон уверяет: поднялся к нашей камере, ощущает бетонный пол. Мы же не слышим снизу никаких звуков. Непонятно и тревожно.

4 мая 1966 г.

Как условились с Хосе Фелипе, ровно в 2 часа мы постучали в пол — три коротких удара. От Нельсона ничего не слышно.

5 мая 1966 г.

Изменили условие: пусть постучит Нельсон послезавтра в 3 часа.

8 мая 1966 г.

Помпейо и я, пользуясь любым предлогом, стучим в пол. Вчера и позавчера Помпейо мыл пол. С грохотом опрокинул койку. Лег, прислушался. Никакого ответа.

17 мая 1966 г.

Где же они затерялись там, под землей? Почему не отзываются на сигналы?

22 мая 1966 г.

Мы устроили совещание. Возможны два варианта.

1. Товарищи заблудились, вышли не к камере, а к солдатской кухне, рядом с нашим сектором. Там, действительно, может быть теплая земля — от жара кухонных плит.

2. План тоннеля неточен, Нельсон слишком рано начал подъем и вышел к поверхности под улицей, где асфальт нагрет солнцем.

В обоих случаях взаимные сигналы и не могут быть слышны.

27 мая 1966 г.

В поисках ошибки Симон и Нельсон проверили сначала второй вариант. Опять игра в футбол на улице. Симон долго с грохотом устанавливал «ворота» — два цементных блока. Нельсон под землей вслушивался в удары. Тут же стало ясно: тоннель выходил к поверхности под улицей. Бетонное покрытие, которое так усиленно долбил Нельсон,— очень далеко от нас, зато в двух шагах от часовых у тюремной стены. И, что самое страшное, в том самом месте, где напротив F-2 каждый вечер разворачивается тяжелый сторожевой танк.

1 июня 1966 г.

Нельсон и А. Б. неделю напролет укрепляют подкоп, опасаясь, как бы танк своей тяжестью не продавил асфальт и не провалился в яму. Крепления недостаточно прочные, чтобы их можно было назвать «противотанковыми», но все же, думают, асфальт выдержит. Теперь придется, работая, не упускать из виду эту дополнительную опасность.

15 июня 1966 г.

Несколько дней назад в Карсель Модело был зачитан приговор Эктору Родригесу Бауса и Антонио Гарсии Понсе. В последнем слове Антонио сказал:

— Нас обвиняют в том, что мы коммунисты. Так вот что я скажу. Быть коммунистом — не преступление и тем более не позор. Быть коммунистом — великая честь, особенно в наше время. Тысячи венесуэльцев — члены компартии. Среди них — Густаво Мачадо и Эдуардо Мачадо. И Элой Торрес. Сквозь тюремные решетки они руководят борьбой народа. Валентина Терешкова, которая видела весь этот мир из космоса,— тоже коммунистка. Коммунистами были Альберто Ловера и Юлиус Фучик. И те, кто борется сейчас и будет бороться всю жизнь, храня светлую память о павших и выполняя их заветы. Мой товарищ по камере, Н., тоже коммунист. Это простой парень, выросший в бедном городском квартале, но он ведет себя в тюрьме как герой: ни жалоб, ни страха...

Нас обвиняют в подрыве государственных порядков. О каких порядках вы говорите, если в этой стране царят беззаконие и самый настоящий хаос!

20 июня 1966 г.

Хосе Фелипе считает, что не обойтись без инженера. Пусть спустится в тоннель и уточнит, наконец, в каком направлении и сколько копать.

27 июня 1966 г.

Инженер был доставлен в гараж на дне пикапа, заваленный пучками зелени, связками бананов и мешками с сахаром. Весь день он провел в тоннеле. Сквозь щель в гаражной двери изучил расстояние через улицу до стены F-2.

1 июля 1966 г.

Инженер снова посетил лавку. Привез кипу вычерченных дома планов и записную книжку с пометками. Объяснил: из-за отсутствия ориентирующих приборов допущены серьезные просчеты в конфигурации тоннеля. Нельсон вместо буквы «Z» выписал под землей букву «S».

Инженер и Нельсон долго сидели над новыми планами.

— Отсюда начнешь копать вот в этом направлении,— растолковывал инженер.— Иди строго по прямой 24 метра. Затем поворот на 90 градусов и копай еще 3 метра. Здесь наткнешься на основание тюремной стены. А вот она и камера...

27 июля 1966 г.

Чем дальше продвигаются Нельсон и А. Б. в новом направлении, тем чернее, маслянистее, тяжелее становится порода. «Земля тени», она липнет к лопате и кирке. От нее исходит резкий запах смолы и сырость погреба. Казарма близко.

И еще один признак: появились крысы. Большие, отъевшиеся, наглые. Нельсон хотел пристукнуть одну ломом — она бросилась на него, оскалив зубы. Увернувшись, Нельсон швырнул в нее камнем. Видно, она подохла — потом в тоннеле две недели стоял отвратительный запах гниющего трупа.

Полно огромных красных пауков с длинными лапами. Они копошатся в развороченной земле, выползают из всех ямок. Падают сверху на людей, впиваются в кожу.

7 августа 1966 г.

У Симона теперь новый помощник. Комсомолец, партийная кличка — Эктор. Прибыл, согласно решению руководства, укрепить политически группу Симона. Макс вернулся в районный комитет, но со строгой инструкцией — не вести никакой работы. Это правило распространяется на всех членов группы: никакой активной политической деятельности, никакого общения с членами партии и комсомола. Нельсон, покидая на несколько дней тоннель для отдыха, живет на конспиративной квартире, чтобы избежать разговоров даже с друзьями, не то что встречи с полицией.

20 августа 1966 г.

Кажется, они опять заблудились. Нельсон уверяет, что тюремная стена позади и он работает уже под сектором F-2. Это невозможно. Тюремную стену полутораметровой толщины клали во времена колонии, в ту эпоху все делали прочно, и не так-то легко пробиться через каменную кладку, да еще с инструментом Нельсона. А он о трудностях — ни слова. Спрашиваю: «Уверены, что прошли фундамент?» Отвечают: «Стена осталась над нами». Допустим. Тогда почему мы не слышим шума?

29 августа 1966 г.

Секция спортивных комментаторов подарила нам штангу. Мы добились от тюремного начальства разрешения заниматься тяжелой атлетикой. Теодоро и я — «первые силачи» в нашем секторе. Утро напролет поднимаем и грохаем оземь штангу... Как там, в тоннеле? Ответ: ничего не слышат. Вывод удручающий: опять они сбились с курса и не приближаются к нам, а уходят неизвестно куда...

1 сентября 1966 г.

Политзаключенные в тюрьмах Качипо, Ла-Пика и концлагерях Орьенте рассказывают о пытках.

Доктор Луис Мария Санабриа: «Меня задержали в Каракасе 1 ноября 1965 года в 10.30 утра на автостраде, когда я ехал на Эль-Эсте на площадь Венесуэлы, и препроводили в Главное полицейское управление. В 12.30 меня ввели в ванную, раздели догола, взяли в наручники и подвесили к железной балке. Так я висел шесть часов. Спустя четыре дня меня перевели в Качипо. В течение пяти последующих дней мне угрожали расстрелом, и все это время в лицо бил свет мощного рефлектора. Потом связали руки и ноги и прикрутили веревками к столбу в походной палатке. Три офицера одновременно били меня дубинками «блэк-джек». Чтобы не повредить себе руки, они обмотали их тряпками и эластичным бинтом. Били не разбирая, куда попало. Помню, я потерял сознание. Очнулся на полу. Меня развязали и бьют ногами. Затем пытали электричеством... Моя жена и двое маленьких детей тоже были арестованы. Детям разрешили вернуться домой, а жена просидела две недели в карцере, там же в Качипо».

5 сентября 1966 г.

Сегодня рано утром мы с удивлением услышали сильный шум поблизости. В 7 утра, когда принесли завтрак, дежурный офицер пояснил причину шума. В солдатской столовой меняют каменный пол. От грохота отбойных молотков дрожат стены. Если наш тоннель где-то близко, то не избежать несчастья.

7 сентября 1966 г.

Велели спросить Нельсона, слышит ли он треск отбойных молотков. Нет, он ничего не слышит. Нет худа без добра. Значит, тоннель проходит не под солдатской столовой.

9 сентября 1966 г.

Напротив тюрьмы, между углами Йойо и Пантеон, начали копать улицу. Вроде бы ничего страшного — копают далеко от лавки Симона. Плохо другое: лейтенант Иепес, проходя в полдень по нашему сектору, бросил:

— Тоннель ищут.

10 сентября 1966 г.

Пришлось остановить работу в тоннеле. Нельсону и А. Б. приказано уйти на некоторое время из лавки. Симон и Эктор продолжают торговать.

13 сентября 1966 г.

Революционное движение в Венесуэле за всю свою историю не знало столь мерзкого предательства, какое недавно совершила группа провокаторов и осведомителей, просочившихся в партийные ряды. Больше всех прославился Карлос Нуньес Тенорио. К 1963 году он выполнял очень важные поручения в Союзе молодых коммунистов. Он сбросил маску, лишь когда начался процесс по «делу» сенаторов и депутатов конгресса — членов КПВ и партии Левое рево-

люционное движение. Как теперь выяснилось, он выдал более 400 членов компартии и комсомольцев. Многие из них были расстреляны или подверглись бесчеловечным пыткам.

15 сентября 1966 г.

Едва прекратились работы в тоннеле и Нельсон с А. Б. покинули лавку, как начались повальные обыски в квартале Хабонериа-Амакуро. У Симона обыск прошел быстро. Все в порядке.

1 октября 1966 г.

Приятнейшая новость!

Нельсон, копая, наткнулся на неожиданное препятствие — огромный камень, похожий на валун речных русел и ущелий. Все старания раздробить его ломом не дали результата, отскакивали только мелкие осколки. Тогда решили копать ниже камня, оставив его в покое, и через четыре метра уперлись в каменную с цементом кладку. Вот оно — основание тюремной стены. Добрались, наконец!

4 октября 1966 г.

Нельсон: — Книга доставлена в типографию. Продолжаю действовать.

Хосе Фелипе: — Настало время ждать первых экземпляров.

Мы: — Вы уверены, что не ошибаетесь? Будьте внимательны, а то книга опять потеряется.

Хосе Фелипе: — Уверены абсолютно. Это настоящая типография.

Мы: — Желаем успеха. Издавайте понемногу, не нужно спешить.

6 октября 1966 г.

Эта фаза работ в тоннеле меня всегда особенно беспокоила. Невозможно без шума и вибрации пробурить фундамент казармы Сан-Карлос, прочный, массивный, построенный испанцами на совесть. А ведь сторожевая вышка — вот она, висит на стене, как раз над тем местом, где придется бурить.

Мы строго-настрого приказали группе работать медленно, применяя ручное сверло и бесшумные долота, чтобы избежать металлического звука.

15 октября 1966 г.

Из сектора F-1 передали записку. Ноэль Айала сообщает: с 2 часов дня он слышит странные звуки — короткие удары, идущие из-под стены его камеры.

Детали излишни. Нельсон долбит фундамент по крайней мере в шести метрах от нашей камеры. И, как назло, сейчас нет возможности связаться с Хосе Фелипе.

1 ноября 1966 г.

Теодоро Петков начертил подробный план: камера Ноэля Айалы относительно сектора F-2. Теперь Нельсону гораздо легче ориентироваться.

3 ноября 1966 г.

В тоннеле снова побывал инженер. План Теодоро и ему помог. Инженер сказал Нельсону:

— Вернешься на 3 метра, копай по прямой 6 метров, здесь пробьешься сквозь фундамент и выйдешь прямо под камерой.

5 ноября 1966 г.

Разрушилась сторожевая вышка справа от F-1. Хосе Фелипе сообщает: часовой с этой вышки теперь стоит почти у самой двери лавки. Группа приняла дополнительные меры предосторожности.

7 ноября 1966 г.

Утром ко мне подошел Густаво Вильяпаредес:

— Пятидесятилетие Октябрьской революции мы отпразднуем далеко от этого свинарника. Я уверен, товарищ!

«Несомненно,— подумал я.— Нужно только, чтобы Хосе Фелипе, Симон и Нельсон сделали свое дело».

12 ноября 1966 г.

Хосе Фелипе докладывает: начали спрямлять ствол тоннеля. Итого, за два с половиной года пройдено 77 метров, поднято на поверхность около 500 мешков земли — это почти 25 тонн. На аренду помещения, оборудование лавки, покупку автомашины и землеройного инструмента, а также на еду и на покрытие убытков от торговли потрачено около 200 тыс. боливаров бесценных партийных денег.

20 ноября 1966 г.

Вчера начало прослушиваться под полом легкое постукивание. Все утро мы не могли определить, в каком точно месте. То казалось, под стеной, то под моей койкой, то под столом. Далекий, чуть слышный, непрерывный стук. Позвали Помпейо, он тоже слушал. Да, это Нельсон. Тоннель действительно подошел к нам вплотную.

1 декабря 1966 г.

Работа по прокладке тоннеля теперь отчетливо слышна. Мы чувствуем, как Нельсон скребется о каменную кладку фундамента. Для нашего обострившегося слуха эти осторожные звуки все равно что грохот трактора. Вчера под вечер удары стали глуше и сильнее. Нельсон прошел фундамент?

2 декабря 1966 г.

Мы предложили Хосе Фелипе дать Нельсону расписание: с 10 до 12 утра и с 3 до 5 дня. Это самые шумные часы в казарме. Солдаты идут в столовую, в уборные.

Мы, со своей стороны, усиливаем шум: соревнуемся в настольный теннис в патио. Кричим и спорим, не щадя сил. Эдуардо Мачадо, бывший сорок лет назад чемпионом по теннису, рвется в бой с юношеским напором, а Густаво упрямо не желает проигрывать брату. В этом гаме и щелканье мяча тонут подземные удары Нельсона.

Вечером мы придумываем себе другое шумное занятие.

4 декабря 1966 г.

Нельсон приближается к полу камеры. Просит от нас ритмичных, постоянных сигналов, чтобы легче ориентироваться. Поэтому я, работая за своим «письменным столом», все время постукиваю каблуком в пол.

6 декабря 1966 г.

Вчера был беспокойный день. В домах по улице опять прошли обыски.

Нельсон спустился в тоннель ровно в 10 утра. Не успел поработать и десяти минут, как вспыхнул сигнал тревоги. Минут через пятнадцать Симон сказал ему через люк:

— Тебе лучше уйти. Обыск прямотаки зверский.

Нельсон вылез из тоннеля. Положили плиту на место, протерли пол вокруг.

— Что там на улице?

— Полно солдат. Командует сам комендант Пулидо Тамайо.

Солдаты пехоты и жандармы прочесывали дома вдоль улицы. На углах кордоны проверяли пропуска и удостоверения личности. Группа офицеров, стоя у стены тюрьмы, руководила операцией.

Нельсон переоделся.

— Пережди немного,— остановил его Симон.— Сделай вид, будто ты клиент, зашел выпить прохладительного.

Солдаты двигаются к лавке от обоих углов улицы. Ударами прикладов распахивают двери. Часовых на вышках вдвое больше обычного, держат оружие наизготовку.

Нельсон стоит, облокотясь о прилавок, потягивает кока-колу. Эктор обслуживает покупателей, Симон разбирает и перекладывает товары.

— Теперь иди.

Нельсон не спеша выходит. Но не успел он пройти и десяти шагов, как:

— Эй ты, стой! Документы!

Солдат придирчиво рассматривает удостоверение личности. Другой в это время обыскивает Нельсона. Похлопывает по карманам, прощупывает у пояса, под мышками.

— Проходи!

На углу Амакуро снова остановка. Здесь лишь проверяют документы.

В лавке обыск был скорым, но тщательным.

— Стряслось что-нибудь? — поинтересовался Симон.

— Так, для порядка,— ответил знакомый офицер Осорио.

Солдаты не упустили случая выпить и приобрести сигареты бесплатно.

9 декабря 1966 г.

Вчера начали обмен приветствиями с Нельсоном. В 10 утра, приступая к работе, он делает пять коротеньких, деликатных ударов: «Приветствую, добрый день!» Теодоро отвечает тоже пятью ударами, но энергичными, радостными: «Удачи тебе, дорогой товарищ!»

Кончая работу в 5 часов вечера, Нельсон прощается: «Счастливо! До завтра!» Мы откликаемся: «Спокойной ночи, товарищ!»

Как бы хотелось сказать еще много, много теплых слов. День ото дня растет в нас восхищение этим парнем. Мы даже не знаем, каков он с виду, не представляем себе его лица. А он вот уже два с лишним года тяжким трудом среди смертельных опасностей прокладывает для нас дорогу к свободе.

— До завтра, дорогой наш товарищ!

10 декабря 1966 г.

Условились с Хосе Фелипе о сигнале для Нельсона в случае опасности. Шум работ под камерой могут услышать охранники, если подойдут близко или вздумают прислушаться. Итак: три быстрых удара означают «прекратить всякое движение»; четыре удара — «дорога свободна».

11 декабря 1966 г.

Утром во время обхода мы попросили сержанта передать коменданту тюрьмы нашу просьбу: разрешить нам побелить сектор. Мы с Теодоро заявили еще об одном желании: затянуть кровлю бумагой, чтобы на головы нам не падали тараканы, скорпионы и всякий мусор. Желание, естественное для узников, намеревающихся провести в тюрьме долгое время. Именно такими мы и хотели выглядеть перед тюремщиками.

12 декабря 1966 г.

Пришел майор, заместитель коменданта. Убедился в резонности нашей просьбы, но в искренность намерения, судя по глазам, не поверил. Наверняка заподозрил, что мы хотим бежать через крышу. Распорядился дать нам белил.

14 декабря 1966 г.

Звуки из тоннеля все ближе. Хосе Фелипе сообщает: Нельсон поднимается к поверхности.

16 декабря 1966 г.

Три дня назад вблизи пересечения проспекта Голливуд с проспектом Симон Боливар была обстреляна автомашина с командующим армией. В покушении об-

виняется некто Хосе Ньаньес Ибарра, юноша, тяжело раненный пулями в грудь, которого обнаружили вблизи места преступления. Газеты печатают заявления правительственных лиц с угрозами в адрес «экстремистов».

20 декабря 1966 г.

Симон окончательно покорил соседей по кварталу. Солдаты видят в нем доброго друга, всегда готового выручить из затруднительного положения. В лавку идут не только за товаром, но и просто поплакаться в жилетку «любвеобильному» Симону.

Субботние и воскресные утра Симон проводит в теплой компании офицеров из Сан-Карлоса, заядлых лошадников. Сириец, обсуждающий за завтраком в офицерском казино предстоящие бега,— это уже ни у кого не вызывает удивления.

21 декабря 1966 г.

Утром пришлось пережить чувство, близкое к отчаянию. Не было девяти часов, когда в сектор пришли солдаты с обыском. Возможно, последним в этом году. Мы со страхом посмотрели друг на друга. Ровно в десять, с британской пунктуальностью, Нельсон простукает из-под земли «Добрый день, товарищи!». Если к этому времени обыск будет идти в нашей камере, то нас раскроют — это неизбежно.

Помпейо с тоской глядел на меня, как бы говоря: «Вот не везет, так не везет, будь проклята наша доля!»

Никогда прежде обыски не казались такими нудными. Солдаты прощупали каждую складку постели, просматривали страницу за страницей каждую книгу. Уже 9.35. В соседних секторах тоже слышен топот солдатских ног, скрежет засовов. С нетерпением ждем, когда же, наконец, в F-1 запоют «Мы — молодая гвардия» и «Интернационал» — так в знак презрения к силе тюремщиков, в знак собственной несгибаемой стойкости провожают каждый обыск коммунисты.

Уже 9.50, а сержант, руководящий обыском, все еще стоит на своем месте. Еще десять минут, и все услышат позывные Нельсона...

— Все в порядке, сержант! — докладывает капрал.

Но и после этого сержант уходит не сразу. Гремел засов на решетке у выхода из сектора, когда в нашей камере раздалось из-под каменного пола «Добрый день, товарищи!»

Ровно 10 утра. Нельсон начал рабочий день, пробиваясь к нам сквозь последние метры земной толщи.

31 декабря 1966 г.

Четвертый раз мы встречаем Новый год в застенках Сан-Карлоса. Для меня — пятый, если прибавить 1962 год, когда я сидел в тюрьме Ваика. Нам разрешили объединиться с заключенными из F-1, и мы собрали воедино все имеющееся в наличии съестное для праздничного стола. Как и в прошлом году, с продуктами плохо. Сейчас посылки с воли идут главным образом в Карсель Модело и на остров Такаригуа. И это справедливо: там большинство политзаключенных, там хуже условия.

Алонсо Паласиос оделяет всех домашней альякой *. Ухитряемся выкроить из своих скудных запасов немного продуктов и в плетеной корзине посылаем в «Дымовую пещеру», где сидят молодые военные и мой брат.

Мы с Эдуардо Мачадо обнимаемся в новогоднем приветствии, и я шепчу ему:

— Старина, в новом году я буду на свободе.

5 января 1967 г.

Назначен день побега: воскресенье 5 февраля, первый день карнавала. В воскресенье, как правило, не бывает обысков, и Нельсон, заранее пробившись сквозь цементную подушку, сможет без помех взломать плиту в нашем полу — последнее, что ему останется. Да и карнавал — надежное для нас прикрытие. В праздничной шумящей толпе агентам СИФА и Дихеполя труднее обнаружить беглецов.

8 января 1967 г.

Бегство состоится после 7 вечера. В 6 уходят ординарцы, после того как разнесут нам ужин. И лишь в 8.30 начинает обход в нашем секторе дежурный офицер. Сперва он идет в F-1, запирает камеры, открытые в течение дня для выхода в патио и в уборные. Затем направляется в F-2, заканчивая обход к 9 часам. Возвращается он в 6 утра следующего дня. Стало быть, побег должен произойти либо между 7 и 8.30 вечера, либо ночью. Но всю ночь с 8.30 вечера между углами Хабонериа и Амакуро стоит танк; он закрывает проезд по улице, поэтому ночью Симон на своем пикапе не сможет выехать из гаража. Значит, бежать нужно между 7 и 8.30 вечера.

9 января 1967 г.

Хосе Фелипе докладывает: система траспортировки разработана и начнет действовать 5 февраля. По тоннелю мы доберемся до гаража, оттуда выезжаем в пикапе Симона, лежа на дне, прикрытые картонками и прочей тарой. В разных местах Каракаса нас распределят

* Кушанье из кусочков мяса, маслин, перца, маисового теста, завернутых, на манер голубцов, в банановые листья.

по другим машинам. Затем будет еще одна такая «пересадка», и только после этого нас развезут в надежные убежища.

Симон, кажется, в чем-то сомневается. Предложил бежать 6-го, в понедельник. Помпейо настаивает на воскресенье. Из многолетних наблюдений за расписанием тюремной охраны он делает вывод, что для побега нет дня лучше воскресенья. Все с этим согласны.

12 января 1967 г.

Нельсон начал бурить бетонную подушку под камерой. Говорит, нельзя оставлять все напоследок, подушка слишком толстая. Электросверло издает столь резкий, характерный вибрирующий звук, что нас охватывает страх. Попросили у Густаво Мачадо электровзбивалку — есть у них в хозяйстве в «Птичьей клетке». Будем включать ее, чтобы заглушить треск сверла, вот только взбивать нечего.

14 января 1967 г.

Невозможно бежать через тоннель всем обитателям F-2. Для прикрытия бегства нужно, чтобы в камерах были люди, сохранялась обычная обстановка, иначе охрана поднимет тревогу и побег вообще не состоится.

Заблаговременно, три месяца назад, мы повесили на решетку нашей камеры занавеску, под предлогом, что свет прожекторов мешает нам спать. Этот лоскут ткани и закроет от недремлющего ока стражников развороченную дыру в полу и наше исчезновение. Мы решили переговорить с товарищами, узнать их мнение относительно возможности бегства других. Все всем ясно. В пикапе Симона хватит места лишь для троих. Но тоннель останется открытым — для отважных...

20 января 1967 г.

Арестован еще один мой брат, Хосе Мануэль Бланко Понсе. Агент СИФА стрелял в него прямо на улице в центре Каракаса. Одна пуля пробила правое бедро, вторая едва не раздробила колено. Окровавленного, его подобрали и отвезли в военный госпиталь. Хосе Мануэль — член Национального руководства комсомола.

Теперь наша мама делит неделю между нами. В понедельник идет ко мне. В среду — к Антонио в Карсель Модело. В четверг — опять в Сан-Карлос к Хорхе. В воскресенье пойдет в форт Корпауаико, может, разрешат повидать Хосе Мануэля.

21 января 1967 г.

Заранее подшучиваем над офицером, который будет дежурить 5 февраля. Конечно, его возьмут под стражу и начнут следствие. Как говорится, ни сном, ни духом не чуял, а судьба возьми да и сыграй над ним злую шутку. Да и ординарцу, что нас обслуживает, тоже несдобровать.

1 февраля 1967 г.

На собрании группы Нельсон сказал: «Руководство партии может считать, что Помпейо, Гильермо и Теодоро уже на свободе. Клянусь, что так будет».

4 февраля 1967 г.

Нельсон спустился в тоннель. Все работы были уже закончены, оставалось взломать плиту пола, но это оставлено на последний момент. Однако Нельсон просто не может сидеть сложа руки.

— В понедельник сюда пожалуют репортеры. Надо прибраться.

И полдня наводил в подземелье «блеск».

5 февраля 1967 г.

Долгожданный день!

Нельсон оглядывает свое детище, плод своих трудов. Он доволен, уверен в успехе. Везде — порядок, чистота. Прочны деревянные крепления, доски аккуратно пригнаны одна к другой. Освещение достаточное, лишь кое-где Нельсон подтягивает провод, выравнивая ряд лампочек. Затем ложится отдыхать тут же, в тоннеле, под люком гаража.

Сегодня Помпейо, Теодоро и я говорим друг другу «Доброе утро» с особым выражением. Коротко обсуждаем последние детали. В 5.30 Помпейо будет разговаривать с Вильяпаредесом, Теодоро — с Саэс Меридой. Я в это время буду гулять в патио. В 6.45 Теодоро пройдет в камеру. В 6.50 туда войду я. Еще через пять минут — Помпейо. В 7 мы должны быть готовы.

День проходит нормально.

В 9.30 утра Симон едет на последнее свидание с Хосе Фелипе. Вместе они проезжают по тем местам, где нам предстоит пересесть из пикапа в другие машины. Утверждают запасные варианты — на всякий случай. Сверяют часы. Хосе Фелипе повторяет Симону инструкции. Симон спокоен, полон решимости.

В 10 утра открываются двери сектора. Входит сержант Сильва Остос. Сегодня он — дежурный офицер. Как всегда, он выводит Густаво, Эдуардо и Полито на два часа на прогулку в патио.

В 10.30 Симон возвращается в лавку. Ставит пикап в гараж, вместе с Эктором они вынимают заднее сиденье.

— Где Нельсон?

— Где ж ему быть? Внизу.

Нет, этот парень, положительно, не может оставить тоннель ни на минуту! Мало ему одного электропровода, он ведет второй.

— А вдруг та линия выйдет из строя? Вот и будет у нас запасная.

— Где домкрат?

— На месте.

— Я пошел в офицерское казино,— говорит Симон.

Через полчаса он вернулся.

— Все спокойно. У всех на уме карнавал да бега. Садитесь завтракать.

Эктор не мог есть. Нельсон уминал за обе щеки. Симон приступил к еде не сразу, ел молча. По воскресеньям лавка закрывалась в 12.30. Сегодня Симону необходимо оправдать присутствие его самого и Эктора в лавке после закрытия. Там, в казино, он уже бросил в разговоре фразу. Теперь он повторил ее часовым напротив входа в лавку:

— Хочу воспользоваться воскресным деньком, разобрать товары да почистить помещение.

Солдаты ничего не ответили.

В 3 часа дня Нельсон снова спустился в тоннель.

— А теперь что ему там надо? — спросил Симон Эктора.

— А теперь он подметает там пол. Говорит, чтобы ни пылинки, ни соринки.

Фреди сообщил из F-1 по «телефону» — через водопроводную трубу,— что в 6.45 в патио начнется «карнавальное шоу». Прекрасно! Это отвлечет от нас внимание охранников.

Вильапаредес кладет руку мне на плечо:

— Счастливо, товарищ!

Старик не может скрыть волнения. Глаза повлажнели, блестят, лицо стало торжественным.

— Не попадайся им больше. Береги себя. Не рискуй попусту, где не надо.

— Удачи тебе и успеха! — сжимает мне руку Саэс Мерида.

В лавке Нельсон дает сигнал: «Все по местам!» Симон проверяет зажигание в машине, Эктор копается внутри кузова. По улице в обычном порядке вышагивает патруль. Нельсон спускается в тоннель, устанавливает домкрат на нужную высоту. Еще два-три оборота винта, чтобы чуть-чуть приподнялась плита, и пока — все.

Мы готовимся к заключительному этапу. Из F-1 доносится взрыв голосов: началось шоу. Лица часовых размягченно-спокойные. Уже 6.50. Теодоро и я готовы. Помпейо распихивает по карманам бумаги. Его одежда, вплоть до носков, начинена бумагами. Вильапаредес и Саэс Мерида с безмятежным видом прогуливаются в патио.

6.55. Теодоро тихонько стучит в пол. Снизу отвечают тремя короткими ударами. Две-три минуты длится тишина. И снова Теодоро стучит: «Мы готовы!» Снизу уверенный стук: «Сейчас начнем!»

Пол дрогнул. Сперва легко, потом сильнее, но без треска. Из патио несется шум веселых голосов. Рядом Вильапаредес включает электровзбивалку. Плита пола вздулась, пошла трещинами, разломилась. Мы быстро расчистили отверстие от обломков. У наших ног зиял люк шириной не меньше 60 см. Из люка, в свете сильной лампочки, показалось лицо Нельсона Лопеса.

— Все готово? А где Помпейо?

Помпейо вышел перед этим на минуту в патио.

— Пошли! — приказывает Нельсон.

Я соскальзываю в люк и падаю на дно тоннеля.

— За мной, быстро! — командует Нельсон.

Он продвигается на четвереньках удивительно легко. Я ползу, стараясь выжать из непослушного тела сколько можно силы и ловкости. Зигзаги тоннеля хорошо освещены. Мне кажется, мы уже прошли двадцать или даже тридцать метров, а тоннелю конца не видно. Я пытаюсь продвигаться на корточках, но это неудобно, и я снова опускаюсь на четвереньки. Позади слышны глухие шаги-удары. Это Помпейо и Теодоро. Внезапно раздается голос Нельсона:

— Осторожно, сюда!

Тоннель кончился, перед нами лестница. Карабкаюсь и, сорвавшись, падаю. Снова лезу, цепляясь покрепче за перекладины. Сверху мне уже протягивают руки, вытаскивают на поверхность. Кто-то сжимает меня в объятиях. Темно. Кто-то шепчет:

— Тсс! Ни звука!

Различаю три фигуры: Симон, Нельсон, Эктор. Мы в запертом гараже, рядом пикап. Из тоннеля выбираются Помпейо и Теодоро.

— Сюда. Ложитесь в машину.

Сверху на нас летят пустые ящики, мешки с зеленью и еще что-то.

— Выезжаем. Не шевелитесь. Абсолютная тишина.

Включено зажигание, с шумом раскрывается дверь гаража. Симон говорит кому-то громко:

— Кончай! На сегодня хватит. Закрывай лавку и до завтра.

Машина медленно выезжает на улицу, легонько подпрыгнув на бровке тротуара. Останавливается. Опять голос Симона, теперь обращенный к часовым:

— Поеду посмотрю карнавал. Если вернусь рано, так и быть, поставлю вам бутылку. Договорились?

— Договорились, Симон,— отвечает солдат.

Пикап трогается с места. Но вскоре опять притормаживает — должно быть, еще один пост. Едем, теперь все увеличивая скорость. Вот нас, в кузове, отклонило влево — это машина сделала правый поворот на углу Амакуро. Прощай, Сан-Карлос!

Слышу, как Теодоро восклицает:

— Дело сделано!

30 октября 1967 г.

Вчера убили Нельсона Лопеса. Агенты СИФА выследили его и окружили на одной из улиц в местечке Барута.

Нельсона выдал Исаак Эчарри.

КАРЛОС БЕЙКЕР

ЖИЗНЬ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

Главы из книги*

Перевод с английского
М. ЛОРИЕ

РЕЧЬ ИДЕТ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Год охотников

Все мысли Эрнеста были теперь об Африке. Но до лета 1953 года он не мог уехать из-за деловых свиданий с Леландом Хэйуордом**, и эта отсрочка очень его раздражала. Он писал Беренсону***, что почти три года проработал на уровне моря, и ему не терпится подняться повыше, на холмы. Чтобы наметать глаз для охоты, он ездил в глушь стрелять куропаток и регулярно палил по голубям в клубе Касадорес.

В ту зиму он прочел две книги о своем творчестве — Джона Аткинса и Филипа Янга, и ни ту, ни другую не одобрил. Первую он охарактеризовал как «винегрет с лучшими намерениями», про вторую сказал, что она чрезвычайно путаная. Он решительно отвергал утверждения Янга, что рассказ «Не в сезон» написан под влиянием Фицджеральда, а «Убийцы» — Стивена Крейна; что основные символы в «Снегах Килиманджаро» взяты у Флобера и Данте; что в обрисовке негра в рассказе «Чемпион» есть намек на гомосексуализм и, наконец (это было ужаснее всего), что в образе Фрэнсиса Макомбера он изобразил **самого себя.** Эрнест пришел к выводу, что все ученые критики пытаются уложить его произведения «на прокрустово ложе своих «измов» и диалектики» и притом еще ведут себя не как ученые, а как сплетники-фельетонисты.

Очевидно, это последнее обстоятельство особенно ему претило. В феврале он узнал от своего старого друга Дороти Коннебл, что Фентон расспрашивал ее о давнишних днях в Торонто. Эрнест написал ей, что его возмущает, как люди могут писать о его личной жизни, пока он еще жив. Те дни в Торонто принадлежат только Коннеблам и ему. Единственный способ отвязаться от этих стервятников из ФБР — это не рассказывать им **ничего.** Узнав правду, они отметают ее и заменяют чем-то более сенсационным или приспосабливают к схеме, в которую пытаются втиснуть его жизнь. Письмо и подарок от Дороти живо напомнили ему чудесный сухой холод зимнего Торонто, его любовь и восхищение миссис Коннебл и как замечательно «добрая, милая, прелестная красавица Дороти» отнеслась к неотесанному юнцу из Оук-Парка.

Была у Эрнеста и еще одна, более серьезная причина бояться не в меру любопытных критиков — они покушались на материал, который мог когда-нибудь понадобиться ему самому для мемуаров. Он уже давно поговаривал о том, чтобы написать воспоминания о Париже 20-х годов, а в последнее время рассказал в письмах кое-какие пикантные анекдоты, относящиеся к тому времени,— один о том, как Фицджеральд вообразил, будто по своему физическому строению не годится в мужья, другой о том, как сам он якобы подслушал однажды лесбиянский диалог между Гертрудой Стайн и Алисой. Мало ли чем может поживиться такой тип, когда шныряет по

* Печатаются в сокращении. Продолжение. Начало в №№ 5, 6.
** По поводу съемок фильма «Старик и море». *(Здесь и далее — прим. переводчика.)*
*** Бернард Беренсон — американский искусствовед, много лет жил в Италии.

черным лестницам, нацепив маску литературоведа? И на всякий случай Эрнест дал издателям Скрибнерс указание запретить Фентону, как в свое время Янгу, цитировать его произведения.

Весной, с наступлением хорошей погоды, начался приток гостей в Финка-Вихия — обычный Cirque d'Hiver*, как выражалась Мэри,— и в доме уже не хватало кроватей, не говоря о рюмках и пепельницах. 8 марта Мэри писала Джанфранко** отчет об их времяпрепровождении: «Накормила всю компанию завтраком, отправила на рыбную ловлю, а сама побродила по саду ...смотрела на листья и на tiñosas (кондоров), они летали так высоко, что казались черными точками... С Вашего отъезда это первое воскресенье, когда мне удалось побыть одной, и это даже приятно, чувствуешь себя свободной». В марте она два раза плавала с Эрнестом в Параисо ***, помощником и матросом у них были Грегорио и мальчик Фелипе. Эрнест загорел до оттенка, который называл Indio tostado. Мэри купалась, собирала раковины и была «очень счастлива». Домой они вернулись вечером 2 апреля и только-только успели подготовиться к долгожданному приезду Хэйуордов и Спенсера Трэси.

Эрнест был приятно удивлен, найдя в Трэси человека и скромного и умного. Под его руководством Трэси осмотрел маленький порт Кохимар, и ему даже посчастливилось увидеть Ансельмо Эрнандеса, когда тот спал в своей хижине, проведя всю ночь в море. Трэси был трезвенник и вставал в 6.30 утра, чем пленил Эрнеста, зато Хэйуорды обычно спали до полудня. Дело было на пасху, и Эрнест считал, что это неподходящее время для деловых разговоров. Вскоре выяснилось, что у Трэси не будет времени сниматься до 1955 года. Пасхальное воскресенье совпало с днем рождения Мэри, и она часок посидела одна на башне, греясь на солнце и думая о том, что этот, седьмой год их брака был самый лучший, самый согласный и дружный.

В первый понедельник мая они рыбачили между рифов близ Пинар-дель-Рио, когда в шестичасовой радиопередаче услышали фамилию Эрнеста. «Старик и море» был удостоен Пулитцеровской премии за 1952 год. Эрнест не мог скрыть своей радости. Это был первый раз, что он получил премию Пулитцера, хотя в 1940 году был к тому близок. Деньги, в которых выразилась премия, он послал Бэмби. Эрнест мог позволить себе этот жест. По соглашению, подписанному с Хэйуордом, он должен был получить авансом 25 000 долларов за использование своей книги и такую же сумму за организацию съемок акул в Карибском море и гигантского марлина — у берегов Перу. В середине мая к нему явилась группа редакторов из журнала «Лук» и предложила высокую цену за серию статей о предстоящем сафари. Эрнест стал готовиться к поездке в Африку.

Для начала он надеялся снова побывать на фиесте святого Фермина в Памплоне. Затруднение состояло в том, что Франко все еще был у власти, а Эрнест был известен во всем мире своей убежденной поддержкой республиканцев. Но когда он заговорил со своими друзьми о коротком заезде в Испанию, они уверили его, что он может с честью туда вернуться, пусть только не отрекается от того, что писал раньше, и помалкивает о политике. Эрнест и Мэри заказали билеты на «Фландрию» на 24 июня и договорились, что Джанфранко встретит их в Гавре 30-го. Оттуда они не спеша двинутся в Памплону на «ланчии», после фиесты вернутся через Мадрид и Валенсию в Париж, а потом из Марселя отплывут в Момбасу. В Найроби они встретятся со своим кубинским приятелем Майито Менокалем — он прилетит прямо туда, чтобы участвовать в сафари, а белым охотником будет у них Филип Персиваль.

На пароходе Эрнест усердно входил в форму — мало ел, каждый день тренировался в гимнастическом зале «Фландрии», после обеда пил минеральную воду и неизменно выходил победителем в стрельбе по летящей цели. Единственным его литературным занятием, если не считать писем, был просмотр докторской диссертации Чарльза Фентона, экземпляр которой ему передали в Нью-Йорке. Он написал Фентону, что, если он погибнет в Африке, книгу можно печатать, а иначе — ни под каким видом.

«Если вы, как я, любите путешествовать весело,— писал Эрнест,— путешествуйте с итальянцами». Он имел в виду Джанфранко и живого, обходительного черноволосого Адамо, похоронных дел мастера из Удине, который взялся быть у них шофером. Они без задержек проехали Париж, сделали остановку в Шартре и заночевали в Пуатье. В долине Луары, которую Джанфранко видел впервые, Эрнест в шутку уверял, что кажется себе средневековым рыцарем, едущим на коне по берегу реки. Он забавлялся этим сравнением всю дорогу на юг, через Дакс и Сен-Жан-де-Люз в Андай, где он когда-то писал первый набросок романа «И восходит солнце».

---

* Зимний цирк (франц.).

** Джанфранко Иванчич — итальянец, служил в Африке. Хемингуэй познакомился и подружился с ним в Венеции в 1949 году, а позднее Джанфранко купил ферму на Кубе, по соседству с имением Хемингуэя.

*** Параисо (по-испански — рай) так Хемингуэй окрестил остров Мегано-де-Касигуа в Гольфстриме, где он в начале второй мировой войны гонялся за немецкой подводной лодкой.

Переезд через границу в Ируне прошел гладко, хотя Эрнест, со своей любовью к мелодраме, хвастался впоследствии, что для въезда во франкистскую Испанию потребовалась вся его смелость и пограничники вполне могли его застрелить. В Памплоне они обнаружили, что ни в одной гостинице нет свободных комнат. Пришлось остановиться в 33 километрах к северу, в Лекумберри, красивом баскском городке, приютившемся в зеленой долине. Гостиница была в лучшем североиспанском стиле, с дубовыми кроватями и чисто вымытыми деревянными полами.

На следующий день, встав до рассвета, они поехали в Памплону. На главной площади их поджидал старый друг Эрнеста Хуанито Кинтана, потерявший свою гостиницу во время гражданской войны. Теперь ему было шестьдесят три года. Маленький, узкоплечий, он, однако, держался не только приветливо, но и с достоинством. Поджидал их и Руперт Белвилл, долговязый англичанин, с которым Эрнест познакомился в 1937 году на пароходе: они оба плыли тогда в Испанию, чтобы примкнуть один — к республиканцам, другой — к их противникам. Все вместе выпили на завтрак крепкого кофе, обвязались красными платками и по булыжным улицам поспешили к цирку, чтобы не пропустить захватывающий пробег быков. За вторым завтраком к ним присоединилась целая толпа знакомых, в том числе Том и Дьюри Шевлин, Питер Виртел и молодой питомец Принстона Питер Бакли, который дружил с Бэмби в Париже, когда оба были совсем маленькие. Бакли расхваливал блестящего нового матадора по имени Антонио Ордоньес, сына того самого Ниньо де ла Пальма, которого Эрнест вывел в «И восходит солнце» под именем Педро Ромеро. Прием, оказанный Эрнесту в Памплоне, пришелся ему очень по душе,— с ним носились как с «мальчиком из нашего города, который преуспел в жизни». Он говорил, что цель его приезда — собрать материал для приложения к «Смерти после полудня», об эволюции и упадке современного боя быков. Но Антонио скоро убедил его в том, что «упадок» — слишком сильное слово. Однажды после корриды он пошел в отель «Йолди» и познакомился со своим новым героем, стройным молодым брюнетом, полным достоинства и обаяния. Эрнест решил, что, как матадор, он лучше, чем был его отец в годы расцвета.

Как бывало и раньше, фиеста, начавшаяся так весело, закончилась под проливными дождями. Мэри сильно простудилась — как когда-то Хэдли при подобных обстоятельствах. В конце концов Джанфранко увез Белвилла в Биарриц, а Хемингуэи с Адамо подались на юг в Бургос и Мадрид.

Они сворачивали с магистрали сперва в Сепульведа, потом в Сеговии и Сан-Ильдефонсо,— Эрнест хотел показать Мэри места вымышленных им партизанских убежищ в Сьерра-Гвадаррама. То был край дубовых и сосновых лесов и гранитных скал, среди которых чернели входы в пещеры. Горный поток с ревом устремлялся под узкий каменный мост. Глядя счастливыми глазами на проносящийся мимо пейзаж, Эрнест сказал, что здесь и происходило действие в «По ком звонит колокол». Хотя мост был не совсем такой, как тот, который взорвал Роберт Джордан, Эрнест с удовлетворением убедился, что местность описана у него совершенно точно.

Мадрид тоже был полон призраков, Эрнест сказал, что его там «дрожь пробирает». Однако он непременно захотел поселиться в том же номере отеля «Флорида», который занимал осенью 1937 года. Баку Ланхему* он написал, что чутье подсказывает ему, что именно этого ждут от него испанцы. В том же письме он дал понять, что в 1937 году сражался как боец на стороне республиканцев, мочился в кожухи пулеметов «максим», когда они перегревались, и помнит, как пахла кипящая моча в серой пыли той голой местности (хуже Хюртгена!), где он и его товарищи остановили пятое контрнаступление мятежников.

Картины Прадо запечатлелись у него «в голове и в сердце» так прочно, как будто все годы, после того как он их видел, провисели на стенах в Финка-Вихия. Он опять смотрел Гойю, Брейгеля, Иеронима Босха, долго простоял перед «Женским портретом» Андреа дель Сарто, в который влюбился много лет назад. Снова увидеть эти картины было для него лучшим подарком ко дню рождения, хотя были и другие подарки: весть об окончании войны в Корее, весть о том, что он награжден орденом Карлоса Мануэля де Сеспедеса **, и даже стихи от Мак-Лиша, кладущие конец их отчуждению.

Навестив Ордоньеса и его зятя Луиса Мигеля Домингина на ферме Вилья-Пас близ Саэлисеса, они уехали в Валенсию. Мэри осматривала местные достопримечательности в обществе Питера Бакли и Хуанито Кинтаны, несколько раз они ходили на бой быков. А потом пришло время ехать в Париж, откуда они, прожив в отеле «Ритц» до 4 августа, покатили на «ланчии» в Марсель, сели на «Замок Дуннотар» и поплыли в Момбасу.

Погода была лучше, и пароход много чище, чем в 1933 году. Первые дни пути с севера дул холодный ветер, как дыхание зимы в середине августа. В Египте и Суэце было жарко, безветренно, только поздно вечером из пустыни тянуло холодом. В небе горели яркие звезды, и огни проходящих судов казались теплыми и приветливыми. Пока позволяла погода, они развлекались стрельбой в тире, но в Красном море их настигла настоящая жара, и сильный муссон стал вздымать двадцатифутовые волны.

* Бак Ланхем — полковник (позднее — генерал) Чарльз Трумэн Ланхем, командовал 22-м полком 4-й пехотной дивизии, к которой Хемингуэй был приписан в 1944 году как военный корреспондент. Их дружба сохранилась до конца жизни Хемингуэя.

** Орден Карлоса Мануэля де Сеспедеса — высшая почесть, какой на Кубе мог быть удостоен иностранец.

Момбаса встретила их дождем. Они уселись в машину с местным шофером Эрнест шарил по карманам в поисках документов, бросая свирепые взгляды на полисмена-африканца, охранявшего ворота порта, но тут появился Филип Персиваль, и Эрнест просиял. Двадцать лет и недавно перенесенная клещевая лихорадка сильно состарили Персиваля, но держался он все так же бодро. Мэри сразу в него влюбилась. Майито Менокаль уже прилетел в Найроби, но тут же лег в больницу с приступом артрита. Однако вскоре он поправился и прибыл в лагерь, устроенный на ферме Персиваля в Китанга. Туда же явился фотограф из журнала «Лук», приятный человек по имени Эрл Тейсен.

Последние дни августа они благодушествовали в девяти палатках, расставленных на буро-зеленом склоне холма близ Мачакоса, несколько раз ездили в Найроби закупить провизию, охотничьи костюмы и провести последние приготовления к экспедиции. На второй день рано утром Филип сообщил, что Килиманджаро в ста милях к юго-востоку выглянул из-за туч, и все поспешно погрузились в машину и помчались смотреть на него с гребня Пота. Эрнест с восторгом узнал, что им, одним из всех охотников, разрешено провести сентябрь в Южном заповеднике района Каджиадо, в сорока милях к югу от Найроби. Говорили, что район этот, лишь недавно снова открытый для охоты, буквально кишит дичью. Они получили в Мачакосе лицензии, уплатили по тысяче шиллингов с человека и еще двести за лишнего льва, позавтракали жареной дрофой, свежими помидорами и пивом и пустились в путь, готовые немедленно приступить к делу.

Ждать им пришлось недолго. Не проехали они и нескольких миль, как их окликнул пропыленный молодой обходчик Денис Зафиро — он поставил свой «лендровер» у обочины и улыбаясь поджидал их. «Носорога убить хотите?» — спросил он. «Хотим»,— ответил Эрнест. «Тогда пошли, он здесь совсем близко». Эрнест, Мэри, Майито и Тейсен высыпали из машины. Обходчик свернул с дороги в высокую траву и вскоре остановился, указывая на носорога, которого он, оказывается, выслеживал с самого утра. Кто-то подстрелил его, и он волочил одну ногу. Мужчины пошли вперед, а Мэри велели ждать на месте. Уже смеркалось, она немного нервничала, ей казалось, что Эрнест подходит слишком близко. Только подойдя на двенадцать шагов, он вскинул свое тяжелое ружье. Раздался выстрел, носорог перевернулся на месте. Эрнест выстрелил еще раз, и животное побежало прочь среди кустов терновника. Они долго шли по кровяному следу и отступились, только когда совсем стемнело. Слуги без них устроили лагерь и развели костры. Семь палаток стояло под огромным терновым деревом у реки Саленгаи, широкого сухого русла, по одной стороне которого струился ручеек. Денис Зафиро предупредил, что ночью здесь, вероятно, пройдут на водопой слоны. По звуку будет казаться, что это шагают великаны в калошах. Возможно даже, что в палатку заглянет из любопытства лев.

Однако ночь прошла без визитов. Наутро Эрнест и Зафиро пошли искать носорога и нашли его мертвым неподалеку от того места, где накануне прекратили поиски. Когда Эрнест и Зафиро вернулись в лагерь к завтраку, они уже были добрыми друзьями.

Район реки Саленгаи был полон зверья и птицы. Эрнест наслаждался своей любимой стрельбой влет по большим стаям голубей, куропаток и цесарок. На полянах во множестве стояли торжественные марабу, напоминавшие Мэри старых колченогих преподавателей алгебры. По словам Дениса, здесь жило четыреста слонов, десять носорогов и штук двадцать львов, не говоря уже о множестве более мелких зверей. Первой добычей Мэри была антилопа гну, а Эрнеста — геренук. В лагерь пришли воины масаи в ржаво-розовых хламидах, вонзили копья в землю, сказали «Джамбо» и крепко, отрывисто пожали всем руки. 5 сентября, по дороге на юг, они остановились в масайском селении, где Эрнест решил поразить воображение туземцев: из своей 22-калиберной винтовки он выбивал сигареты, зажатые в чьих-нибудь пальцах, и всаживал пули в монеты.

Когда масаи пожаловались Зафиро на льва, повадившегося красть их скот, тот выложил для приманки остовы зебр. 6 сентября Эрнест и Мэри, Зафиро, Эрл Тейсен и ружьеносцы на рассвете вышли из лагеря посмотреть, что с ними сталось. Подходя к первой приманке, они услышали треск ломающихся веток. «Там что-то большое»,— сказал воспитанный Тейсен. «Вы совершенно правы»,— ликующе прошептал Эрнест. За редким кустарником в тридцати ярдах от дороги паслось семь слонов. Охотники обошли их, стараясь ступать неслышно, как индейцы. От зебры не осталось ничего, кроме обломка ребра. Когда они повернули обратно к машине, на поляну вышло еще три слона. Один из молодых самцов их заметил, и все стадо, сгрудившись, побежало через дорогу — огромные самцы в пятнах красной пыли и много самок с детенышами. Эрнест насчитал их пятьдесят два, цифра, которая в его письмах Беренсону, Брейту* и Ланхему быстро выросла до семидесяти двух. И конечно же, это он превратил замечание Тейсена «Там что-то большое» в дежурную шутку.

За неделю, проведенную на Саленгаи, все хорошо между собой перезнакомились. Ружьеносцем у Мэри был семидесятилетний Чаро, еще меньше ее ростом и до сих пор еще не вполне осознавший, что Эрнест обессмертил его в «Зеленых холмах

* Харви Брейт — сотрудник «Нью-Йорк таймс».

Африки». Н'Ги, человек лет тридцати, носил ружья Эрнеста. После нескольких вопросов тот убедился, что это сын М'Кола, его названого брата по сафари 1933 года. Денис Зафиро так подружился с Эрнестом и Мэри, что Филип Персиваль просил его быть их белым охотником. По словам Дениса, департамент охоты в Найроби должен был дать на то свое благословение: можно было надеяться, что, если Хемингуэй напишет хорошую статью, это привлечет в Кению туристов, которых в последнее время отпугивали волнения Мау-Мау *.

Рано утром в последний день пребывания на Саленгаи Эрнест убил первого льва, убил не очень эффектно, хотя потом и хвастался. Когда они выехали из лагеря, накрапывал дождь. Два льва пожирали приманку. «Папа стрелял с двухсот ярдов,—писала потом Мэри.— Мы услышали, как ударилась пуля, но лев не упал и не заревел». Дело в том, что он просто исчез. Вместе с Персивалем и Менокалем они пошли по следу. Через полчаса Денис нашел раненого льва и быстро прикончил его двумя выстрелами. Эрнест тоже выстрелил два раза. Когда льва свежевали, Хемингуэи взяли в рот по кусочку сырого мяса.

Отчасти это была дань суеверию. Майито Менокаль убивал больше зверей, чем Эрнест, хотя скромно приписывал такое везение своему желтому шарфу. Видимо, шарф действительно был счастливый, это подтвердилось через два дня, в районе Каджиадо, близ реки и болота Кимана. Переезд к югу занял четыре часа, и лагерь раскинули под высокими деревьями, на краю пыльной, но похожей на парк поляны. 11 сентября Майито убил черногривого льва, пяти футов от носа до кончика хвоста и весом в 500 фунтов, причем, в отличие от Эрнеста на Саленгаи, убил с одного выстрела. Трудно пришлось Эрнесту и тогда, когда он с Мэри и Денисом углубился в болота Кимана. Там паслось большое стадо буйволов, из-за высоких камышей выглядывали их черные спины. Когда Эрнест выстрелил в одного из буйволов, Денис стал уверять его, что он попал. Однако ни буйвола, ни кровяного следа они не нашли.

В надежде отыграться Эрнест распаковал старый спрингфилд, из которого он так метко стрелял в 1933 году. Сначала дело пошло: он убил зебру, и на следующий день геренука — оба раза с одного выстрела. А потом снова начались промахи — две зебры, кабан, лев, львица и бабуин — все за две недели. Но влет он по-прежнему стрелял отлично и пользовался каждым случаем поохотиться на птицу. Ходить пешком было ему полезно. Вес его уменьшился до 190 фунтов, несмотря на прекрасный аппетит, и в письмах он неизменно сообщал, что всем доволен. И это была правда, если не считать неудач в стрельбе.

Они снялись с места 19 сентября, на три дня вернулись на Саленгаи, а 24-го прибыли в новый район, которому департамент охоты присвоил название Лагерь Маслин. Находился он к западу от Магади и к северу от озера Натрон, у прозрачной речки Олеибортото, вытекающей из западного конца ущелья Рифт. Там, в нескольких милях к югу от лагеря, Майито убил великолепного самца-леопарда, а вскоре затем Мэри — самца куду, одним выстрелом в шею.

В первое воскресенье октября Тейсен отбыл в Найроби и дальше — домой, в США. Майито уехал в Танганьику, а Эрнест и Мэри на десять дней остались в Лагере Маслин, все еще надеясь, что Мэри удастся убить льва. 13 октября они вернулись в Найроби, встретились с Томом Шелвином и превесело пообедали на ферме у Персиваля. Мэри осталась на ферме писать статью об Испании, а Эрнест полетел в Танганьику навестить Патрика, чья новая ферма раскинулась на 3000 акров среди высоких лесистых холмов и горных лугов. Эрнест к этому времени наголо обрился и с гордостью демонстрировал Патрику и Хенни свои многочисленные шрамы.

14 декабря Мэри слетала в Найроби купить рождественские подарки. Возил ее туда Рой Марш, пилот местной авиации, который доставлял в лагерь Кимана почту и устраивал для охотников воздушные прогулки над болотом Кимана и холмами Чулу. Рождество они справили на африканский лад — украсили вместо елки терновое дерево и одарили туземцев, прислуживавших им на охоте. А под Новый год спокойно попили чаю с пирогом, который привезли из города Персивали.

«Мы очень счастливы,— записала Мэри в дневнике 2 января,— все вспоминаем, какой прекрасный был год».

Эрнест сидел рядом, потирая бритую голову. «Я не враль,— сказал он,— но я ужасный хвастун».

«Неправда,— ласково подумала Мэри.— Просто ты переполнен радостью жизни».

«Молодцы мы, что приехали в Африку»,— сказал Эрнест.

Уганда, и чем это кончилось

В пятницу 8 января 1954 года Хемингуэи мирно проводили вечер в своем недавно обжитом лагере в Кимане. Это был один из последних таких вечеров. Недели через две они собирались вылететь из Найроби в Бельгийское Конго. В виде запоздалого

* Имеется в виду объявленное в 1952 году в Кении чрезвычайное положение в связи с жестоким подавлением английскими властями движения жителей Кении за пользование своей землей. Борьба продолжалась четыре года, несколько тысяч африканцев было убито, еще больше арестовано или согнано с прежнего местожительства. Террористами Мау-Мау англичане называли кенийцев — участников этой борьбы.

рождественского подарка Мэри — Рой Марш обещал свозить их туда на самолете «Кесна-180». План был таков: 15-го уехать из Киманы, провести одну ночь в заповеднике Амброзели, несколько дней у Дениса в Каджиадо; а потом — в Найроби, чтобы, как говорил Эрнест, «перегруппироваться».

А пока что Эрнест работал. В самый разгар волнений Мау-Мау Денис добился его назначения почетным охотничьим инспектором района Киманского болота. Хотя главной целью было «дать ему почувствовать себя участником жизни в дикой Африке», он был официально уполномочен производить аресты, обыски и передавать дела в суд. Немногие любители выполняли бы эту работу так весело, с таким чувством ответственности и гордости. Когда леопард или лев нападал на скот масаев или слоны вытаптывали их посевы, он тотчас же откликался на жалобы, осматривал место происшествия или полусъеденное животное и советовал, как поступить. Иногда он полночи рыскал в темноте с копьем. Он говорил, что это все равно что шесть-семь дней в неделю играть в бейсбол, и уверял, что стал жевать табак — для придания себе уверенности.

В промежутках между обходами он заглядывал в деревенские лавки и кабачки, особенно в заведение одного индуса по имени Сингх, державшего лавчонку и лесопилку в Лаитокитоке. Незадолго до отъезда жена Сингха угостила его вкуснейшим блюдом из кур под пряным соусом и лапши. А потом Эрнест посадил в свою машину шестерых мальчуганов и стал учить их держать руль, давать задний ход, поворачивать, гудеть в клаксон и гоняться за уныло-торжественными местными ослами.

21-го, как и было задумано, они вылетели из Найроби. Вез их Рой Марш, стройный, уверенный в себе молодой человек с черными усиками. Маршрут был сложный. Сначала полетели на юго-восток, к Лагерю Маслин, где сбросили письмо Денису Зафиро, осмотрели с воздуха ущелье Рифт и поразились окраске озера Натрон, розового от бесчисленных фламинго. Во второй половине дня повернули на запад, пролетели над кратером Нгоронгоро и равниной Серенгети. Эрнест показал места, где был его лагерь в 1933 году и где Полина убила льва. В Мванза они сделали короткую посадку, заправились и к закату прибыли на Киву — самое красивое озеро, какое Мэри видела в своей жизни.

На следующий день повернули на север, вдоль цепи озер Эдвард, Джордж и Альберт и вечером сели в Энтеббе на северо-западном берегу озера Виктория. Мэри сделала сотни снимков: Натрон и фламинго, огромные стада в Нгоронгоро и Серенгети, цветные фотографии Киву, туземных деревень, рыбаков в долбленых челнах, слонов и буйволов, пасущихся вместе, гиппопотамов, купающихся у берегов озер. На третий день они увидели Белый Нил, лентой вьющийся среди зелени, и повернули на восток, вдоль Виктория-Нила, чтобы Мэри могла сфотографировать водопад Мерчисон-Фоллз, где река с ревом низвергается в ущелье несколькими эффектными каскадами.

Рой сделал над водопадом три круга, накреняя самолет, чтобы удобнее было фотографировать. На третьем круге на пути самолета вдруг возникла стая ибисов. Спикировав, чтобы не налететь на них, Марш задел за оборванный телеграфный провод, тянувшийся через ущелье. Провод хлестнул пропеллер и проскреб по хвостовому оперению. Марш круто свернул прочь от водопада, попробовал набрать высоту, убедился, что самолет упорно снижается, и стал высматривать место для посадки. В трех милях к юго-западу от водопада земля поднялась им навстречу. Под скрежет рвущегося металла самолет грохнулся в заросли терновника. «Выходите, да поживее», скомандовал Марш. Хемингуэи выскочили из машины и впервые в жизни ступили на каменистую почву Уганды.

Рев мотора стих, наступила мертвая тишина. Марш выпрямил антенну радио. Из кабины донесся его голос: «Май, май, май. Сообщаю: сели в трех милях к юго-юго-западу от Мерчисон-Фоллз. Пострадавших нет. Ждем помощи». Он повторил свое сообщение и перешел на прием. Ответа не было. В густых зарослях что-то шуршало, потрескивало. Мэри была почти без сознания, ее уложили на землю. Несколько минут Эрнест не мог найти у нее пульс, потом насчитал 155 ударов в минуту. У нее появилась резкая боль в груди, а Эрнест при ударе самолета о землю повредил правое плечо. В остальном, как и сказал Марш, никто не пострадал.

Немного отдышавшись, они взобрались на холм, где на фоне неба чернели брошенные телеграфные столбы. Дело шло к вечеру, Эрнест стал собирать хворост для костра. С холма видна была река, куда приходили на водопой слоны и гиппопотамы. Ночь Мэри кое-как проспала, укрытая свитером и плащом, а мужчины дремали, сидя у костра.

Едва рассвело, Рой пошел к водопаду, чтобы выложить огромную стрелу, указывающую путь к упавшему самолету. Эрнест собирал хворост и вдруг увидел поразительное зрелище — по реке плыл большой белый катер. Они с Мэри стали махать плащами, но с катера их, видимо, не заметили. Бежать к реке было опасно — очень близко находились слоны. Уже готовые отчаяться, они вдруг увидели, что катер причалил к маленькой пристани, и из него вышли какие-то люди. Они опять стали махать и кричать, и на этот раз их заметили. По склону стала подниматься группа туземцев. Эрнест остался ждать Роя, а Мэри спустилась к берегу.

На носу катера было выведено его название — «Мерчисон». Командовал им ин-

диец, отнюдь не горевший желанием увеличить число своих пассажиров. Катер зафрахтовал на этот день Мак-Адам, английский врач из Кампалы — он уже пошел с женой и сыном осматривать водопад. Когда подошли Эрнест и Рой, индиец запросил с них за проезд фантастическую плату — по сто шиллингов с человека. Он привык иметь дело с богатыми американцами, его катером пользовался Джон Хастон и его труппа во время съемок фильма «Африканская королева».

Уже вечерело, когда они доплыли до озера Альберт и пошли вдоль его восточного берега к Бутиаба. На пристани их ждал пилот местной линии Регги Картрайт и с ним полисмен Уильямс. Весь день они провели в поисках. Прошел слух, что Хемингуэи погибли. Какой-то летчик BOAC*, пролетавший над водопадом, сообщил, что видел разбитый самолет и никаких признаков спасшихся людей. Самолет Картрайта, двенадцатиместный «Хэвиленд», стоял готовый к отлету в порту Бутиаба, и Картрайт предложил подбросить их до Энтеббе.

Когда они добрались до самолета, уже почти стемнело. Машина показалась им вполне надежной, но взлетная дорожка напоминала плохо вспаханное поле. Они без особой охоты заняли места в кабине, поглядывая вперед на дорожку, и самолет запрыгал по бороздам, скрипя и взвывая, поднимаясь и снова плюхаясь о землю. Внезапно он остановился и вспыхнул.

Пока Мэри отстегивала пояс, за окном рядом с ней крутились языки пламени. Она с трудом отыскала правую дверь, но дверь зажало. Впереди Рой Марш выбил ногой окно. Он и Мэри выбрались в это окно и побежали, Картрайт — за ними. Потом на правом крыле появился Эрнест — он высадил-таки дверь своей злополучной головой и поврежденным плечом. Он соскочил на землю и шатаясь отошел подальше в отблесках пламени. За два дня они потерпели две аварии и остались живы.

Живы, но далеко не невредимы. Выбираясь из кабины, Эрнест разбил себе голову. Кровь хлестала у него из макушки и текла за левое ухо. Мэри сильно хромала — она расшибла колено. Полисмен Уильямс и его жена посадили их в машину и повезли за пятьдесят миль в Масинди. Эрнест потом говорил, что это была самая долгая поездка в его жизни, и Мэри она тоже едва ли показалась короткой. В Привокзальном отеле в Масинди не было ни еды, ни покоя. Праздновать спасение собралось несколько летчиков местных линий. Они, как и Картрайт, весь день прочесывали местность в поисках упавшего самолета. Хемингуэи, как только сочли возможным, ушли к себе в номер...

Наутро Мэри послала телеграмму родителям. По всему миру люди уже узнавали из газет и по радио, что они уцелели. Явился врач, сделал перевязки, и в наемной машине с шофером они отбыли в Энтеббе — больше ста миль по пыльным дорогам. Им дали угловой номер в отеле «Озеро Виктория». Здесь их ждали представители «Ист-Африкен Эруэйз», чтобы получить из первых рук отчет об авариях. Позднее Эрнест что-то промямлил журналистам, хотя в глазах у него двоилось и слышал он с перерывами, как слышишь радио во время грозы. «Мне все еще везет»,— объявил он репортерам.

До конца недели он дотянул на джине и собственной стойкости. У него было что-то неладно с почкой, часто повторялась рвота, позвоночник казался раскаленной кочергой, а свою разбитую голову он носил осторожно, как сырое яйцо. Во вторник в полдень из Дар-эс-Салама прилетел Патрик. Он привез 14 000 шиллингов, и его уверенная манера держаться порадовала отца. В четверг Рой Марш привел самолет «Кесна-170» и увез Эрнеста в Найроби. Мэри и Патрик улетели на следующий день рейсовой машиной. С начала поездки прошло всего девять дней, а казалось — тысяча лет. Из обоих полушарий сыпались поздравительные телеграммы. Сидя в смятой постели, Эрнест читал их одну за другой. Позднее стали прибывать преждевременные некрологи, появившиеся в газетах чуть ли не всех стран, и сотни высказываний всяких известных людей, которых попросили написать о Хемингуэе в те дни, когда было очевидно, что он погиб. Он поглощал их, по словам Мэри, «с безнравственной жадностью», хотя и заметил, что кое-кому весть о его смерти, должно быть, доставила удовольствие.

Жизнь его еще висела на волоске. Помимо общего сотрясения, увечья его включали ушибы печени, селезенки и почки, временную потерю зрения на левый глаз, частичную потерю слуха, сдавление позвонка, растяжение суставов правой руки и плеча, растяжение связок ноги, паралич сфинктера и ожоги первой степени на лице, руках и голове. Привыкнув позировать как неуязвимый, он сказал репортерам, что никогда еще не чувствовал себя лучше. На самом деле он никогда еще не чувствовал себя хуже. В начале февраля бывали даже дни, когда он позволял себе поныть. Он написал Бернарду Беренсону, что если тот когда-нибудь захочет усыновить действительно скверного мальчишку, то пусть возьмет его, Эрнеста. Он добавил, что Беренсон — его герой, потому что сумел дожить до такой прелестной хрупкой старости. Адриане ** он клялся, что оба раза, когда «умирал», жалел лишь о том, что это ее огорчит, и в сентиментальных тонах поминал Петрарку и Лауру, Абеляра и Элоизу. А Харви Брейту сообщил, что, прежде чем выбраться из второй аварии, два раза вдохнул огонь, а это еще не пошло на пользу никому, кроме Жанны д'Арк.

---

* British Overseas Airways Company — английская компания воздушных сообщений

** Адриана Иванчич — младшая сестра Джанфранко.

До всех несчастий они зафрахтовали лодку и оставили за собой грузовик и охотничью машину, а также туземных слуг, с тем чтобы устроить новый лагерь в Шимони на побережье Кении. Мэри уехала в Момбасу присмотреть за приготовлениями, а Эрнест, оставшись в Найроби, продиктовал статью в 15 000 слов для журнала «Лук», пообещавшего ему 20 000 долларов за то, что он назвал правдивым и юмористическим изложением недавних досадных происшествий в Уганде. Написал он в общем-то правду, но очень многословно, с ненужными комическими отступлениями и с обычными для него гиперболами. Поразительно не то, что статья эта написана неважно, а то, что человек в таком состоянии вообще смог ее написать.

Лагерь в Шимони уже функционировал, когда Эрнест прилетел туда с Маршем, который посадил самолет на пляж в нескольких милях к северу. И Патрик с Хенри, и Персивали были на месте, и Эрнест оживленно строил планы рыбной ловли. Но хотя остальные выезжали рыбачить почти ежедневно, он редко участвовал в этих поездках. Все время болел поврежденный позвонок, ему было очень трудно двигаться. А тут еще невдалеке от лагеря начался лесной пожар, и он сгоряча бросился на подмогу, но споткнулся и упал в огонь. Когда его вытащили, одежда на нем тлела, и он в полубреду определил, что на ногах, на животе, груди и губах у него ожоги второй степени, а на правой руке — первой. Это было уже слишком, после этого он пролежал в лодке в порту Момбасы до тех пор, пока не настало время отплыть на «Африке» в Венецию.

До Порт-Саида он не выходил из каюты, потом стал ежедневно вставать на часок, чтобы размять ноги. Он потерял двадцать фунтов веса и ослабел от внутренних кровоизлияний. В конце марта пароход прибыл в Венецию, и Эрнест прочно лег в постель в отеле «Гритти». Беренсону он написал, что собирался, наконец, совершить паломничество во Флоренцию, но теперь раздумал, а вместо этого, возможно, поедет в Торчелло и просто полежит там в гостинице, глядя, как в камине пылают буковые поленья. Но он никуда не поехал, лежал у себя и принимал обычный поток посетителей. Вид его действовал на всех угнетающе. И все же, несмотря на боль и тревогу, он весь апрель, который к тому же выдался холодный и дождливый, держался вызывающе-бодро.

Он по-прежнему уверял, что Венеция — его город, и любил сравнивать свои привычки с привычками Генри Джеймса. Джеймс, сообщил он Адриане, был великий американский писатель, который приезжал в Венецию, смотрел в окно, курил сигару и думал. Вот так же и он, разве что сигар не курит. Он съездил-таки в Торчелло и еще в Кодроипо, куда его пригласили Федерико и Мария-Луиза Кехлер. Но большую часть времени он читал у себя в номере, в мятой пижаме и несвежем халате, нацепив очки в стальной оправе и козырек. Когда его зашли навестить полковник Джим Лаккет с женой, он давал аудиенцию в спортивной рубашке, старом сером свитере, обтрепанных пижамных штанах и шлепанцах. Он произнес красноречивый монолог по поводу Битвы за Выступ * и своей собственной битвы с судьбой в Уганде. Чтобы позавтракать с Дэвидом и Эванджелиной Брюс, он приоделся, но сразу после завтрака снова залез в постель, слабый, «как выжатый лимон», пригоршнями глотая таблетки. Он старался возможно чаще видеться с Адрианой, которой теперь исполнилось двадцать четыре года, и все твердил ей, что надеется скоро увидеть ее замужем за лучшим человеком на свете. Он с гордостью рассказал ей, что Американская академия искусств и литературы присудила ему почетную награду и хочет вручить ее в Нью-Йорке в мае. Однако он не собирался туда ехать. Лучше он поедет в Мадрид на ферию святого Исидора, а потом не спеша поплывет из Генуи в Гавану.

Подготовка к поездке в Испанию, как всегда, оказалась сложным делом. В середине апреля Мэри побывала в Париже и в Лондоне, а потом поехала с Рупертом Белвиллом на машине в Севилью на бой быков. Адамо прибыл из Удине, чтобы везти Эрнеста в Испанию на «ланчии». Арон Хотчнер **, которого Эрнест в письмах называл Хотч (милый), был вызван из Голландии, чтобы сопровождать и слушать его в пути. Он примчался 2 мая, безмерно довольный возможностью снова попутешествовать со своим благодетелем. Эрнест встретил его приветливо, поддразнил по поводу его веснушек и бандитской шляпы, устроил в отеле «Гритти» и стал кормить до отвала в баре Гарри. Адриане он сказал, что Хотч — очень приятный малый, «с такой любящей, ищущей душой». 5 мая он повел Хотча в палаццо Иванчича на обед в американском стиле, а потом состоялась прощальная вечеринка у Эрнеста в номере.

На следующий день они выехали по автостраде в Милан. Но той романтической северной Италии, о которой мечтал Эрнест, он не увидел. Рекламные щиты, окаймлявшие дорогу, он назвал «вульгарными, ужасными». Он засунул себе под спину подушку, при каждом движении тошнота подступала ему к горлу. Но всю дорогу он угощал Хотчнера анекдотами и выдуманными историями о своем прошлом.

Второй день пути через Турин и Кунео до Ниццы Эрнест перенес много лучше. Он с удовольствием поглядывал на майскую зелень долин и снежные вершины Альп.

---

* Битва за Выступ — так называли бои по ликвидации прорыва гитлеровских немецких войск под командованием Рундштедта в Люксембурге в декабре 1944 года.

** Арон Хотчнер — журналист, одно время служил редактором в журнале «Космополитэн», где печатался Хемингуэй. После смерти Хемингуэя выпустил книгу о нем.

Но в Кунео его чуть не задушила толпа почитателей — какая-то продавщица узнала его, когда он покупал бутылку виски. Он добрался до машины лишь с помощью отряда солдат, очень испуганный и расстроенный. Остановившись в Ницце в отеле «Руль» на Promenade des Anglais, он вызвал парикмахера и велел сбрить себе бороду, чтобы до неузнаваемости изменить свою внешность. 9 мая Адамо стрелой домчал «ланчию» до Экс-ан-Прованса, а 10-го — до Каркассона. В холодный, туманный день они проехали через Биарриц в Сан-Себастиан, откуда забрали с собой Хуанито Кинтану. Он работал у виноторговца, жил в бедности на верхнем этаже высокого дома без лифта и был счастлив прокатиться с ними в Мадрид. Ненадолго задержались у собора в Бургосе. Войдя в собор, Эрнест с трудом опустился на колени и склонил голову в молитве. Проехав город, они остановились у каменного моста, и Эрнест торжественно заверил Адамо, что это тот самый мост, который описан в «По ком звонит колокол».

Мадрид был полон туристов, съехавшихся на фиесту, но для Эрнеста был забронирован номер в отеле «Палас», почти таком же роскошном, как «Ритц» в Париже. Как только из Севильи приехали Мэри и Руперт Белвилл, он, несмотря на ужасную погоду, стал ходить на бой быков. 18 мая, в первый теплый, солнечный день, он поехал с целой компанией на ферму близ Эскуриала, где, лежа на матадорском плаще, глядел, как Луис Мигель Домингин работает с годовалыми бычками. Там же он снялся с Домингином и Авой Гарднер, заявив, что ему лестно фигурировать на одной фотографии с знаменитой киноактрисой и с «лучшим из ныне живущих матадоров». Но позднее в частном разговоре он признался, что даже бой быков уже не производит сильного впечатления на человека, только что побывавшего в Африке.

Правду говоря, после аварии в Бутиаба и пожара в Шимони от прежней его энергии осталось одно воспоминание. В Мадриде ему пришлось обратиться к доктору Хуану Мадинавейтиа. Тот выслушал его историю, обследовал его и предписал полный покой и строгую диету при сильно сокращенных дозах спиртного. Эрнест по возможности следовал этим предписаниям в последнюю неделю в Мадриде и по пути в Геную. Во время долгого перехода в Гавану на «Франческо Морозини», хоть и «скучного до черта», он «отдохнул и поздоровел». В Фунчале на Мадейре его ждало письмо от Адрианы, на которое он, очень обрадованный, ответил в тот же день с соответствующими изъявлениями чувств. Ел он умеренно, читал, дремал и любовался красками океана. Больше ничего ему и не хотелось. Каждое написанное письмо и то его утомляло. Добравшись до дому после почти тринадцати месяцев отсутствия, он отдал себя в руки доктора Эррера и продолжал поправляться, понемножку тренируясь в бассейне и подкладывая под матрац доску, чтобы не так болела спина. Несмотря ни на какие Уганды он не намерен был «изображать короля Лира» и твердил, что уже тоскует по далеким холмам Африки.

Щедрый дар Швеции

Хоть Эрнест и поминал короля Лира, и отрастил белоснежную бороду, но ему шел всего пятьдесят пятый год, и он был твердо намерен восстановить свое здоровье, и физическое, и душевное. Старику Беренсону он говорил, что в конце-то концов нет ничего лучше молодости, лучше того, чтобы «любить кого любишь», просыпаться каждое утро, не зная, что принесет тебе день, но уверенный в том, что что-нибудь этот день да принесет. Слава писателя — одно дело, и всем известно, что он хочет писать книги, которые пребудут в веках. Но так называемого «паблисити» с него довольно. Все эти аварии с самолетами послужили только тому, что прежний лживый миф о смельчаке и задире сменила новая, столь же лживая легенда о его несокрушимости. В серьезные минуты его интересует только писательство, самая трудная из профессий. Она означает умение схватывать неуловимое и делать так, чтобы оно казалось не только уловимым, но и обычным. А поскольку это недостижимо — как мечта алхимика превратить низкие металлы в золото,— люди уважают это умение там, где они его усматривают. Но низкопоклонство писателю вредно. Истинную награду он находит в самом себе, в сознании, что пишет в полную меру своих способностей и даже лучше.

Ходили слухи, что Эрнест получит Нобелевскую премию. Такие слухи ходили и раньше, и он не очень-то им верил, однако говорил, что, уж если ему достанется столько денег, не подлежащих обложению налогами, он купит себе самолет «Кесна-180» и поживет в свое удовольствие. Развивал он (по принципу «зелен виноград») и теорию, что «ни один сукин сын, получивший Нобелевскую премию, не написал после этого ничего такого, что стоило бы читать». В подтверждение приводилась «Притча» Фолкнера, изданная в августе. Эрнест считал эту книгу фальшивой, искусственной: все, что требуется, чтобы выдавать по 5 000 слов в день такой продукции, говорил он,— это кварта виски, сеновал и полное пренебрежение к синтаксису.

Лето и осень прошли ни шатко, ни валко. В день, когда Эрнесту исполнилось 55 лет, он явился в Интернациональный яхтклуб получить орден Карлоса Мануэля де Сеспедеса, пожалованный ему за год до того. Мэри только что вернулась из Галфпорта, где устроила своих родителей в санаторий. Филип Персиваль был в Лондоне, ему предстояла операция рака. Джанфранко, трудившийся на своей усадьбе, ухаживал за девушкой по имени Кристина Сандоваль, которая Эрнесту не нравилась. Приезжали

в гости Ава Гарднер и Домингин. Подбодрил Эрнеста конец трехлетней размолвки с Грегори и то, что первый шаг к примирению сделал сын. Эрнест много говорил о документальном фильме, посвященном природе и животным Африки, но когда в прессе раньше времени появилось сообщение о планах съемок, в гневе снял свое имя.

Летом он одно время не мог писать ничего, кроме писем. Ближе к осени начал серию рассказов на материале своих недавних приключений в Африке. Один из этих рассказов все разрастался под его пером, и ему казалось, что может получиться роман. На самом же деле это была лишь слегка беллетризованная запись последнего сафари, изо дня в день, почти бесформенная, в которой интересные сцены чередовались с довольно банальными. На первом плане фигурировали он сам, Мэри и Денис Зафиро, а по мере надобности появлялись туземные охотники и другие африканцы. Он уделил много внимания Н'Ги и Чаро, которых вывел под собственными именами. Была там и Дебба, девушка из племени вакамба,— коротко стриженная, с жесткими ладонями и нахальным нравом, а в остальном, как он сказал Мак-Лишу,— «точь-в-точь Прюди Боултон», юная индианка с озера Валлун. В разговоре с Баком Ланхемом он упомянул, что рассказ этот должен ему понравиться, если только тема любви между белыми и черными не кажется ему предосудительной.

Ланхем недавно вернулся из Европы в колледж Штаба вооруженных сил в Норфолке, штат Виргиния, и от нечего делать решил лечь в больницу и соперировать давнишнюю грыжу. Как-то в конце октября к нему в палату вошла сестра со словами: «Генерал, вас вызывает междугородняя». Он узнал голос Эрнеста.

— Бак, хочу тебе сказать, я получил эту штуку.

— Какую штуку?

— Ну, эту, шведскую, ты же знаешь.

— Нобелевскую премию?

— Вот-вот. Я тебе первому звоню.

— Чудесно,— сказал Ланхем.— Поздравляю.

— Долго они думали, черт возьми,— сказал Эрнест.— Стоило бы послать их подальше.

— Ты с ума сошел. Нельзя этого делать.

— Да, пожалуй. Как-никак тридцать пять тысяч долларов. Мы с тобой можем здорово повеселиться на тридцать пять тысяч долларов. Так я из-за чего главным образом звоню, Бак, хочу тебя просить, приезжай сюда и помоги мне. Сейчас ко мне все начнут ломиться, спасай!

Ланхем упомянул, что только день как его оперировали.

— Да ну же, Бак,— сказал Эрнест,— это не серьезно. Приезжай. Неужели эти доктора не могут что-нибудь сделать?

— Они уже сделали, да так хорошо, что я еле одолел этот чертов коридор, чтобы подойти к телефону.

— Так слушай, Бак, кроме шуток, я туда не поеду. Я что-нибудь напишу, пусть прочтут. Что бы ты сам запел, если бы получил Нобелевскую премию?

28 октября о премии было объявлено официально, и Эрнест решил вести себя вежливо и даже благородно. В разгар многолюдного сборища в Финка-Вихия из Нью-Йорка позвонил Харви Брейт и попросил интервью.

— Кому из писателей, живших до того, как была учреждена Нобелевская премия, вы бы сами ее присудили? — спросил Брейт.

— Что ж,— сказал Эрнест,— как лауреат, не могу не пожалеть, что этой премии не были удостоены ни Марк Твен, ни Генри Джеймс, это если говорить только о моих соотечественниках. Не досталась она и более великим писателям, чем те, которых я назвал. Сегодня я был бы счастлив... счастливее, если бы премию получил прекрасный писатель Исаак Динесен * или Бернард Беренсон, посвятивший всю жизнь лучшим в мире работам о живописи, а больше всего меня порадовало бы, если бы премию присудили Карлу Сэндбергу... Поскольку я уважаю решение Шведской академии, высказывать такие замечания мне не к лицу. Но всякий, кто удостаивается подобной почести... должен принимать ее смиренно.

— Хем,— сказал Харви Брейт,— это здорово.

— Значит, о'кей?

— Очень даже о'кей,— сказал Брейт.— Это просто замечательно, Хем, и я тебя люблю.

Эрнест положил трубку, вытер вспотевший лоб и вернулся к гостям. Позднее он объяснил, что в то утро был настроен милостиво и великодушно, и очень рад, что ему удалось своим признанием порадовать трех людей, которые «всю жизнь на совесть работали». Это не шутка — в один день осчастливить трех человек, тем более что все они уже не молоды.

Официальный текст решения Нобелевского комитета ему не понравился. Его хвалили за «то, что он мастерски владеет искусством современного повествования». Однако ранние его вещи были охарактеризованы как «грубые, черствые, циничные», а значит, не отвечающие требованию, чтобы награда присуждалась за «произведения

* Исаак Динесен — псевдоним Карен Бликсен, датской писательницы, много лет прожившей в Кении.

идеалистического направления». Но опять-таки в решении упоминался и «героический пафос», лежащий в основе его восприятия жизни, и его «мужественная любовь к опасности и приключениям», и «естественное восхищение каждым, кто борется за правое дело в мире, омраченном насилием и смертью». В общем, заметка носила на себе отпечаток коллективного творчества, и Эрнест, поворчав, как таковую ее и принял.

Чарльзу Скрибнеру он сказал, что с этой «чертовщиной», к счастью, покончено. Она заставила его прервать работу, нарушила его уединение, вызвала «отвратительную шумиху». Впрочем, чек на 35 000 долларов позволит ему расплатиться кое с какими долгами. Что касается изящной золотой медали, то он никак не мог придумать, что с ней делать. Йейтс назвал ее «щедрым даром Швеции», и Эрнесту тоже хотелось проявить щедрость. Сперва он решил подарить ее Эзре Паунду, потом раздумал. Некоторое время держал ее дома, в потайном ящичке с драгоценностями, и наконец преподнес в дар покровительнице Кубы святой деве с тем, чтобы она хранилась в посвященной богоматери церкви в Сантьяго.

В ноябре пришло письмо из американского посольства в Стокгольме. Посол Джон Кэбот узнал из газет, что мистер Хемингуэй по состоянию здоровья не сможет лично получить свою премию. Если это действительно так, посол предлагает принять ее от его имени. Министр Стале, директор нобелевского фонда, выразил надежду, что мистер Хемингуэй напишет несколько слов, дабы можно было прочесть их на торжественном банкете.

В ответ Эрнест послал следующий текст:

«Члены Шведской академии, леди и джентльмены!

Я не мастер произносить речи и не силен в риторике, но я хочу поблагодарить распорядителей фонда, щедро завещанного Альфредом Нобелем. Зная, какие великие писатели не получили этой премии, всякий писатель должен принять ее не иначе, как со смирением. Нет нужды перечислять этих писателей. Каждый из здесь присутствующих может составить свой собственный список, как подскажут ему его знания и его совесть. Я не считаю возможным просить посла моей страны прочесть речь, в которой писатель высказывал бы все свои сокровенные мысли. В том, что человек пишет, бывают стороны, которые не сразу бросаются в глаза, и, может быть, в этом его счастье; но рано или поздно они проступают совершенно отчетливо, и от них-то, и от степени некой алхимии, которой писатель владеет, зависит, переживет ли он свое время или будет забыт. Жизнь писателя — всегда одинокая жизнь. Писательские организации в какой-то мере спасают писателя от одиночества, но сомневаюсь, чтобы они помогали ему в работе. Расставаясь со своим одиночеством, он вырастает как общественная фигура, и работа его при этом часто страдает. Ибо работает он один, и если он — достаточно хороший писатель, он изо дня в день думает о том, останется или не останется его имя в веках. Для настоящего писателя каждая книга должна быть новым началом, новой попыткой достигнуть недостижимого. Он всегда стремится сделать то, чего до него никто не делал или что другие пытались сделать и не сумели. И на этом пути, если ему очень повезет, он иногда добивается удачи. Как просто было бы работать в литературе, если бы требовалось только написать по-другому о том, о чем уже хорошо написано. Именно потому, что в прошлом у нас были такие великие писатели, современный писатель вынужден уходить дальше, куда ему, возможно, и не дойти и где никто ему не поможет. Для писателя я уже наговорил слишком много. То, что писатель хочет выразить, он должен не говорить, а писать. Еще раз благодарю».

Первые пять месяцев 1955 года лейтмотивом Эрнеста были жалобы на то, что ему не дают покоя люди и болезни. Под Новый год он рано лег спать и вечером ничего не пил, а утром проснулся с сильнейшей сыпью на лице и груди, которую сначала приняли за рецидив рожистого воспаления. Через две недели он писал Чарльзу Скрибнеру, что со здоровьем у него все еще неважно. Боль в спине мучила его целый год после аварий, и он не без рисовки сообщал Адриане, что и пишет отчасти для того, чтобы не сойти с ума от боли. В середине февраля умер отец Мэри, она уехала в Галфпорт, а у Эрнеста настроение еще упало. И, как всегда, его одолевали люди. Кончив дневную порцию работы, он хотел одного: дать восстановиться истраченным силам; ему совсем не хотелось ни спорить, ни что-то объяснять, ни выставлять себя на обозрение, «как слон в зоопарке».

Часов в десять утра 6 апреля, когда он работал, к нему явились четыре студента-второкурсника из Принстона. Он объяснил им, что должен зарабатывать на жизнь писательством, и просил подождать у бассейна, пока он кончит дневную порцию. Выслав им пива, он попытался вернуться к работе. Но работа «застопорилась», и, надев рубашку, он пошел болтать с юнцами. Они уехали часа в три, в полнейшем восторге. Не прошло и четырех часов после их отъезда, как явился еще один студент, бросил на пол пальто и чемодан, сунул Эрнесту пачку рукописей и просидел у него почти до полуночи. Он слушал курс по литературному творчеству, который вел в Ратгер-колледже Джон Чиарди. Эрнест разобрал с ним три рассказа, раскритиковал письменные замечания Чиарди, прочел юноше лекцию о писательском ремесле и дал ему 25 долларов на обратную дорогу.

Через два дня приехал, на этот раз по приглашению, молодой преподаватель из Буффало. Звали его Фрезер Дрю, и он много лет коллекционировал книги Хемингуэя. Шофер Хуан привез его в Финку от бара «Амбос мундос», а Эрнест вышел встречать его на террасу. «Э. Х. оказался огромным мужчиной,— писал впоследствии Дрю,— в шортах цвета хаки и в старой рубашке, с седыми волосами и бородой и румяным лицом. Он пожал мне руку и поначалу явно стеснялся, словно не он, а я был важной персоной». Эрнест показал гостю нижний этаж дома, потом повел его к бассейну. Стеснительность его исчезла, «с ним было очень легко, он двигался и говорил не спеша, держался очень приветливо и скромно», и голос у него был «негромкий и спокойный». Разговор шел о книгах Аткинса, Бейкера, Фентона и Янга, посвященных творчеству Хемингуэя. «Он говорил о своих критиках очень доброжелательно,— вспоминал Дрю,— но считает, что о живых людях вообще не надо писать». Его поразило, как Аткинс мог написать свою книгу в Хартуме, далеко от библиотек и первоисточников... Книга Янга ему совсем не понравилась, поскольку главный ее тезис — что все вещи Хемингуэя продиктованы травмой... О Карлосе Бейкере и его объемистой книге он очень высокого мнения... Но книга его трудновата, и он, как многие другие критики, отводит слишком много места символике... По его мнению, ни один хороший писатель не заготовляет свои символы заранее и не строит вокруг них книгу, но если книга хорошая и верна жизни, из нее могут возникнуть символы, которые стоит изучить, если не делать на них слишком большой упор... Э. Х. считает, что Фентон в своей книге тоже переборщил. Фентон — неудавшийся писатель и неудавшийся агент ФБР».

Встреча их состоялась в страстную пятницу, и Дрю упомянул, что он католик. «Мне нравится думать, что я тоже католик,— сказал Эрнест,— по мере своих сил. Я до сих пор хожу иногда в церковь, хотя тут много чего произошло по части разводов и повторных браков». Он заговорил о священнике баске доне Андресе. «Он каждый день молится за меня,— сказал Эрнест.— А я — за него. За себя молиться я больше не могу. Может быть, потому, что в каком-то смысле ожесточился».

В эту пору Эрнест сильно располнел от вынужденно сидячего образа жизни. Чтобы войти в форму и отдохнуть от посетителей, он прокатился с Мэри вдоль побережья на «Пилар». Вернулись они 4 мая, он весил уже всего 230 фунтов и чувствовал такой прилив энергии, что за следующие три недели довел свою книгу об Африке до 446 страниц. Но когда он уставал, спина по-прежнему болела, и он жаловался, что плохо видит левым глазом и совсем оглох на левое ухо. Правда, он ничего не сказал о своих недомоганиях Леланду Хэйуорду и Питеру Виртелу, когда они приехали к нему 1 июня возобновить разговоры о съемке фильма «Старик и море». Он повез Виртела, как раньше возил Спенсера Трэси, в Кохимар и, чтобы показать ему, что такое искусство рыбной ловли, поймал трех белых марлинов. Виртел пообещал закончить сценарий к 1 сентября, и тогда прибудет съемочная группа, чтобы отснять предварительные кадры ловли. После отъезда Хэйуорда и Виртела Эрнест обнаружил, что потерял еще четыре фунта веса. Кровяное давление упало, самочувствие было лучше, чем когда-либо после Африки.

Но рассчитывать на тихую жизнь он не мог никогда. В конце июня скоропостижно скончался дон Андрес, уже два года боровшийся с болезнью сердца. Вскоре после этого Эрнест приехал с Мэри в Ки-Уэст, в связи с ремонтом и сдачей внаем дома на Уайтхед-стрит. На 4 июля туда прилетел Арон Хотчнер, чтобы обсудить с Эрнестом свой план инсценировки нескольких его рассказов. В последний раз они виделись в Мадриде в 1954 году, и Хотчнера поразило, как Эрнест с тех пор постарел. Такое же впечатление было у Билла Уолтона и Джанфранко, когда они справляли пятьдесят шестой день рождения Эрнеста. На следующий день он писал Патрику: «Годы, черт их дери, бегут. Но живем мы интересно, а этим мало кто может похвастаться».

В августе прибыли операторы и техники снимать «Старика и море». Эрнест снова был полон энергии и провел тщательную подготовку к съемкам. Он нанял в Кохимаре четыре старинные лодки, к которым должны были устремляться «Пилар» и принадлежавшая Майито «Тенси» всякий раз, как клюнет большая рыба. До середины сентября они работали каждый ясный день, хотя море было очень бурное. В первый день Эрнест поймал двух крупных марлинов и подолгу стоял у штурвала «Пилар», подкрепляясь глотками текилы. Предприятие было нешуточное — четырнадцать человек в съемочной группе и вдобавок Эрнест и родственник Майито, неутомимый спортсмен Элисин Аргуэльес. Эрнест от себя поставлял лед, приманку и рыболовную снасть и однажды с восторгом заметил, что все это смахивает на организацию сафари, только на море.

Для подготовки к этому утомительному предприятию Эрнест выписал к себе своего старого друга и тренера по боксу Джорджа Брауна. Браун делал ему массаж и умилял его неустанной заботливостью. «Больно, Эрни? — спрашивал он.— Ну, как спина? Ты ляг, как будто хочешь уснуть. Приготовь-ка ему выпить, Ренэ. Когда это тебе вредила выпивка, друг? Поднеси ему ко рту, Ренэ. Пей медленно, Эрни. Расслабься как следует. Сейчас я тебе помассирую ноги». Эрнест упивался таким обращением. По его просьбе Джордж, среди прочих, засвидетельствовал завещание, которое Эрнест старательно написал на листе зеленевой бумаги и пометил 17 сентября. Все свое состояние он завещал Мэри, ее же назначил душеприказчицей. В четвертом пункте говорилось:

«Я умышленно не оставляю ничего моим детям, ни ныне живущим, ни тем, что могут родиться после подписания настоящего завещания, ибо верю, что возлюбленная моя жена Мэри позаботится о них согласно письменным указаниям, которые я ей дал».

Все три его сына процветали, каждый на свой лад. Бэмби сменил армию на бизнес и в октябре порадовал отца, приехав на две недели в отпуск в Финка-Вихия. Оба других находились в Танганьике, где Гиги охотился, а Патрик недавно закончил курс подготовки к работе белого охотника, чем Эрнест безмерно гордился.

Снова в нем пробудился интерес к бою быков — в Гаване появились Домингин и Ордоньес, приглашенные на зимние корриды в Центральную и Южную Америку. Книга об Африке разбухла уже почти до 700 страниц, и он предложил Мэри съездить на недельку в Каракас, где от 27 ноября до 4 декабря должны были выступать лучшие матадоры Испании. Но затею эту пришлось отменить. 17 ноября он простудился. Через два дня правая нога у него раздулась, «как футбольный мяч», и начался воспалительный процесс в правой почке. Вскоре оказалась затронутой вторая почка и печень, появились симптомы нефрита и гепатита. Он пролежал в постели с 20 ноября до 9 января, хотя, начиная с 30 ноября, понемножку работал над книгой об Африке и много читал. Со времени африканских аварий миновало почти два года. Он догнал Фолкнера, тоже получив Нобелевскую премию, и здоровье его, в общем, шло на поправку. Но, как показала последняя болезнь, до полного выздоровления было еще далеко.

Взгляд в прошлое

К Новому году ему еще не разрешили вставать. Гемоглобин упорно держался ниже нормы. И с экранизацией «Старика и моря» дело не ладилось. Сколько они ни трудились в сентябре, им так и не удалось эффектно снять гигантского марлина. Теперь шла речь о том, чтобы лететь в Перу, в Кабо-Бланко, где марлины, по слухам, достигали тысячи фунтов веса и своей царственной повадкой могли сравниться с большой рыбой из повести Эрнеста.

В предвидении этой поездки, намеченной на конец апреля 1956 года, Эрнест завернул свою объемистую африканскую рукопись в целлофан и отложил в сторону. Его бесило, что опять он долго не сможет писать, но он как-то процедил сквозь зубы, что надеется прожить эту весну, не убив никого, даже себя.

В марте приехал Леланд Хэйуорд с директором картины Зиннеманом, и Эрнест раскритиковал подбор актеров. Мальчик, которого взяли на роль Маноло, показался ему помесью головастика с Анитой Лус *. Что касается Спенсера Трэси, который с последнего приезда на Кубу сильно располнел, то Эрнест заявил, что это «очень толстый, богатый и старый», хотя, несомненно, все еще искусный актер. Бесили Эрнеста и постоянные стычки среди участников съемок, включая самого Трэси. Понаблюдав за ними две недели, Эрнест писал Уоллесу Мейеру **, что больше никогда не будет иметь дела с кино.

Как и намечалось, он полетел в Перу с Мэри, Грегорио и Элисином Аргуэльесом, и там они каждый день с раннего утра и часов до пяти проводили в море. Море было очень бурное, в первые две недели они не видели ни одного марлина. Возвращаться с пустыми руками было слишком обидно, и они стали для забавы рыбачить под защитой голых прибрежных утесов. Однажды они видели кондора, который задом шел вдоль края воды, с легкостью таща мертвого пеликана. По вечерам Эрнест дегустировал перуанские вина и напиток под названием писко — некую смесь текилы с водкой. В следующие две недели им повезло больше, хотя море бушевало по-прежнему. Эрнест и Элисин вытащили по два огромных марлина, ни один из которых, впрочем, не весил тысячи фунтов. Как ни удивительно, спина Эрнеста не подвела, он за восемь минут вытаскивал рыбину весом в 680 фунтов, прежде чем ослабить лесу и дать марлину попрыгать на радость операторам.

Домой он вернулся в конце мая, уверяя, что спустил свой вес до «нормальных» 217 фунтов, и теперь намерен «жить еще долго и получать максимум удовольствия». В смысле здоровья поездка пошла на пользу и ему, и Мэри, но он не уставал повторять, что только зря потерял время. Проклятые киношники отняли у него три-четыре месяца его «единственной жизни». Утешала только крупная сумма, снова выплаченная ему компанией «Уорнер» и доказывавшая, что денег он, во всяком случае, всегда сумеет заработать. Журнал «Лук» предложил ему 5 000 долларов за 3 000 слов текста и подписей к фотографиям, которые сделал Эрл Тейсен, недавно побывавший в Финка. Эрнест сперва поломался, хотел было затеять ссору с Биллом Этвудом, присланным к нему из журнала, а потом за полтора дня написал все, о чем его просили. Однако в своей заметке он с одобрением процитировал замечание Сирила О'Коннолли, что «любые экскурсы в журналистику, радио, пропаганду и сценарии» — чистое

---

* Анита Лус — автор нашумевшего в 20-х годах юмористического романа «Джентльмены предпочитают блондинок».

** Уоллес Мейер — редактор издательства «Скрибнерс», сменивший умершего в июне 1947 года Максуэлла Перкинса.

безумие, «поскольку таким путем мы обрекаем на забвение не только плохие идеи, но и хорошие».

В ту неделю, когда ему минуло 57 лет, он показал себя и щедрым и предельно раздражительным. Он послал Эзре Паунду чек на 1 000 долларов «по древнему китайскому правилу... никто не владеет ничем, пока не отдаст это другому». Но четыре дня спустя он отнюдь не великодушно уверял какого-то корреспондента, что Уильям Фолкнер — «сукин сын и никуда не годный писатель». Самые приемлемые его романы — «Святилище» и «Пилон». Достоин внимания «Медведь», неплохо кое-что о негрях. Но «Притча» не заслуживает даже места в Ичанге, куда свозят отбросы из Чунцина.

Отчасти его раздражительность несомненно объясняется тем, что собственная его работа в это время шла неважно. Африканская рукопись так и лежала завернутая в целлофан, а он почти все лето посвятил рассказам. Это «Комната окнами в сад», анекдот из жизни отеля «Ритц» сразу после освобождения Парижа; «Перекресток», или иначе «Черный осел на перекрестке», реалистическое описание засады отступающих немцев на дороге в Аахен в начале сентября 1944 года; «Памятник» и «Индейская территория и Белая армия» — о пехотной атаке у деревни Хуффализ в Бельгии. Все эти военные рассказы — в сущности, незаконченные наброски, часто бесформенные и скучноватые; но худшее, что он написал в то лето,— это «Нужна собака-поводырь», сентиментальная история про американца, ослепшего в Венеции, видимо, подсказанная болезнью, угрожавшей зрению Эрнеста в 1949 году.

В августе он отложил работу и стал готовиться к путешествию в Европу. Он надеялся, что перемена климата поможет Мэри излечиться от малокровия. Вторую половину августа они провели в Нью-Йорке, в доме Харви Брейта, где они поселились, чтобы не привлекать к себе внимания в гостинице. На один вечер прилетал из Вашингтона Ланхем. Эрнест показал ему переписанные на машинке военные рассказы, присовокупив, что в них он «обессмертил» Ланхема, 22-й пехотный полк и 4-ю дивизию. Ланхем прочел рассказы с интересом, что вполне понятно, но залога бессмертия в них не усмотрел.

При посадке на «Иль де Франс» Хемингуэям удалось ускользнуть от внимания репортеров. Но на пароходе его сейчас же узнал старый знакомый — Ирвинг Стоун, который вез свою жену в Италию, где собирался начать работу над книгой о Микеланджело. «Я все про вас знаю, ребятки,— грубовато сказал им Эрнест.— Вы времени не теряли». Стоун с усмешкой указал Эрнесту на витрину книжного киоска, где было выставлено девять его книг и только три книги Эрнеста. Эрнест вспыхнул от гнева. На следующее утро в витрине красовалось шесть книг Эрнеста и шесть — Стоуна. В кино на пароходе демонстрировался фильм по книге Стоуна «Жажда жизни». Эрнест, извинившись перед Стоуном, ушел посреди сеанса. «Я и свои-то фильмы могу смотреть только в три приема»,— шепнул он, а позже рассказал Стоуну, как безобразно много времени у него отняла экранизация «Старика и моря».

В Испанию их на этот раз вез не Адамо, а Марио Казамассима, тощий и язвительный приятель Джанфранко. Поездка от отеля «Ритц» до Мадрида заняла два дня — 17 и 18 сентября. По дороге они остановились в Логроньо и видели, как Ордоньес убил на арене нескольких быков. Поселились они за городом, в «Гран отель Фелипе Сегундо», в получасе автомобильной езды от Мадрида. После парижских дождей осенние дни в Испании были так прекрасны, что Эрнесту, как он выразился в письме к Беренсону, казалось, будто он уже умер и попал в рай.

Главным событием сезона была ферия Пилар в Сарагосе — четыре дня гуляний и боя быков. Лучшим матадором и тут был Ордоньес. В этом сезоне он выступил 66 раз и трижды был ранен быком, один раз — серьезно. В компании, которая съехалась его смотреть, был Питер Бакли, молодой фотограф, собиравшийся писать книгу о бое быков и иллюстрировать ее собственными снимками; Руперт Белвилл в обществе хорошенькой американки; магараджа Куч-Бихара и Арон Хотчнер, только что приехавший из Рима.

Престарелый врач и писатель Пио Бароха-и-Несси был уже при смерти, когда Эрнест навестил его и принес в подарок теплые носки, свитер и бутылку виски. Еще в возрасте 81 года доктор Бароха продолжал писать, и Эрнест сказал ему, что он безусловно заслужил Нобелевскую премию. Когда Бароха умер, не дожив двух месяцев до 84 лет, Эрнест пошел на похороны. День был мглистый, изредка проглядывало солнце. По дороге на кладбище улицы были украшены цветами по случаю Дня всех святых. Провожающих собралось очень мало. Простой сосновый гроб был только что покрашен, и у тех, кто нес его, пятна черной краски остались на лицах, руках и одежде. Эрнест был взволнован и растроган.

Ему ужасно хотелось приобщить Ордоньеса к радостям африканской охоты. Незадолго до похорон Барохи он взял билеты на пароход до Момбасы и стал планировать шестинедельное сафари с Патриком в качестве белого охотника. Однако возникли осложнения — Насер закрыл Суэцкий канал. Это означало задержку на несколько недель — пришлось бы плыть вокруг мыса Доброй Надежды. Вторым препятствием было состояние здоровья обоих Хемингуэев. Доктор Мадинавейтиа, осмотрев Эрнеста, сказал, что об Африке не может быть и речи. Эрнест заявил, что все

равно поедет, а вдруг это — его последний шанс? Впрочем, одурачивать докторов ему доводилось и раньше. Он не собирается «заделаться ипохондриком», на одну поездку его еще хватит. Он продолжал ерепениться до 14 ноября, когда стало точно известно, что канал закрыт. Охотничья экспедиция ограничилась стрельбой куропаток на ферме близ Эскуриала. Это было приятно, но не могло заменить Саленгаи, и болота Кимана, и комнату за лавкой Сингха в Лаитокитоке. 17 ноября они погрузились в «ланчию» — Марио за рулем, Эрнест, угрюмый и молчаливый, рядом с ним — и поехали доживать год в отеле «Ритц» в Париже.

А в «Ритце», как выяснилось, больше четверти века хранился бесценный клад. Когда носильщики втащили в номер 56 всю гору сундуков и баулов, они напомнили Эрнесту, что в подвале «Ритца», наверно еще с 1928 года, лежат два небольших заплесневелых чемодана с его фамилией. В них оказались толстые пачки напечатанных на машинке листов, синие и желтые записные книжки, исписанные четким почерком Эрнеста, старые газетные вырезки, книги, майки и сандалии — слежавшиеся остатки его давних парижских дней. Этот привет из прошлого доставил ему огромную радость. «Просто поразительно,— говорил он Мэри.— А писать мне тогда было точно так же трудно, как сейчас». Он купил два новых чемодана и с помощью лакея снова запаковал свои сокровища, чтобы увезти их домой.

Но он был еще далеко не здоров и 30 ноября пригласил к себе доктора Луи Шварца. «День был солнечный,— вспоминает доктор Шварц,— и я помню, какой испытывал подъем... при мысли, что сейчас увижу человека, которым давно восхищался. Помню и огромные сундуки, загромоздившие вход в его номер. Он сидел в постели, слегка улыбаясь в короткую, кое-как подстриженную белую бороду, давал мне освоиться и рассказывал свою историю немного неуверенным голосом, а миссис Хемингуэй изредка поправляла его в мелочах. Моим предписаниям он подчинился послушно, как воспитанный старый ребенок... беспрекословно согласился на все анализы и почти без возражений — на строгую диету... Я бывал у него раз в неделю в течение месяца с лишним».

Между тем Мэри прилагала все усилия к тому, чтобы не дать ему заскучать. На неделю она съездила проветриться в Лондон, а потом они почти каждый день либо ездили в Отей, либо бродили по Левому берегу — рылись в книжных лавках или заходили в тир стрелять картонных уток. Франсуа Соммэр пригласил их в Мюрсан поохотиться на кабанов в Арденнском лесу. Обозревателя Ленарда Лайонса Эрнест возил в музей Клюни, посмотреть гобелены и старинные доспехи. К завтраку они, как всегда, принимали многочисленных друзей и знакомых, обедали же обычно одни у себя в номере. Мэри писала Патрику, что Эрнест тяготится диетой и пресными удовольствиями зимнего Парижа, а также возмущен, что «его тело сыграло с ним такую подлую шутку».

В конце января, на борту «Иль де Франс», Эрнест вверил себя попечению доктора Жана Монье, который предписал ему обильные инъекции витаминов и средство для снижения уровня холестерина. За шесть дней морского переезда его кровяное давление сильно упало — впервые за много месяцев. Он решил плыть на «Иль де Франс» до Вест-Индии, поскольку пароход заходил в Матансас на Кубе, и уговорил Джорджа Брауна сопровождать его в качестве «тренера». Мэри из Нью-Йорка съездила в Миннеаполис навестить больную мать и самолетом поспела домой еще до приезда Эрнеста и Брауна.

Всю весну 1957 года Эрнест пребывал в подавленном состоянии. Когда «Атлантик мансли» попросил его дать материал в юбилейный номер, он начал писать воспоминания о давнишних встречах с Фицджеральдом — «как мы познакомились и какой он был». Вспоминать оказалось легко, но писать — трудно. А потом он задумался о том, как друзья Дилана Томаса «предали» его посмертными анекдотами. Чувство, что он готов совершить предательство, так овладело им, что он вообще не стал писать о Фицджеральде. Вместо этого он сочинил рассказ «Джентльмен» — о грязном старом бродяге, которого ослепили в пьяной драке в Джессепе, штат Вайоминг. «По-моему, рассказ хороший»,— объявил Эрнест. Если он в самом деле так считал, значит, его способность трезво судить о вещах дала трещину.

1957 год обещал быть «паршивым», как и предсказывал Эрнест. После четырехмесячных весенних дождей наступила долгая влажная жара. Бэмби, едва начав работать в Гаване экспертом по капиталовложениям, заболел гепатитом и два месяца пролежал в постели. Только он начал поправляться, как заболел Грегори во Флориде. Мать Мэри была совсем плоха. Даже Гольфстрим был неинтересный, пустой. Когда из Африки прилетел на Кубу в отпуск Денис Зафиро, рыба ловилась хуже, чем за последние двадцать лет, ему удалось выловить всего двух приличного размера черных марлинов.

Эрнест слишком опасался правительственной цензуры, чтобы распространяться в письмах о политической ситуации на Кубе, однако он жаловался Беренсону, что прежнее очарование побережья исчезло, пляжи изрыты — там берут песок для строительства, через холмы близ Финка проложили четырехрядное шоссе. Гавана становится похожей на нечто среднее между Барселоной и Каракасом. Однажды в августе в четыре часа утра дала себя знать более грубая сторона политики: на территорию

Финка явился военный патруль, разыскивающий какого-то бежавшего преступника, и солдаты убили новую собаку Эрнеста — Мачакоса. Он сдержался и промолчал, но лишний раз убедился в том, какие опасности подстерегают человека при диктатуре.

Даже увеселительная поездка в Нью-Йорк не оправдала ожиданий. Они остановились в отеле «Вестбери», подолгу сидели в ресторане Тутса Шора, поскучали на встрече между Рэем Робинсоном и Карменом Басилио и два раза смотрели футбол на стадионе «Янки». Однажды вечером, когда Мэри и Денис поехали в театр, Эрнест пригласил Марлен Дитрих пообедать с ним в клубе «21». Но прежние чары не действовали: Эрнест мрачно заметил, что с городом что-то случилось и что вся их поездка «какая-то странная».

Он не мог отделаться от гнетущего предчувствия близких перемен. И предчувствия эти словно начали сбываться. Под Новый год скончалась мать Мэри. Еще с начала декабря погода на Кубе стояла «неистовая» и «странная». Раз за разом туда проникали волны арктического воздуха. Температура редко поднималась выше 10 градусов. С юга налетали штормы, и вся рыба в море как будто вымерла. В деревне рядом с Финка был голод и безработица. А Гавана все больше напоминала Майами-Бич. «Не знаю, куда мне уехать»,— жаловался Эрнест.

И все же работалось в Финка еще неплохо. Всю осень 1957 и весну 1958 года он упорно писал совсем новую книгу. То была серия очерков о его жизни в Париже в 1921—1926 годах. Он уверял, что в ней содержатся «подлинные сведения о том, о чем все писали, но никто, кроме меня, ничего не знает». В 1933 году он хвастался Максу Перкинсу, что мемуары, которые он когда-нибудь напишет, будут «что надо», потому что он никому не завидует и все помнит. В 1949 году он говорил о том же с Чарльзом Скрибнером. Теперь, в 1957 году, когда в руках у него оказались старые записи из подвала «Ритца», он наконец взялся за дело. Первый очерк, о знакомстве с Фицджеральдом, был начат и отложен в мае 1956 года. Теперь их наметился еще десяток. Память его была уже не та, что прежде: забылись некоторые имена, путались даты. Он уже не завидовал своим прежним собратьям, к тому же многие из них умерли, а значит, вышли из игры, но гневное презрение осталось — презрение к пьяницам и прожигателям жизни, к позе и позерам и к хищникам-богачам (включая Полину и супругов Мерфи), которым он ставил в вину крушение своего первого брака. А вперемежку с гневом прорывалась любовь — к Хэдли и их сыну, к холмам и улицам Парижа, к быстрой серой реке, текущей между высоких берегов, к двум зимам, когда они спасались в Австрию, в горы, где был сухой мороз и чистый снег. И во всех очерках присутствовал наблюдатель — сам Эрнест, язвительный герой, жадный до жизни и добродетельный, хотя и подверженный срывам. То был его «портрет художника в молодости».

По словам Мэри, три первых очерка были готовы к декабрю. Один был о том, как Эрнест писал «Трехдневную непогоду» в кафе на площади Сен-Мишель в январе 1922 года, перед тем как они с Хэдли в первый раз уехали в Швейцарию. Второй, приуроченный к их возвращению в Париж, был о Гертруде Стайн, а в третьем, относящемся к 1925 году, фигурировал Форд Мэдокс Форд. Эпизод с Фордом Эрнест изъял из романа «И восходит солнце» перед его опубликованием в 1926 году. Там рассказывалось, как сноб Форд сделал вид, что не узнает человека, которого он принял за Илэра Беллока, хотя на самом деле это был поклонник дьявола Алистер Кроули. Теперь Эрнест написал этот очерк заново, обогатив его забавными деталями.

Первые три очерка разочаровали Мэри. «Тут очень мало о тебе,— сказала она.— Я думала, книга будет автобиографическая». Эрнест объяснил, что работает «рикошетом». В конце июля он сказал, что книга фактически готова. Он все еще «старался сообразить, как лучше всего подать ее», видимо разумея под этим порядок расположения очерков. Теперь их было уже восемнадцать, в том числе еще два о Гертруде Стайн, один — посвященный эстету Харолду Эктону, один — поэту Ральфу Чиверу Даннингу и один — редактору Эрнесту Уолшу. Как и портрет Форда, они были написаны весьма желчно. Но были и добрые портреты: Сильвия Бич, художник Паскин, Эзра Паунд, Ивен Шипмен. Думал Эрнест добавить и еще два очерка, которые он временно отложил, потому что они не заладились. Всего вместе, считая первый набросок о знакомстве с Фицджеральдом, он проработал над книгой больше года.

В перерывах между очерками он также переписывал свой большой роман «Эдем», начатый десять лет назад и частично использованный в романе «За рекой, в тени деревьев». К концу июня он отредактировал 28 глав, а в конце июля уверял, что через три недели поставит точку. В середине сентября роман все еще был не закончен, хотя «близился к концу» и по подсчетам Эрнеста достиг 160 000 слов. На самом же деле он насчитывал 48 глав и более 200 000 слов. В нем не было и следа той нервной напряженности, которая отличает лучшие вещи Эрнеста, он был полон повторений и казался бесконечным. Помимо пейзажа, еды и вин, Эрнест пытался запечатлеть в нем кое-какие интимные стороны своей жизни с Мэри и ввести, в виде реминисценций, часть материала о последнем африканском сафари. Большое место в книге занимал диалог, но далеко не такой остроумный и сжатый, как в парижских очерках.

Эрнесту потребовалось двадцать два месяца, чтобы справиться со своими болезнями. Теперь сердце его снова качало кровь «точно, как часы», по 54 толчка в минуту, кровяное давление снизилось, вес установился в 207 фунтов. Дольше всего шалила

печень, но и она в конце сентября была объявлена «излеченной». В письме к Джанфранко Мэри с радостью сообщала, что голова у Эрнеста снова работает так же четко, как до катастрофы в Бутиаба. Однако факты не подтвердили ее оптимистического диагноза.

В шестьдесят лет

На шестидесятом году Эрнест твердо решил пожить в свое удовольствие. Предыдущий год был очень уж сурово скован двойной дисциплиной — работы и диеты. Впрочем, жить в свое удовольствие не означало отложить перо. Напротив, «ужасающая» мировая ситуация изо дня в день убеждала его в том, что писать — это единственное, что человек может делать «положительного». И еще его подстегивало ощущение, что время его истекает и нельзя терять ни часа. Но Куба уже не располагала ни к работе, ни к удовольствиям. Он уверял, что не проведет там больше ни одного лета. После небывалой штормовой зимы наступила долгая полоса зноя. Море лежало гладкое, маслянистое, дни были как электрическая печь и ночи — почти не прохладнее, чем полдень.

Он мечтал снова подышать бодрящим горным воздухом западных штатов. Ллойд Арнольд подыскал в Кетчуме дом, и Эрнест пригласил Бетти и Отто Брюсов вместе проехаться в Айдахо. Мэри и Бетти полетели в Чикаго, где мужья присоединились к ним в начале октября. Сидя в битком набитой машине, Эрнест упивался пейзажем. Всю дорогу через Айову, Небраску и Вайоминг он замечал и узнавал каждую птицу, каждого зверька. Он останавливался у деревенских лавчонок, покупал яблоки, сыр и пикули и запивал их виски и свежим лимонным соком. По радио они слушали бейсбольные матчи. Когда исполняли национальный гимн, Эрнест шутливо-патриотическим жестом снимал кепку и прижимал ее к груди. В передачи часто вклинивались бюллетени о состоянии здоровья папы Пия XII. В этих случаях Эрнест никогда не забывал перекреститься. В Айове они сделали крюк, чтобы проехать через Парксбург, где родилась Полина, и Дайерсвилл, где в 1854 году поселился прадед Эрнеста Александр Хэнкок.

В Шеридане, штат Вайоминг, они зашли в салун закусить перед переездом в Коди через горы Бигхорн. Все мужчины у стойки смотрели по телевизору бейсбол. Один из них оглянулся. «Гляди-ка,— сказал он насмешливо и вызывающе,— тоже, корчит из себя Хемингуэя». Но Эрнесту было не впервой отвечать на такие вызовы. Через две минуты он был окружен толпой почитателей, его хлопали по спине, пожимали ему руки. Вечером в Коди они остановились у мотеля, на вид чистенького и комфортабельного. Но Эрнест заупрямился. Чем-то этот дом показался ему подозрительным, неуютным. Пришлось ехать дальше.

В Кетчуме их тепло встретили многочисленные друзья, в том числе Арнольды, Дон Андерсон, Тэйлор Уильямс и доктор Сэвирс. Старый полковник Уильямс прихварывал и совсем оглох. Доктор Сэвирс уже пять лет работал в больнице в Сан-Вэлли, а Дон Андерсон пятый год был там же инструктором по спорту в гостинице. В центре города неподалеку от магазинов и нового мотеля, занявшего место прежнего приюта игроков казино «Христиания», стоял бревенчатый дом, который Арнольды сняли для Хемингуэев. Там они и поселились и стали ждать открытия охотничьего сезона. Эрнест жаловался, что дорога его утомила, и все были поражены тем, как он изменился. Однако за обедом у Тилли Арнольд он словно воскрес. Скинув пиджак, он подхватил сиамского кота хозяев и стал вальсировать с ним по комнате, потом забавлял всю компанию не сверхмузыкальным исполнением не сверхпристойных пародий. Приступать к работе он не торопился и продолжал соблюдать диету, но уже скоро начал говорить, что чистый, сухой воздух идет ему на пользу, он чувствует себя «как в лучшие дни своей молодости».

Когда Брюсы уехали, Эрнест стал каждый день ходить на охоту. После аварии в Бутиаба он на два года разучился стрелять птицу. Теперь рефлексы его убыстрились, глаз стал более метким. В обществе Дона Андерсона, которого он по-прежнему называл Малыш, и Фореста Мак-Маллена (Герцога), он по полсуток кряду бродил с ружьем в лугах и вдоль речек. Обилие фазанов, куропаток и прочей дичи превзошло все ожидания Хемингуэев.

Эрнест был вполне доволен своим кетчумским семейством, однако с радостью принял в ноябре трех гостей. Одним был его польский переводчик Бронислав Зелинский, который сразу пришелся ему по душе и получил прозвище Серый Волк. В результате его визита Эрнест предложил премию в 1 000 долларов плюс свой доход с польского перевода «Зеленых холмов Африки» за лучший польский роман 1959 года. Вторым гостем был Арон Хотчнер, занятый в то время подготовкой романа «По ком звонит колокол» для передачи по телевидению. При нем Эрнест по утрам обычно работал, а потом обучал своего приятеля основам стрельбы влет. Они съездили в Хэйли, где Эрнест встретился с учениками католической школы и отвечал на их вопросы о его творчества. Хотчнер записал его ответы и через несколько месяцев продал их журналу «Дис уик». Третьим гостем был Гарри Купер, давнишний патриот Сан-

Вэлли. Однажды днем, когда валил густой снег, он явился к Хемингуэям с копченым гусем, и они хорошо побеседовали у камина, за гусем и бутылкой шабли. Купер рассказал, что, уступая настояниям жены, принял католичество. Эрнест ему посочувствовал. Тридцать лет назад он сам поступил точно так же и до сих пор «верит в веру».

Его не переставало тревожить положение на Кубе. Чтобы не думать об этом, он частично переписал свою парижскую книгу и отредактировал три главы «Эдема». Но его не покидало опасение, что остров, который он считал родным, вот-вот окажется ввергнут в гражданскую войну. Он испытал огромное облегчение, когда в начале января Батиста бежал в Сьюдад-Трухильо, а силы Фиделя Кастро заняли столицу. Герберт Мэтьюз сообщил ему письмом, что Финка в целости. Ренэ Вильяреаль, с которым Эрнест связался по телефону, сказал, что дома все в порядке, только туго с продовольствием. Когда в Гуанабакоа произошел взрыв боеприпасов, в Финка вылетело несколько стекол и пострадала крыша. Хаиме Бофилс, веселый кубинец, с которым Эрнест был знаком много лет, сообщил по телефону, что он — член нового временного правительства и лично отвечает за сохранность Финка. Порадовало Эрнеста и известие, что доктор Эррара знавал Фиделя Кастро в студенческие годы, и то, что командующий гаванским гарнизоном — уроженец Сан-Франсиско-де-Пауло, с которым Эрнест когда-то играл в бейсбол.

Было, конечно, и много кровопролития. Тайная полиция Батисты арестовала и умертвила больше десятка молодых людей из Сан-Франсиско-де-Пауло и соседней деревни Которро. С другой стороны, того сержанта армии Батисты, который в августе застрелил собаку Эрнеста, жители Которро в ноябре повесили. Эрнест, видавший на своем веку много переворотов, заявил, что на Кубе любая перемена лучше, чем отсутствие перемен. Банда Батисты дочиста разорила страну, и сам Батиста, как считал Эрнест, прихватил с собой 600—800 миллионов долларов. Если Кастро сумеет править страной честно, это будет замечательно, но на стороне его противников — огромные капиталы. В некоторых американских монополиях, например в «Юнайтед фрут», дело поставлено толково и ответственно, другие же заключали с Батистой «безобразные сделки» и вообще «отнюдь не о'кей». «Я от всей души желаю Кастро удачи,— говорил Эрнест.— Кубинский народ впервые имеет шансы зажить лучше, чем прежде». Он жалел об одном — что не видел своими глазами, как удирал Батиста.

В середине декабря, когда кончился срок аренды, Хемингуэи переехали в другой дом, принадлежавший неким Уинчерам. Дом был еще недостроен — с толевой обшивкой и фанерными полами, но удобства его привели Мэри в восторг: центральное отопление, с которым даже в мороз было тепло, большущий холодильник, который они тут же заполнили дичью, и огромный телевизор, подвешенный к потолку. Вечерами перед этим телевизором стало собираться все кетчумское «семейство», в пятницу смотрели бокс, по субботам — футбол. Эрнесту все это так нравилось, что он стал присматривать дом для покупки. Лучшее, что в то время продавалось, был двухэтажный блочный домик, собственность Боба Топпинга. Дом стоял на поросшем полынью склоне горы, в миле к северо-западу от центра города. На первом этаже была большая гостиная, обшитая желтым дубом, а над ней — такая же большая спальня. Кабинетом Эрнесту могла служить вторая, маленькая спальня, отделанная черным орехом. Вид из дома открывался замечательный — к югу и к северу высились конусы гор, а широкие восточные окна смотрели на двойную излучину реки Биг-Вуд-Ривер, окаймленной высокими осинами и тополями. Чак Аткинсон считал, что дом с обстановкой и 17 акров земли при нем Эрнест может приобрести тысяч за пятьдесят.

На другом склоне долины, за голыми деревьями, зеленело кладбище, где в 1939 году хоронили погибшего на охоте Ван Гилдера. Теперь туда же проводили Тэйлора Уильямса, скоропостижно скончавшегося 18 февраля. На этот раз Эрнест не произнес надгробной речи. Когда провожающие разошлись, он и Дон Андерсон остались засыпать могилу. Эрнест заметил вполголоса, что погребения — пережиток язычества и с ними надо кончать как можно скорее. Мертвые умерли. А для живых самое лучшее — кварта доброго виски. Но мрачные мысли одолевали его. Не так давно к нему приезжал из Солт-Лейк-Сити его старый приятель Чарли Суини. Не успел он вернуться домой, как сообщил Эрнесту по телефону, что с ним случился второй удар. «Редеют ряды моих друзей»,— говорил Эрнест.

После похорон Уильямса Эрнест вплотную занялся подготовкой к поездке на все лето в Испанию, к расставшемуся с родиной богатому американцу Натану (Биллу) Дэвису, которого Эрнест знал, с перерывами, уже 25 лет. Его вилла «Консула» находилась на южном берегу Испании, недалеко от Малаги. Там Эрнест мог спокойно работать и отдыхать в промежутках между корридами. Антонио Ордоньесу предстоял ряд состязаний с его шурином Домингином, и Эрнест хотел видеть их все до одного. Он так предвкушал это удовольствие, что можно было подумать — ему не под шестьдесят лет, а пятнадцать.

Из Кетчума они тронулись в путь в середине марта. Арон Хотчнер взялся проводить их до Нового Орлеана и помочь вести машину. В Фениксе Эрнест задержался, чтобы выписать чек на 50 000 долларов на покупку дома у Топпинга, а в Тоскене состоялась веселая встреча с художником Уолдо Пирсом и его женой. Эрнест сам вел машину от Нового Орлеана до Ки-Уэста; там они оставили машину и самолетом при-

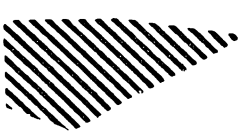
были в Гавану как раз на пасху. Эрнест говорил, что революция Кастро кажется ему «прекрасной и чистой», и вспоминал ранние дни Испанской республики, на которую тогда возлагалось столько надежд. В апреле Кастро собирался совершить поездку по Соединенным Штатам. Эрнест понимал, с каким серьезным противником ему предстоит иметь дело, однако выражал надежду, что он сохранит спокойную позицию и найдет на континенте кое-какую поддержку.

В мае Эрнест водворился на вилле «Консула», и началось его «опасное лето». Они с Мэри полетели в Нью-Йорк, оттуда пароходом «Конститьюшен» прибыли в Альхесирас, и Билл Дэвис привез их по прибрежному шоссе на виллу в наемном «форде». Имение напомнило Эрнесту Финка, только было больше и старее. В усадьбу вели двое ворот, каждые охраняли двое слуг. Большой дом, построенный в 1835 году, окружал настоящий парк с плавательным бассейном в 60 футов длиной. Комнаты украшала коллекция картин и гравюр, собранная Дэвисом. Сам он, высокий, сероглазый мужчина 52 лет, до времени облысевший, жил здесь уже несколько лет со своей женой Энни и двумя детьми. Хемингуэям отвели смежные комнаты на втором этаже. Спальня Эрнеста была угловая, она выходила на галерею и на парк. В ней был приготовлен стол для бумаг и конторка для работы стоя. «Кто не сможет писать здесь,— заявил Эрнест,— тот не может писать нигде». Уже в начале мая он взялся за первое из дел, намеченных на лето,— за предисловие к новому, школьному изданию своих рассказов.

К 13 мая он набросал предисловие и, отложив его, поехал в Мадрид на праздник святого Исидора. Остановились они в новом отеле «Суэсиа» в центре города, где их приняли с королевскими почестями. Что бы Эрнест ни говорил, вся эта шумиха не так уж ему претила. Он отлично знал, что его высокая фигура и белая борода известны во всем мире, и гордился тем, что на улицах его узнают как закадычного друга Ордоньеса, к карьере которого он проявлял своего рода собственнический интерес. Между 26 и 31 мая Антонио должен был по расписанию выступать в Кордове, Севилье, Аранхуэсе и Гренаде. Мэри жестоко простудилась под мадридскими дождями, и у нее не было ни сил, ни охоты поспевать за Эрнестом, который бодро проделывал бесчисленные переезды в «паршивом розовом «форде» с Дэвисом за рулем. 30-го он находился в Аранхуэсе, к югу от Мадрида. «Дождь кончился,— писал потом Эрнест,— и солнце пригревало свежевымытый город... Мы уселись на террасе старомодного кафе в тени деревьев, смотрели на реку, на катера и лодки». В компании Эрнеста был Джон Кросби из «Нью-Йорк геральд трибюн», с которым они объедались клубникой. Позже они вместе смотрели блестящее выступление Ордоньеса, окончившееся тем, что второй бык, пропорол ему левую ягодицу. Истекая кровью и весь напрягшись от ярости, он убил быка и только после этого свалился. Эрнест не отходил от него первые пятьдесят часов, пока не убедился, что рана не загноится. А через неделю Антонио прилетел в Малагу выздоравливать под заботливой опекой своего друга.

Посмотрев тринадцать коррид, Эрнест вернулся к своему предисловию. Антонио теперь мог надеяться выйти на арену не раньше конца июня, и у Эрнеста утра освободились для работы. Но ему трудно было сосредоточиться на чем-либо, кроме Антонио. Он наспех отредактировал предисловие, чтобы успеть побывать на ферме Ордоньеса близ Медина-Сидония, севернее Тарифы. Все побережье так его очаровало, что он уже стал поговаривать о том, чтобы купить участок в Кониле близ мыса Трафальгар. Предисловие в оконченном виде насчитывало 5 800 слов и имело целью «опровергнуть измышления и формулы» критиков. Главное в писательстве, уверял Эрнест, это «борьба между тем живым, что ты создаешь, и мертвой рукой бальзамировщика».

(Окончание следует)



«ЛУЧШЕ ТОНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ»

Редакция «Иностранной литературы» обратилась с рядом вопросов к югославскому поэту Радовану Зоговичу. Имя Радована Зоговича неразрывно связано с развитием революционной югославской литературы и публицистики уже более тридцати лет. В 30-х годах начали появляться его стихи, полные ненависти к полицейскому гнету монархо-фашистской клики, правившей тогда страной, полные любви к людям труда и неугасимой веры в революцию. Кроме поэтического творчества была работа в прогрессивных журналах, где Зогович выступал как страстный и бескомпромиссный критик и публицист. Были аресты, слежка, высылки. Был голод и туберкулез. Была работа в нелегальной компартии, пропаганда и защита марксистско-ленинской идеологии. Была война, политическая и культурная работа в армии. Итог всех этих лет — книга стихов «Упрямые строфы» (1947) — первый сборник поэта, дошедший до читателя, ибо другие два — 1936 и 1937 годов — были конфискованы полицией. «Упрямые строфы» — это политический документ о человеке, для которого революция — страсть, мечта, кровное, главное дело жизни.

Зогович всегда с горячим интересом следил за жизнью нашей страны. Многие годы он отдал изучению советской литературы, ее пропаганде и переводу. Зогович переводил Чехова, Горького, Леонова, Цветаеву, Ахматову, Инбер, Бергольц, Алигер, есть у него еще не опубликованные переводы Лермонтова, Блока, Мартынова, Щипачёва. Но главное для него — Маяковский. Он переводил лирику и сатиру, «Хорошо!», фрагменты из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Точность в воспроизведении духа и буквы оригинала, точность, достигаемая огромной изобретательностью и редким упорством, привели к тому, что Маяковский зазвучал на сербском языке во всю свою «звонкую силу».

Высокую оценку критики получили в Югославии новые книги Зоговича, большой сборник стихов «Артикулированная речь» (1965) и книга новелл «Пейзажи и что-то случается» (1968). Книга эта содержит рассказы и хронику, темы которых взяты из эпохи, когда на родине Зоговича — Черногории зарождался капитализм, из жизни города и села предвоенного времени и из партизанской войны против фашистских оккупантов. Пронизанная глубокой любовью к людям и природе родного края, точная и емкая в психологическом рисунке, проза Зоговича по-новому раскрывает своеобразие черногорского национального характера, народной морали, сложившейся в вековечной борьбе гордой маленькой страны за свою честь и независимость.

Издательство «Прогресс» в прошлом году выпустило сборник предвоенной и послевоенной поэзии Зоговича под названием «Упрямые строфы». Центральное место в этой богатой мыслями и чувствами книге занимают темы: поэт и общество, гражданский долг, верность революционному делу. Книга вобрала в себя большой и нелегкий жизненный опыт поэта. Расширился его эмоциональный и философский диапазон, возросло творческое мастерство, изощренней стал язык в попытках — иногда удивительно удавшихся, иногда спорных — материализовать трудно уловимое, трудно высказываемое.

На вопрос редакции о качестве переводов, вошедших в книгу, Зогович ответил:

«О переводах можно сказать то же, что и о переводах других книг такого рода: есть и хорошие и похуже. Мне особенно нравятся одни, другим — другие. Хорошие переводы есть и у Ваксмахера, и у Рождественского, и у Слуцкого, и у Куняева, и у Абызова, и у Корнилова, и у остальных. Мне лично как переводчику больше всего нравится Леонид Мартынов. Ему удается в каждом стихотворении сохранить интонации

оригинала, ритм, смысл, основные тропы, систему рифм, и притом это хороший русский язык и внутренне логическое целое. В переводе М. Ваксмахера мое стихотворение «Владичин-хан» получилось, по моему убеждению, лучше, чем в оригинале. Тут, впрочем, нет ничего удивительного: русская версификация достигла, в лице Пушкина, недосягаемой высоты уже сто пятьдесят лет назад, а наша и у очень одаренных поэтов пока еще хромает.

Если бы надо было из остальных переводов выбрать еще один, я бы остановился, пожалуй, на переводе Ю. Абызова «Утвердись в этом!».

Самый большой недостаток изрядной доли переводов — это непонимание или неверное толкование некоторых мест, переиначивание или опускание тропов, составляющих костяк стихотворения. Однако нужно признать и то, что перевод текстов, о которых идет речь, был делом весьма трудным».

— Какова современная ситуация в литературе Югославии и, в частности, какую роль играет в ней модернистское направление?

«Если в литературной жизни можно что-то констатировать на основе процентных соотношений, то модернизм все еще является властителем если не дум, то слов, редакций, премий, рекламы и т. п.

Послевоенный модернизм возник в Белграде в начале пятидесятых годов как рецидив сюрреализма. Потом началось лихорадочное открывание, трансплантация, смещение и «столкновение» множества других «измов», появлявшихся в то время на Западе. Всем этим подражательским микронаправлениям, которые, как это обычно бывает, лишь выявляют слабые стороны своих образцов, несмотря на соперничество и взаимные трения, присущи общие черты. Помните ли вы фурмановскую характеристику «измов»? «1. Глумление над прошлым. 2. Отрицание заслуг других школ и течений. 3. Расчет на монополию. 4. В расчете на вечность. 5. Заумничанье и жонглирование «мудрой» терминологией. 6. Бахвальство, игра в величие. 7. Однодневки. 8. Бесталанность задорных, заносчивых «пионеров». 9. Вычурность, оригинальничанье».

Эта характеристика сорокалетней давности приложима и к «новейшему» модернизму.

К счастью, проценты, по крайней мере когда речь идет о художественной ценности, не решают дела. Подавляющее большинство писателей старших поколений, некоторые представители среднего и младшего поколения — как раз те, кто создает настоящую литературу, в сущности — несмотря на влияние нереалистической моды — создают реалистическую прозу и поэзию».

— Кому из представителей самого молодого поколения поэтов вы отдаете предпочтение?

«Поэтов у нас, особенно с тех пор как начали писать свободным, а по смыслу произвольным стихом, очень много, поэзии же, к сожалению, меньше. При такой инфляции модернистской поэзии, основным направлением которой является линия наименьшего сопротивления (мыслят словами, а не образами; впечатления нанизываются друг на друга в первозданном виде, художественно неорганизованными и непереработанными, оставаясь полуфабрикатом, и т. п.), — это вполне понятно. А кто среди молодых и самых молодых поэтов самый лучший — нелегко сказать. В свое время Горький сказал о поэзии Бальмонта: «Размеры и общественное значение его таланта трудно понять ввиду крайней туманности его мышления». Между тем «туманность мышления» Бальмонта — лишь стыдливо-невинное начало того, что сейчас отличает модернистскую поэзию. И как тут определить, кто талантлив, кто нет, каковы размеры того или иного таланта? Большинство молодых пишет похоже, почти по одному шаблону — ни личных, ни национальных особенностей! С другой стороны, пока поэт пишет свободным стихом, читателю кажется, что тут все-таки «что-то есть». Но стоит поэту попробовать себя в рифмованном стихе — и получается просто беспомощно. Поневоле у читателя возникает мысль, что рифма и в самом деле пробный камень для поэтических возможностей, так же как в живописи, по словам Дидро,— рисунок и изображение руки.

Однако ситуацию нельзя оценивать пессимистически, да я и не пессимист. Кроме того, что в разных наших культурных центрах — в Белграде, в Загребе, Любляне, Сараеве, Скопле, Титограде — существуют поэты, не затерявшиеся в модернизме, в поэзию самих модернистов, особенно молодых и самых молодых, уже проникает более или менее приметная, содержащаяся в отдельных частях или в подтексте, серьезная человеческая, общественная проблематика и трагика; эта проблематика несомненно выкристаллизует поэтическое мышление, найдет свою форму».

— Существует ли в теперешней ситуации интерес к Маяковскому?

«Модернисты, даже когда это не входило в их намерения, многое сделали для ослабления влияния Маяковского и любви к его творчеству. При этом модернисты (и не только они) использовали два приема. Первый — деление поэзии Маяковского на раннюю и позднюю, завышение ценностей ранней («футуристической») и принижение, даже отрицание ценности последующего творчества — как «ангажированного», «управляемого», «конформистского», «неискреннего» и т. п. Второй прием — провозглашение Маяковского — разумеется, Маяковского-футуриста — декадентом, предтечей подобных же литераторов современности. В результате у неосведомленных или

мало осведомленных читателей Маяковского могло сложиться ложное впечатление о поэте, и его ожидало бы то, что и теперешних модернистов,— равнодушие или антипатия публики. Но несмотря на все это Маяковского читают, декламируют на литературных вечерах.

К пятидесятилетию Октября я составил и перевел сборник лирики Маяковского. Эту книгу я составлял, в некотором роде, полемически: хотел показать, что Маяковский до последней своей недоконченной строфы как поэт прогрессировал, а не регрессировал, что он одинаково большой, настоящий художник и в любовной, и в революционной, и в сатирической поэзии и, наконец, что его ранняя лирика отличается от лирики остальных футуристов именно своей мощной социальностью, бунтарством, гуманизмом. Так возникла книга, которую я, по одному стихотворению Маяковского, назвал «Лучше тоньше, да лучше». В нее вошли автобиография «Я сам» и 57 стихотворений. Более сорока из них переведены мной впервые. Вскоре должно выйти и второе, доработанное издание моего перевода поэмы «Хорошо!». Выпустит его издательство «Свобода», основанное в Белграде группой энтузиастов специально для издания прогрессивной литературы. (В этом издательстве вышли, в частности, «Разгром» Фадеева, «Мать» Горького, «Чапаев» Фурманова.)»

Е. РЯБОВА

Парижская коммуна.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
За рубежом

Бела Уитц

Лежащая женщина.

Сбор яблок.

1-ое Мая. Эскиз

Эскиз декорации
к пьесе Вайяна-Кутюрье
«Капитал».

Завод в горах
около Будапешта.

Собор Парижской
богоматери.

Женская голова.

Женская голова.

Бела Уитц — один из выдающихся представителей прогрессивного искусства нашего времени. Огромное влияние на развитие творчества и становление личности художника оказали революционные события 1919 года в Венгрии — на родине Белы Уитца. Он активно участвовал в этих событиях — рисовал плакаты, призывающие к борьбе, оформлял празднества, массовые шествия. Жизнь политического эмигранта после разгрома революции, работа в Коминтерне, знакомство со многими деятелями международного революционного движения — все это определило облик художника-борца.

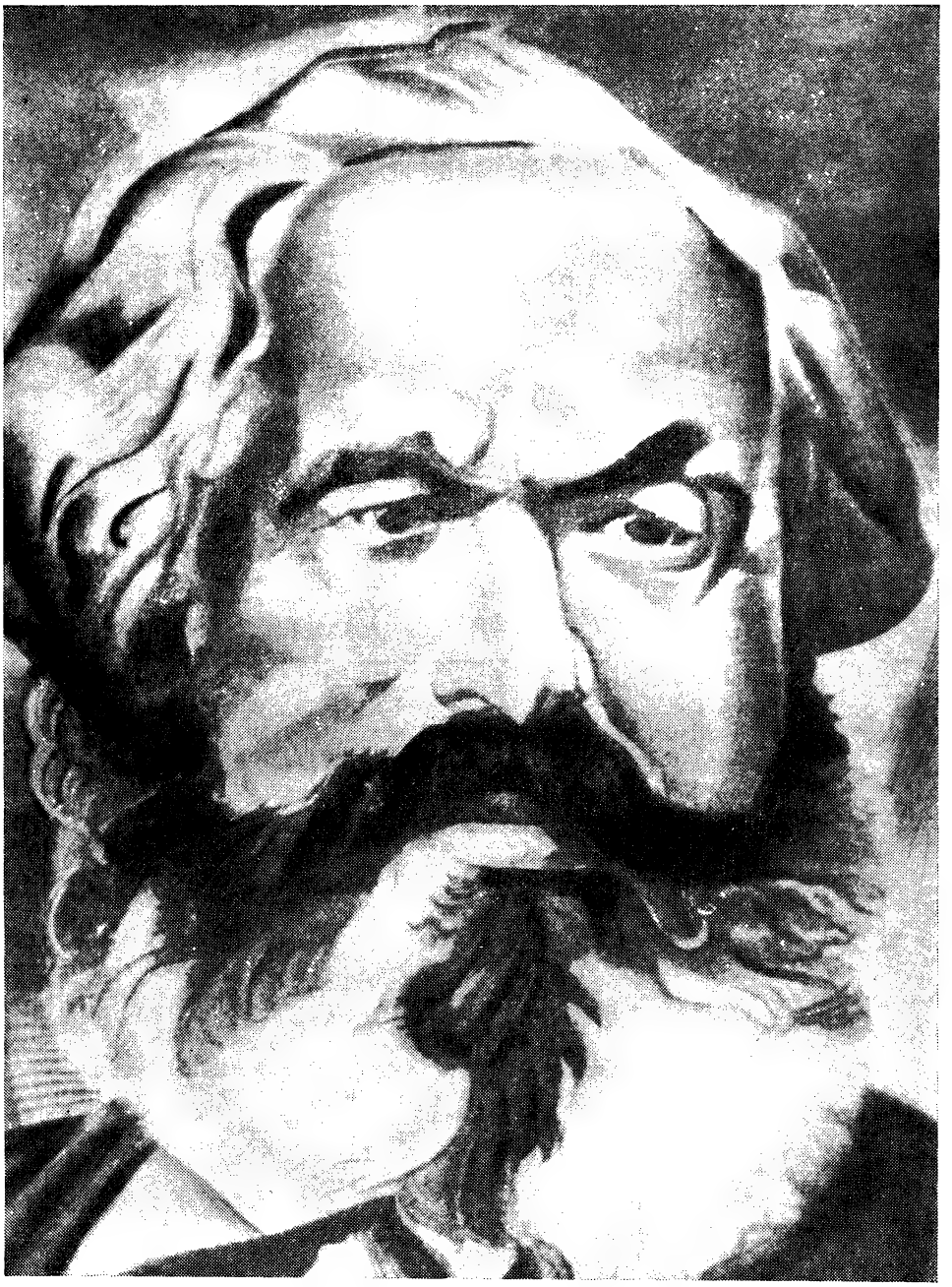
Уитц — монументалист. Это сказывается не только в его фресках, но и в станковых работах — живописных и графических. Стенопись, живопись, рисунок, гравюра, театральная декорация, плакат — вот жанры, в которых он работает, сочетая аскетическую строгость манеры с мягкостью и лиризмом.

С 1926 года судьба художника связана с Советской Россией. Здесь он долгие годы жил и работал, здесь впервые получил возможность реализовать свои монументальные замыслы во фресках для города Фрунзе, для сельскохозяйственной выставки, в картонах росписей Дворца Советов, по-новому решающих сложные проблемы синтеза искусств.

В прошлом году произведения Уитца были показаны на большой выставке в городах Венгрии. Эта выставка вызвала большой интерес художественной общественности и зрителей. Впервые соотечественники художника смогли увидеть в такой полноте работы заслуженного мастера. Пресса отмечала не только высокие художественные достоинства искусства Белы Уитца, но и силу духа, верность идее коммунизма, которую он пронес через все испытания.

В. ШАЛАБАЕВА

Октябрьская революция 1917 года.



Карл Маркс.

Бела Кун.

Имре Шалаи.

«Клятва».
из серии «Луддитское восстание
в Англии». Эскиз.

Анри Барбюс.

Максим Горький.

«Генерал Лудд в действии», из серии «Луддитское восстание в Англии».

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ДЕСЯТЬ АФРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Голоса африканских поэтов. Перевод с английского и французского. Москва, «Художественная литература», 1968, 320 стр.

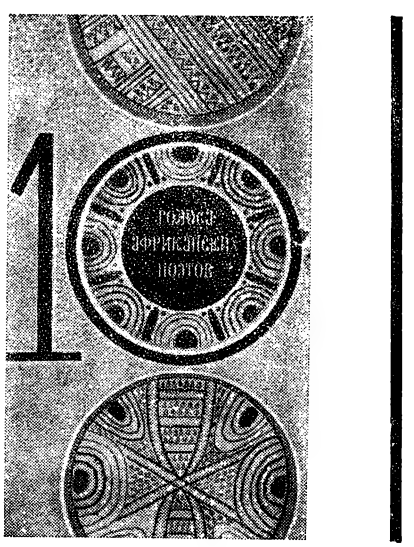
В этой книге, как верно отмечают авторы краткого предисловия, объединены десять небольших сборников поэтов «знойного континента». В десятке бесспорно признанных, прочно вошедших в литературу мастеров — поэты удивительно разные, непохожие и неповторимые, каждый из которых выработал свой собственный, устоявшийся голос.

Бернар Дадье, поэт Берега Слоновой Кости, певец остросоциальной темы, страстотерпец и трибун. Патриарх ганской поэзии Майкл Дей-Ананг, прозрачно ясный, даже несколько рационалистичный, эрудит, философ, пророк. Три сенегальца: Леопольд Седар Сенгор, человек широкого исторического и общественного кругозора, жаждущий связать прошлое и современность, перенасыщенный музыкой, ритмом, образами ошеломляющей смелости и силы; Бирago Диоп, знаток неисчерпаемого африканского фольклора, владеющий тайнами поэтической ворожбы, древней словесной магии; Давид Диоп, революционер и бунтарь, поэт свободы и человеческого достоинства. Нигерийцы: Джон Пеплер Кларк, задающий гневные и горестные вопросы, ревнивый, яростно-страстный; Габриэл Окара, человеколюбивый и вдумчиво-углубленный, захваченный драматическим конфликтом традиций и новизны, перекличкой «гамтамов и фортепьяно», исступленно мечтающий о счастливом будущем; Воле Шойинка, убийственно саркастический и беспомощно насмешливый и вместе с тем отягощенный тревогами, муками, поисками самого себя. Малагасийцы: Жан-Жозеф Рабеаривело, смутно напоминающий античных лириков, и Жак Рабеманандзара, одержимый одной думой, верный своей единственной любви — родному Мадагаскару.

Эти десять голосов, таких разных и таких глубоко индивидуальных, при всех различиях все же сливаются в некий целостный и гармоничный хор.

Родство этнических корней? Братство по цвету кожи? Общность традиций, верований, быта? Есть и это, и многое другое. Но не это главное.

Общее для них для всех — тема человека, наконец-то стряхнувшего с себя вековой сон, выходящего из исторической преисподней к свету, ко всему остальному человечеству. Сквозь ранне-негритюдист-



скую проповедь «черной исключительности» пробилась в творчестве африканских поэтов тема братства со всеми расами мира, с «синеглазыми нашими братьями» (Сенгор).

Нам близок всякий край,
Где на коленях матери малыш
Уснул.
Нам близок всякий край,
Где слышен стук сердец.
(Б. Дадье. «Нам близок всякий край».
Перевод Л. Ревича)

Эта тема не имеет ничего общего с концепцией вселенского примирительно-идиллического похмелья. Африканская литература пришла к идеям общечеловеческого через ненависть к рабству и рабовладельцам всех расцветок. Она дышала и дышит атмосферой борьбы против колониального прошлого в жизни и в сознании. Именно эта атмосфера породила тот стиль африканской поэзии, о котором с большой точностью сказал Франц Фанон в своей известной (хотя и во многом спорной) книге «Проклятьем заклейменные»: «Стиль резкий, насыщенный образами, ибо образ — подъемный мост, через который неосознанная энергия может вылиться на окрестные поля. Стиль нервный, бьющий ритмами, порой буквально содрогающийся вулканической силой. И очень многоцветный — бронзовый, солнечный, яркий. Этот стиль, так поразивший в свое время европейцев, идет вовсе не от характера расы, как пытались доказать некоторые, он прежде всего передает ощущение ближнего боя, неизбежность ситуации, в которой оказался человек».

В книге «Голоса африканских поэтов» представлены образцы именно этого стиля. Разве не звучит «ощущение ближнего боя» в строках Давида Диопа?

Вашим ночам, забрызганным воплями
о благодати,
Вашим ночам нескончаемых клятв и
молитв
Мы противопоставим
Гимн раскованных мускулов,
Гимн поднявшейся Африки, Африки
в рубище,
Африки, рвущей тысячелетнюю тьму.
(«Лжецам». Перевод М. Ваксмахера)

И вместе с тем эта напряженная страстность, полемизм и пафос не отрывают поэзию Африки от земной жизни во всей ее чувственной осязаемости, от «горькой и красной» африканской земли. Тот же Давид Диоп справедливо писал, что «поэзия — естественный язык жизни — возникает и обновляется лишь в контакте с реальностью». Этот контакт не только не утрачен африканскими поэтами. Он насыщается все новыми и новыми связями. Все гуще сеть кровеносных сосудов, связующих в Африке поэзию и жизнь.

Так большие общечеловеческие понятия, категории бытия вдруг обретают новую глубину, облеченные в одежду простых, реалистических образов и метафор:

Мир — это женщина,
Что собирает хворост,
Чтоб обогреть свой дом.
Она берет валежник и корягу,
Сухую ветку, щепку и плавник —
Все, что горит.
Связала воедино
И вот, взвалив на плечи
Большую и тяжелую вязанку,
Она идет домой.
(Дей-Ананг. «Лшанти Котоко».
Перевод Л. Симонова)

Но меньше всего африканским поэтам присуща приземленность, эмпирическое копание в повседневном, нежелание поднять голову к звездам. Нет, жажда Будущего глубоко и властно схватывает их чувства и помыслы:

Будущее подходит,
прорываясь сквозь мое
разодранное нутро.
Будущее подходит,
и это заря,
миллионноязыкая заря,
вспыхивающая, рвущаяся в моей голове.
(Окара. «Заклинания рыбака».
Перевод Б. Слуцкого)

Все это есть в книге «Голоса африканских поэтов», и не может не радовать, что на русском языке удалось сохранить и донести до читателя главные черты этого многоцветного поэтического мира.

Десять африканских поэтов переведены десятью советскими переводчиками. Среди них — ветераны переводческого искусства М. Зенкевич и С. Шервинский, сильные, оригинальные поэты Д. Самойлов и Б. Слуцкий, опытные мастера перевода М. Ваксмахер и А. Ревич, литературовед-африканист Е. Гальперина, молодые переводчики Н. Горская, А. Ибрагимов, А. Симонов.

Особенно успешной оказалась работа наших поэтов, которые сосредоточились на переводе поэзии тех африканцев, чья творческая направленность совпала с личными вкусами и пристрастиями самих переводчиков. Так, Д. Самойлову с его обостренным вниманием к тайнам истории удались переводы двух поэм — пронизанной духом свободы «Антсы» Жака Рабеманандзара и «Чаки» Леопольда Седара Сенгора, полной драматических раздумий о тяжелой ноше политического лидера в переломную историческую эпоху. Так, Б. Слуцкому, поэту большой гуманистической темы, оказался близок Габриэл Окара с его взволнованными монологами ищущего и страдающего человека, и особенно его поэма «Заклинание рыбака» — гимн в честь африканского Будущего.

Хочется отметить переводы стихов Давида Диопа и цикла ноктюрнов Сенгора (М. Ваксмахер), тонкую передачу злых иронических интонаций «Телефонного разговора» Воле Шойинки (А. Ибрагимов), классическую четкость стихотворений Жана-Жозефа Рабеаривело в переводах С. Шервинского.

Вместе с тем хотелось бы не согласиться с одним из соображений, высказанных

в предисловии к сборнику. Его авторы пишут, что, «к сожалению, у нас пока нет поэтов, способных переводить» с коренных языков Африки. Это неверно. Уже есть ряд переводов африканской поэзии с суахили, хауса, малагасийского, лингала, кикуйю, а с языка зулу книга стихов Бенедикта Вилакази появилась в переводах А. Сендыка.

«Десять африканских поэтов» — в целом удачное пополнение наших книжных полок. Сборник даст возможность глубже проникнуть в напряженный творческий мир крупнейших мастеров современной поэзии Африки.

МИХАИЛ КУРГАНЦЕВ

«МЕЧТЫ ЗАЩИЩАЙТЕ МЕЧАМИ!»

На марше. Народно-освободительная поэзия Югославии 1941—1945 годов. Перевод с сербохорватского, словенского и македонского. Под редакцией Бориса Слуцкого. Предисловие Б. Слуцкого. Москва, «Художественная литература», 1969.

Передо мною книга в красно-синей обложке — «На марше. Народно-освободительная поэзия Югославии 1941—1945 годов». Книга иллюстрирована югославскими художниками — участниками народно-освободительной войны.

Нельзя без глубокого волнения читать эти стихи.

Какие мерки литературного анализа приложимы к слову, с которого стекает свежая кровь? Смерть шелестит своими совиными крыльями, когда переворачиваешь страницы, строки кажутся цепочками партизан, карабкающихся по снежному насту, не музыка стиха — стихия народного горя, причитания матерей, вой метели, заносящей трупы в ущельях,— вот что звучит в ушах. Перед нами проходят судьбы поэтов, которые были героями, героев, которые верили в силу слова, потому что их борьба была одухотворенной и справедливой.

...Друг другу могилы ножами копали,
но бились сердца родниками в горах!

Все, что они видели и пережили,— становилось поэзией, все, что выходило из-под пера,— касалось их лично, самым непосредственным образом. Отец Миры Алечкович расстрелян как заложник... Мите Богоевский застрелился в окружении... Жена Матея Бора погибла в партизанском отряде... Брат Бранко Чопича пал в бою... Михаило Лалич бежал к греческим партизанам... Джюро Шнайдер партизанил с поляками... Коле Неделковский, когда у него вышли все гранаты, выбросился с шестого этажа в Софии, где он воевал в отряде Сопротивления... Аце Караманову было семнадцать лет, когда его, тяжело раненного, фашисты добили штыком, проколовшим и две тоненькие тетради его стихов... Лазо Каровский пережил ужасы оккупации, памяти погибших детей посвятил поэму «Кровавая баллада»... Карел Дестовник-Каюх убит двадцати двух лет у своей родной деревни... Тридцати лет убит четниками талантливейший поэт Иван Горан Ковачич... За месяц до победы под Сараевом пал смертью героя черногорец Крсто Кривокапич... Буквально за два дня до победы умер в Дахау Наци Кранец-Пайлин...

Авторы этих стихов боролись в подполье, бежали из концлагерей, жили в горных пещерах, болели тифом и лихорадкой, обмораживались и падали на горных тропах — под пулями, от жажды и голода.

В зоны освобожденных районов стекались разные люди — шестидесятишестилетний классик хорватской литературы Владимир Назор и «герметист» Иго Груден (в годы войны его стихи стали популярными партизанскими песнями). Йоже Удович, поэт христианско-социалистского направления, становится автором партизанского гимна, сербский сюрреалист Милан Дединац воевал рядом с политическим поэтом, коммунистом Радованом Зоговичем.

Дединац писал:

Однажды нагрянул голод с большими
глазами.
Сквозь колючую проволоку прошел,
не заметили часовые.
Наши ночи и дни он заставил столами,
а дни оставил обглоданные и пустые.

*(«Однажды нагрянул голод».
Перевод И. Шкляревского)*

Зогович говорил:

Столом мне камень служил.
На него можжевельник, дрожа,
сыпал землю и ветки после каждого
взрыва,
а конь копытами бил, и тихонько ржал —
чего, мол, ждем,— и шею мою
трогал мордою нетерпеливо.

*(«Пролог к ненаписанной поэме»
Перевод М. Ваксмахера)*

Их объединяли не манифесты школ, а суровая действительность. Общая война против фашизма.

В стихах Удовича остались библейские мотивы, остался бог, но то, что видел бог, видели и смертные:

Стою под прицелом ружей...
Утро восстанья светлое, в жизни
последний май.
Лязг колокольный танков врывается
в тихий край.
Стою под прицелом ружей...

*(«Последняя минута».
Перевод Н. Стефановича)*

Смерть патриота под ружьями врага поэт называет «прекрасной», а целятся в героя «двенадцать» — цифра апостолов, но апостолов зла. Танки лязганьем своим заглушили колокола религии. Герой Удовича не подставляет щеку под удары — утро восстания для него — откровенье, а природа принимает героя в свои объятья: «Вздохи слились последние с шорохом вешних трав».

Годы испытаний, годы мужества сплотили народ. И поэты жили со всеми одной жизнью, одним дыханием. Может быть, и поэтому так часто говорили их стихи как бы голосами других — павших или идущих

на смерть. Все мы запомнили навсегда стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом». Читая потрясающей силы поэму Ковачича «Яма», стихи Матея Бора «Черные люди», Живко Еличича «Кто пустил по дороге галопом коня», думаешь о том, как могущественно слово поэта, когда трагедия народа становится его трагедией. «Кто пустил по дороге галопом коня одинокого, без всадника? Входит он, жаждая, входит он, жаждая, в темный ивняк. (Он сгибает шею и ступает в воду — напиться...) Воды черны, под лучами луны не сверкают, тело мое нагое, тело мое нагое черные воды качают». Я не знаю, с чем сравнить это прекрасное стихотворение. Может быть, с поэзией Лорки? А может, с народной песней южных славян? Голько это — высокая поэзия.

Поэма «Яма» выдержала девять переизданий, она переведена на многие языки, ее иллюстрировал Пабло Пикассо. Последнее не удивляет. «Яма» сродни «Гернике» великого художника. Ее кровавый натурализм сродни таким стихам нашей войны, как «Я это видел» И. Сельвинского или «Кельнская яма» Б. Слуцкого. В предисловии к сборнику Б. Слуцкий пишет: «Вырванные глаза партизан описаны не только Гораном, но и итальянским писателем Малапарте, который видел это в Хорватии, будучи военным корреспондентом фашистской газеты». Это—жестокая книга. Но у кого повернется язык осудить художника за то, что ему досталась жестокая судьба, что его народу на протяжении нескольких лет достались муки, которые не выразишь в формах старой поэзии! Это сама жизнь написала «Кровавую сказку» о детях Крагуеваца, расстрелянных фашистами, а Десанка Максимович лишь записала ее для памяти потомков. Максимович, кажется, только напомнила о «рабском хлебе», который «дышит тоской», который и посеяли тайно, и сжали в ночи, и тайно ели, глотая большими кусками, наспех, тот рабский хлеб. Она, поэтесса, казалось, только услышала напряженно звучащую тишину перед восстанием, ту звенящую тайну, что хранила родная природа-сообщница, а ветер досказал за нее: «Сербия — великая тайна: не знает день, что ночь кует, не ведает ночь, что заря рождает, не знает куст, что снится кусту в стороне, не ведает птица, что нарастает в лесной глубине» («Воспоминания о восстании»).

Народная трагедия рождала в те годы формы эпически величественные. Такова поэма боснийца Скендера Куленовича «Стоянка, мать из Княжеполья», написанная в традициях великого черногорца Негоша, в традициях народного плача по павшим героям.

У Козары три сосны под облаками,
У Стоянки три сына встали под знамя!

Мать из поэмы Куленовича — это родина, пославшая своих сыновей, оплакавшая их, но готовая снова родить богатырей, пока на земле остается зло. «Смерть молотьбу начала и сама же себя замолотила...» Этот истинно крестьянский образ напоминает нам «Слово о полку Игореве» или «Задонщину». В сборнике мы не раз встретимся с аналогичным сравнением кровавой сечи с жатвой. У Чопича: «Дожди причитают над песней убитой, скошен до срока посев» («Песня мертвых бойцов Пролетарской бригады»), у Ковачича: «Средь страшного зноя сжинали нас тихо. И, точно колосья, мы с шелестом мерли» («Яма»).

Реализм этой поэзии полон высокого смысла. «И станет мир, как юнец, румян, быть может, от пролитой крови»,— говорит Михаило Лалич. Во многих стихах говорится о будущем, которое видится в мечтах как надежда на мир, покой, счастье трудовой жизни. Сквозь страдания прорастает победа. «Человек растет в человеке!»— восклицает Карел Дестовник-Каюх.

Многие стихи в силу специфических условий — это зарисовки «проходящего мимо», если можно так выразиться. Вот Лалич видит, как женщины в трауре веют зерно, как стоят чужие солдаты без шапок, довольные тем, что они уже вне войны. Вот словенский поэт Петер Левец, проходя через сожженное карателями село, успевает запечатлеть страшные приметы: братская могила, поросшая лопухом, ангел с пробитой головой на распятии, родничок, «пониже, на дне оврага». Все — в движении, все — «моментальное навек». Пейзаж почти всегда — ночной. Днем — бой или сон, ночью — переходы. И хотя прав Б. Слуцкий, сказавший в одном из своих стихов: «солдату нужна не природа. Солдату погода нужна», а все-таки жизнь солдата всегда — вне четырех стен, и — хочешь не хочешь — неожиданно красота вторгается в поле зрения, будоражит, внезапно остро предстает перед тобой.

Над нами небеса и бег луны
Она всю землю залила лиловым,
и этим блеском мы ослеплены.
Высоких сосен белые стволы
идут за нами. Нет конца дороге...

(«Поход».
Перевод Б. Слуцкого)

Это — из стихов словенского лирика Ивана Минатти. «Ручьи, с подснежной песенкой своей» радуют Йована Поповича, а сборник его стихов так и называется — «Ласточка в пулеметном гнезде». «Слейся с тишиной» — название книжки лирики Ацо Шопова, известного македонского поэта.

Сборник «На марше», как, очевидно, и всякий другой подобный сборник, мог бы быть составлен полнее. Однако «На марше» — явление значительное. Переводы сделаны, как правило, хорошо.

Мне в июне этого года довелось бывать в Югославии, я встречался там с поэтами, переводящими русскую поэзию любовно и бережно. В частности, с хорватским поэтом Юре Каштеланом, представленным в книге «На марше» отрывками из поэмы «Тифозные». Многие стихи

Каштелана в годы Сопротивления воспринимались как народные песни. Я слышал переводы Юре из Есенина и Блока, современных советских поэтов. Они сделаны на высоком уровне. Интерес к советской поэзии необыкновенно велик, и работа по ознакомлению с нашей литературой ведется планомерно.

Думаю, что старые связи наши по славянским корням и по крови, так обильно пролитой в недавней войне с фашизмом,— лучший залог и нашей поэтической дружбы. Книга «На марше» — одно из проявлений ее.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ

Робер Мерль. Уик-энд на берегу океана. Роман. Перевод с французского Н. Жарковой. Предисловие Б. Песиса. Москва, «Художественная литература», 1969. 223 стр.

«Уик-энд на берегу океана» — первый роман Робера Мерля — был написан свыше двадцати лет тому назад. И если сегодня исполненное горечи повествование о трагических днях Дюнкерка не утратило ни интереса, ни значимости, это свидетельствует и о таланте художника, и, к сожалению, о том, что проблемы, затронутые в романе, не потеряли своей злободневности. Нравственная проблематика «Уик-энда на берегу океана» остается животрепещущей, насущной, требующей ответов на непростые вопросы.

Полтора дня в маленьком городке на берегу пролива, отделяющего Францию от Англии — смерть и плен от жизни и свободы,— полтора дня проигранной битвы, когда гитлеровская авиация и артиллерия, не встречая отпора, истребляют отступающие в панике союзнические войска, убивают раненых, скопившихся в госпитале, и гражданское население, оставшееся в розовых и белых курортных виллах,— сгусток бесчеловечности, обнаженная изнанка цивилизации, крах всех норм и ценностей. И прежде всего самой бесспорной из них — ценности человеческой жизни.

Ощущение непостижимого абсурда войны, ее чудовищности, непристойности задано с первой страницы романа, с первого эпизода: Жюльен Майя, сержант французской армии, давно потерявший свою часть и пытающийся спастись от плена, наталкивается на одной из улиц разбомбленного Дюнкерка на повозку с трупом девушки в легком цветастом платье, едва прикрывающем пухлые ляжки, которые подрагивают при каждом толчке на неровных плитах мостовой. Этот танец смерти в обличье жизни, в обличье трепетной и юной плоти — бессмысленный и оскорбительный лик войны.

Война в романе Мерля предстает прежде всего как нелепость и несправедливость. И носители этой жестокой несправедливости — носители смерти — не только фашистские летчики, которые сбрасывают бомбы на человеческое стадо, беспомощно, беззащитно сбившееся на палубе старого колесного парохода, но и тот розовощекий английский капитан, который, цитируя «Гамлета» в толпе изнемогших, отупевших, растерянных солдат, бесстрастно повторяет: «Англичане — направо, французы — налево», присваивая себе незаконное — но практически узаконенное войной — право казнить или миловать. И это сочетание в одном человеке причастности к взлету человеческого духа и гуманизма — Шекспиру, и механического подчинения бездушному приказу, устанавливающему неравенство перед лицом смерти,— тоже лик войны, предельного выражения бесчеловечности.

Жюльен Майя — интеллигент. В кровавом хаосе Дюнкерка, когда в толпе торжествует инстинкт самосохранения, Майя сохраняет потребность мыслить. «Что благородней духом — покоряться пращам и стрелам яростной судьбы...» — подсказывает он капитану Джебету забытую тем строку «Гамлета». В сущности этот стих — эпиграф к книге, запрятанный вглубь, пересаженный в самую ткань повествования.

Что благородней духом — покориться войне или восстать против нее? Жюльен Майя утверждает свою непричастность. Он убежден, что «убивать людей абсурдно, потому что приходится делать это снова и снова». Он отказывается отличать эту войну — войну против фашизма — от войны вообще. «Конечно,— говорит он священнику Пьерсону, добровольно ставшему солдатом,— я был бы счастливее, если бы верил в войну и в те мотивы, по которым меня заставляют в ней участвовать. Но я в них не верю, и баста. Для меня война — абсурд... Все войны. Без исключения. Без предпочтения. Иначе говоря, не существует справедливых войн, или священных войн, или войн за правое дело. Война, как таковая,— абсурд».

В какой мере эта позиция героя романа выражает авторскую точку зрения?

«Уик-энд на берегу океана» — книга во многом автобиографическая, во всяком случае подсказанная личными впечатлениями и ощущениями: Робер Мерль, подобно Жюльену Майя, пережил паническое отступление французской армии, страх плена, ужас кровавого абсурда. Из войны Робер Мерль вынес прежде всего ненависть к ней, неприятие насилия. И только в пятидесятые годы, когда писатель пристальнее вглядывается в лицо фашизма, работая над романом «Смерть мое ремесло», повествующим о формировании нацистского палача, коменданта лагеря уничтожения, он приходит к убеждению, что позиция «неучастия» неизбежно приводит к роли соучастника зла.

И, однако,— такова сила художественной правдивости — глубинные токи выносят на пацифистскую поверхность первой книги Мерля тему необходимости обуздания темных сил, ответа насилием на насилие. Именно пацифист Майя, ненавидящий пре-

выше всего убийство,— убивает. Убивает двух мерзавцев, насилующих девочку. Одна нравственная норма — «не убий»,— бесспорная для Майя, сталкивается с другой и, очевидно, высшей нормой. И в это страшное мгновение Майя, почти бессознательно, поднимает руку на тех, в ком темная кровь войны вытеснила разум и человечность. Поступок Майя, который он так и не простит себе, хотя и не усомнится в необходимости свершенного, позволяет предвидеть неизбежность эволюции его взглядов: пережив он страшное воскресенье на атлантическом берегу, Жюльен Майя неотвратимо пришел бы в ряды французского Сопротивления, пацифист взялся бы — на этот раз сознательно — за оружие, чтобы обуздать тех, кто присвоил себе право распределять жизнь и смерть в зависимости от расовых или идеологических признаков («Евреи и коммунисты, шаг вперед...» А затем рвы, газенвагены или печи крематориев).

Но разве «Англичане — направо, французы — налево» — не то же самое, в конечном итоге?

Жюльен Майя гибнет под развалинами дома, снесенного гитлеровской бомбой, так и не убедив Жанну, спасенную им от насильников, что есть нечто гораздо более ценное, чем собственность,— жизнь. Он не успевает пересмотреть своего отношения к этой войне, не успевает сделать тех выводов, которые делает Адам Парсел, герой более позднего романа Мерля «Остров», понимающий всю иллюзорность «неучастия» и находящий свое место в борьбе за равноправие народов.

В том, что гуманист Майя чуждается идеологической определенности и не желает зачислить себя в какой бы то ни было политический лагерь, есть прежде всего историческая правда. До гитлеровской оккупации немало было французских интеллигентов, веривших в возможность остаться «над схваткой». И только неумолимые исторические обстоятельства вынудили их совершить выбор, перейдя от пассивного неприятия фашизма к активной с ним борьбе.

Но гуманистический индивидуализм Майя, если он и представляется людям, имеющим наш жизненный опыт, ограниченным, а возможно, даже и отталкивающим, оказывается весьма прозорливым в своих симпатиях и антипатиях. Майя, хотя и не ощущает справедливости этой войны — войны против гитлеризма,— яростно не приемлет всего, что в его собственном окружении в той или иной степени сродни фашизму.

Именно поэтому картина, нарисованная в романе, оказывается не просто моментальным снимком одного из эпизодов войны, но и приоткрывает корни, обнажает глубинные противоречия мирной жизни, казавшейся Жюльену Майя безмятежно счастливой, цельной без изъянов, хотя именно в ней прорастали те плевелы, буйное цветение которых ужасает его на войне.

Майя с недоумением взирает на хладнокровие британских офицеров, убежденных, что англичане имеют право на спасение, а французы могут подыхать на песчаных пляжах Дюнкерка под фашистскими бомбами. Но ведь эта национальная спесь возникла не на войне.

Майя порывает с Дьери, товарищем по трудным дням войны, когда обнаруживает в нем стяжателя, будущего воротилу черного рынка, уже готового примириться с захватчиками и примеривающегося, как половчей нажиться на горе и крови,— но ведь собственничество, не признающее никаких нравственных преград, коренится в довоенной жизни.

Два французских солдата насилуют девочку-француженку. Но так ли уж далека эта подлость, разнуздавшаяся в сознании безнаказанности и всеобщего распада, от самодовольной похвальбы Ниттеля, гордящегося тем, как он, шофер ночного такси, унижал до войны проституток: «Я на заднем сиденье, удобно так сижу, в зубах сигара, ну чисто хозяин со своей машинисткой. Девки у моих ног, понятно? Ну, фабрикант, что ли, понятно? Словом, крупный делец. И за все про все две десятки».

Нравственный компас Жюльена Майя безошибочно ведет его по пути, который пока еще не осмыслен и как бы даже перегражден ему выкладками рассудка: как ни отстаивает он в споре с Пьерсоном свою позицию неприятия какой бы то ни было войны, но пулеметчик Пино, не желающий расстаться со своим оружием, не перестающий стрелять по гитлеровским самолетам, вызывает у пацифиста Майя живую симпатию, а те, кто покорно подставляют шею «пращам и стрелам яростной судьбы»,— чувство протеста и желание пробудить в них силу сопротивленья.

«Уик-энд на берегу океана» дышит верой в стойкость человека, в прочность тех духовных и этических основ, которые противостоят развращающим силам войны и помогают людям остаться людьми в любых обстоятельствах.

Л. ЗОНИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

«НАЧИНАЕТСЯ ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ...»

Anthony Phelps. Mon pays que voici... suivi de «Les dits du Fou-aux-cailloux». Poèmes. Paris, 1968.

В конце 1968 года в Париже вышла новая книга стихов Антони Фелпса. Видный гаитянский поэт уже около пяти лет живет в Канаде, в Монреале.

Или тюрьма на родине (Фелпсу довелось испытать застенки диктатора Дювалье), или жизнь на чужбине — перед этим выбором поставлены почти все деятели культуры многострадального Гаити. Но и в «душной толще изгнанья» (слова Жана Бриера, старшего собрата Фелпса) гаитянские поэты живут страданиями и надеждами своего народа: их стихи всегда — о Гаити, для Гаити.

Книга Антони Фелпса, состоящая из двух больших поэм, носит имя первой из них — «Вот она, моя страна». Не география прекрасного острова, не красочная этнография его, даже не история, а живой образ измученной родины, пульсирующей в сердце одного из ее сыновей,— вот она, страна поэта. Образ страны, придавленной ночным мраком, страны, из которой высасывают жизненные соки, страны с большим прошлым, горьким настоящим и ясным — верит поэт — будущим.

Советский читатель уже знаком с поэмой Фелпса «Ты, страна моя» опубликованной недавно в переводе В. Козового (в книге «Взорванное молчание. Современная поэзия Гаити». «Прогресс», 1968); теперь, в новой книге Фелпса, эта поэма оказалась составной частью лиро-эпического произведения еще большего масштаба.

В новую поэму Антони Фелпса входят на равных правах и страстные монологи долгого дыхания (в предыдущих книгах иные из них фигурировали как отдельные вещи — «Поэма горы», например, переведенная на русский язык Л. Тоомом), и лаконичные лирические миниатюры, и своеобразный «монтаж» стихов, публиковавшихся ранее, с новыми строками и частями; все это образует сложный, композиционно причудливый, но плотный и единый в своем замысле и решении сплав. Единство ему придает сквозная тема родины, ожидающей часа воскресения своих надежд. Поэма прошита несколькими лейтмотивами, скрепляющими ее разнородные части, и ведущий из них — строки, звучащие то вздохом, то стоном, то кличем:

Кончается лето.
Какого же цвета новая будет пора,
Если не цвета надежды *.

Эти строки возникают много раз, а к концу поэмы они звучат уже так:

Пройдено лето.
Начинается время надежды...

Поэтический язык Антони Фелпса сложен и многокрасочен; синтаксис смел, ассоциации дерзки, словарь емок и богат. При этом у Фелпса нет ни тени нарочитой усложненности, затейливости. Его метафоры порой не боятся даже прямолинейности — гражданской, лирической («Каждый плач добавляет все новые капли к подземным потокам гнева» или «Мы вечерние пауки, мы ткем паутину надежды»). А рядом — нелегкие для понимания метафорические ходы, намеки, столкновения неожиданных рядов и понятий. Образность Фелпса несет на себе печать гаитянского устного народного творчества; здесь слышны отголоски тех же легенд, что дали рожденье «Звездному романсеро» Жака Алексиса, или поэмам Бриера, или стихам Давертижа,— то, что в конечном счете связано с национальной спецификой гаитянской литературы.

В эту общую для его соотечественников тональность Фелпс вносит своеобразие собственного видения мира, неповторимый рисунок своего поэтического темперамента. Голос Фелпса вобрал в себя и некоторые особенности французской поэзии двадцатого века с ее причудливой ассоциативностью, с ее подчеркнутой интеллектуальностью. Получается любопытнейшее сочетание и органическое сплетение в одном талантливом голосе двух школ; карибский фольклор — и высокая символика, близкая по своему духу поэтике Сен-Джон Перса... (Нечто сходное можно ощутить — разумеется, на иной национальной и индивидуально-поэтической почве — у Леопольда Седара Сенгора.)

Органическая, внутренняя, иногда словно для самого поэта нелегкая сложность поэтического мировосприятия и мировыражения придает голосу Фелпса трагические интонации.

Вторая поэма, вошедшая в книгу, «Сказания о безумце с камнями», имеет эпиграф — отрывок из письма отца поэта. Это рассказ о сумасшедшем, который приговорил себя к вечной каторге; на дороге, ведущей из Петионвиля в Порт-о-Пренс, он перетаскивает придорожные камни, складывая из них нелепый обелиск... С горечью уподобляет поэт (нигде, впрочем, не говоря этого прямо) свой труд этой добровольной каторге; он подхватывает и развивает мотивы первой поэмы, насыщая их еще большей гражданственностью, еще большей лирической страстностью.

Одна из глав поэмы с особенной наглядностью выявляет неделимое для Антони Фелпса единство лирического и политического в поэзии. Начиная одну из частей своих «Сказаний» с мягкой интонации (напоминающей элюаровскую):

Не дымят больше трубы,
И дома раздеваются.
Весна по моей ладони прошла,
Как живая вода, шевельнув соленым
хвостом,
Фонарь за окном с моей лампой
настольной беседует,
Их слова от меня ускользают,—

Фелпс почти незаметно переходит к размышлениям о своем народе, о всех народах, о мире и войне:

Километр — пустяк,
Если в нас, в нас самих уплывает все
дальше страна,
Как птица, умирающая в океане...
. . . . . .
Предохраните нас от притягательной
пустоты
И от солнца Хиросимы
Ханой — несмываемое пятно

* Здесь и далее стихи переведены автором рецензии.

На руках у Понтия Пилата,
И на каждом углу торгаши
Торгуют Вьетнамом...

Завершая обрамление главы, поэт обращается мысленно к любимой женщине — ее образ на протяжении всей книги возникает как залог надежды, сливаясь с обликом родины.

В одном из стихотворений — ныне оно включено поэтом в его поэму «Вот она, моя страна» — Антони Фелпс говорил:

Молчаливым обещаньем
Удивительных полетов
Зреет куколка надежды
В белом коконе тугом...

Он говорил, что скоро взовьется в небо бабочка — навстречу солнцу,—

Только дайте ей сначала
Силу крыльев ощутить.

В новой книге стихов Фелпса поэзия надежды и солнца уверенно расправляет крылья, ощущает их силу.

МОРИС ВАКСМАХЕР

ГДЕ РЕКА ОБРЕЛА СВОИ СЕМЬ ЗВЕЗД

José Vicente Abreu. Guasina, donde el río perdió las 7 estrellas. Caracas, Editor José Agustin Catalá, 1969.

Человека пытают. Голого, с заломленными за спину руками, бьют мачете и дубинками «блэк-джек». Привязывают к столбу или подвешивают за ноги к балке и бьют, выбирая самые чувствительные места на теле. Часами держат на глыбе искусственного льда. Сдавливают голову обручем. Пропускают сквозь тело электрический ток. Пытают светом, шумом, голодом, жаждой.

Чудовищно! Костры святой инквизиции меркнут перед этими пытками цивилизованного двадцатого века. И все же, когда потом, в тюрьме, разносится слух об отправке в Гуасину, это вызывает страх даже среди прошедших все круги ада. Гуасина — это верная смерть. Человек выдерживает самые ужасные пытки во внутренних тюрьмах Сегурналя *, но из Гуасины мало кто возвращается. А если и возвращаются, то чтобы умереть.

Гуасина — крохотный остров в дельте Ориноко. Здесь, «обогатив» опыт национальной охранки садизмом нацистских концлагерей, диктатура Переса Хименеса учредила в начале 50-х годов собственную фабрику смерти. Для политических заключенных. Для коммунистов и адеков **. Для студентов, рабочих и крестьян. Для стариков и подростков. Для всех, кто был причастен к борьбе против военной профашистской диктатуры в Венесуэле.

В половодье река затопляет остров настолько, что сухим остается лишь насыпной холм с воткнутым в него государственным флагом. Каторжане работают по грудь в воде, спят на полузатопленных нарах. Губительный климат, москиты и ядовитые гады, испепеляющее солнце, зверские побои, постоянный голод, тиф, дизентерия. Через год-полтора от человека, если он не погибает, остается скелет. Выживают лишь самые сильные духом.

К числу их относится венесуэльский писатель Хосе Висенте Абреу, автор недавно вышедшей из печати книги «Гуасина».

Немного найдется книг, о которых с такой уверенностью можно сказать — написаны кровью сердца. «Гуасина» — это документальный рассказ о виденном и лично испытанном, в нем сохранены факты и подлинные имена. Всякий раз, встречаясь с Хосе Висенте, испытываешь двойственное чувство. Потрясение при виде человека, подвергшегося таким страданиям, и восхищение человеком, которого эти страдания не сломили. И еще — гордость: этот человек — коммунист.

Как-то, уже в Москве, на дружеской встрече, Хосе Висенте попросили сказать несколько слов. Он поднялся из-за стола — невысокий ростом, смуглокожий, по-индейски скуластый — и начал смущенно, будто чувствовал за собой вину:

— Не знаю, смогу ли. Я разучился говорить...

Это не было красивой фразой. Человек действительно молчал много лет подряд. В застенках Сегурналя заставляли говорить. Для того и терзали подследственного, чтобы он «запел» наконец. «Сейчас ты у меня захрустишь костями!» «Сейчас ты у меня вспыхнешь, как электрическая лампочка!» В эти кошмарные часы весь смысл жизни сгущался в одной сверхтяжелой капле — смолчать. В Гуасине же, наоборот, запрещали говорить. И человек опять молчал, а если и говорил с товарищами, то не открывая рта. Отсюда — «Я разучился говорить».

Принято считать, что для творчества нужны благоприятные условия. Если так, то писатель Абреу сформировался вопреки правилу. Черновики «Гуасины» зародились в тюрьме Сьюдад-Боливара. Как спрячешь исписанные листки в тюремной камере, где каменный пол, голые цементные стены, а арестантскую одежду охранники перетряхивают чуть не ежедневно? Однако, утверждает Хосе Висенте, не родился еще такой тюремщик, которого не сумел бы перехитрить заключенный. Он прятал свои заметки в термос для кофе. Он продолжал прятать их дома: полиция имеет обыкновение приходить незванно, а в дом Абреу она наведывалась то и дело.

* Сегурналь — Управление национальной безопасности во времена диктатуры Хименеса (1949—1958).

** Адеки — члены политической партии «Демократическое действие», в то время находившейся в оппозиции к диктатуре.

Так сложилось, что «Гуасина», начатая 16 лет назад, увидела свет лишь в нынешнем году. Она родилась вслед за книгой «Это называлось НБ», вторая глава которой носит то же название — «Гуасина». Это своего рода вариации на одну тему. Обе они — об одном. О зверствах диктатуры. О мужестве, героизме и подвижничестве венесуэльских революционеров. Народ и диктатура схлестнулись в смертельной схватке. У диктатора — колоссальный аппарат подавления, современное заморское оружие, поддержка сильных мира сего и продажной прессы. У народа — только сжатые кулаки ненависти, только не знающая предела выносливость да сознание своей правоты.

Очередную партию политзаключенных везут в трюме парохода в концлагерь. После недели пути — высадка на остров. Затем каторжные работы. От восхода до заката люди толкают груженные породой тачки — сооружают насыпной заслон от паводка (сизифов труд: река тут же размывает насыпь). Строят бараки и вышки для охраны. Каждый новый день — еще один шаг к неизбежной смерти. Все, из чего состоит их существование, люди делают под дулом автоматов. Здесь все запрещено, даже пить воду во время работы. Рядом — Ориноко, под ногами вода, а люди гибнут от жажды. «Я пил воду ногами, как пьют ее деревья корнями. Я шевелил пальцами ног, и мне казалось, будто я чмокаю губами, глотая воду».

И все же борьба идет, хотя и скрытая. Смысл и цель ее на том этапе — выжить. Не допустить полного истощения, а для этого — не бегать, как приказывают охранники, а передвигаться шагом, работать вполсилы. Выйти живым из этого ада, чтобы потом продолжать начатое дело. Для коммунистов кроме этой цели существует еще одна: направить ненависть людей в русло классового сознания, раскрыть им смысл истинной революции, не дать им погрязнуть в пучине терроризма и ответного человеконенавистничества — самой прямой для политически незрелого ума реакции на жестокость.

Каждая из судеб людей, попавших в Гуасину,— это отдельная новелла со своим напряженным, полным неожиданных поворотов сюжетом.

Неграмотный крестьянин Панчо Брисеньо. Гонения властей сделали его кочевником. Со своей многочисленной семьей и скарбом он уходил все дальше в Анды, где только ветер да ягуары. Подчас не успевал собрать урожай, выращенный им на самовольно занятой земле. Больше всего в жизни Панчо ненавидит власти и ...дым. По дыму от очага его обнаруживают в своих бескрайних латифундиях помещики. Он сожалеет, что нет огня без дыма. Табак и тот он не курит, а жует.

Негр Исидоро из Барловенто. Виртуоз барабанщик. Когда он по праздникам отбивал свои бешеные, клокочущие ритмы, людям казалось, что этот колдун упрятал в барабан грозу. И зубы у него — ровные, литые, ослепительно-белые — сверкали в улыбке, словно молния.

В тот день негр Исидоро пришел к священнику на исповедь. В руках — ни юки, ни курицы, одни грехи. «Плохо, сын мой, плохо!» — «Подождите, святой отец. Вот мы тут профсоюз организуем. Будем побольше зарабатывать и на церковь не пожалеем».— «И когда же это будет, сын мой?» — «Скоро, падре, в этом году, в этом месяце».

Ночью за негром Исидоро пришла полиция. В темноте он успел разглядеть у дверей ранчо поповскую сутану.

Учитель. Работал воспитателем в детском саду. По природе и в силу профессии человек мягкий, нежный. «Вот этот пальчик, толстенький, коротышка,— большой. Вот этот, непоседа и задира,— указательный...»

Учителя пытали одновременно с женой. В его присутствии ее стегали хлыстом, издевались, пока она не потеряла сознания. Он не чувствовал побоев, которые сыпались на него; он видел только мучителей. В эти мгновения нежный, деликатный человек превратился в зверя. Он жаждал одного: кусать этих палачей, разрывать их тела ногтями, вырывать у них сердца и топтать их, топтать... Здесь, в Гуасине, он как зеницу ока бережет свой указательный палец. Для него это инструмент и символ мести: указательным пальцем нажимают курок.

Рабочий-сапожник. Профессиональные следы порезов на левой руке. Зачесанные назад длинные волосы. Спорит с учителем: «Мы будем не мстить, а наказывать. Революционная справедливость не должна быть запятнана пытками». Профсоюзный деятель. Семья — жена и девять детей. Вечно голодные, вечно босые дети сапожника. Он их почти не видит. Иногда тайком пробирается в ранчо — повидать семью. Они с женой с молодости поделили обязанности: она живет для детей, он — для борьбы. Мать объясняет детям: «Ваш отец борется, чтобы все дети были счастливыми. А пока счастье запрещено. Как запрещено вам гулять в красивых парках».

Вот перед нами начальник лагеря, лейтенант Рамиро.

«Это крыса. Жирная, кровожадная крыса с истерически прыгающими глазами. Он не способен к мышлению... Короткие ноги, толстый живот. Поминутно он изрыгал проклятия по поводу своего вынужденного воздержания. Среди прочего — сильнейший комплекс неполноценности: он не кончал Военной школы. Расплачивались за это заключенные. Он шел на все, лишь бы унизить их, особенно интеллигентов, умалить их достоинство, чтобы почувствовать себя властелином людей, их жизни, целого мира, всей вселенной. Все, все было подвластно его сапогу, его кулаку. Он был всесилен. Он искренне верил, что господь бог носил погоны сержанта, и потому считал бога по сравнению с собой нижним чином».

Может возникнуть вопрос: для чего пона-

добилось писателю повторять в «Гуасине» то, что однажды уже было им сказано?

Прежде всего это не простое повторение. Запас жизненных фактов у писателя так велик, что его достанет еще на несколько произведений. Но главное даже не в этом. Книги Абреу — это и вещественное доказательство, и обвинительный акт, и острое политическое оружие. И, если угодно, трактат в защиту нравственности и гуманизма. Есть вещи, которые люди не вправе забывать, говорит своими книгами Абреу. И никогда не мешает лишний раз напомнить людям, какие преступления против человечности могут совершаться у них под боком, прикрытые «государственной тайной». Преступления, в которых повинен империализм.

Сейчас в Венесуэле «тихо», правительство президента Кальдеры пошло на демократизацию общественных порядков, однако борьба народа не завершена. Кстати, экс-диктатор Хименес, бежавший в 1958 году от народного восстания в Соединенные Штаты, снова кружит поблизости от Венесуэлы. А внутри страны нет-нет, да и раздастся голос, пытающийся если не оправдать, то хотя бы смягчить задним числом бесчеловечную политику свергнутого диктатора. Он-де хотя и был крут, однако же «возражал против излишней подозрительности и пренебрежения к сфере чувствительного, духовного, гуманного».

«Лживый аргумент» этот, говорит в предисловии к «Гуасине» доктор Хоакин Габальдон Маркес, не только извращает тот факт, что Венесуэлу, в лице ее лучших, благороднейших сынов, годами терзали и рвали на части, он искажает саму суть представления о морали, духовной природе человека, о законности... Такое не имеет права происходить на нашей земле».

Нет, стоило повторить в «Гуасине» то, что уже было сказано в другой книге пять лет назад. Потому так восторженно и встретила ее передовая венесуэльская общественность.

Хосе Висенте Абреу озаглавил свою поэму-трагедию (поэмой критика назвала «Гуасину» за особую, поэтическую образность языка) — «Гуасина, где река потеряла свои семь звезд». Река — это Ориноко, а шире — родина. Семь звезд (на национальном флаге — семь первоначально сложившихся в итоге Войны за независимость штатов Венесуэлы) — символ исторического пути страны. В Гуасине — черном позоре страны, смердящей язве — померкла Венесуэла, таков смысл названия книги.

Может быть, так, но это не вся правда. В своих двух книгах Абреу показал, что Гуасина была еще и горнилом, где закалялся человеческий металл. Люди с алмазно твердой волей даже в тех условиях крепли сами и возрождали колеблющихся и отчаявшихся. Если бы это было не так, то не поднялся бы в Венесуэле очистительный шквал народного восстания 1958 года. Поэтому писатель с полным основанием мог бы сказать: «Гуасина, где река обрела свои семь звезд».

В. КРЫЛОВА

«...МИР ТАК ПРЕКРАСЕН»

Дамян П. Дамянов. ...И си отива лятото... София, Български писател, 1968.

В 1958 году вышел первый сборник двадцатитрехлетнего поэта Дамяна П. Дамянова «Если нет у тебя огня». Огонь поэзии пылал здесь в каждом стихотворении, и сборник приветствовали едва ли не все крупные журналы и газеты Болгарии. Через год сборник был переиздан. Еще через год появился второй сборник поэта «Ожидание», встреченный с неменьшим успехом.

И вот перед нами десятая книжка Дамяна П. Дамянова, которую он назвал «...И проходит лето...». Стихи, в нее вошедшие,— логическое продолжение творческого развития поэта, и хотя все они написаны в последние годы, сборник с полным основанием можно считать итоговым, поскольку он синтезирует в себе десятилетний опыт поэта.

Что же характерно для этого периода творческого развития Дамяна Дамянова? Физический недуг и вызванное им чувство одиночества, подавленности, с одной стороны, страстное желание общения, активной деятельности, борьбы, с другой — вот компоненты, из которых слагается психологическое состояние поэта и которое ощущается едва ли не во всех его стихотворениях.

Стены, ограничивающие мир поэта, окна, за которыми беснуется ветер, отяжелевшие веки, отяжелевшее сердце — образы, которые так знакомы читателям первых его сборников. Но даже окруженный «черными мыслями, точно черными птицами», Дамян Дамянов верит, что «все же мир так прекрасен!»

В стихотворении «Начало», из которого взята эта строка, поэт раскрывает, что именно дорого ему в этом прекрасном мире:

Пусть кто-нибудь его полюбит,
пусть песня льется вдалеке.

Отнюдь не случайно здесь подчеркнуто слово «вдалеке» (оно выведено в конец строки, замыкает строфу и вносит весьма приблизительную римфовку в точно рифмованное стихотворение). Ведь голубое небо, покрытые цветами поля, птицы и деревья, веселые песни воспринимаются лирическим героем Д. Дамянова, живущим среди камней большого города, как нечто такое далекое, о сближении с чем не всегда можно и мечтать. Гораздо дороже, важнее, ближе любовь человека, любовь людей. И любовь к человеку, к людям.

С годами стихи Д. Дамянова становятся оптимистичнее, жизнерадостнее. Особенно это заметно после того, как он прочитал книгу Николая Островского, увидел сходство своей и его судьбы. «Мне стыдно, что

в то время, как я хнычу в своей комнатушке, вне ее живут Корчагины и Жухраи,— признался Д. Дамянов однажды,— меня поразила сила этого человека, прошедшего великий путь революции».

Поэт ясно осознал, что как бы точны и глубоки ни были его наблюдения над самим собой, как бы глубок и точен ни был анализ его душевного состояния, как бы ни была богата его духовная жизнь, в творчестве тема «я» не должна вытеснять тему «мы», что факты жизни поэта — лишь исходный пункт для постановки общечеловеческих проблем, что «дорогу к людям» человеку помогают найти «не быстрые ноги, а большое сердце».

Все это воплотилось в книге «...И проходит лето...». Может быть, потому, что стихи здесь — плод раздумий поэта в годы, которые он воспринимает как итоговые, сборник имеет на редкость целостный облик.

Это не значит, что автор преодолел все, что столько лет его мучило. Отнюдь нет. Речь идет о главном, определяющем в книге, о том, что делает ее заметным явлением в современной болгарской поэзии.

Лирический герой Д. Дамянова симпатичен читателю своей активностью, непримиримостью и в то же время чистотой порывов, почти детским видением окружающего. Жажда красоты рождает для него из «белого воздуха» девушку-видение, он мечтает о «синей птице», стремится к естественной жизни, хочет слиться с родной землей, «окунуться в голоса природы». Его еще волнует романтика детства, романтика сельского болгарского быта, но он понимает, что она для него нечто недостижимое. Может быть, именно потому, что Дамян Дамянов это понимает, его отношения с этим миром очень просты.

Иное дело — отношения с тем, что реально окружает лирического героя, отношения с городом, беспокойные ритмы которого часто заставляют его терять спокойствие, хотя без этого города он, горожанин до мозга костей, прожить не сможет.

Мир романтический и мир реальный сосуществуют в лирическом герое Дамяна Дамянова. Однако иногда они так грозно противостоят один другому, как в стихотворении «В час синей мглы», что кажется — не миновать конфликта.

Конечно же, здесь дело не в городе, как таковом, а в том, что город воспринимается иногда поэтом как питательная среда для людей, не желающих знать ничего, кроме транзисторов, футбола, нейлоновых рубашек, мини-юбок, для тех, которые

там видят воплощенье коммунизма,
где сытно кормят и грохочет джаз.

Стихотворение «В час синей мглы» — одно из важнейших в книге по своему идейному содержанию, ибо показывает, что конфликта между поэтом и окружающей его жизнью вообще, прежде тревожившего Дамяна Дамянова, теперь не существует, что этот конфликт уступил место конфликту между поэтом и теми, кто живет не отвечающей высоким моральным требованиям социалистического общества жизнью, что конфликт стал общественно значимым. Поэт нашел свое место в жизни, это понимаем мы из многих стихотворений сборника. Едва ли не лучшее среди них — посвященное памяти крупнейшего поэта Болгарии Веселина Ханчева «Чтоб ты остался...».

Озаглавленное так по названию ханчевского сборника, это стихотворение — апофеоз бессмертию человеческой мысли. В книге Д. Дамянова оно не стоит особняком, перекликаясь со многими стихотворениями, посвященными бессмертию человека, и прежде всего стихотворениями, написанными на рождение сына. Рождена новая жизнь и побеждена смерть, умерло отчаяние, погиб мрак, торжествует закон вечного движения, вечного возрождения.

...И проходит лето... Поэт завершил процесс поисков. Впереди — зрелость и мудрость.

А. ОПУЛЬСКИЙ

НА АВАНСЦЕНЕ СОВРЕМЕННОЙ АВСТРИЙСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Fritz Hochwälder. Stücke. Berlin, Henschel Verlag, 1968.

Литературную Вену не раз уже сравнивали с кукушкой, норовящей подбросить своих птенцов в чужие гнезда. Ныне нерадивая мать как будто опомнилась: постоянно сзывает своих детей в родные пенаты, суля им награды, присуждая премии. Они приезжают отовсюду: Э. Канетти и Э. Фрид — из Лондона, П. Целан и М. Шпербер — из Парижа, И. Бакман — из Италии, Г. К. Артман — из Швеции, И. Урцидиль — из Штатов, произносят прочувствованные речи, получают причитающиеся им гонорары и, увы, уезжают обратно, то ли помня былые обиды, то ли привыкнув к насиженным за многие годы местам.

Пожалуй, чаще других австрийских писателей, живущих на чужбине, бывает на родине Фриц Хохвельдер, известный драматург, эмигрировавший после «аншлюса» в Швейцарию и живущий в Цюрихе. Постановки его пьес, неизменно входящих в репертуар Бургтеатра и других венских сцен, принадлежат к наиболее ярким и значительным событиям в театральной жизни Австрии наших дней. Об этом свидетельствует и тот факт, что Хохвельдер уже четырехкратный лауреат — Венской литературной премии (1955), премии Грильпарцера (1956), премии Вильдганса (1963) и Австрийской государственной премии (1967).

Ф. Хохвельдер держится в стороне от шумных новаций и экспериментов, связанных с деятельностью «авангарда» на западной сцене. Он подчеркнуто «консервативен», ориентируется на традиции классического театра, прежде всего — на традиции венской народной драматургии. Ее признанных корифеев Ф. Раймунда и И. Н. Нестроя наряду с Фердинандом Брукнером, с которым

его связывали узы многолетней дружбы, он считает своими учителями. Как и Брукнер, обращавшийся к «делам давно минувших дней», чтобы дать глубокий анализ современной эпохи, Хохвельдер нередко использует исторические сюжеты для нужд острозлободневной проблематики, для антифашистской борьбы. Как и Брукнер, не боясь прослыть «ретроградом», он нередко прибегает даже к классицистическим единствам — для прояснения внутреннего концептуального содержания пьесы, ее идейного замысла.

Премьеры первых пьес Хохвельдера состоялись еще накануне войны, но широкий европейский и даже мировой успех пришел к нему в послевоенные годы, когда были поставлены его исторические драмы «Святой эксперимент» (1943) и «Общественный обвинитель» (1948), в которых впервые в творчестве Хохвельдера возникла очень характерная для него проблема личной ответственности человека за ход исторических событий.

Первой из этих пьес открывается сборник Хохвельдера, вышедший ныне в ГДР с предисловием известного австрийского поэта и переводчика Гуго Гупперта. Книга включает пять пьес драматурга — примерно треть всего им написанного. И хотя жаль, что здесь нет «Общественного обвинителя» и таких важных пьес, как «Донадье» и «Четверг», тем не менее и в таком составе сборник дает разностороннее представление о драматургии Хохвельдера, демонстрируя основные вехи его творческой эволюции.

Так, об увлеченной работе Хохвельдера по изучению старинных форм народного, восходящего к балагану театра свидетельствует обработанный им шванк «Постоялый двор» (1957). Сюжетными перипетиями и яркой фольклорной фактурой эта пьеса напоминает «Крестьянина-миллионера» Раймунда, с блестящей феерией которого познакомил советского зрителя «Бургтеатр» во время последних гастролей.

В остроумной комедии «Невиновный» (1958), в которой используются приемы язвительнейшей сатиры Нестроя, драматургу удалось глубоко вскрыть психологию западного мещанина, подоплеку его хамелеонства и мимикрии, которые, как показала недавняя история, могут иметь самые тяжелые последствия.

О непреодоленном прошлом, о готовности иных социальных групп и теперь следовать за «сильной» личностью по пути преступлений говорится в одной из лучших пьес Хохвельдера — «Сборщик малины» (1965). Заштатный городишко Бад Браунинг, в котором происходит действие пьесы, дает выразительный и — при всей своей карикатурности — точный портрет неприглядного буржуазного мирка. Эта пьеса — важный этап в эволюции Хохвельдера. В то же время она чрезвычайно показательна для некоторых общих веяний в современном европейском театре, придерживающемся гуманистических позиций. Обострение политической борьбы, рецидивы фашизма, угроза новой мировой катастрофы заставляют сегодня многих драматургов — в том числе и Хохвельдера — обращаться к жгучим проблемам настоящего дня, не драпируя их более в исторические одежды и не обращаясь к мифологии.

Композиционная пружина «Сборщика малины» напоминает «Ревизора»: жители глухого провинциального городка, тоскующие по «старым добрым временам», принимают заезжего карманника за крупного нацистского преступника и всячески стараются ему угодить, надеясь на реставрацию прежних порядков. Недоразумение обнаруживается лишь в финале пьесы, который к гротеску гоголевской развязки добавляет жутковатую серьезность и трагизм нашего века.

К «Сборщику малины» идейно примыкает и последняя пьеса Хохвельдера — «Приказ» (1968), написанная на основе одноименного телевизионного сценария. В ней явственно проглядывает другое историко-литературное клише: исходная ситуация мифа об Эдипе. В этой ситуации оказывается главный герой пьесы венский криминалист Миттермайер, человек безупречной репутации, ревностный служака и хороший семьянин. Ему поручено расследовать дело об убийстве девушки-голландки, совершенном полицейским немецких оккупационных войск во время войны. В ходе расследования выясняется, что убийцей был... сам Миттермайер, в результате сильного шока забывший этот случай.

Подобная «забывчивость» — как правило, вовсе не вызванная психическими заболеваниями,— стала в Германии и Австрии весьма распространенным явлением, равно как и привычка сваливать всю вину на обстоятельства.

Когда-то, рьяно выполняя приказ, Миттермайер убил. Теперь же, годы спустя, он получает приказ разыскать убийцу. Два приказа, как две контрапунктные линии, проходят сквозь его жизнь на сцене и, столкнувшись, перечеркивают ее. Какой новый приказ ждет свидетелей этой драмы? И сумеют ли они противостоять безумным приказам, найдут ли в себе силы воспрепятствовать новым преступлениям? Вот те вопросы, с которыми Хохвельдер обращается к зрителям в своих новых пьесах. Тем самым в решающих идейных моментах он примыкает к остроразоблачительной и гневной документальной драматургии наших дней, хоть и резко отличается от нее своей художественной манерой. Ф. Хохвельдер сейчас в расцвете творческих сил. Зрелый мастер, добросовестный и взыскательный художник, он, надо полагать, еще немало сделает для развития современного прогрессивного театра стран немецкого языка — театра обвинения и предостережения.

Ю. АРХИПОВ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Издательство «Култура» в г. Скопле (Югославия) выпустило на македонском языке (третьим изданием) роман М. Горького «Мать», а также книгу Ю. Гагарина и В. Лебедева «Психология и космос». В этом же городе изданы на македонском языке «Дикий мед» Л. Первомайского (издательство «Македонска книга») и «Зрелища» Е. Винокурова (издательство «Мисла»).

По сообщениям печати, в Югославии вышло в свет новое издание произведений С. Есенина, в которое включено около 30 его стихотворений. Тексты напечатаны параллельно на русском и сербохорватском языках. В качестве предисловия в книге использован очерк М. Горького «Сергей Есенин».

Романы «Тихий Дон» М. Шолохова, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Зависть» Ю. Олеши, а также повесть «Девочка из города» Л. Воронковой выпущены в Хельсинки издательством Вернера Сёдерстрёма.

В издательстве «Каристо» в финском городе Хяменлинна вышли пьесы «Баня» В. Маяковского и роман «Двое» Ю. Бондарева.

В издательстве «Искры» (Варшава) девятым изданием выпущена «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.

«Театр Лодзинской земли» (г. Лодзь) показал инсценировку рассказа М. Шолохова «Судьба человека». Как сообщает печать, спектакль пользуется успехом не только в самой Лодзи, но и в районных городах, а также селах Лодзинского воеводства, куда труппа театра выезжает на гастроли.

Сборник повестей и рассказов А. Платонова под названием «На великой стройке» выпустило итальянское издательство «Гутенберг».

Итальянское телевидение показало телеспектакль по пьесе М. Булгакова «Дни Турбиных»; режиссер-постановщик — Эдмо Фенольо.

Болгарский литературный журнал «Септември» в одном из последних номеров опубликовал большой цикл стихотворений Кайсына Кулиева в переводе Николая Христозова. Там же напечатана статья о жизненном и творческом пути поэта.

По сообщениям печати, в последние годы в Чили изданы на испанском языке многие произведения русских и советских авторов. В Сантьяго и других чилийских городах в книжных магазинах можно приобрести произведения А. Пушкина, И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Бунина, М. Горького, М. Шолохова.

Чилийское издательство «Зиг-заг» выпустило недавно сборник поэзии В. Маяковского, а также «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Чапаев» Д. Фурманова, сборник повестей и рассказов В. Пановой, «Тройка, семерка, туз» В. Тендрякова, «Свет далекой звезды» А. Чаковского, «Звездный билет» В. Аксенова.

В специальной серии «Лауреаты Нобелевской премии» выпущены «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова.

По данным «Указателя переводов» ЮНЕСКО за 1969 год, в Дели (Индия) изданы роман М. Горького «Фома Гордеев» и сборник его статей и речей «О литературе» (на языке урду), повесть В. Пановой «Евдокия» (на урду), роман М. Шолохова «Тихий Дон» (на хинди) и «Репортаж из двадцать первого века» М. Васильева и С. Гущева (на хинди).

В Бомбее на языке маратхи издан рассказ А. Борщаговского «Пропали без вести».

В Мадрасе на языке телугу выпущен роман М. Бубеннова «Белая береза».

В штате Трипура на языке малаялам изданы сборник повестей Ч. Айтматова и повесть С. Антонова «Аленка».

В городе Виджаявада на языке телугу выпущена повесть А.Чаковского «Свет далекой звезды».

В Рангуне (Бирма) издан сборник статей и речей М. Горького «О литературе». Там же выпущены повести Э. Казакевича «Звезда», «Синяя тетрадь» и Б. Полевого — «Вернулся».

«Тихий Дон» М. Шолохова вышел в Брюсселе (Бельгия) в издательстве «Арбайдерсперс».

В Рейкьявике (Исландия) издана повесть В. Пановой «Сережа».

Общественность Монголии широко отметила 85-летие со дня рождения крупнейшего советского ученого-монголоведа Б. Я. Владимирцова. В связи с юбилеем ученого газета «Новости Монголии» писала, что «Б. Я. Владимирцов сделал то, чего не сделал никто из его предшественников,—направил исследование Монголии в широкое русло науки... Труды академика Владимирцова по грамматике монгольского языка и монгольскому алфавиту, по литературе, истории и культуре монголов до сих пор являются незаменимыми источниками для научных исследований, служат развитию науки и культуры в нашей стране».

Роман-хроника Юрия Корольков «Тайны войны» вышел в ГДР в издательстве «Культур унд фортшритт».

«Оптимистическую трагедию» В. Вишневского в новой постановке показал театр «Берлинский ансамбль».

Пьеса В. Розова «В день свадьбы» поставлена в Ростоке (ГДР).

«Киндербух-ферлаг» выпускает полное собрание сочинений А. Гайдара; два тома уже вышли из печати.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛЖИР

ПЕРВЫЙ ВСЕАФРИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ

«У меня создалось впечатление, будто я присутствую при открытии Африки»,— сказал известный французский африканист Франсис Жансон, знакомый советскому читателю по книге «Алжир вне закона», который присутствовал на открытии Первого всеафриканского фестиваля культуры. Встреча работников искусства и литературы всего африканского континента была задумана два года назад и осуществлена под эгидой Организации Африканского Единства при скромной финансовой помощи ЮНЕСКО; значительную часть расходов взяло на себя правительство Алжира. В столицу Алжира съехалось около восьми тысяч работников культуры и искусства африканского континента — представителей более 30 стран — членов ОАЕ,— а также гостей и журналистов.

21 июля при огромном стечении людей участники фестиваля торжественным маршем прошли через весь город во Дворец народа, где президент Алжира Хуари Бумедьен провозгласил фестиваль открытым.

Программа фестиваля была весьма обширной. В течение десяти дней проходили конкурсы артистов, музыкантов, певцов, танцоров. Интерес участников и гостей фестиваля вызвала Неделя африканского кино. Были открыты выставки живописи, скульптуры, изделий народных умельцев. Советские художники, приглашенные в качестве гостей, привезли выставку «Африка в произведениях советских художников», которую открыла министр культуры СССР Е. А. Фурцева.

Значительным событием стал проходивший в дни фестиваля симпозиум «Африканская культура, ее достижения, роль в освободительной борьбе, в упрочении африканского единства, в социально-экономическом развитии африканского континента». В его работе участвовали видные общественные и политические деятели Африки.

Симпозиум выработал конструктивные рекомендации и предложения по проблемам развития культуры в Африке, среди них: создать африканский киноинститут, книжные издательства; добиться возвращения предметов искусства и архивов, похищенных колонизаторами; способствовать обучению молодежи на национальных языках Африки и перевести на них шедевры мировой литературы; приобщать молодежь и женщин к культурной жизни стран Африки.

В день закрытия фестиваля на симпозиуме с большим воодушевлением был принят Манифест африканской культуры. Большой приз фестиваля был вручен делегации работников культуры Гвинеи. Все участники фестиваля присутствовали при торжественной закладке в столице Алжира сквера имени Первого всеафриканского фестиваля культуры.

Оценивая значение фестиваля и прошедшего в его рамках симпозиума, вице-президент Революционного совета Конго (Браззавиль) Пьер Н'Зе заявил корреспонденту алжирской газеты «Аль-муджахид»: «Мы считаем, что это исторический шаг на пути к единству. Сюда приехали африканцы из всех районов Африки, представители различных рас, говорящие на различных языках, имеющие, естественно, различные традиции, но они приехали, чтобы вместе защищать свою культуру, чтобы укрепить наше единство. Об этом думают все участники фестиваля. Существуют различные культуры, например, арабская и негритянская. Нам нужно подняться над этими понятиями, чтобы найти в той и другой культурах общее для всей Африки. В арабской и негритянской культурах мы должны находить общие темы, сохраняя в то же время самобытность каждой...»

АНГЛИЯ

«БИТВА ЗА МУЗЫКУ»: ПЕРВЫЙ ЭТАП

Видные композиторы и дирижеры Англии, а также широкая общественность включились в кампанию протеста против намерений радиовещательной корпорации Би-би-си резко сократить передачу по радио серьезной музыки и распустить четыре симфонических оркестра. Начиная с весны нынешнего года в газетах то и дело появляются заголовки: «Спасайте музыку!», «Музыка в опасности», «На помощь музыке», «Угроза оркестрам» и т. д.

Выступая от имени крупнейших музыкантов и композиторов, Артур Блисс заявил, что Би-би-си намерена заменить серьезную музыку круглосуточным «музыкальным гашишем», так называемой «поп-музыкой». Би-би-си, отметил он, тем самым наносит ущерб развитию музыкальной культуры страны.

Если планы руководства Би-би-си будут осуществлены, отмечает печать, то 300 членам Союза музыкантов, входящим в состав ведущих оркестров Би-би-си, грозит безработица. Генеральный секретарь Союза музыкантов Харди Ретклиф от имени 34 тысяч членов этого Союза осудил планы руководства Би-би-си. Он заявил, что «битва за музыку» обойдется Би-би-си дороже, чем предполагают ее боссы.

В широкую кампанию протеста включилась даже консервативная печать. Такие газеты, как «Таймс», «Санди таймс», еженедельник «Обзёрвер» выступили против планов руководства Би-би-си. Нужны правительственные субсидии для симфонических коллективов, заявил корреспондент «Обзёрвера», судьба серьезной музыки в Англии находится под угрозой. Обозреватель «Санди таймс», отмечая, что серьезные музыкальные передачи Би-би-си, особенно симфонические концерты, слушают миллионы людей, призвал потребовать от правительства финансовой помощи.

Первый этап «битвы за музыку» закончился тем, как сообщает печать, что руководству Би-би-си пришлось пойти на некоторые временные уступки. Четыре симфонических оркестра не будут распущены до весны 1970 года. Первоначальные планы сокращения их штатов и программ серьезной музыки будут пересмотрены. Такая уступка, сообщает газета «Морнинг стар», была сделана руководством Би-би-си под давлением группы членов парламента. «Это показывает,— пишет корреспондент «Морнинг стар»,—что давление общественности на Би-би-си может сыграть немалую роль. Поэтому следует продолжать широкое обсуждение проблем музыки».

ПЬЕСА О СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

В лондонском «Юнити тиэтр» состоялась премьера пьесы Уилсона Джона Хейра «Бриллиант, кость, молоток и Ольстерские истории». Автор родом из Белфаста, он хорошо знает историю своей родины. По отзывам критиков, ему удалось создать не только в высшей степени злободневное сценическое произведение (премьера совпала по времени с бурными событиями в Северной Ирландии, кровавыми столкновениями в Ольстере и прибытием туда английских войск), но и отразить в нем сложную историческую подоплеку нынешнего положения в этой стране. Тема пьесы: политические и религиозные распри, раздирающие Северную Ирландию на протяжении последних пятидесяти лет.

Театральный обозреватель газеты «Морнинг стар» писал о пьесе: «Больше всего впечатляет печальная преемственность трагической истории этого края. Большинство событий, получивших отражение в пьесе, произошло много лет тому назад, однако они отчаянно смахивают на события 1969 года».

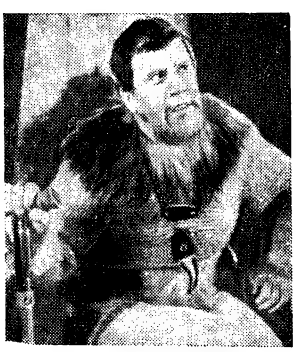
«Хотя пьеса не подсказывает никакого выхода,— продолжал обозреватель,— она тем не менее ставит некоторые проблемы, которые сегодня, в наши дни, приводят к ожесточенным конфликтам в Северной Ирландии. Трагедия общества показана через невзгоды героев пьесы, порожденные политическими и социальными факторами».

БОЛГАРИЯ

СМОТР НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

В Болгарии прошел IV национальный смотр драматургии и театра, посвященный 25-летию социалистической революции. В смотре приняло участие 15 драматических коллективов страны, среди них — столичные театры им. Ивана Вазова, На родной армии, Сатирический, Молодежи, Поэзии и эстрады, «Слеза и смех», а также театральные коллективы из Варны, Бургаса, Габрово и других городов.

Театральный критик Владимир Каракашев в обзоре, опубликованном еженедельником «Литературен фронт», особо выделяет два спектакля, которые считает лучшими из 20 показанных на смотре. Это — «Человек из досье» Лозана Стрелкова, поставленный Народным театром в Габрово, и «Счастье не приходит само» Бояна Балабанова в исполнении



Народный артист Георгий Калоянчев в пьесе Николы Русева «Старичок и стрела», поставленной Государственным сатирическим театром, участвовавшим в смотре национальной драматургии.

(Журнал «Театр»)

молодого столичного коллектива «Слеза и смех». Это боевые спектакли о нашей современности, пишет критик, герои которых — коммунисты, борющиеся за торжество социалистических идей.

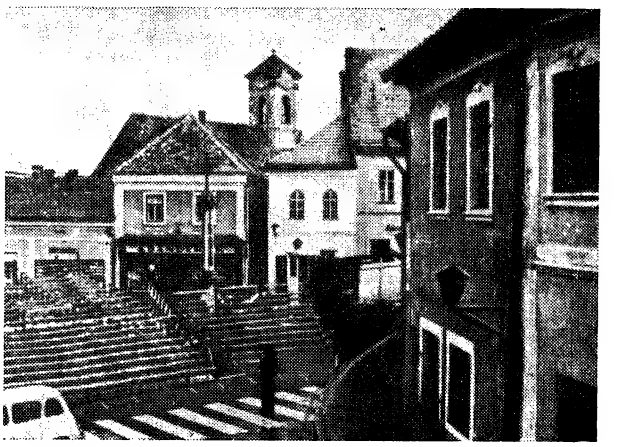
Интересными по форме, проблемными критик называет также такие постановки, как «Старичок и стрела» (Сатирический театр в Софии), «Калоян» (Народный театр в Благоевграде), «Легенда о Гоце» (Театр поэзии и эстрады в Софии), «Монах и его сыновья» (Народный театр им. Ивана Вазова), «Между двумя выстрелами» (Народный театр молодежи) и другие.

Владимир Каракашев пишет далее, что смотр дал четкое представление о современном уровне болгарской драматургии и режиссуры. «В период между III и IV национальными смотрами современная болгарская драматургия обогатилась новыми талантливыми произведениями, в нее влились новые силы. В то же время,— продолжает Каракашев,—IV смотр показал, что писатели и театры еще в большом долгу перед нашей героической современностью: слишком мало произведений, в которых отражены большие современные проблемы, пафос социалистического строительства, героизм нашего рабочего класса, созданы живые образы коммунистов... Наши драматурги и работники театра должны быть требовательными к себе и выполнить свой долг перед искусством и народом».

ПЕРЕВОД «ИЛИАДЫ»

В издательстве «Народна култура» в переводе на болгарский язык вышла «Илиада» Гомера. Это — результат многолетнего труда филолога Александра Милева и поэтессы Благи Димитровой. Критика дает высокую оценку этому труду.

Рецензент Богдан Богданов в еженедельнике «Литературен фронт» называет выход перевода «Илиады» «важным и значительным культурным событием». Далее он пишет: «Совершенно очевидно, что перевод «Илиады» — событие национального масштаба. Оно было бы немыслимо без здорового стремления издательства «Народна култура» преодолеть конъюнктурный подход в переводческой практике. Но самое важное — кропотливый труд авторов перевода, все значение которого может быть оценено лишь в дальнейшем, когда «Илиада» займет надлежащее место в нашей культурной жизни».



Театр на главной площади городка Сентендре

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СРЕДИ ДРЕВНИХ СТЕН

Городок Сентендре на Дунае известен памятниками старины, самые древние из которых восходят к эпохе античного Рима, и поселком художников, основанным в 1926 г. Иштваном Рети для усовершенствования студентов Высшей школы изобразительного искусства. Отсюда вышли многие крупные мастера кисти, такие как Бела Цобел, Енё Барчаи и другие.

Летом 1969 г. Сентендре стал сценой совсем иного рода событий, тоже связанных с искусством, сценой в буквальном смысле слова. На главной площади города между церковью Благовещенья и старинными двухэтажными купеческими домами были поставлены трибуны для зрителей. Люди съехались сюда со всех концов Венгрии, чтобы присутствовать на необычном спектакле, воскрешающем театральные представления, которые происходили на этой же площади несколько веков назад.

Режиссер спектакля Андраш Бекеш, проявив тонкий вкус, несколько модернизировал «Комико-трагедию» XVII века о Добродетели и Грехе. Роль Смерти хорошо сыграл известный актер Лайош Башти; когда он «уводил в ад на вечные муки» Габора Мади Сабо, изображавшего Богача, зрители притихли, замерли... Второй пьесой, показанной среди древних стен, была музыкальная комедия «Герцог Пикко и Ютка Пержи», написанная для венгерского театра по немецкому образцу Анталом Салкаи в 1798 г. В ней рассказывается вначале трагическая, но затем благополучно заканчивающаяся история любви Ютки Пержи, дочери татарского хана, и калмыцкого князя Пикко.

Спектакль настолько «вписался» в окружающую его панораму старого города, что — по словам театрального обозревателя «Элет эш

«Наши люди отдыхают», стенная роспись Аннедоры Полицен (Магдебург).

(Еженедельник «Зонntаг»)

продалом» Веры Летаи — «...невидимая стена, отделяющая в обычных театрах сцену от зрительного зала, рухнула. Элементы внешнего мира легко и непосредственно вошли в мир сцены. Местные жители, смотревшие спектакль из окон домов, казались статистами, а старинные башни храма — декорацией, на фоне которой средневековые костюмы актеров выглядели естественно и вполне уместно».

Даже дождь не смог остановить представления: актеры героически продолжали играть, зрители не уходили, сознавая себя активными участниками этого необычного спектакля, финал которого был встречен бурными овациями.

ГДР

ФЕСТИВАЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В городе Карл-Маркс-штадт прошел фестиваль литературы для молодежи. Для участия в нем в Карл-Маркс-штадт приехало более пятидесяти писателей, среди них — Ганс Вебер, Вернер Хайдушек, Петер Эдель, Хорст Заломон, Зигфрид Вайнхольд, Мартин Фиртель, Гельмут Прейслер, Хорст Бастиан и другие.

Фестиваль привлек сотни гостей, принявших участие в диспутах о книгах. В центре всех мероприятий фестиваля были сами авторы произведений для молодежи. Молодые читатели получили на фестивале возможность, как писал корреспондент газеты «Берлинер цейтунг», купить книжные новинки, поговорить с любимыми писателями, получить у них автографы.

Одно из основных мероприятий фестиваля носило название «Литература-69» и было посвящено вручению премий самым популярным писателям, получившим наибольшее число голосов в ходе опроса, проведенного Союзом свободной немецкой молодежи под девизом «Мое самое яркое литературное впечатление».

Доктор Гюнтер Ян вручил грамоты Центрального Совета ССНМ писателям: Мартину Фиртелю, автору романа «Санкт Урбан», Гансу Веберу, автору романа «Прыжок в гигантское колесо», Зигфриду Вайнхольду за книгу «Зов приключений» и Хорсту Бастиану, автору «Разбойника». Анна Зегерс, которая не смогла присутствовать на фестивале, была также награждена грамотой за роман «Доверие».

В заключение фестиваля многие писатели выступили с чтением отрывков из своих новых произведений. Среди них было четырнадцать поэтов, в том числе Гюнтер Дейке, Курт Деммлер, Макс Циммеринг и Манфред Штройбель, которые представили на суд слушателей стихотворения, посвященные 20-летию ГДР.

ФРГ

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

Крупнейшие западногерманские издательства сообщили о выпуске новых произведений известных писателей. «Среди объявленных новинок,— пишет рецензент «Вельт дер литератур»,— новый роман Гюнтера Грасса «Местное обезболивание», который выйдет в издательстве «Лухтерханд» (роман уже вышел из печати.— *Прим. ред.*); роман Петера Хертлинга «Семейный праздник, или Конец истории» (издательство «Говертс»); роман Ганса Эриха Носсака «Неизвестному победителю» (издательство «Зуркамп»). Издательство «Лухтерханд» выпустит также произведения писателей ГДР — повесть Кристы Вольф «Размышления о Кристе Т.» и роман Германа Канта «Импрессум»; в том же издательстве выйдет новая книга

швейцарского писателя Петера Бихселя «Детские истории».

Мартин Вальзер опубликует в издательстве «Зуркамп» свой новый «социальный репортаж» — автобиографические заметки Вольфганга Вернера под названием «Из сиротского приюта в тюрьму».

Мюнхенское издательство «Винклер» выпускает любопытную литературную находку — новеллу «Клиссон и Эжени» (оригинал вместе с переводом), принадлежащую перу... Наполеона.

ГОЛЛАНДИЯ

СИДЯЧАЯ ЗАБАСТОВКА У «НОЧНОГО ДОЗОРА»

«У художника никогда не было своего места — ему обычно лишь указывали его место»,— заявил в интервью газете «Фолкскрант» видный деятель искусств Голландии Бэрт Схирбейк. Автор статьи писал о том, что власти выделяют на нужды культуры мизерные суммы и по сути дела ничего не делают для ее развития. В то же время, отмечал Схирбейк, в конституции страны провозглашено, что «культура имеет большое значение для развития народа».

В знак протеста, как сообщает печать, художники устроили нечто вроде сидячей забастовки в рембрандтовском зале Государственного музея Амстердама, где хранится знаменитый «Ночной дозор». Они провели там всю ночь с единственной целью — заставить власти выслушать их требования. Художники добиваются права решающего голоса при рассмотрении вопросов, касающихся судеб искусства; создания реальных перспектив для творческой молодежи; улучшения материальных условий деятелей искусства и т. д. Все эти требования изложены в специальной программе Комитета действия Союза художников.

На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции, на которую вынуждена была дать согласие министр культуры мадам Кломпэ, ей пришлось признать необходимость «специального обследования деятельности правительства в области культуры», однако она отказалась обсуждать какие-либо конкретные финансовые вопросы. Мадам Кломпэ считает почти нормальным существующее положение, при котором художник, отдающий свои произведения властям, приравнивается к категории «безработных деятелей умственного труда» и получает соответствующее «вспомоществование». Таких «безработных» насчитывается около 800 человек.

Подобная система, именуемая «встречной повинностью», предназначалась первоначально для помощи молодым художникам, пока они не вышли на «свободный рынок». Но «в нашей стране почти нет торговли художественными произведениями,— констатировал в интервью газете «Ваархейд» голландский художник Хэнк Зомер.— Лишь в исключительных случаях — может быть, одном из ста — художнику улыбается фортуна». За последние несколько лет Хэнк Зомер создавал только гуаши. «Просто не хватало денег на полотно и краски

Забастовка художников в рембрандтовском зале Государственного музея в Амстердаме.
(Газета «Ваархейд»)

для произведений, которые хотелось бы писать,— сказал он.— Мои доходы едва достигают прожиточного минимума».

Месяц спустя после событий в рембрандтовском зале амстердамского музея художники без приглашения послали представителей в муниципалитет на заседание закупочной комиссии.

В резолюциях, принимаемых по всей стране на собраниях художников, звучит протест против вторжения крупных коммерческих фирм в искусство. Художники бойкотировали выставку скульптур, которая должна была развернуться в садиках частных домов вдоль дорог в Северной Голландии ради привлечения туристов. Бойкоту подвергаются и выставки, организуемые в рекламных целях авиакомпанией КЛМ и пивным концерном «Хэйнекен»...

ИНДИЯ

КНИГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Более четырех столетий тому назад — в 1561 году — в Индии была издана первая книга, напечатанная на бумаге. Она вышла в Гоа на португальском языке и содержала рассказы на религиозные темы. Двадцать лет спустя в Куилоне (ныне штат Керала) увидела свет первая книга на одном из индийских языков — тамили. Только к концу XIX века начали печататься книги на языках других народностей Индии. Однако общее количество этих печатных изданий было невелико до самых последних лет английского колониального господства. Более половины всех изданий в стране выпускалось на английском языке.

После достижения Индией независимости положение на книжном рынке стало быстро меняться. Прогресс в области просвещения вызвал повышенный спрос на литературу. Один из показателей тяги к книге — успех всеиндийских книжных выставок, которые в последние годы регулярно проводятся в стране. На выставке 1966 г. в Бомбее были представлены книги 8 тыс. наименований на различных индийских языках. На выставке 1967 г. в Дели экспонировалось более 10 тыс. книг. Количество наименований книг, издаваемых в Индии, постоянно растет; оно превышает сейчас 20 тыс. ежегодно.

В конце 50-х годов в стране началось издание детской литературы; в то время она выпускалась в Мадрасе на языках канада, малаялам, тамили и телугу. Теперь книги для детей издаются в Дели и других городах и продаются сравнительно недорого.

Недавно министерство просвещения Индии одобрило план издания серии детских книг для «Библиотеки Неру», которые будут выходить на всех основных языках народов Индии, иметь одинаковый формат, оформление и продаваться по одной и той же цене. Первоначально в серию было включено 100 книжек, позднее ее предполагают расширить до тысячи названий.

Налаживается выпуск учебников силами национальных издательств. Во всех штатах страны, кроме Гуджерата, национализированы частные издательства, выпускающие учебные пособия.

ИОРДАНИЯ

ПОЭТЫ — БОЙЦАМ СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Иордании в настоящее время выходит немало книг, посвященных бойцам палестинского Сопротивления, которые с оружием в руках выступают против израильских оккупантов. Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Аммане недавно вышли сборник стихов иорданского поэта Мухаммеда аль-Каси «Знамя на ветру», книжка стихотворений и поэм известной поэтессы Федвы Таукан под названием «Лицу, которое исчезло», посвященные борьбе за освобождение арабских земель.

В Аммане опубликован также сборник «Палестинские народные пословицы», который подготовил и прокомментировал Мухаммед Али Абу-Хамда.

* * *

По сообщениям печати, в Иордании была проведена Неделя палестинской культуры, организованная Арабским культурным обществом. Были прочитаны лекции о жизни и борьбе палестинских арабов, организованы выставка изобразительных искусств и книжная выставка. В проведении Недели приняли активное участие иорданские писатели и деятели искусств.

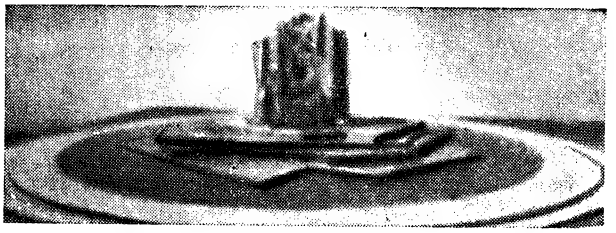
ИТАЛИЯ

ПАМЯТНИК «ЧЕТЫРЕМ ДНЯМ НЕАПОЛЯ»

На центральной площади Неаполя Пьяцца Принчипе недавно состоялось торжественное открытие монумента героическим «Четырем дням Неаполя» — славной странице борьбы итальянского народа против фашизма (о закладке памятника см. «Иностранную литературу» № 7, 1966). Автор монумента — известный скульптор Марино Мадзакурати. Памятник состоит из четырех стен-барельефов, на которых изображены эпизоды восстания неаполитанцев против немецких войск. Монумент создан на средства антифашистов Неаполя.

Газета «Унита» называет новую работу Мадзакурати «одним из самых значительных скульптурных произведений, созданных в Италии за последние годы». «Мадзакурати остается верным своей антифашистской теме,— пишет корреспондент газеты.— Вспомним его «Памятник партизану», который стал теперь неотделимой частицей Пармы, вспомним монумент борцам Сопротивления в Мантуе и памятник павшим на войне — в Борго. Во всех своих работах скульптор стремится выразить стойкость борцов Сопротивления и отдать им дань уважения».

Сам автор заявил для печати по поводу открытия



Памятник «Четырем дням Неаполя» (общий вид и фрагмент).

(Газета «Юнита»)

нового монумента: «В этой работе я хотел воспеть героизм простых людей, отдавших жизнь за спасение родины от фашизма, и увековечить в скульптуре славный период истории Неаполя и всей Италии».

По случаю открытия монумента генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Луиджи Лонго прислал скульптору-коммунисту поздравительную телеграмму, в которой, в частности, говорится: «Твоя новая работа является, без сомнения, твоим наивысшим достижением в искусстве. Позволь выразить тебе, активному участнику Сопротивления, мою глубокую благодарность и восхищение».

ИНТЕРЕС К «ИТАЛЬЯНСКОМУ ЖЮЛЮ ВЕРНУ»

«Итальянским Жюлем Верном» часто называют писателя конца прошлого — начала нынешнего века Эмилио Сальгари — автора множества приключенческих книг для юношества; некоторые из них в свое время переводились на русский язык.

О возродившемся ныне в Италии интересе к этому плодовитому писателю свидетельствуют не только переиздания его отдельных, наиболее известных романов: крупнейшее итальянское издательство Мондадори недавно сообщило, что в печати находится многотомное полное собрание сочинений Сальгари — издание «выправленное, пересмотренное и снабженное примечаниями». Это собрание сочинений «призвано восстановить справедливость по отношению к автору, рукописи которого нередко подвергались очень сильным и всегда произвольным переделкам со стороны издателей, правщиков, редакторов газет и журналов». Из романов Сальгари некогда удалялись диалектальные выражения, затушевывался его своеобразный язык, выпадали отдельные описания, были изъяты или переписаны заново целые страницы, пропали некоторые персонажи. Ныне в издании Мондадори все это будет восстановлено.

В ответ на это сообщение руководство другого крупного издательства — Мурсиа — объявило о том, что оно еще в начале прошлого года приступило к изданию «полного, снабженного примечаниями» собрания сочинений Сальгари. В выпускаемой Мурсиа серии уже вышли романы из «корсарского» цикла, часть цикла «Пираты Малазии», а также роман «Фаворитка Махди», действие которого происходит в Африке.

«ЯРОСТЬ ВНУТРИ»

Как сообщает печать, на экран перенесены не только все романы Альберто Моравиа, но и многие его рассказы. Теперь наступил черед большого рассказа Моравиа «Преступление в теннисном клубе», написанного в 30-е годы. Режиссер-постановщик фильма Франко Россетти счел возможным изменить по своему усмотрению многое, даже название: фильм будет называться «Ярость внутри». История убийства, рассказанная Моравиа, перенесена из эпохи фашизма, из мирка приспешников Муссолини в современную Италию, в среду студенчества. Герои фильма — участники движения

Анна Гаэль в одной из сцен фильма «Ярость внутри».

(Газета «Паэзе сера»)

протеста итальянской молодежи. Однако, как отмечает печать, в центре картины — семейно - психологиче с к а я драма, конфликт между дочерью и отцом, а не политические и социальные проблемы, волнующие студентов и молодежь на Западе. Герои фильма — трое молодых людей, которых режиссер называет «маоистами»,— по существу не имеют ничего общего с итальянским студенческим движением и еще меньше — с персонажами литературного первоисточника. Съемки фильма ведутся в Югославии, недалеко от Загреба. В фильме снимаются актеры Крис Авран, Анна Гаэль, Роберто Бизакко и Анджела Макдональд.

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ ЧЕХОВА

Со сцены римских драматических театров не сходят чеховские спектакли. Вслед за недавно поставленной в театре «Валле» пьесой «Три сестры» в этом театре с успехом шли спектакли гастролировавшей в Риме триестинской драматической труппы «Стабиле ди Триесте». Триестинцы показали в итальянской столице «Иванова». Театральный критик газеты «Паэзе сера» Элио Пальярани посвятил спектаклю большую рецензию. Он писал, что спектакль впечатляюще передает скуку и бесполезность существования чеховского героя и удушающую атмосферу, царившую в обществе, которое его «перемололо», но само было обречено на скорую гибель. Режиссер Орацио Коста проявил особую тщательность при работе над постановкой. Заглавную роль талантливо сыграл актер Джулио Бозетти. В числе других исполнителей — Марио Пизу, широкую известность которому принесло участие в фильме Феллини «Джульетта и духи». Новый перевод пьесы «Иванов» выполнен Витторио Страдой.

КУБА

КУБИНО-ПОЛЬСКИЙ ФИЛЬМ

В Гаване состоялись переговоры между кубинскими и польскими кинематографистами о совместной постановке фильма «В погоне за Адамом».

Фильм, сценарий которого создал по своему роману Ежи Стефан Ставинский, будет сниматься частично в Польше, частично — на Кубе с участием местных артистов.

ПОЛЬША

ФИЛЬМ-ДОКУМЕНТ

В клубе Союза польских журналистов в Кракове состоялся первый просмотр документального фильма, заснятого в годы гитлеровской оккупации. Автор фильма — краковский инженер Тадеуш Франишин.

Рискуя жизнью, Тадеуш Франишин снимал партизанские битвы с гитлеровцами, облавы на улицах Кракова в 1944 г. и другие эпизоды.

Как отмечает печать, этот документальный фильм имеет большое значение для расследования дела гитлеровских преступников, бесчинствовавших в оккупированной Польше (например, документальные кадры о бывшем гитлеровском лагере смерти в Плашове). До сих пор в распоряжении органов правосудия были только фотоснимки, сделанные в первые дни после освобождения Кракова в январе 1945 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДРУЗЕЙ

Под заголовком «Юбилейный подарок» еженедельник «Польское обозрение» опубликовал статью известного литературоведа Флориана Неуважного о выпущенной в Советском Союзе «Истории польской литературы». «Советский читатель впервые получил такое обширное, научно аргументированное, в соответствии с новейшими исследованиями польской литературы, пособие, освещающее как сам литературный процесс, так и эволюцию творчества отдельных польских писателей, являющихся гордостью нашей литературы»,— пишет Неуважный.

В юбилейном для Народной Польши году, как отмечает автор статьи, значительно возрос интерес к вопросам польской культуры и литературы. «История польской литературы», изданная Академией наук СССР,— наглядное проявление этого интереса.

«Я с удовлетворением хочу отметить также, что коллектив советских авторов отказался от бытовавших еще в пятидесятые годы схем и выделил разделы, посвященные творчеству писателей, которые ранее или вообще не упоминались, или рассматривались весьма поверхностно,— пишет далее автор статьи.— Это касается творчества Юлиана Урсына Немцевича (автор главы А. Липатов), Зигмунта Красинского (Б. Стахеев), Циприана Камила Норвида (А. Липатов), Адама Асныка (Е. Белова), благодаря чему обогатится представление советского читателя о многообразии процесса развития польской литературы. Мне думается, что наряду с интересными разделами, посвященными старопольской литературе

(Л. Разумовская и Б. Стахеев), особый интерес представляют те части книги, которые рассматривают и освещают эпоху романтизма и отдельных ее представителей. Эту часть написал известный литературовед-полонист Борис Стахеев.

В заключение Флориан Неуважный пишет: «Книга эта явилась замечательным и ценным подарком к серебряной годовщине Народной Польши. Мы с нетерпением ждем следующий том, который будет посвящен истории современной польской литературы».

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРЕМИИ

В связи с 25-летием Народной Польши 60 видных деятелей польской культуры награждены премиями министерства культуры и искусства за творческие достижения в 1969 году. Среди награжденных — писатели: Алина и Чеслав Центкевичи, Войцех Жукровский, Станислава Флешарова-Мускат, Стефан Отвиновский. Премий удостоены кинорежиссеры: Ежи Гоффман, Ежи Липман, Ежи Лютовский (авторы фильма «Пан Володыевский»), а также Сильвестр Хенцинский, Казимеж Карабаш, Владислав Слесицкий. За достижения в области графики, в частности, за цикл рисунков о Вьетнаме премия присуждена художнику Анджею Струмилло. За популяризацию польского фольклора в молодежной эстрадной музыке премии удостоен ансамбль «Ното-цо».

РУМЫНИЯ

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Согласно статистическим данным, за 25 лет, прошедших со времени освобождения страны от фашизма, было выпущено в свет без малого 120.000 названий книг общим тиражом свыше одного миллиарда трехсот миллионов экземпляров.

Произведения классической и современной румынской литературы составляют около 70 процентов всех выпускаемых книг. Нередко сборники стихов, романы и повести издаются тиражом в 20—30 тысяч экземпляров: такие тиражи для Румынии считаются большими.

Произведения классиков румынской литературы постоянно переиздаются и хорошо расходятся. Например, тираж сборника стихов Михаила Эминеску «Поэзия» составил свыше одного миллиона экземпляров.

В книжной продукции румынских издательств немалое место занимает переводная литература. За последние 25 лет в стране были переведены книги почти 13 800 названий общим тиражом 211 миллионов экземпляров. Согласно данным ЮНЕСКО, по количеству книг, издаваемых на душу населения, Румыния находится в числе передовых стран мира.

Художники-графики в издательствах заботятся о том, чтобы оформление книг было современным. Устраиваются ежегодные конкурсы на «самую красивую книгу». Румынские книги завоевали на международных выставках 36 премий, медалей и почетных грамот.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЭМИНЕСКУ

Общественность Румынии широко отметила 80-летие со дня смерти классика румынской литературы поэта Михаила Эминеску.

Были проведены «Дни Эминеску», программа которых включала многочисленные культурно-просветительные мероприятия. В доме, где родился Эминеску, был открыт мемориальный музей, который уже посетили тысячи людей. В городах и селах страны были прочитаны лекции о жизни и творчестве поэта. Была открыта выставка акварелей художника Иона Морару, посвященных памятным местам, связанным с жизнью Эминеску. Показан спектакль «Эминеску» Мирчи Штефэнеску; организованы выставки книг, вечера поэзии, специальные передачи по телевидению и радио.

СИРИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Хомсе вышел сборник стихов молодого поэта Исы аль-Исы под названием «Излияния сердца». Сборник содержит поэмы и стихотворения, которые поэт посвятил арабским патриотам, «пишущим своей кровью героическую эпопею освобождения».

В Дамаске вышел сборник стихов другого молодого поэта — Гази аль-Джандали «Рассказы сердца». Он также содержит стихи, посвященные борьбе арабских народов за свободу.

США

ПЕНТАГОН В РОЛИ МЕЦЕНАТА

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 11, 1968) о широком протесте за рубежом против демонстрации американского пропагандистского фильма «Зеленые береты». Сейчас в самих США этот фильм демонстрируется только в самых захудалых кинотеатрах. Но неожиданно о фильме вновь заговорили газеты, поскольку достоянием гласности стали некоторые подробности его появления на свет.

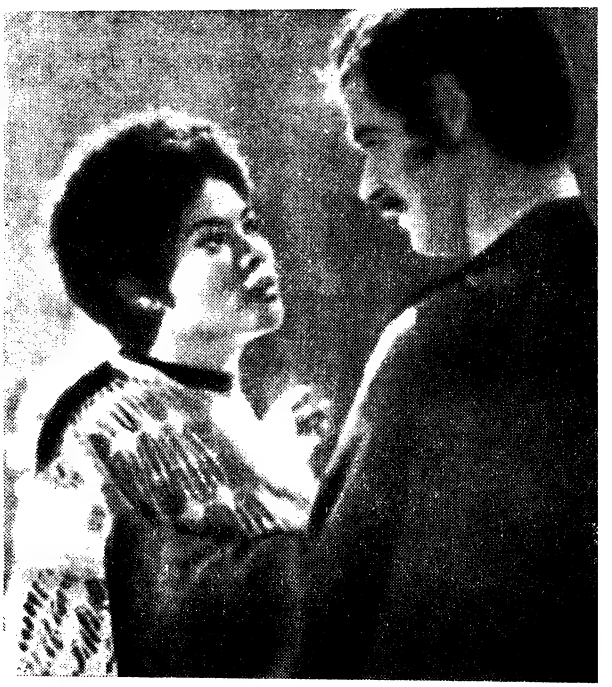
Как сообщают корреспонденты, фильм Уэйна был поставлен при прямой финансовой и материальной помощи Пентагона. Американский конгрессмен Б. Розенталь сообщил представителям прессы, что расходы на съемку фильма превысили миллион долларов. Уэйна, как пишут газеты, попросили внести в кассу Пентагона «для порядка, на покрытие расходов» только... триста долларов.

Сообщается между тем, что военный форт Беннинг (штат Джорджия) в течение 107 дней был предостав-

лен в распоряжение голливудской компании «Батьяк», которая вела съемки. Было израсходовано огромное количество бензина, боеприпасов...

Некоторые американские журналисты пишут, что Пентагоном в данном случае нарушен федеральный закон, согласно которому любое частное лицо обязано полностью возместить расходы за пользование правительственной собственностью, то есть в данном случае — военной техникой.

Отмечается также, что Пентагон всячески препятствует созданию кинофильмов, которые не согласуются с пропагандистскими целями американской военщины. По сообщению еженедельника «Верайети», например, только за последние полтора года Пентагон отказался содействовать съемкам восьми фильмов на современные темы. Одно из таких произведений — ныне созданный по сценарию Донована Кэрнса фильм «Оружие», повествующий о том, как американский стратегический бомбардировщик «потерял» водородную бомбу.



Жизнь рабовладельческой Америки середины прошлого столетия — такова тема нового фильма «Рабы» Герберта Байбермана, автора известной ленты «Соль земли». В роли возлюбленной белого плантатора выступает известная негритянская актриса Дионн Уорвик. Воспроизводимый кадр из фильма «Рабы» заимствован из еженедельника «Франс нувель».

БРАТЬЯ СМАЗЕРС — БЕЗ РАБОТЫ

Популярные американские артисты Дик и Том Смазерсы, выступавшие по телевидению с остроумными, политически злободневными программами, весной этого года лишились работы (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 6, 1969). Руководство компании «Коламбиа бродкастинг систем» постоянно вмешивалось в их выступления, подчас произвольно меняя содержание их программ. Братья Смазерс решили не возобновлять контракта с Си-би-эс. Что из этого получилось, недавно рассказал сам Том Смазерс на страницах газеты «Нью-Йорк таймс»: «С апреля ни одна из телевизионных компаний не проявила серьезного желания разговаривать с нами. Нашими постоянными зрителями были несколько миллионов человек,— продолжал Том Смазерс,— и мы старались откликаться в своих выступлениях на события, которые волновали всех... Кому, собственно, мы не нравились? Нескольким тысячам озлобленных, стареющих ретроградов, белым расистам, проживающим в южных штатах. Наши программы были для них как удар хлыста. А между тем, с тех пор как наши выступления отменены, мы получили более пятидесяти тысяч писем с выражением поддержки».

ТУРЦИЯ

ЮБИЛЕЙ «ОТЦА ТУРЕЦКОГО ТЕАТРА»

Турецкая общественность торжественно отметила шестидесятилетие творческой деятельности крупнейшего турецкого режиссера Эртугрула Мухсина, которого называют «отцом турецкого театра». Впервые этот замечательный деятель театра вышел на подмостки в 1909 году в театре Бурханеддина в Стамбуле.

В двадцатые годы Эртугрул Мухсин побывал в СССР, присутствовал на репетициях Станиславского и с той поры считал себя приверженцем великого русского режиссера.

Первым на турецкой сцене Мухсин поставил пьесы Назыма Хикмета «Череп», «Забытый человек», «Дом мертвеца». Он был также первым постановщиком в Турции пьес Горького и Чехова, одним из организаторов и руководителей Анкарской консерватории, директором и главным режиссером городских театров Стамбула.

Мухсин воспитал не одно поколение турецких актеров и режиссеров, но в те-

чение нескольких лет находился в отставке, так как власти были недовольны его репертуарной политикой.

Недавно на заседании дирекции стамбульских муниципальных театров Эртугрул Мухсин был вновь единогласно избран их главным режиссером.

ФРАНЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Как известно, в мае прошлого года, в разгар студенческих волнений во Франции был создан Союз писателей; в его правление вышли пятнадцать человек, в том числе Мишель Бютор, Натали Саррот и Жан-Пьер Фай.

21 мая того же года Союз опубликовал обращение к французским литераторам поддержать движение молодежи.

Недавно, по сообщению литературного еженедельника «Кензен литерер», вышло в свет первое печатное издание Союза, представляющее собой сборник статей о деятельности и задачах Союза. В предисловии к сборнику говорится:

«...Нам глубоко чужда точка зрения, объявляющая писательство пороком буржуазного строя и ставящая тем самым писателя в положение без вины виноватого (как известно, экстремистски настроенная часть молодежи относит литературу к одному из проявлений буржуазного эстеблишмент.— *Прим. ред.*). На наш взгляд, между проблемой положения писателя в обществе и проблемой перехода к социализму, между вопросами «Что такое писатель?» и «Что может литература?», между явлениями культурного и политического порядка существует, возможно, не столь четко выраженная, но глубокая и безусловная связь. Наш Союз ставит своей задачей сделать эту связь очевидной... Мы не собираемся только теоретизировать, мы хотим действовать, действовать там, где чувство ответственности писателя проявляется с наибольшей силой — в области создания книг. Перед вами первая книга, написанная, составленная, отпечатанная и выпущенная в свет самими писателями».

Авторы статьи утверждают, что членов их Союза объединяет не какая-либо определенная эстетическая платформа, а «общая точка зрения на окружающий мир, лицемерие и ложь которого столь явно проявились во время майских событий».

«Мы не собираемся превращать Союз писателей в издательство, — говорится далее в предисловии,— но нам необходимо иметь возможность напечатать тот или иной материал, связанный с нашей общей борьбой, будь то художественное произведение, воззвание или документ, не подвергаясь какому бы то ни было контролю со стороны государства».

В предисловии сообщается также, что во втором выпуске Союза писателей предполагается опубликовать сценарий запрещенного цензурой фильма Жана-Люка Годара «Радость познания».

Ширится протест общественности против демонстрации во Франции американского пропагандистского фильма о войне во Вьетнаме «Зеленые береты». Происходят демонстрации перед кинотеатрами (на снимке — зрители протестуют на улицах Ниццы), рабочие собирают подписи на заводах, муниципалитеты требуют изъятия фильма из проката. В результате в Бордо и Ницце демонстрация фильма была запрещена.

(Газета «Юманите»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОЭТ И КРИТИК — НАРОДНЫЕ ХУДОЖНИКИ

Как сообщает газета «Руде право», звания Народных художников Чехословацкой Социалистической Республики удостоены словацкий поэт Ян Костра и словацкий литературный критик Александр Матушка.

Первая книжка стихотворений Яна Костры (род. в 1910 г.) «Гнезда» вышла в 1937 году. Поэзия Костры, по отзывам критики, глубоко гуманистична, в ней подчеркивается творческое начало личности. Наиболее отчетливо поэтическая философия Костры проявилась в сборниках «Поэзия — дело твое», «Каждый день», «Только раз» и других.

Александр Матушка (род. в 1910 г.) еще в 30-е годы проявил себя как литературный критик. В свое время интерес вызвали его полемические работы «Вайянский-прозаик» и «Портреты словацких писателей». Как отмечает газета «Руде право», Матушка писал в них о не-

обходимости уважать национальные истоки и традиции искусства. Перу Матушки принадлежат известные работы по вопросам истории словацкой литературы и культуры, а также современной словацкой литературы («Штуровцы», «Профили», «Новые профили», «От вчерашнего к сегодняшнему дню», «Неувядающие лавры», «Медальоны», «Рудольф Ящик» и другие). Александр Матушка — автор книги о Кареле Чапеке «Человек против гибели».

Газета «Руде право» придает большое значение тому факту, что звания Народного художника ЧССР удостоен критик. «Тем самым за критикой признается право участия в создании национальных культурных и художественных ценностей»,— говорится в редакционном комментарии.

ЮГОСЛАВИЯ

ФИЛЬМ О ПРЕСТУПЛЕНИИ НАЦИСТОВ

В городе Крагуеваце начаты съемки фильма по известной поэме «Кровавая сказка» югославской поэтессы Десанки Максимович. Фильм расскажет о чудовищном преступлении немецких фашистов в Крагуеваце осенью 1941 года, когда в целях устрашения местного населения нацисты за одну ночь расстреляли около семи тысяч мужчин города, в том числе более семисот учащихся гимназии.

ИЗДАЮТСЯ ЗА РУБЕЖОМ

Как сообщает югославский журнал «Арена», произведения югославских авторов широко издаются в других странах. Для сравнения приводятся такие факты: в 1945 году за рубежом были изданы произведения лишь 7 югославских писателей, а через двадцать лет, в 1965 году — 104. Всего за это время за рубежом издано почти 1100 произведений югославских авторов на многих языках. Наибольшее число изданий приходится на такие страны, как Советский Союз, Чехословакия, Венгрия, Польша.

Произведения известного югославского писателя Иво Андрича, например, выдержали в восьми странах до ста изданий, из них в СССР — 13 изданий, в Чехословакии — 12, Польше — 10, Венгрии — 7 и т. д. Большой известностью за рубежом пользуются произведения Десанки Максимович, Ранко Маринковича, Бранко Чопича, Мирко Божича, Владана Десницы и других прозаиков и поэтов.

БИЕННАЛЕ «КАРИКАТУРЫ БЕЗ СЛОВ»

В городе Любляне в Городской галерее открылась первая международная биеннале «Карикатуры без слов», в которой приняли участие 82 художника-карикатуриста из 16 стран Европы. К участию в биеннале были допущены карикатуры, которые пропагандируют идеи гуманизма и дружбы между народами.

На состоявшейся в Любляне встрече участники биеннале обменялись мнениями о развитии и социальной роли карикатуры в современном мире.

ЯПОНИЯ

ЦЕНТР КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА В АЗИИ

Недавно в Токио был учрежден Центр научных исследований и подготовки в области книжного дела. Инициатором создания Центра выступила Ассоциация японских книгоиздателей при содействии Национальной комиссии Японии по делам ЮНЕСКО. Центр будет вести исследования по технике книгоиздательства, будет заниматься распространением информации по вопросам книгоиздательства в Азии, а также создает курсы профессиональной подготовки, на которых будут учиться студенты из 18 стран.

ЮНЕСКО

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ АФРИКИ

В 1964 году на XIII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение о разработке и издании в течение десяти лет (1965—1975) «Всеобщей истории Африки». К созданию этого труда привлечены видные специалисты из многих стран, в том числе африканские историки.

Коллектив авторов столкнулся со значительными трудностями, главная из которых — нехватка, а по многим проблемам и отсутствие письменных источников. В целях облегчения поисков документов ЮНЕСКО намерена опубликовать «Руководство по источникам истории Африки», которое будет содержать перечень и описание документов, находящихся в архивах Европы и США.

Эксперты ЮНЕСКО пришли к выводу, что при создании «Всеобщей истории Африки» первоочередное внимание следует уделять не письменным источникам, а устной информации, которая дает нужные сведения по литературе, философии и праву. Своеобразие изучения африканской истории состоит в том, что устная информация: свидетельства племенных вождей, старейшин и служителей местных культов — является основным источником сведений о культуре и социально-экономических отношениях в странах Африки. Только с помощью устной информации можно получить ответ на многие неясные поныне вопросы, связанные с миграцией скотоводческих и охотничьих племен, с возникновением малоизвестных и неизученных обычаев, нравов, социальных устоев и других явлений африканской жизни.

Авторы этого номера

ЙОРДАН МИЛЕВ (род. в 1933 г.).

Болгарский поэт. Окончив филологический факультет Софийского университета, работал в редакции журнала «Пламк», теперь заведует отделом поэзии в издательстве «Народна младеж». Автор стихотворных сборников «Любовь цветет» («Любовта на цветовете», 1964), «Нестинарский танец» («Нестинарски танц», 1965), «Далекие взгляды» («Далечни погледи», 1967), «Участь» («Участ», 1968), книги очерков о советской Средней Азии «Восточная поэма» («Източна поема», 1967) и др.

Перевел на болгарский язык стихи советских поэтов Е. Винокурова, Зульфии, Гафура Гуляма, Мирзо Турсун-заде.

В этом номере публикуются фрагменты поэмы Йордана Милева о В. И. Ленине.

АНХЕЛЬ АУХЬЕР — ÀNGEL AUGIER (род. в 1910 г.).

Кубинский поэт, критик и литературовед. Начал печататься в 1928 году. Был редактором первой на Кубе коммунистической газеты «Палабра». В настоящее время работает в Институте литературы и лингвистики Академии наук Кубы. Анхель Аухьер — автор нескольких поэтических сборников: «Один» («Uno»), «Песни твоей истории» («Canciones para tu historia»), «Касаюсь руками острова» («Isla en el tacto») и др.

Публикуемое в этом номере стихотворение получено от автора в рукописи.

АЛЕКС ЛА ГУМА — ALEX LA GUMA (род. в 1925 г.).

Южноафриканский писатель. Родился и вырос в Кейптауне, сын Джимми Ла Гумы, одного из руководителей движения за свободу цветного населения, члена ЦК компартии Южной Африки.

Алекс Ла Гума начал печататься в 1956 г., публикуя в газете «Нью эйдж» репортажи о жизни цветного населения ЮАР. Одновременно с журналистикой он занимался политической деятельностью, за что неоднократно подвергался репрессиям. В настоящее время живет в эмиграции.

Советские читатели знакомы с творчеством А. Ла Гумы; в русском переводе вышли его повести «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная» («Иностранная литература» № 12, 1965).

В этом номере мы публикуем его роман «Каменная страна» («The Stone Country»), впервые изданный в Берлине в 1967 году.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — GÜNTER DE BRUYN (род. в 1926 г.).

Немецкий писатель (ГДР). После войны, вернувшись в Берлин, учился в Библиотечном институте и одновременно работал в Берлинской библиотеке. По окончании учебного заведения — научный сотрудник Центрального института библиотековедения. Его первые повести: «Встреча на Шпрее» («Wiedersehen an der Spree») и «Свадьба в Вельцове» («Hochzeit in Weltzow») появились в 1960 году. В 1962 г. вышел сборник рассказов «Черное, бездонное озеро» («Ein schwarzer, abgrundtiefer See»), который привлек внимание читателей и критики к творчеству писателя. Затем появился роман «Овраг» («Der Hohlweg», 1963), во многом автобиографичный; в его повествовании перемежаются годы войны и современной жизни Германии. В 1964 г. Гюнтер де Бройн был удостоен литературной премии имени Генриха Манна.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей новый роман писателя «Буриданов осел» («Buridans Esel»), вышедший в конце 1968 года. Рецензию Е. Книпович об этой книге см. в № 7 нашего журнала за 1969 г.

НИЯЗ ХАЙДАР (род. в 1913 г.).

Индийский поэт и драматург, пишет на языке урду.

Стихотворение «Ленин с нами» взято из его сборника «Приглашение в век Ленина» (1968).

ГОЛАМ КУДДУС (род. в 1920 г.).

Индийский поэт, публицист, литературовед, пишет на бенгали. Автор сборников стихов «Трещина» (1951), «Ила Митра» (1954), книги очерков «Единство» (1955) о рабочих в Рашиганжа — одном из районов Бенгалии, романов «Заключенный» (1954), «Мариам» (1956) и др.

МЛАДЕН ОЛЯЧА — MLADEN OLJAČA (род. в 1926 г.).

Югославский писатель. Пятнадцатилетним мальчиком ушел в партизаны и провел в партизанском отряде всю войну. Впечатления тех лет до сих пор находят отражение во многих его произведениях. Свой первый рассказ «Три бойца» Младен Оляча опубликовал в 1947 году. В последующие годы он выпустил сборник рассказов «Сосновый шепот» («Šapat borova», 1953), романы «Три жизни и две смерти» («Tri života i dve smrti», 1953), «Молитва о моих братьях» («Molitva za moju braću», 1957), «Черные секиры» («Crne sekire», 1958), «Распад» («Razvalina», 1962), «Козара» («Kozara», 1966) и др.

Документальный очерк «Это было в Крагуеваце» опубликован в № 5 нашего журнала за 1965 год.

Рассказ «Моя мать» был опубликован в белградском журнале «Змай».

ПЕТЕР ЮХАС — JUHÁSZ PÉTER (род. в 1924 г.).

Венгерский литературовед, научный сотрудник Института истории литературы Венгерской Академии наук, защитил диссертацию на тему о литературных связях болгарской и венгерской литератур. Выпустил книгу «История болгарской литературы» («A bulgár irodalom története», 1966).

Статья «К ясности взгляда» получена в рукописи.

ДЖОЗЕФ НОРТ — JOSEPH NORTH (род. в 1904 г.).

Американский писатель и публицист. В течение многих лет сотрудничал в журнале «Нью мэссиз»; в настоящее время редактор журнала «Америкен дайлог». Советские читатели знают Джозефа Норта по его книге «Нет чужих среди людей» («No Man Are Strangers», 1958) и многочисленным статьям, публиковавшимся в журналах и газетах.

Статья «Вокруг тридцатых» прислана автором в рукописи.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (и. о. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 10461. Сдано в производство 2/IX-69 г. Подписано к печати 10/X-69 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 27,23. Зак. 3064.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394